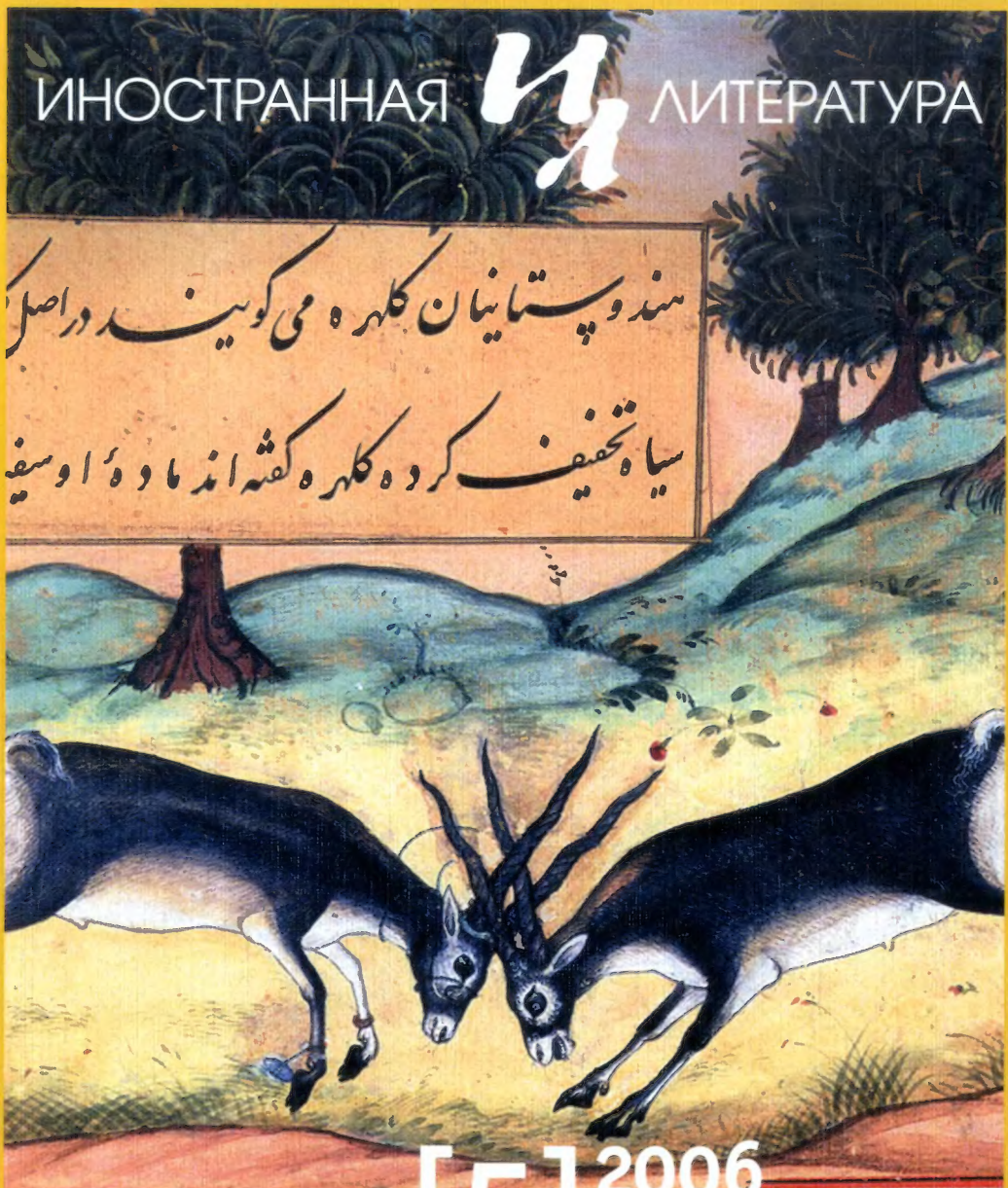
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[5] 2006

РОМАН КРИСТОФЕРА Т. БАКЛИ "ФЛОРЕНС АРАВИЙСКАЯ" / СТИХИ АЛЬФРЕДА ТЕННИСОНА / ПЬЕСА ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА "БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА" / АЛЕКСАНДР ВАТ И ЧЕСЛАВ МИЛОШ В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА" / НАШИ ГОСТИ: АЛАН СИЛЛИТОУ И РУТ ФЭЙНЛАЙТ / "МИФОГЕННАЯ ЗОНА" КСЕНИИ СТАРОСЕЛЬСКОЙ В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

До конца 2006 года будут напечатаны:

"Не отпускай меня" – новинка от известного английского романиста КАДЗУО ИСИГУРО. Это антиутопия, где речь пойдет о клонировании. Автор, мастер закрученной интриги, рассмотрел проблему в очень необычном ракурсе...

"Свидания" – маленький французский роман о любви мастера стильной прозы КРИСТИАНА ОСТЕРА, которого "ИЛ" впервые представляет на русском языке.

"Последние истории" – роман известной польской писательницы ОЛЬГИ ТОКАРЧУК, современная сага, состоящая из трех связанных между собой новелл: биографий трех женщин.

"Игра в вышибалу" – новый роман самого читаемого автора в Чехии, МИХАЛА ВИВЕГА.

"Перебои в смерти" – главы из последнего романа лауреата Нобелевской премии ЖОЗЕ САРАМАГО.

"Педант на кухне" – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА.

"Гуантанамо" – документальная книга итальянского журналиста КАРЛО БОНИНИ, где рассказывается о знаменитой американской тюрьме, расположенной на военно-морской базе США на Кубе.

"Мне пришло в голову" – очерки из автобиографической книги известного польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО о детстве, превратностях литературной судьбы, опыте эмиграции в США и о том, как его пьесы ставились на американской сцене.

Специальные номера, посвященные национальным литературам Польши (№ 8), Франции (№ 9) и Канады (№ 11).

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Наши гости", "Среди книг", "Зрительный зал", "Carte blanche", "Письма из-за рубежа", "Курьер ИЛ", "БиблиофИЛ" и др.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

[5]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Кристофер Бакли *Флоренс Аравийская.* Роман. Перевод с английского Андрея Геласимова

100 Гарольд Пинтер *Былые времена.* Пьеса. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта

127 Лайла Стиен *Дерево на опушке леса.* Рассказ. Перевод с норвежского О. Вронской

Литературное наследие

141 Альфред Теннисон *"Я слышу голос, говорящий в ветре!"* Стихи. Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова

Документальная проза

173 Александр Ват *Мой век. Устные мемуары.* Фрагменты книги. Перевод с польского Н. Каменевой. Предисловие Чеслава Милоша

Статьи, эссе

246 Дмитрий Дерепа *Танские стихотворения в переводах академика В. М. Алексеева*

Писатель и общество

254 Леонид Гиршович *Запад есть Запад*

Наши гости

258 *"Тебе больше никогда не придется работать!"* Беседа с британским писателем Аланом Силлитоу и его женой Рут Фэйнлайт. Запись беседы и перевод с английского Е. Тиновицкой

Письма из-за рубежа

262 Ксения Старосельская *Мифогенная зона*

Среди книг

267 Ирина Ковалева *"Строфы с комплексным познавательным эффектом".* Линор Горалик *Философия прогулки с черепашками*

БиблиофИЛ

275 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

278 *"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках апреля 2006-го.* Выбор главного редактора

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

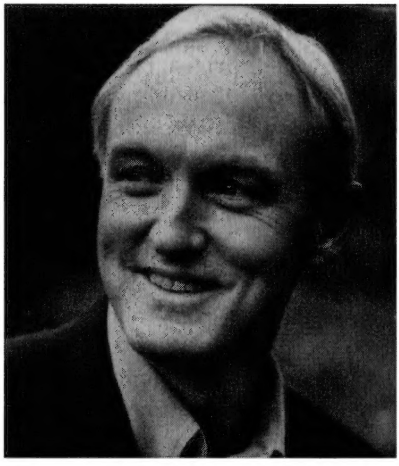
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Н. Г. Усова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Кристофер Бакли



Флоренс Аравийская

Роман

Перевод с английского Андрея Геласимова

Бобу, Рипу, Стиву и Тиму Форбс

Пролог

ОФИЦИАЛЬНАЯ резиденция Его Превосходительства принца Бавада бен Румалла аль-Хамуджа, посла королевства Васабия в Соединенных Штатах Америки, занимала солидный жилой комплекс стоимостью 18 миллионов долларов на берегу бурной реки Потомак, в нескольких милях вверх по течению от Вашингтона, округ Колумбия. Эмблема на главных воротах этого роскошного комплекса представляет собой герб королевского дома Хамуджа, выполненный в ярком сусальном золоте: финиковая пальма, полумесяц и ятаган, витающий над чьей-то головой. При ближайшем рассмотрении становится заметно, что вид у этой головы не очень довольный, причиной чему, несомненно, является факт ее отсечения вышеупомянутым ятаганом.

История гласит, что голова эта принадлежала некоему Рафику аль-Саваху по прозвищу Неразумный, который однажды вечером в 1740 или 1742 году (историки расходятся в своих мнениях по поводу точной даты) предпринял попытку узурпировать власть шейха Абдулабдуллы Ваффа аль-Хамуджа по прозвищу Разумный, основателя династии Васа-

© 2004 by Christopher Taylor Buckley
© Андрей Геласимов. Перевод, 2006

би и будущего короля. Согласно легенде, которую теперь преподносят в школах этой страны как исторический факт, отрубленная голова Рафика попыталась принести извинения шейху за свое вероломство, а также умоляла о том, чтобы ее приделали обратно. Однако шейх Абдулабдулла был не в настроении выслушивать все эти просьбы. Разве не обходился он с Рафиком как со своим родным братом? Короче, шейх приказал набить все еще бормочущий рот верблюжьим пометом и бросить голову на съедение гиенам, каковые обитают в пустыне.

Это событие ежегодно отмечается в День вероломства Рафика. Взрослые граждане мужского пола в этот день должны держать на языке небольшой шарик из верблюжьего помета, который является символом королевской власти и напоминанием о горькой участи тех, кто рискнет на нее покуситься. В действительности, только прислуга из королевского дворца Хамуджей и наиболее консервативно настроенные васабийцы придерживаются строгого буквализма в исполнении этого ритуала. Примерно сто лет назад один предприимчивый кондитер из столичного города Каффа придумал разновидность нуги, которая обладала характерным для требуемой субстанции ароматом, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы одурачить *мукфеллинов* — религиозную полицию, строго следившую за исполнением заветов Книги Хамуджа. Васабийцы могли теперь класть эту штуку себе на язык и спокойно расхаживать целый день, источая красноречивый аромат благочестия. Но, увы, обман был раскрыт, и несчастный кондитер потерял не только лицензию на производство сладостей, но также язык, кисть правой руки и ступню левой ноги. Король Таллула, взойдя на трон в 1974 году, издал указ, разрешающий обходиться вполне символическим кусочком помета. Это вызвало раздражение всех васабийских мулл и мукфеллинов, однако взрослое мужское население королевства облегченно вздохнуло.

Сразу после полуночи в прохладную осеннюю ночь на 28 сентября ворота с королевской эмблемой распахнулись, и оттуда выехал автомобиль, за рулем которого сидела Назра аль-Бавад, супруга принца Бавада.

Этот выезд несомненно прошел бы более гладко, если бы у принцессы было чуть больше водительского опыта. Васабийским женщинам в принципе не разрешалось садиться за руль. Тем не менее, будучи одновременно предприимчивой и темпераментной, Назра начиная с подросткового возраста постоянно упрашивала многочисленных особ мужского пола, включая своего брата Тамсу, посвятить ее в таинства руля, тормозов и газа. Управлять отцовским "кадиллаком" в пустыне Васабии было не так уж сложно. В Вашингтоне она частенько докучала (то есть попросту давала денег) несговорчивому Халилу, своему шоферу-охраннику и по необходимости секретарю, чтобы тот разрешал ей порулить на некоторых пустынных улицах, а также автостоянках излюбленных ею торговых центров "Нейман Маркус" и "Сакс Пятая авеню". Постепенно она достигла такой степени мастерства, что почти могла припарковать автомобиль, не ободрав с него практически всю краску и оставив ее на бамперах соседних машин. Халил тем временем приобрел среди жителей этих районов репутацию водителя не самой высокой квалификации.

В эту ночь вождение давалось Назре с особым трудом. Выезжая из ворот, она отломила зеркало заднего вида и оставила на боковой дверце машины стоимостью 85 000 долларов царапину, при виде которой даже самые закаленные автослесари страховой компании должны были зарыдать как дети. Первоначально она собиралась повернуть налево, в направлении Вашингтона. Однако при виде фар приближающегося оттуда автомобиля она запаниковала и свернула направо, в сторону занесенного листопадом пригорода Маклин.

По правде говоря, Назра соображала довольно плохо. А если уж совсем честно – она была пьяна. И у нее имелись на то причины. Неясно только, как бы отнесся к этим причинам судья.

Проведя более двадцати лет в Вашингтоне, ее муж, принц королевства Васабия, неожиданно объявил о своем намерении вернуться на родину и, разумеется, не один, а с Назрой и тремя остальными женами. Его дядя, король, решил вознаградить племянника за многолетнюю безупречную службу, назначив его на пост министра иностранных дел. Это было серьезное продвижение по службе, и к нему прилагался еще более серьезный дворец и доля в нефтяных прибылях королевства.

Эта новость не слишком обрадовала Назру, самую молодую, самую красивую и самую независимую из жен принца. Она совсем не хотела возвращаться в Васабию. Годы, которые она провела в Америке – даже под строгим присмотром Шаззика, сурового и (как говорили злые языки) кастрированного камергера принца Бавада, – научили ее ценить роль женщины в западном обществе. Она отнюдь не спешила вернуться в страну, где ей пришлось бы прятать свое прелестное личико под безобразной чадрой, и, пожалуй, еще меньше она спешила вернуться в страну, где женщин по-прежнему публично секли, забивали камнями до смерти и рубили им головы в одном специально отведенном месте в столице, которое в народе, из-за повседневности этих мероприятий, получило название площадь Секир-Башка.

Сегодня вечером Назра планировала известить принца о своем решении остаться в США. Она хотела переговорить с ним об этом сразу после его обеда с членами "Уолдорф-груп" – очень влиятельной организации, состоящей из бывших президентов США, бывших госсекретарей и министров обороны, бывших директоров Центрального разведывательного управления и вообще из очень хороших парней с такими связями, что просто закачаешься! После того как десять лет назад эта организация была создана в одном из роскошных номеров отеля "Уолдорф-Астория" в Нью-Йорке, она успела инвестировать более пяти миллиардов долларов, принадлежащих королевству Васабия, в самые разнообразные проекты, что в свою очередь привело к всемерному расширению деловых связей. Многие члены совета директоров этой организации заседали также в советах других компаний, существовавших на инвестиции из Васабии.

На сегодняшнем заседании "Уолдорф-груп" обсуждался проект опреснения. Из-за особенностей географического положения Васабии опреснение всегда было самой горячей темой в этом королевстве. Страна не имела ни одного выхода к морю. Отсутствие хотя бы десяти сантиметров береговой линии было давним и неприятным историческим пережитком, результатом мимолетного хмельного раздражения Уинстона Черчилля, когда он чертил современные границы Васабии на салфетке

из-под коктейля в своем лондонском клубе. Во время мирной конференции король Таллула был не особенно сговорчив, поэтому в итоге Черчилль несколькими росчерками своей авторучки отказал ему в морских портах. Вот так краткие мгновения между двумя рюмками хорошего бренди определяют судьбу империй и ход истории.

Поскольку каждый мужчина в королевстве Васабия мог иметь до четырех жен, население этой страны росло очень быстро. Вас вряд ли сочли бы достаточно мужественным, если б у вас не было как минимум двух десятков детей. В результате нация все больше молодела и все больше хотела пить.

На сегодняшнем заседании совета принц Бавад сообщил собравшимся директорам "Уолдорф-груп", которые для него, разумеется, все были самыми дорогими друзьями, о том, что его королевство готово инвестировать 1,2 миллиарда долларов в новый проект этой замечательной организации. Группа в свою очередь должна будет нанять опытных теханцев – родственный народ из пустыни, – которые построят новые опреснительные сооружения и протянут трубы в иссушенные земли Васабии. В самый ответственный момент заседания председатель совета директоров, один из экс-президентов Соединенных Штатов, должен был изобразить на бумажке некую цифру и небрежно передвинуть ее принцу Баваду, для которого эта самая цифра определяла его персональное "участие" (гораздо более симпатичное слово, чем, скажем, "пенки" или "кусок") в прибылях от этого предприятия.

Ритуал с бумажкой обычно проходил вполне гладко. Однако теперь принцу Баваду, строившему лыжный домик площадью 150 000 квадратных метров в Джексон-Хоул, эта сумма показалась несколько, как бы это сказать, неадекватной. И он воззрился на экс-президента.

Вообще-то они были добрыми друзьями – принц Бавад и мистер экс-президент. Последний, когда еще был президентом, не раз гостил в нынешнем лыжном домике Бавада площадью 100 000 квадратных метров в Аспене. В обычной ситуации он бы просто перечеркнул эту цифру и написал на той же бумажке сумму чуть-чуть побольше. Однако на сей раз он этого не сделал. Многие участники группы с некоторых пор сдержанно высказывали недовольство Васабией. Королевство становилось все более энергичным, если не сказать – эксцентричным, в своих требованиях. А бизнес есть бизнес, в конце-то концов.

Экс-президент мило улыбнулся Баваду. Тот, слегка нахмурившись, наконец кивнул в знак своего согласия с цифрами на бумаге. Экс-президент просиял и отпустил легкую шутку по поводу того, что с принцем не так-то просто договориться, вот такой серьезный он бизнесмен. Заседание на этом закончилось, двери открылись, и официанты внесли закуски. И какие закуски! Все-таки это была очень приятная организация, и с ней действительно хотелось иметь дело. Никогда еще в области получения прибылей столь многое не достигалось таким небольшим количеством людей.

В резиденции принца в это время Назра налила себе из бутылки своего мужа рюмочку французского коньяка 150-летней выдержки. В одиннадцать часов, когда принц все еще не появился, она налила себе вторую рюмку. Затем третью. В 11.40, когда принц наконец вернулся домой, она уже забыла о своих переживаниях.

Речь, которую она так тщательно репетировала, прозвучала не совсем убедительно, поскольку была произнесена заплетающимся языком и отличалась не столько красноречием и связностью, сколько благоуханием замечательного коньяка "Наполеон". Злой как черт принц, которому все еще не давало покоя его неадекватное "участие" в проекте опреснения, грубо приказал Назре отправляться в свою комнату.

Ночной спор между избалованным принцем и его подвыпившей младшей женой вряд ли может послужить образцом салонной беседы. Диалог быстро перешел на повышенные тона и был резко завершен принцем, который, не раздумывая, отвесил Назре роскошную пощечину с крепким запахом дорогих сигар. Засим, громогласно проклиная тлетворное влияние Запада, принц, как грозовая туча, умчался в спальню к другой, более покладистой жене.

Назра фурией бросилась в свою спальню, где отнюдь не собиралась спать в эту ночь. Швырнув что попалось под руку в дорожную сумку, она прошла в гараж, в котором стояли одиннадцать машин. (Принц любил водить сам, и большинство полицейских на дорогах штата Виргиния были знакомы с ним лично.) Назра не хотела ни "мазерати", ни "ламборджини", ни "майбаха" или "феррари", поскольку у всех этих машин на приборной панели было слишком много кнопочек неясного назначения. Она остановила свой выбор на "мерседесе", в котором ее обычно возил Халил и приборы которого были ей в общих чертах знакомы, включая специальную кнопку на панели орехового дерева, переводившую управление центральными воротами с поста охраны на "мерседес".

Вот так Назра оказалась за рулем одной из машин своего мужа и промчалась мимо переполошившейся охраны, а мрачный Шаззик со своими двумя помощниками, свирепыми воинами из племени варга в синих костюмах, немедленно бросился за ней в погоню.

Но куда ей было ехать? Поворот на Вашингтон она уже пропустила.

Едва избежав столкновения с несколькими деревьями и проскочив три-четыре раза подряд на красный свет, Назра на предельной скорости свернула в северном направлении на шоссе 123, и этот факт не укрылся от полицейского Хармона Дж. Джиллетса, служившего в дорожной полиции штата Виргиния.

Именно в тот момент, когда оглушительная сирена и красно-бело-синие всполохи мигалки рядового Джиллетса уже догоняли ее, Назра увидела указатель с надписью: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. ДЖОРДЖА БУША.

В шторм сгодится любая гавань.

Вид приближающегося на бешеной скорости автомобиля, за которым по пятам гонится дорожная полиция, вряд ли может порадовать служащих секретных государственных учреждений США. Поэтому, стоило Назре оказаться у въезда на территорию штаб-квартиры ЦРУ, как перед ней прямо из бетонного покрытия внезапно вырос стальной барьер. Это воспрепятствовало ее продвижению вперед самым решительным и громким образом и повлекло за собой активацию такого количества воздушных подушек внутри "мерседеса", что принцесса просто-напросто исчезла среди них и незамедлительно потеряла сознание.

Пока Назра грезила о бирюзовых антилопах, парящих над бескрайней черной пустыней, и о гигантских алых крабах, пытающихся до-

стать антилоп своими золотыми клешнями (сочетание адреналина, бренди и удара воздушных подушек обычно приводит к весьма живописным видениям), правительство Соединенных Штатов начинало просыпаться и осознавать эпические масштабы этого неприятного происшествия.

Глава первая

В то время как Назра продолжала любоваться своими психоделическими антилопами, сотрудники ЦРУ и патрульный полицейский штата Виргиния Хармон Дж. Джиллетс с оружием наизготовку разглядывали сквозь окна автомобиля свой неожиданный улов. Среди бесчисленных воздушных подушек они смогли разглядеть лишь две определенно женские ручки, одна из которых, а точнее – левая, была унизана таким количеством бриллиантов, что всем их детишкам, собранным воедино, с лихвой бы хватило на курс обучения в престижных колледжах "Лиги плюща"[1] и на юридическом факультете.

В этот момент к месту происшествия подъехала еще одна дорогая машина немецкого производства, в которой сидел мрачный гораздо более обычного Шаззик и два его мукфеллина. Охранники из ЦРУ и патрульный Джиллетс прекрасно видели дипломатические номера, однако оружие убирать не спешили.

Шаззик вышел из машины и в привычной ему властной манере – поскольку приближенные к особам королевской крови Хамуджей отнюдь не отличаются учтивостью по отношению к простолюдинам – провозгласил, что данное транспортное средство содержит в себе члена королевской семьи, а затем незамедлительно предъявил свои права на извлечение вышеупомянутой особы.

Для патрульного Джиллетса это было уже слишком. Когда он служил в морской пехоте, ему довелось провести несколько месяцев в королевстве Васабия во время одного из спазмов американской интервенционистской политики в этом регионе, в результате чего он просто на дух не переносил васабийцев (довольно распространенное, кстати, чувство среди тех, кто там побывал). Полгода, проведенные на военно-воздушной базе имени принца Вадума, сформировали в Джиллетсе, не отличавшемся, в общем-то, никакими особыми предубеждениями, стойкую ненависть даже к самому слову "Васабия".

Он обошелся без привычного "сэр", с которым обращался даже к самым ничтожным из тех, кого ему доводилось останавливать на шоссе, расправил перед камергером внушительную грудь морского пехотинца в запасе, еще крепче сжал рукоятку своего девятимиллиметрового револьвера системы "Глок" и громогласно восстановил попранную юрисдикцию суверенного штата Виргиния. Даже генерал Джексон по прозвищу Каменная Стена, принявший во время Гражданской войны жестокий бой при Первой Бычьей Тропе совсем недалеко отсюда, вряд

1. "Лига плюща" – восемь старейших престижных университетов в штатах Атлантического побережья. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ли превосходил патрульного Хармона Дж. Джиллетса в непреклонности и желании стоять до конца.

Охранники ЦРУ тем временем уже понажимали свои хитрые кнопочки, вызывая прикрытие в виде бронетранспортера, готового (в случае крайнего осложнения ситуации) к запуску ракет, а также к тому, чтобы пропустить электрический ток весьма приличного напряжения через дерзкие тела незваных гостей. Ко всему прочему был задействован и вертолет со снайперами на борту.

А чего мелочиться? Мало ли что?

Посреди всего этого хаоса, образовавшегося из бронетранспортера, лопастей вертолета, пистолетов, мужской ругани и выпячивания грудей, галлюцинации Назры вдруг закончились, и она пошевелилась внутри своего кокона из первоклассного немецкого полистирола. Протиснувшись между воздушных подушек, она с ужасом уставилась на практически батальную сцену, развернувшуюся прямо за окнами ее автомобиля, а после этого сделала то, что любой сделал бы в подобных обстоятельствах. Она полезла в карман за сотовым телефоном.

Флоренс Фарфалетти достаточно долго проработала в министерстве иностранных дел США и поэтому твердо знала, что если звонок раздается после полуночи, то это: а) вряд ли кто-то ошибся номером и б) ничего хорошего от него ждать нельзя. Однако, будучи заместителем помощника заместителя госсекретаря по ближневосточным вопросам (ЗПЗГСБВВ), она в) обязана была снять трубку.

— Фарфалетти, — сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно более профессионально и бодро. Если это вообще возможно посреди прерванного сна.

Несмотря на тот факт, что ее фамилия произносилась вслух уже ровным счетом тридцать два года, она все равно звучала несколько длинновато. Впрочем, сменив однажды имя, Флоренс понимала, что фамилию ей поменять не удастся. Это убило бы ее деда, который по-прежнему и ничуть не стесняясь гордился своей службой в армии Муссолини в Эфиопии в 1930-х годах. Может быть, после его смерти? Ведь ему было уже за девяносто. Или если опять выйти замуж. А пока ей приходилось мириться с этим генеалогическим нагромождением гласных.

— Фло-ренц!

Флоренс боролась с остатками сна. Тем не менее она узнала васабийскую манеру произношения звука "с". Голос был молодой, нетерпеливый, испуганный и знакомый.

— Назра?

— Да, Флоренц! Это я! Это Назра!

Флоренс щелкнула выключателем лампы и, раздраженно поморщившись, посмотрела на часы. Ну что там еще *такое*?

Она знала Назру Хамудж. Они познакомились в Каффе, столице Васабии, когда Флоренс жила там. Назра была дочерью одного мелкого шейха из племени азами. Довольно милая, неглупая и начитанная девушка. Васабийские женщины только чтением и могли пополнить свое образование, поскольку по достижении пятнадцати лет им запрещалось продолжать посещение учебных заведений. К другим женам своего мужа Назра относилась без особого почтения, с видимым удовольствием саркастично называя их "мои *дорогие* сестры". Во время своей тоскливой

жизни в Каффе Флоренс не раз слышала одну и ту же сплетню: принц Бавад женился на совсем молоденькой Назре лишь для того, чтобы позлить свою высокомерную вторую жену Бисму, которой трудно было снести то, что стоявшая в социальном смысле на много ступеней ниже ее Назра теперь вдруг с ней уравнялась.

В Вашингтоне Флоренс и Назра возобновили знакомство на каком-то посольском приеме – для жен васабийцев подобные случаи были редкой возможностью показаться на публике. После этого им еще несколько раз удалось пообедать вместе во французских ресторанах, где Назра заказывала самые дорогие вина, мило улыбаясь красному от гнева Халилу. Флоренс относилась к Назре с симпатией. Та много смеялась и была восхитительно неосторожна. Назра знала, что у Флоренс был собственный опыт с васабийскими принцами, и потому доверяла ей. Флоренс в свою очередь исправно составляла официальные отчеты для Госдепартамента после каждой их встречи. Из чувства приличия и уважения к подруге она иногда умалчивала о некоторых подробностях – касавшихся, например, особенностей любовной практики принца Бавада. Но если бы Назра доверила ей какой-либо стратегически важный для Соединенных Штатов секрет, Флоренс, будучи правительственным чиновником, разумеется тут же проинформировала бы соответствующие инстанции.

Так что же все-таки понадобилось Назре в столь неурочный час?

– Фло-ренц. Ты должна мне помочь! Мне нужно политическое убежище! Прошу тебя!

У Флоренс перехватило дыхание. Политическое убежище. В Госдепартаменте это понятие обозначалось словом на букву "К". Первая категория.

Кошмар в царстве бюрократии.

В этом царстве стоит только шепнуть: "Мне нужно политическое убежище", и по тысячам самых гибких позвоночников в мире от ужаса побежит дрожь. В госдеповских мозгах эта фраза вызывает дьявольские видения: бумажная волокита, депеши, встречи, неловкие ситуации, отказы, новые заявления и – *неизбежно* – разъяснения. Стоит только произнести: "Мне нужно политическое убежище", и дело непременно завершится слезами – не важно, откажут вам или дадут добро. В случае отказа все обычно заканчивается вечерними новостями. Позор нации. Телеведущий с пафосом смотрит с экрана и могильным голосом вопрошает хореем: "*Как* вообще *могло* такое в США *произойти?*"

Короче, Флоренс было уже не до сна. Ее, среднего чиновника министерства иностранных дел, просила о политическом убежище жена полномочного посла той самой страны, откуда в Америку поступала большая часть импортируемой нефти и газа.

Официальная система различия уровней тревоги при нарушении безопасности в правительственных учреждениях США включает шесть цветных кодов: от зеленого до красного. У Флоренс была своя система. И состояла она всего из трех уровней: "Терпимо", "Вот блин!" и "Ни хрена себе!"

Сейчас вся ее психологическая подготовка к поведению в кризисной ситуации полетела псу под хвост. Она вдруг отчетливо услышала свой внутренний голос. Он сказал: "Приплыли". В следующую секунду его заглушил второй голос: "Господи, что же делать?" Второй голос,

правда, был не совсем внутренним и доносился из телефонной трубки. И говорил на васаби.

После этого Флоренс услышала уже свой собственный голос: "Скажи им, что ты ранена. Проси отвезти тебя в больницу. В больницу Фэрфакс. Уговори их, Назра! Ты меня понимаешь?"

Затем она встала, оделась и, несмотря на спешку, надела серьги с жемчугом.

Всегда носи сережки – так говорила ей мама с самого раннего детства.

У входа в отделение "Скорой помощи" Флоренс увидела Шаззика и двух его мукфеллинов. Наверное, впервые в жизни она пожалела, что на ней нет чадры. Пока Флоренс жила в Васабии, она была обязана ее носить, но так и не смогла к этому привыкнуть.

Шаззик был вне себя от ярости, требуя что-то – как она догадалась – от нескольких офицеров безопасности ЦРУ. Впрочем, гораздо больше ее обеспокоило количество полицейских штата Виргиния рядом с больницей. Целых семь патрульных машин. Наверняка кто-нибудь вот-вот позвонит журналистам. А после этого пространства для маневра уже не останется. В жизни не очень много таких ситуаций, которые можно изменить к лучшему после появления на сцене фургонов теленовостей.

По обе стороны от входной двери, ведущей в отделение "Скорой помощи", стояли вооруженные охранники. Флоренс набросила на голову шарф, как импровизированную чадру, склонилась пониже и подошла к ним.

– Я здесь, чтобы видеть Назра Хамудж. Мы из одной семья.

Флоренс старательно имитировала арабское произношение. Со своими темными волосами и смуглым южным лицом она вполне могла сойти за женщину с Ближнего Востока.

– Имя?

Поскольку ни Флоренс, ни Фарфалетти не звучали как-то уж особенно по-васабийски, Флоренс назвала себя Мелатх. На языке васаби это означало "убежище", что вряд ли вызвало бы у охранников виргинской больницы хоть какие-то ассоциации.

Охранники запросили разрешение у начальства. Начальство сказало: впустите.

– С ней все в порядке. Томография никаких нарушений не показала.

Доктор был молод и не так хорош собой, как его коллеги из телевизионных сериалов, однако по взгляду, который он бросил на Флоренс, она поняла, что имеет дело с ценителем женской красоты. С тех самых пор, как под ее окнами начали кружить мальчики, Флоренс уяснила себе, что красота, будучи, разумеется, даром свыше, служит еще и полезным инструментом – надежным, как армейский нож швейцарского производства.

– А вы не могли бы сделать еще одно сканирование? На всякий случай.

– Кем она вам приходится?

– Сестра.

– Понимаете, мы уже установили, что по медицинским показателям с вашей сестрой все в порядке. Вам известно, что она была в состоянии алкогольного опьянения?

— О господи боже мой!

— Ей просто повезло, что она осталась жива.

— Вы можете ее здесь подержать? Под наблюдением?

— У нас тут не исследовательский центр имени Бетти Форд.

— Ну всего пару часов — я прошу вас.

— Вы знаете, страховая компания...

Флоренс взяла доктора под руку и потянула его за собой в угол. Доктор не сопротивлялся. Как правило, мужчины легко следуют в угол за симпатичными женщинами. Теперь Флоренс говорила уже без всякого васабийского акцента.

— Я обращаюсь к вам от лица правительства Соединенных Штатов, — она быстро показала ему свое госдеповское удостоверение. — И прошу вас не выписывать эту женщину из больницы в ближайшие несколько часов. Ведь вы наверняка можете взять у нее еще какие-нибудь анализы?

— Я не понимаю — что происходит?

— Вам известно, что значит "убийство за поруганное достоинство"?

— Послушайте, у нас тут больница...

— В той стране, где она родилась, так поступают с женщиной, которая обесчестила своего мужа или родственника. Ни суда, ни присяжных, ни апелляций — просто смерть. Быстро и навсегда. Забивают камнями или отрубают голову. Вы следите за моей мыслью?

— Кто она такая?

— Жена посла королевства Васабия. Точнее, одна из его жен. Она хотела сбежать. Если вы ее выпишете до того, как я смогу что-нибудь придумать, и она попадет к ним — можете считать, что вынесли ей смертный приговор.

— Господи! Да что вы говорите?!!

— Простите, доктор, что перекладываю это на ваши плечи, — невесело улыбнулась Флоренс.

— И сколько я должен ее тут держать?

— Всего пару часов. Если бы вы знали, как я вам благодарна. Там снаружи стоит высокий мужчина восточного типа с очень неприятной наружностью, худощавый такой, с усиками и козлиной бородкой. Скажите ему, что вам надо взять еще кое-какие анализы и что к ней пока никому нельзя.

— Боже мой, что я делаю!

— Вы просто чудо! Настоящее чудо! Доктор, я ваша должница на всю жизнь.

Флоренс слегка подтолкнула его в сторону вращающейся двери, затем вошла в палату к Назре и отдернула занавес у ее кровати.

Назра, которая вплоть до этого момента изо всех сил старалась держать себя в руках, при виде Флоренс наконец разрыдалась. Вся Великая Пустыня королевства Васабия не видела, наверное, такого обилия влаги за целый год. Как и все остальные женщины своей страны, Назра густо красила ресницы тушью, которая теперь черными струйками стекала по ее смуглым щекам. Флоренс слушала, кивала и протягивала ей бесчисленные салфетки. Назра сбивчиво объясняла, что она ничего такого не планировала, что ни в коем случае не хотела вмешивать Флоренс, что собиралась доехать лишь до вокзала и сесть там в экспресс до Нью-Йорка, а потом... потом будь что будет. Но вместо этого она сверну-

ла направо, и тут вдруг этот полицейский автомобиль, а потом ворота в ЦРУ выскочили как непонятно что... И затем страшный удар. И единственный человек, кому она могла позвонить, была Флоренс. В общем, Назра просила у Флоренс прощения.

Флоренс хотела сказать что-нибудь ободряющее, но промолчала, поскольку оснований для бодрости не было никаких. Она держала Назру за руку и даже сама, казалось, этого не замечала.

В конце концов бурный поток слез иссяк. Назра просто устала и успокоилась. Посмотрев на больничный потолок, она вдруг сказала:

— Что они со мной сделают?

В этот момент занавес распахнулся, и перед ними предстал принц Бавад со своей свитой.

"Надо же, как похож на Отелло, — успела подумать Флоренс. — А вот и Шаззик в роли Яго".

Среди остальных она узнала руководителя службы безопасности Госдепартамента и (о черт!) мистера Даккетта. А также Макфолла, главу ближневосточного отдела ЦРУ.

Из-за спин всех этих представителей официоза долетал голос доктора, мужественно пытавшегося что-то объяснить насчет опасности осложнений, но было ясно, что он здесь уже не хозяин. Принц Бавад, который одним щелчком мог поднять на ноги целое королевство, привез своего личного терапевта и санитаров, чтобы забрать отсюда свою жену. По отношению к Соединенным Штатам Назра была суверенной и неприкосновенной территорией Васабии.

Глава вторая

— Почему она позвонила вам?

— Вы спрашивали об этом уже двенадцать раз.

Двенадцать раз в ходе трех допросов.

На этом присутствовали: Чарльз Даккетт, помощник заместителя госсекретаря по ближневосточным вопросам (ПЗГСБВВ); два блеклых типа из Национального совета по безопасности при Белом доме; госдеповский сотрудник ФБР и какой-то парень из ЦРУ, представившийся явно не своим именем и скорее всего работавший на Макфолла. Плюс стенографист, который все время кашлял.

Флоренс подивилась, почему это они не прислали кого-нибудь из отдела, скажем, градостроительства.

— Тогда я спрошу вас еще раз.

— Может, просто подключите ко мне свои датчики?

Она была уже в таком состоянии, что предпочла бы пройти тестирование на детекторе лжи.

— Никто этого делать не собирается. Почему она вам звонила?

— Почему, почему! Она попала в аварию, Чарльз. Выглянула из окна и увидела мужчин с оружием. Мы с ней знакомы уже давно. Мы дружили. Я женщина. Она оказалась в стрессовой ситуации. Возможно, она хотела поговорить с каким-нибудь отзывчивым человеком из правительства США. Вам ли не знать, как трудно найти такого.

— Почему вы не доложили об этом немедленно?

— Я собиралась... После того как положение стабилизируется.

— Стабилизируется? Попытка изолировать сбежавшую жену дипломата! Жену принца Бавада! На каком языке, скажите на милость, это может называться стабилизацией положения?

— Я просто пыталась выиграть немного времени — вот и все. Она была в панике. Можете назвать это актом человеческого сострадания. А чтобы у вас не оставалось сомнений — я вам сразу скажу, что не являюсь владелицей подпольной железной дороги для беглых васабийских жен. Понятно?

Даккетт раскрыл красную папку с грифом "Совершенно секретно" и что-то там прочитал.

— Вы сказали ей следующее: "Скажи им, что ты ранена. Проси отвезти тебя в больницу. В больницу Фэрфакс. Уговори их, Назра! Ты меня понимаешь?" Почему именно Фэрфакс?

То, что у них была распечатка ее телефонного разговора с Назрой, могло иметь две причины: либо специалисты из ЦРУ обладают возможностью спонтанно перехватывать любой мобильный звонок, сделанный на контролируемой территории, либо — что более интересно — правительство уже до этого прослушивало сотовый телефон Назры.

— Это ближайшая больница.

Даккетт, нахмурившись, открыл зеленую папку с грифом "Совершенно секретно".

— Вы сообщаете, что встречались с ней... семь раз... по самым различным поводам.

— Совершенно верно. Четыре ланча, одно чаепитие в отеле "Времена года" и два похода по магазинам. Все это есть у вас в папке. В желтенькой посмотрите.

Даккетт открыл желтую папку.

— Эти доклады содержат исчерпывающую информацию?

— В каком смысле — исчерпывающую?

— Вы обо всем в них писали?

— Конечно. Обо всем, что имеет отношение к делу.

— А что вы считаете не имеющим отношения к делу?

— Подробности личной жизни.

— Поконкретней, пожалуйста.

— Девичьи разговоры.

Возможно, это был наилучший способ обрисовать проблему всей этой группе самцов с высоким содержанием тестостерона.

Даккетт тяжело вздохнул, как может вздохнуть только истинный бюрократ, — из самой глубины сердца.

— Флоренс, у нас тут не викторина "Двадцать вопросов". *Все*, что она вам говорила, имеет отношение к делу.

Флоренс взглянула на Даккетта, потом на человека из ФБР, на парочку из Белого дома и, наконец, на цээрушника, который явно разглядывал ее не только с деловым интересом. Затем она снова повернулась к Даккетту.

— Хорошо... Назра рассказывала мне, что принц любит курить гашиш. После этого он наряжается в ковбойские сапоги и эту свою национальную тряпочку, которую носят на голове. Больше на нем ничего

нет. Затем он выстраивает в ряд всех своих четырех жен, нагибает их и... в общем, думаю, что технически это можно описать словом...

— Так, спасибо, больше не надо.

Цээрушник разразился смехом. Серые мышки из Белого дома застыли, как будто пораженные громом.

А Флоренс добавила:

— В следующий раз, когда жена дипломата снова доверит мне свои секреты, я непременно сообщу обо всем в письменном виде.

— Оставьте нас на минуту, — попросил Даккетт всех остальных и кивнул стенографисту: — Вы тоже.

Цээрушник, выходя из комнаты, посмотрел на Флоренс и ухмыльнулся.

— Господи боже мой! Зачем вы рассказываете о таких вещах? — в ужасе воскликнул Даккетт. — Да еще в их присутствии! Вы что, не понимаете ситуации? Васабийцы и без того бесятся от злости. Если они узнают, что Госдеп сливает в ЦРУ интимные подробности жизни таких людей... — он схватился руками за голову. — Господи! Да это же катастрофа. Они нас за это распнут. Вы ведь знаете, что они скажут! Что для вас все это было личной вендеттой.

— Бросьте! Я просто пыталась помочь человеку в беде. Уж простите, что это теперь не модно.

— Вы были замужем за васабийцем. Вы итальянка. А "вендетта" — итальянское слово.

— Я ровно такая же американка, как вы. И все это — совершенно другая история. О ней даже вспоминать глупо.

— Вы это их министру иностранных дел попробуйте объяснить!

Флоренс выросла, очарованная рассказами своего дедушки о Ближнем Востоке. В колледже она изучала арабскую культуру и к моменту окончания Йельского университета свободно говорила на арабском языке. Именно в Йеле она познакомилась с Хамзиром, одним из васабийских принцев не очень знатного рода. Хамзир был обаятелен, красив, беспутен, богат и, поскольку успел послужить летчиком-истребителем в Королевских ВВС Васабии, любил полихачить. Ну какая американская девушка, свихнувшаяся на любви к Востоку, устояла бы в этой ситуации? Они поженились практически на выпускном балу.

После медового месяца, проведенного на борту 42-метровой яхты в Средиземном море, Флоренс прибыла в свой новый дом в Каффе, где ей предстояло сделать целый ряд все более и более неприятных открытий. Выяснилось, что Хамзир был не совсем откровенен с ней, описывая ее будущую жизнь васабийской жены-иностранки. Он обещал, что на нее не будут распространяться те строгости, которые касаются местных женщин.

Не о чем беспокоиться, дорогая!

На деле же Флоренс оказалась под настоящим домашним арестом. Она не могла покинуть дом без чадры и без мужского сопровождения. Впрочем, с этим она еще соглашалась мириться. Однако через три месяца выяснилось, что ее противозачаточные пилюли кто-то подменил кусочками сахара — похожими на те, что кладут в кофе. В ответ на ее негодование Хамзир лишь пожал плечами и буркнул, что в любом случае пора заводить ребенка. Флоренс решила отстаивать свои права в стиле

Аристофановой Лисистраты, отказав ему в сексе. Хамзир пришел в бешенство и буквально на следующий вечер сообщил ей за ужином — как мельком вспоминают о назначенном на завтра визите к стоматологу, — что он берет себе вторую жену, одну из его кузин.

И передай кусочек ягненка, будь так добра.

Наутро Флоренс уселась за руль (проступок, наказуемый поркой) и поехала прямиком в посольство США, где, подобно героям космического сериала "Вавилон V", попавшим в беду на чужой планете, не раздумывая, потребовала: "Телепортируй меня обратно, Скотти".

Ответ был таков: "Вы заварили эту кашу, а теперь хотите, чтобы мы вместо вас ее расхлебывали? Прочтите вот это, пожалуйста". И ей вручили буклет с длинным названием "О чем должны помнить американки, выходя замуж за лиц васабийской национальности". Помощь Госдепартамента гражданам США, оказавшимся в экстремальной ситуации за границей, как правило, оборачивается вручением подобного буклета — наряду со списком никуда не годных местных адвокатов — и фразой: "Мы вас предупреждали".

Однако Флоренс оставаться в Васабии не собиралась. Она твердо заявила, что покинет посольство только в автомобиле, направляющемся в аэропорт имени принца Бабуллы, и в сопровождении посольского сотрудника. В итоге некий инициативный молодой чиновник из министерства иностранных дел, имевший, как и она, итальянские корни, провернул быструю и не совсем законную комбинацию с итальянским посольством и помог ей выбраться из страны с итальянским паспортом, на который Флоренс теоретически имела некоторые права.

Вернувшись в Америку, она устроилась на работу в один ближневосточный фонд в Вашингтоне. Как-то раз от скуки и от мыслей об инициативном мидовском чиновнике из Каффы она пошла на собеседование в министерство иностранных дел. Ее приняли на работу. Учитывая свободное владение арабским и глубокое знание местной культуры, ее отправили в Чад. Однако после 11 сентября начальство решило, что она будет полезнее в Штатах, и Флоренс перевели в отдел по ближневосточным вопросам.

Она посмотрела на Даккетта и сказала:

— Ее телефон уже был у них на прослушке? Или они просто перехватили звонок?

— Да какая разница? У них на пленке ваш голос, и вы склоняете ее к побегу. Практически предоставляете поддержку правительства США.

— Но кто все-таки прослушивал телефон? Кто передал вам распечатку разговора?

— Человек Макфолла. Брент... как его там...

— Спросите у него, каким образом этот разговор был зафиксирован.

— Они мне не скажут. Вы же знаете, как они реагируют, стоит только заикнуться об их методах и источниках информации.

— Скажите им, что знаете про их делишки, — шепнула Флоренс.

Даккетт удивленно уставился на нее:

— В смысле?

— Что ЦРУ поставило телефон Назры на прослушку задолго до того, как она врезалась в их ворота. Что они уже давно ее разрабатывают. Что

она их объект. Что они собирались, подцепив ее на крючок, шантажировать принца Бавада.

Даккетт поджал губы и сказал:

— Благодаря вам у них теперь действительно есть кое-что на него.

— Но они не смогут воспользоваться этим, если вы скажете, что разгадали их замысел. Что вы за ними следите. Что вы сорвали их операцию. И что теперь собираетесь залезть на памятник Вашингтону и прокричать об этом во весь голос.

— А если все не так?

— Вот и пусть директор ЦРУ это опровергнет. Прямо в присутствии президента. В его кабинете.

Морщины на лбу Даккетта разгладились, как будто ему неожиданно вкололи инъекцию ботокса. Он на секунду задумался, а потом удовлетворенно хмыкнул. Его ненависть к ЦРУ началась еще во время одной из первых командировок за границу — в Эквадор. Там он отвечал за открытие одного из нелепых американских центров, занимающихся культурным обменом. Этот центр был призван "всячески освещать историческую связь между культурами Соединенных Штатов и Эквадора". На следующий день после открытия всю эту лавочку взорвали. По официальной версии теракт совершили местные партизаны, но на самом деле бомбу заложили специалисты из ЦРУ. Они хотели инсценировать антиамериканские бесчинства, чтобы заручиться поддержкой правительства в ходе своей кампании, которая велась в тот момент против повстанцев. Даккетт десятилетиями зализывал эту рану. Теперь он радостно улыбался.

Пригласив обратно всех участвовавших в допросе, он заявил:

— Я задал мисс Фарфаллетти все необходимые вопросы и к своему удовлетворению установил, что изложенная ею версия событий является полной и достоверной. — Он взял в руки распечатку телефонного разговора Назры и продолжил: — А что касается вот этой вот информации, то я не буду спрашивать ни вас, ни вас, — Даккетт перевел взгляд с одного сотрудника спецслужб на другого, — каким образом она была зафиксирована. Поскольку это может не только скомпрометировать ваши методы и источники информации, но также привести к вопиющему предположению, что одна или несколько организаций, подчиняющихся правительству США, шпионили за женой дипломата. И даже не просто дипломата, а главы целого дипломатического корпуса и близкого друга президента Соединенных Штатов.

— Да говно это все собачье, — сказал цээрушник.

— Которое ваш директор или же ваш, — Даккетт слегка поклонился в сторону обоих агентов, — легко счистит со своих ботинок в кабинете президента, после того как Госдепартамент представит собственное ви́дение этого происшествия.

Агент ФБР и цээрушник изумленно смотрели на Даккетта.

— Если, конечно, — продолжал тот, наслаждаясь моментом своего триумфа, — мы все не придем к соглашению, что дело можно считать закрытым. Принцесса Назра в данную минуту находится на борту транспортного самолета Королевских ВВС Васабии и направляется домой. В средства массовой информации ничего не просочилось. Итак, джентльмены, каков будет ваш выбор?

Люди из Белого дома немного пошептались с работниками спецслужб, и сотрудник ФБР мрачно сказал: "У нас больше вопросов нет". Цээрушник на пороге подмигнул Флоренс.

На следующее утро Флоренс вставила свое удостоверение в турникет при входе в Госдепартамент, сильно подозревая, что на дисплее появится надпись "Недействительно". Однако этого не случилось. Судя по всему, на сей раз она все-таки не лишилась работы в аппарате правительства Соединенных Штатов.

Флоренс искала Джорджа. Этот Джордж был настоящим кабинетным червем в отделе политики и экономики. Во время ланча он развлекался тем, что составлял кроссворды на древнефиникийском языке, помимо которого свободно владел еще одиннадцатью. Джордж утверждал, что на семи из них он видит сны, и, скорее всего, не бахвалился. Его идеалом был сэр Ричард Бёртон, путешественник-полиглот, который жил в девятнадцатом веке, говорил на тридцати пяти языках и видел сны на семнадцати. Один из самых дерзких любителей приключений за всю человеческую историю, для Джорджа Бёртон был мало подходящим образцом для подражания – Джордж страдал агорафобией и за несколько лет работы сумел отвертеться от всех предложенных ему заграничных поездок, кроме разве что командировки на полтора года в Оттаву, где он зато выучил весьма сложный язык канадских аборигенов микмак.

– Ты представляешь, этой ночью мне снился удивительный сон, – сказал Джордж. – На турецком языке. Я был на Босфоре с лордом Байроном и Шелли. Мы сидели, каждый в своей дурацкой педальной лодочке для туристов, и пытались переплыть с одного берега на другой, но континенты вдруг начали удаляться в разные стороны. Что ты об этом думаешь? Слушай, ты выглядишь просто ужасно... А что такое? Мы, видимо, прошлой ночью совсем не спали? У нас головка болит?

– Джордж, сегодня ночью Назра Хамудж просила у меня политическое убежище.

– Ну-у, – разочарованно протянул он. – Если ты считаешь, что это важнее, чем разгадывать мой сон, тогда конечно...

И Флоренс рассказала ему обо всем, что случилось, умолчав лишь о ковбойских фантазиях принца Бавада.

– Н-да. А я, между прочим, догадывался, что заваривается какая-то каша. Депеши в Каффу и обратно мчатся одна за другой. Из Джексонвилла в Вашингтон по тревоге вылетел транспортный самолет, принадлежащий Васабии. О, род людской! О бюрократия!

Внезапно он заметил перемену в лице Флоренс.

– Так это она находится на борту? Боже мой! Я уже слышу, как где-то затачивают клинок. Вжик-вжик...

– Я позвоню Тони Базиллу в Каффу, – сказала Флоренс. – Может быть, он сумеет...

– Что? Взять штурмом дворец? Да брось ты. Забудь об этом. В конце концов, она может отделаться какой-нибудь сотней плетей. – Джордж внимательно посмотрел на Флоренс. – Кажется, мы что-то недоговариваем? Мы не все рассказали? А ну, выкладывай.

– Я... Да ну тебя, – она махнула рукой.

– Тогда по-итальянски.

На этом языке они сплетничали в офисе.

И Флоренс ему рассказала.

— *Мамма миа!* — сказал Джордж. — Всех четверых? Одновременно? Я, конечно, знал, что принц человек веселый, но не до такой же степени. Вот старый козел! Не удивительно, что бедняжка запросила политическое убежище. Она ведь, наверное, мечтала о милой и скучной жизни в пригороде Нью-Йорка. Фартук, домашнее платьице, пирожки, остывающие на подоконнике, золотистый ретривер по кличке... Бренди, занятия фитнессом по вторникам, йогой — по четвергам, экстремальное "Шоу Лорда и Тейлора" по телевизору каждый вечер в половине восьмого во время ужина с мужем по имени Клифф... нет, лучше Брэд. Да — Брэд Сажающий на Кол. Не граф Дракула, конечно, но колышек все же имеется. Хотя об оральном сексе осмеливается попросить только на свой день рождения... Но все оказалось тщетным. Она теперь летит обратно в Васабию. В страну счастья и солнца... Послушай меня, дорогая — ты сделала все, что было возможно. Господь *знает* — ты старалась изо всех сил.

Через два дня Флоренс позвонила Базиллу в американское посольство в Каффе, и тот связал ее с посольским сотрудником, который вел учет экзекуций на площади Секир-Башка. Назре Хамудж отрубили голову на рассвете тем самым утром по обвинению в супружеской измене.

— По нашей информации, она вела себя довольно спокойно. Иногда эти девушки устраивают настоящее светопреставление. В прошлом месяце была жена принца Рахмаля. Вот она им задала жару! Вопила, визжала, пиналась. Пока не накачали ее валиумом, палач просто не мог подступиться. На завтра у них в программе забивание булыжниками. Какая-то дама отважилась положить глаз на своего чернокожего повара. У них тут настоящие "Тысяча и одна ночь". Никак не могут со всем этим покончить. Тоже мне — великая страна!

Глава третья

Если бы у Флоренс был свой кабинет с дверью, она бы крепко захлопнула ее и как следует поплакала в одиночестве, но поскольку не было ни кабинета, ни двери, ей пришлось воспользоваться женским туалетом. Она просидела там почти все утро, до тех пор пока Джордж не попросил одну из своих сотрудниц выманить ее оттуда.

Увидев ее, он покачал головой и сказал:

— Если честно, ты бы сейчас гораздо лучше выглядела в чадре.

После этого он посадил ее в такси и отправил домой.

Дома Флоренс выдернула телефонный шнур из розетки и улеглась в постель. Ей приснилась Назра, лежавшая на больничной койке с перепачканными тушью щеками, и Шаззик, в халате медсестры, который ставил ей капельницу со смертельным ядом. Тело Назры постепенно съеживалось и становилось все меньше, пока его не засосало в трубочку от капельницы, а потом она оказалась в пластиковом мешочке с ядом. Назра кричала оттуда о помощи, но ничего не было слышно.

Проснувшись в холодном поту, Флоренс забралась в ванну и долго стояла под душем.

На следующее утро она пошла на работу и в течение ближайших трех дней не уходила из офиса раньше полуночи.

Закончив наконец свой лихорадочный труд, она распечатала три пронумерованных варианта, вложила их в папки с грифом "Совершенно секретно" и передала одну секретарше Даккетта, другую вручила Джорджу, а третью отправила прямиком на самый верх.

– Так вот чем ты занималась целых три дня, – сказал Джордж, открывая папку.

Он прочел заглавие на титульной странице и даже присвистнул. После этого он буквально проглотил пятьдесят с лишним страниц.

– Ну как? – спросила его Флоренс.

– Просто не мог оторваться. Хотя в середине надо немного отшлифовать. Практику клиторального обрезания у женщин племени хавави инициировал Таллула Второй, а не Третий. И называется эта операция, между прочим, *куйша*, а не *куйшаа*. С ударением на первый слог.

– А помимо этого что-нибудь?

– Думаю, что вся эта писанина помогла тебе справиться с нервным срывом.

– Ты знаешь, я передала это Даккетту.

Джордж в изумлении уставился на нее.

– А почему бы тебе сразу не зарезать его кинжалом Малаля?

Этот кинжал девятнадцатого века, выкованный из золота и серебра, был подарком принца Малаля, министра сельского хозяйства Васабии, и всегда лежал на столе их босса. Возможно, это был самый дешевый подарок, когда-либо сделанный особой королевской крови из Васабии, но Даккетт тем не менее им гордился. Он открывал с его помощью письма, а иногда драматически взмахивал им над головой, когда хотел сказать что-нибудь особенно важное.

– Джордж, я спрашиваю тебя – что ты об этом думаешь?

– Даже не знаю, с чего начать. Это сильно отличается от наших обычных меморандумов... Слушай, ну ты ведь не передавала это ему? Ну, скажи честно.

Флоренс кивнула:

– Ему и ГС.

– Ты отправила это ГС?

Глаза Джорджа стали круглыми от удивления.

– Конечно. Чтобы Даккетт не положил это под сукно. Ты же сам всегда говоришь: легче потом извиниться, чем просить разрешения.

– Так, – сказал Джордж. – Так, так, так... Круто.

В этот момент зазвонил телефон Флоренс.

– Флоренс? Мистер Даккетт хочет вас видеть. Немедленно.

– Ты что предпочитаешь? – сказал Джордж. – Кремацию или традиционное погребение?

Флоренс вошла в кабинет Даккетта без стука и осторожно закрыла за собой дверь. Дверь зловеще щелкнула.

Чарльз Даккетт сидел, откинувшись на спинку своего кресла, будто стараясь отодвинуться как можно дальше от лежащего перед ним документа. Он смотрел на него, словно на полуразложившийся труп какого-то животного, которое кощунственно подбросили на древний алтарь, предназначенный совсем для других целей.

На титульном листе вызывающе чернело заглавие:

ЭМАНСИПАЦИЯ ЖЕНЩИН КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Составлена: *Флоренс Фарфалетти, ЗПЗГСБВВ*
Предназначена для: *Госсекретарь, ПЗГСБВВ*

– Я знаю, что вам было тяжело, Флоренс, – наконец заговорил Даккетт. – И я понимаю, что...

– Чарльз, я отправила этот документ госсекретарю без вашего одобрения лишь потому, что хотела снять с вас всякую ответственность. И, если честно, я знала, что одобрения от вас не получу. Итак, что вы думаете?

– Что я думаю? – произнес Даккетт с отсутствующим видом. – Вы хотите узнать мое мнение о том факте, что один из моих заместителей, чьи действия напрямую отражаются на мне, распространил докладную записку, призывающую к созданию революционной ситуации в некой стране, которая обеспечивает треть энергетических потребностей США, в стране, являющейся нашим формальным союзником, в стране, с которой мы практически и стратегически связаны... И этот человек не просто распространил ее, а прямиком отправил... государственному секретарю. И вы хотите спросить, *что я об этом думаю?*

– Я искренне верю, что...

– Послушайте, вы видите этот телефон на моем столе?

– Да, Чарльз. Телефон я вижу.

– Так вот, в любой момент этот телефон может зазвонить, и звонок будет из офиса ГС. *Госсекретарь хочет вас видеть, мистер Даккетт. Прямо сейчас.* Вот что скажет голос по телефону.

– Чарльз...

– За все время, что я здесь работаю, я изо всех сил старался, чтобы мои нечастые визиты к ГС были для меня моментами счастья. По разным причинам политического характера это не всегда удавалось. Однако по крайней мере завидев меня входящим в его кабинет госсекретарь не говорит самому себе: *А, вот и Чарли Даккетт! Не тот ли это из моих ребят, чьи сотрудники шлют мне всякую дрянь с предложениями подорвать социальную структуру важнейшего стратегического партнера Америки на Ближнем Востоке? Ну конечно, заходи, старина Чарли! Что на сей раз преподнесли эти твои задрипанные работнички? Хо-хо-хо! Надеюсь, газетчики из "Вашингтон пост" не пронюхают, что я читаю проекты, предлагающие переворот в Васабии. Ха-ха-ха! А то непросто мне будет разговаривать с принцем Бавадом за обедом в следующий четверг у меня дома. Да, и вот еще что, братишка Чарли! Говорят, твои люди соорудили подпольную железную дорогу для его беглых жен? Блин, как мне самому в голову не пришло. Это же лучший способ достижения взаимопонимания между нашими странами! Давай мы знаешь что – мы эту твою девчушку продвинем!* – Даккетт наконец сделал паузу, а потом вдруг закричал: – Ты что, совсем охренела, Фарфалетти?!!

– В своем письме госсекретарю я подчеркнула, что вы не визировали мою докладную записку.

Даккетт потер лоб рукой. Морщины на нем на этот раз были глубже обычного.

— Послушайте, Флоренс, я вас прикрывал. Я делал то, что делать был совсем не обязан. Теперь же я начинаю думать, что вы работаете на них.

— На них? Вы о ком говорите?

— *На них,* — Даккетт сделал многозначительное лицо.

— На ЦРУ? Чарльз, я работаю в Госдепартаменте. Я работаю на вас.

— Нет-нет. Такое могут придумать только у них. Разрушить Госдеп изнутри. Они мастера на такие штуки.

— Чарльз, я на вашей стороне. Я просто пытаюсь мыслить по-новому, отказавшись от стереотипов. Выбравшись из тесного ящика...

— Из какого еще там ящика? Из ящика Пандоры?

— Если мы действительно хотим перемен на Ближнем Востоке, то это самый разумный способ добиться их. Я в этом убеждена. А может быть, даже единственный способ.

— Слушайте... Как бы это подоходчивей вам объяснить?.. Поймите, перемены на Ближнем Востоке — не наша работа.

— Не наша?

— Нет, не наша. Наша работа — разруливать то, что есть.

В этот момент на столе зазвонил телефон. По лицу Даккетта скользнула тень ангела смерти.

— Да? — мрачно сказал он, с трудом проглатывая слюну. — Хорошо. Сейчас буду.

Он положил трубку и посмотрел на Флоренс.

— Ну что, довольна?

— Позвольте мне пойти с вами. Позвольте самой изложить суть дела. Я справлюсь.

Даккетт медленно поднялся из-за стола с потерянным лицом.

— А я так рассчитывал на кресло посла, — сказал он. — Оно ведь практически было моим. Все было решено. Мне уже сказали.

Шаркая ногами, он вышел из кабинета, как пациент психиатрической клиники, направляющийся в своих старых растоптанных шлепанцах за ежедневной порцией пилюль.

Джордж поджидал Флоренс на ее рабочем месте.

— Ну и куда прикажешь отправить твои останки?

На следующее утро на столе Флоренс лежало уведомление, гласившее, что ее просьба о переводе в отдел виз консульства США в республике Кабо-Верде удовлетворена и будет исполнена немедленно.

— Могла бы сказать мне, что просила о переводе, — сказал Джордж. — Я думал, у нас с тобой отношения.

Флоренс мрачно смотрела на полученное уведомление.

— Хорошо, давай прикинем, какие тут плюсы, — сказал Джордж. — Синее море, чайки, свежий воздух, устойчивый климат. Особенно в сезон ураганов. К тому же роскошная возможность понаблюдать за китами. Ты знала о том, что большинство гарпунеров с нантакетских китобойных судов родом как раз оттуда?

— Слушай, заткнись, Джордж.

— Мне просто показалось, что это очень клёвое предложение... Черт! Я буду без тебя скучать.

— Я не еду в Кабо-Верде. Можешь не чертыхаться.

— Ты что, решила уволиться? Да перестань. Съезди на пару месяцев. Даккетта тем временем тоже задвинут куда-нибудь — не успеешь оглянуться. Считай, что поехала в отпуск. Ты только представь себе: пляж в Кабо-Верде, ночи напролет в обнимку с местными чуваками. Вернешься загорелая, отдохнувшая и готовая к бою. Короче, поезжай, Фьоренца.

Джордж был единственным, помимо членов ее семьи, кто так называл Флоренс. Неизвестно, каким образом он угадал. Это имя она получила при крещении. Ее отец, уроженец Флоренции, даже поспорил со священником, поскольку тот сначала отказывался так ее называть из-за отсутствия в святцах святой Фьоренцы. Но какой теологический спор нельзя уладить при помощи купюры в сто долларов? На американский манер Флоренс переделала свое имя уже в пятом классе, устав от бесконечных насмешек одноклассников. Однако Джордж предпочитал называть ее Фьоренца, утверждая, что "Флоренс" звучит слишком по-деревенски.

— Нет, я ухожу, — решительно сказала она.

Затем Флоренс собрала свои вещи и на прощание поцеловала Джорджа в лоб.

Какие у нее были перспективы?

В Вашингтоне существовало не менее дюжины самых различных фондов, где ее знание Ближнего Востока могло найти гораздо лучшее применение, чем на заброшенном архипелаге у берегов Сенегала. Где еще, как не в таком фонде, она сможет безболезненно спуститься с небес на землю? И тем не менее ей было не по себе.

Все оказалось глупым и напрасным.

День был прохладный. Бодрящий осенний воздух забирался под черный кожаный комбинезон Флоренс, из-за которого уже немало мужчин едва не свернули себе шею. Отправив заявление об уходе с работы, Флоренс теперь с легким сердцем застегнула молнию комбинезона, стянула волосы в хвост, надела красный шлем, стукнула рукой по козырьку, нажала кнопку стартера на своем мотоцикле и на бешеной скорости с ревом вылетела из города.

В конце Ривер-роуд она свернула налево и помчалась по загородной трассе. Мельком взглянув на спидометр, она увидела, что стрелка зашкаливает за сто сорок. Слишком быстро, но какое блаженство! Осенний лес на такой скорости сливался в сплошное пятно золотистого, красного и оранжевого цвета.

Неожиданно в зеркале появился другой цвет — совершенно чуждый лесным краскам. Это была вспыхивающая мигалка. На секунду Флоренс захотела добавить газу и оторваться, но потом все же притормозила и съехала к обочине, чтобы дождаться неизбежной фразы: "Вы хоть знаете, с какой скоростью ехали, мэм?"

Автомобиль, остановившийся позади ее мотоцикла, не был раскрашен в полицейские цвета. Мужчина, который вышел из этой машины, тоже почему-то был в штатском. Однако, пожалуй, больше всего Флоренс удивил его возраст. Ему явно перевалило за шестьдесят. Судя по фигуре, можно было сказать, что он когда-то занимался профессиональным спортом или служил в армии. Седые виски и очки в металлической оправе на остром носу придавали ему элегантности. Когда он

приблизился, Флоренс разглядела его глаза. Они были голубые, и в них явно плясали чертики. Губы его были плотно сжаты, однако в них не было ничего отталкивающего, а наоборот – они даже как будто улыбались. Весь этот человек явно не соответствовал ситуации. Флоренс посмотрела на мигалку машины. Кто это? Начальник полиции округа? Шериф?

– Боже мой, юная леди! Сто сорок километров в час – да еще по дороге, на которую иногда выходят олени. Так ведь можно убиться.

Это было сказано неожиданно отеческим тоном.

– Вы только представьте себе – *какая* могла быть для всех нас потеря, – сказал он улыбаясь.

– Простите, – прервала его Флоренс, – но кто вы такой?

– Вот интересный вопрос, не правда ли? – усмехнулся он. – Отличный у вас мотоцикл, как я погляжу. Раньше, между прочим, я и сам любил погонять на таком. О да!

Флоренс, которая так и не сошла со своего мотоцикла, потянулась к кнопке стартера.

– Да подождите вы, не спешите, – остановил он ее. – Думаю, вам будет интересно услышать то, что я хочу рассказать. Очень интересно.

Почему-то она не нажала на стартер.

– Могу я попросить ваши документы? – вежливо сказала она.

Мужчине, судя по всему, эта просьба показалась забавной.

– Ну разумеется, – сказал он. – А вы какие хотите?

– Послушайте, сэр...

– Мы прочли вашу докладную записку, Флоренс.

Глаза Флоренс округлились.

– Я имею в виду ваш проект стабилизации на Ближнем Востоке. Очень интересно и очень оригинально. Вам определенно удалось выбраться из тесного ящика стереотипов. Понятно, почему эти бюрократы из Госдепа хотели заслать вас в Кабо-Верде! Мне, например, долго пришлось искать это местечко на карте. Настоящая глухомань. Разрешите угостить вас кофе? Я, разумеется, понимаю, что несколько форсирую события...

– А вы сами не из Госдепартамента? – спросила Флоренс.

– Да нет, не похоже на то. Короче, я угощу вас. Тут непременно где-нибудь должен быть "Старбакс".

– Послушайте, я...

– А помните "Старбакс" в Каффе?

– Что?

– Тот, который на углу улиц Алькаказир и Бен Катиф? Помните, как мукфеллины заставили хозяина прикрыть голую грудь у русалки на вывеске? И знаете, что смешно? С тех самых пор, заходя в любой "Старбакс", я почему-то всегда смотрю на ее грудь. Наверное, проверяю. Глупо, конечно, но тем не менее... Ну, как мы поступим? Вы поедете за мной или я за вами?

– Я...

– Понимаю. Вы приехали сюда, чтобы ощутить ветер у себя в волосах, чтобы дорога мчалась вам навстречу. Но я прошу всего десять минут вашего времени, которое мы проведем в безопасном и хорошо освещенном общественном месте. Если после нашего разговора вы захотите уйти, никто вас задерживать не будет. А я в любом случае запла-

чу за кофе. Вам ведь нравится низкокалорийный двойной в большом стакане? А вместо сахара — специальный заменитель, желательно не в форме противозачаточных пилюль...

Единственный человек, которому она сообщила о пилюлях, был оператор, работавший на детекторе лжи в Госдепартаменте, когда она проходила проверку при поступлении на работу. Флоренс просто не знала теперь, что сказать этому типу, и поэтому последовала за ним на своем мотоцикле в пригородный "Старбакс".

Они сели снаружи, рядом с парковкой, на которой стояло множество дорогих автомобилей. Владельцы этих машин все как на подбор напоминали хозяев конных заводов.

— Послушайте, — сказала Флоренс. — Прежде чем мы продолжим... Может быть, все-таки скажете, кто вы такой?

Мужчина на несколько секунд задумался, а потом, улыбнувшись, сказал:

— Почему бы вам не называть меня дядей Сэмом?

— Из чего следует, что вы работаете на правительство. Что вам нужно?

— Вполне возможно — то же самое, что и вам. Долгосрочная политическая стабильность на Ближнем Востоке. А что? Неплохая задача.

— Вы согласны с тем, что я изложила в докладной записке?

— По-моему, все остальное мы уже перепробовали. И что у нас из этого получилось? Тихий ужас. Вы знаете, я всегда говорил: если не можешь решить проблему, сделай так, чтобы она разрослась. Ведь что замечательно в нас, американцах, — это наши добрые намерения. Но в итоге почему-то всегда всё выходит криво. Впрочем, я не буду мучить вас всей этой скучной чепухой. Думаю, вам не терпится поговорить начистоту. Ну что же, давайте поговорим. И знаете что? Учитывая специфику интересующего нас региона, почему бы нам не сделать это в стиле сказок "Тысяча и одна ночь"? Я буду вашим джинном из лампы. Загадайте три желания, которые может исполнить только старое доброе правительство США. Если вы останетесь недовольны... ну что ж, по крайней мере бесплатный кофе будет вашим призом. Итак?

Флоренс на секунду задумалась.

— Завтрашний ЕОНП, — наконец сказала она.

Дядя Сэм поперхнулся:

— Ого!

Ежедневный обзор новостей для президента, вручаемый первому лицу государства каждое утро, являлся самым секретным документом в правительстве. Помимо президента Соединенных Штатов с ним могли ознакомиться не более пяти человек.

— Спасибо за кофе.

— Поаккуратней на дороге, юная леди.

На следующее утро Флоренс поднялась как обычно в половине шестого и собралась на свою пятимильную пробежку. Открыв дверь, она обнаружила на пороге конверт. Флоренс вскрыла его и на первой странице вложенного документа прочла надпись крупными буквами: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА. Чуть ниже стояла дата — этот день наступил всего шесть часов назад.

Флоренс стала читать дальше.

В Кремле замышляли использовать нервно-паралитический газ для штурма базы чеченских террористов. Президент Венесуэлы был... Флоренс удивленно подняла брови. В Японском море американская подводная лодка тайно следовала за северокорейским сухогрузом, на борту которого предположительно находилась... О господи боже мой.

И все же не было никаких гарантий, что документ подлинный. Флоренс, как и многие другие, кому довелось потереть волшебную лампу, пожалела, что не придумала чего-нибудь получше.

Два дня спустя она раскрыла утреннюю газету и прочла заголовок:

ВМФ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ НАПРАВЛЯЮЩИЙСЯ
К БЕРЕГАМ ЯПОНИИ СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ СУХОГРУЗ
С ЯДЕРНОЙ РАКЕТОЙ НА БОРТУ

Через час, которого ей не совсем хватило, чтобы собраться с мыслями, зазвонил телефон. Это был дядя Сэм.

— У меня к вам просьба, — сказал он. — Второе желание загадывайте попроще.

— Договорились, — ответила она. — Десять миллионов долларов в золотых васабийских монетах.

— Вы их, конечно, вернете?

— Возможно.

На следующий день ближе к вечеру к ней в дверь постучали. Флоренс посмотрела в глазок и увидела посыльного службы ФедЭкс[1] с тремя большими коробками.

— Фарфалетти? Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Тяжелые они, я вам скажу.

Когда зазвонил телефон, Флоренс сидела в своей гостиной, уставившись на груды сверкающих золотых монет с королевским гербом Васабии. В трубке опять раздался голос дяди Сэма:

— ФедЭкс. Быстро работают, не правда ли?

— Ладно, сдаюсь, — сказала она. — Вы меня убедили.

— А третьего желания разве не будет?

— Я, пожалуй, его придержу.

— Ну просто гора с плеч, — вздохнул он. — Я уж боялся, что вы потребуете ядерную боеголовку. Вы очень и очень требовательная юная леди. Добро пожаловать в команду.

— А все-таки — в какую команду?

— Ни о чем не спрашивайте и никому не рассказывайте. Единственное, что вам нужно знать, это лишь то, что у вас теперь самая лучшая работа в правительстве Соединенных Штатов. Никаких Чарли Даккеттов, заглядывающих вам через плечо, никаких бесконечных отчетов, меморандумов и прочей белиберды. Никаких инспекторов и сенатских комиссий. Если вам что-нибудь понадобится для работы, просто попросите это у своего доброго дядюшки. Помня о здравом смысле, конечно. Мне бы не очень хотелось получать счета от Мазерати, или Шанель, или Ван Клиф энд Арпелс.

— А в каком *секторе* правительства я буду работать?

1. "Федерал экспресс" — крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей.

– В департаменте свободного мышления.

– Перестаньте. Я правда хочу знать.

– Юная леди, вы получаете безлимитную кредитную карту. К чему тут вопросы?

– А если меня поймают?

– Ага, – усмехнулся он. – Мы с вами похожи. Всегда предполагать самое худшее!

– Вы знаете, на секунду мне показалось, что я разговариваю с сатаной.

– С сатаной? Какие ужасные вещи вы говорите. Я один из самых милых людей на свете.

– Ну хорошо. А почему именно я?

– Но это ведь была ваша идея. К тому же вы знаете язык. И регион.

– Таких специалистов немало.

– Да, но это еще и вендетта. Вы же итальянка!

– Если б я знала, где вас найти, я бы непременно подала в суд за дискриминацию.

– Вот видите – сколько в вас страсти. Вам очень легко будет эмансипировать женщин во всем арабском мире. Для достижения долгосрочной политической стабильности в регионе, конечно. Это успокаивает вашу уязвленную национальную гордость?

– Для начала сойдет.

– В следующий раз, когда увижу итальянский крестный ход, непременно пришпилю десять долларов к платью Девы Марии.

– Вам это обойдется в двадцать баксов.

– Для внучки одного из бывших солдат Бенито Муссолини, воевавшего в Северной Африке, у вас крайне несговорчивый характер, моя юная леди. Впрочем, ладно... Давайте обсудим состав вашей группы.

Глава четвертая

Глубоким знанием своего дела Рик Ренард был обязан самому лучшему – или же самому худшему (в зависимости от того, как вы вообще относитесь к этой профессии) – специалисту в области пиара, Нику Нейлору[1]. Свою скандальную славу Нейлор приобрел будучи главным представителем в СМИ американской табачной индустрии во время ее последней, поистине геркулесовой битвы с армией неопуритан. Для него эта история закончилась тем, что он на двадцать месяцев попал в федеральную тюрьму – с минимальной охраной, как он сам не раз с гордостью заявлял, – за организацию собственного похищения, якобы устроенного антитабачными террористами. Теперь Нейлор резвился на густых и сочных пастбищах Голливуда, обслуживая тщеславных представителей кинопролетариата, запросы которых в любом случае никто и никогда не способен удовлетворить, что в свою очередь гарантирует пиарщику пожизненное трудоустройство. В минуты откровен-

1. Ник Нейлор – герой романа К. Бакли "Здесь курят" ("ИЛ", 1999, № 11–12).

ности Ник признавался своему протеже, что проталкивать клиента на номинацию киноакадемии или манипулировать сплетнями о брошенном партнере той или иной голливудской звезды — это, конечно, совсем не те героические дела, которые вершатся в Вашингтоне, и тем не менее всем этим вполне можно заниматься с приятностью для жизни в благодатном и благоухающем лос-анджелесском краю. Всякий раз, когда Рику удавалось дозвониться своему наставнику, он слышал в телефоне мягкое, сдержанное урчание двигателя одного из лидеров немецкого автомобилестроения, который как всегда работал на холостом ходу. "Я потратил на эту машину сто двадцать тысяч, — любил говаривать Ник. — И, ты знаешь, она легко разгоняется до семи километров в час за двадцать минут. Для переговорной комнаты — просто бешеная скорость".

Ник уже долгое время пытался переманить Ренарда в Калифорнию. Ах, эти деньги! Эти бассейны! Эти женщины! Однако Рик все еще не был готов кинуть свой по-прежнему острый клинок к ногам девушек в полосатых халатиках, которые делают клиентам педикюр у бортика бассейна с бирюзовой водой, расположенного на крыше особняка. Рик многому научился у Ника Нейлора. Теперь, когда он был в зените своей карьеры, даже самые завистливые из его коллег признавали за ним первенство в кругах столичных пиарщиков, поскольку даже самые безнадежные, самые нелепые PR-проекты были ему по плечу.

Именно Ренард сумел помочь Американскому колледжу князей церкви замять скандалы вокруг историй с "мальчиками за алтарем". Чуть позже "князья" негласно поручили ему продвижение одного американского кардинала на папский престол, но эту миссию Рик провалил. Арест швейцарскими гвардейцами, высылку за пределы Ватикана и запрет на въезд в святой город трудно назвать триумфом специалиста по связям с общественностью. Особенно в свете того, что следующим папой был провозглашен уроженец Мадагаскара. И тем не менее ему вполне удавалось влиять на общественные взгляды у себя на родине. Бывшие "мальчики из-за алтаря", с их бледными лицами и подергивающимися членами, а также свора дорогих адвокатов, которые кормились вокруг них, перестали быть темой номер один.

Однако внимание Флоренс к Ренарду привлек другой животрепещущий религиозный скандал.

Примерно за год до этого преподобный Роскоу Б. Святсон — "Б значит Бог", как скромно объяснялось в его брошюрках, — являвшийся духовным лидером нескольких сотен тысяч фанатично преданных ему "Баптистов Юга", заявил со своей телевизионной кафедры в городке Лоблолли, штат Джорджия, что пророк Магомет был дегенератом. После этого даже весьма радикально настроенные евангелические элементы пришли к общему мнению, что преподобный соскочил с катушек, а то, что началось среди полутора миллиардов последователей пророка, просто не поддается описанию. С вершин сотен минаретов полились анафемы и проклятия, которые, казалось, только подзуживали святого отца и его подручных. Подобно закованным в броню крестоносцам на стенах осажденной Акры, они отвечали огнем на огонь и угрозами на угрозы.

Вся эта неразбериха самым неудобным образом приключилась в разгар первого круга предвыборной президентской гонки, в связи с чем

всем кандидатам пришлось тратить бесценный телевизионный эфир на осуждение действий преподобного, вместо того чтобы живописать свои дерзкие представления о будущем Америки. События достигли апогея, когда губернатор Джорджии оказался в незавидном положении, потребовавшем от него вызова Национальной гвардии для защиты преподобного Святсона, который в ответ на совершенные против него акты насилия забаррикадировался внутри своего "Святилища Святсона" стоимостью в 12 миллионов долларов вместе с недобитой кучкой вооруженных до зубов страдальцев за веру.

Мало кто из пиарщиков рискнул бы сунуться в этот змеиный клубок. Однако спустя всего несколько часов после того, как вертолет преподобного был сбит из ручной ракетной установки, Рик Ренард выступал уже практически на всех телевизионных каналах, делая заявления от имени наследников преподобного, призывая остановить насилие и начать мирный процесс. Более того — он обещал собрать пять миллионов долларов на строительство баптистско-мусульманского межкультурного центра в студенческом городке университета им. Святсона, в котором должно быть как минимум пять баскетбольных площадок, выходящих на восток, чтобы любой желающий имел возможность совершить намаз прямо в процессе игры.

В настоящее время взаимоотношения между последователями Святсона и не слишком многочисленными мусульманами штата Джорджия были несравненно более мирными, чем во время тех событий, которые впоследствии получили название "Дни гнева". Благодарить за это нужно было не только безымянного стрелка с ракетной установкой SA-7 на плече, сделавшего роковой выстрел по вертолету преподобного Святсона, но также и Рика Ренарда, который умел, что там греха таить, плести свои кружева.

В общем, Флоренс считала, что такой бесстрашный человек просто обязан работать в ее команде.

Контора с длинным названием "Ренард стратиджик комьюникейшнз интернейшнл" располагалась в двух кварталах от вашингтонского района Дюпон-серкл[1], достаточно удаленного в топографическом смысле от улицы К-стрит — этого свиного загона (кое-кто мог бы сказать: грязного корыта) американской политики — и в то же время достаточно к ней близкого, чтобы Рик мог пообедать с кем-нибудь из своих друзей и задушевных приятелей, которые по большей части обитали именно там.

Договариваясь о встрече по телефону, Флоренс обмолвилась, что представляет "серьезного корпоративного клиента". Для слуха пиарщика не существует более соблазнительного словосочетания. Ренард заявил, что весь этот день у него расписан, а потом якобы случайно обнаружил в своем расписании свободные полчаса. Да-да, он сможет принять ее сегодня после обеда.

Войдя в его кабинет, Флоренс с удивлением обнаружила, что Рик Ренард решил отказаться от традиционной "Вашингтонской стены тщеславия", увешанной фотографиями в рамочках с изображением политиков, предлагаемых на продажу. Цена того или иного политика оп-

1. Престижный жилой район, расположенный в нескольких кварталах от Белого дома.

ределялась размером фотографии. Если политик на фото играл с хозяином кабинета в гольф или курил с ним кубинские сигары, клиент мог ожидать десятипроцентного налога, поскольку хозяин кабинета и политик были большие друзья.

Вместо всего этого позади рабочего стола Ренарда Флоренс увидела огромную стенную роспись — буквально от пола до потолка. Это было изображение знаменитой обложки журнала "Нью-Йоркер", на которой весь мир западнее Нью-Йорка был представлен как незначительная и не заслуживающая внимания территория. Границей цивилизованного мира в этой версии являлась река Потомак. Все, что располагалось за ней, было обозначено одним словом MICROSOFT. За Тихим океаном лежала страна, которая называлась SONY.

Скромный намек на то, как высоко летает хозяин *этого* кабинета.

Само собой разумеется, что ни один из этих корпоративных титанов не был клиентом Ренарда и вряд ли собирался им стать. Его клиенты по большей части старались держаться в тени. Впрочем, Ренарду от этого не было стыдно, поскольку его профессия в принципе не знает, что такое стыд. А даже если и знает, то никогда не признает этого.

На другой стене висело несколько часов, показывающих время в разных мировых столицах. Очевидно, это подчеркивало глобальный размах компании "Ренард стратиджик комьюникейшнз интернейшнл". К примеру, где-нибудь в Джакарте запросто могло быть четыре часа утра, но сей факт ни в коем случае не остался бы незамеченным здесь, в штаб-квартире этой планетарной сети.

Все это Флоренс успела заметить, пока Рик Ренард с улыбкой вставал из-за своего стола, протягивая ей руку.

— Мисс Фарфалетти, — сказал он, произнося ее имя с таким глубоким значением, как будто важнее этого имени не было ничего на свете.

Он изо всех сил старался не пялиться на нее, однако не сразу смог отвести взгляд от столь неожиданной красоты, посетившей его. Она вдруг напомнила ему о том итальянском художнике... Как там его зовут? *(Нет, надо непременно поработать над своей памятью. Имена всегда производят сильное впечатление на определенный тип клиентов.)* Моди... *что-то.* Тот, который рисовал женщин с головками слегка набок и с таким взглядом, как будто они умоляют художника: "Ну переспи со мной, ну *пожалуйста*". Иногда они были обнажены, и от этого у Ренарда возникало непреодолимое желание оказаться в той самой художественной мастерской в тот момент, когда краски на полотне еще не успели высохнуть.

— Мистер Ренард?

— О, простите меня. Что-то я вдруг задумался. Мы с вами раньше нигде не встречались, мисс Фарфалетти?

— Нет. Но я ваша большая поклонница.

— Фарфалетти, — задумчиво произнес он. — Это у нас...

— Финская фамилия.

Ренард улыбнулся. Правило номер один: всегда улыбайся шуткам возможного клиента.

— А я чуть не сказал — датская.

— С итальянского это можно перевести как "маленькая бабочка".

— Это фамилия вашего мужа?

— Нет, мистер Ренард.

— Хорошо... Итак, чем я могу вам помочь? По телефону вы сказали, что ваше дело имеет какое-то отношение к Ближнему Востоку, — Рик с величавой небрежностью повел рукой в сторону своей "Стены циферблатов", один из которых показывал время в Дубаи. — В этом регионе у нас несколько филиалов.

— Мистер Ренард, — улыбнулась Флоренс, — у вас несколько пунктов пересылки почты "в этом регионе". Обыкновенные почтовые ящики. Их вряд ли можно назвать филиалами.

Рик слегка покраснел.

— Н-да... — произнес он. — Хотя при нынешних средствах коммуникации — кому они нужны, эти офисы? Но могу вас заверить, у нас имеются связи в тех краях. У меня вот как раз сегодня утром был телефонный разговор с Дубаи.

— Да? И что там в Дубаи?

— Ну вы, разумеется, понимаете — я не могу говорить о конкретных клиентах. Однако, думаю, будет уместным сказать, что ситуация там сейчас не самая радостная. Хотя что там вообще может быть радостного, в тех краях?

— А вы все еще работаете на правительство Северной Кореи?

— Нет, мисс Фарфалетти. Это был разовый проект. И я согласился на него еще *до* всей этой японской шумихи.

— Вы имеете в виду шумиху вокруг едва не случившегося ракетного удара по Японии?

Ренард неловко откашлялся и сказал:

— В настоящий момент у меня нет деловых связей с правительством Северной Кореи.

— А не напомните — как тот скандал назвали в газетах? Кажется — "Поле мучеников"?

— Мне не было известно, что это поле для гольфа создавалось с использованием так называемого рабского труда, — пожал плечами Рик. — Рабство — это ведь относительное понятие, не так ли?

— Ну не совсем.

— Меня просто попросили организовать турнир по гольфу с участием больших звезд для развития взаимопонимания между народами и мирного сосуществования. В тот момент я не видел в этом ничего плохого... Стал бы я заниматься этим опять? — Рик снова пожал плечами. — Скорее всего нет. Однако моя работа ведь не в том, чтобы решать — кто из моих клиентов хороший человек, а кто плохой. Мне кажется, я просто должен доносить до широкой общественности то, что мои клиенты хотят сказать миру. Такова стратегическая задача стратегического планирования... Послушайте, — улыбнулся он. — Неужели вы пришли ко мне, чтобы обсудить проблемы гольфа в Северной Корее?

— Нет. Я пришла к вам, потому что хочу добиться постоянной стабильности на Ближнем Востоке.

— Хм, — задумчиво кивнул Ренард с таким видом, как будто у него попросили свежих идей для продвижения на рынок новой зубной пасты. — И о каком бюджете может идти речь?

— Деньги в данном случае не самое важное. В разумных пределах, конечно.

— Мой опыт, мисс Фарфалетти, подсказывает, что этот "разумный предел" всегда как раз и является самым важным звеном.

Флоренс положила свой кейс на стол Ренарда и лихо щелкнула сверкающими замками. В кейсе лежали две пачки новеньких тысячедолларовых купюр. Она вынула их оттуда и положила на стол.

Ренард постарался взять себя в руки.

– Вы сказали, что работаете...

– На правительство Соединенных Штатов.

– О-о...

– Вы всегда бываете так разочарованы, когда клиент выкладывает на ваш стол двести тысяч долларов наличными?

– Нет-нет, что вы. Тот внутренний ребенок, о котором мне постоянно твердит мой психоаналитик, определенно скачет от радости. Так о чем конкретно вы говорили? Какая стабильность вас интересует? И, позвольте спросить, какой сектор нашего замечательного правительства вы представляете?

– Госдепартамент.

– Понятно... Значит, ЦРУ. Чудесно. Я ваш большой поклонник. Ваши коллеги мне здорово помогли в Северной Корее, когда на том чертовом поле для гольфа взорвалась мина.

– Я не говорила, что работаю в ЦРУ, мистер Ренард.

– Нет, не говорили. Хорошо. Значит, я теперь буду работать на Госдеп. Ага.

– И вы, разумеется, понимаете, насколько это все должно быть конфиденциально.

– Мисс Фарфалетти, у нас в "Ренард стратиджик комьюникейшнз" умеют хранить секреты.

– Это звучит весьма обнадеживающе, мистер Ренард.

– Ну что ж, – Ренард улыбнулся, взял со стола обе пачки и, как бы играя, слегка подбросил. – Всегда мечтал послужить Родине.

– Приятно иметь дело с таким патриотом, мистер Ренард.

– Когда Родина зовет, ей ведь не скажешь: "Извини, что-то у меня плохо со слухом".

Глава пятая

Флоренс и загадочный джентльмен, который называл себя дядей Сэмом, вот уже два дня сидели в небольшом уединенном домике в Александрии, штат Виргиния, изолировавшись от всего мира и читая бесконечные персональные досье. Обычно этот дом служил для допросов или для приема невозвращенцев. Судя по застоявшейся сигаретной вони, насмерть въевшейся в стены и убогую обстановку, все эти невозвращенцы, скорее всего, умерли от рака легких.

Флоренс и дядя Сэм просматривали персональные файлы при помощи ноутбука, который, казалось, имеет неограниченный доступ к любому досье любого сотрудника секретных служб США. Какие бы сомнения дядя Сэм ни вызывал у Флоренс, одно про него можно было сказать с уверенностью: этот человек обладал большими связями.

– А что, если вы забудете свой ноутбук в автобусе?

– Я не езжу в автобусах, – фыркнул он.

— Ну а если кто-нибудь похитит его у вас? Он что, сможет прочесть все эти файлы?

Дядя Сэм вздохнул:

— Любой, кто включит этот компьютер, не набрав пароля, рискует оказаться в очень незавидном положении.

— Вы имеете в виду, что эта штука взорвется?

— Да, Флоренс... Скажите-ка лучше — как вам вот этот? — дядя Сэм открыл следующий файл. — Он был нашим резидентом в Карачи. Военное прошлое. Вполне может нам подойти.

Флоренс быстро просмотрела открытый файл и сказала:

— Нет.

— А с ним-то что не в порядке?

— Мне нужен человек с личным мотивом.

— То есть с предубеждением? Послушайте, сколько раз я должен вам повторять — васабийцев ненавидят *все.*

— Я вижу, это у вас предубеждение.

— А-а, бросьте! — дядя Сэм даже махнул рукой. — Вам-то известно, какие они уроды. Вы же были замужем за одним из них.

Флоренс не очень хотела говорить дяде Сэму, что ей не понравился ни один из предложенных им кандидатов. Тем более что он разворчался по поводу Рика Ренарда, которого выбрала она: *Это еще зачем? У нас не балаган!* Однако Флоренс настояла на своем. Либо она сама будет набирать свою группу, либо группы не будет совсем.

— Давайте продолжим, — сказала она.

Дядя Сэм даже слегка застонал:

— Вы отдаете себе отчет, сколько файлов мы уже просмотрели?

— Если вам скучно, идите и погуляйте. Я могу работать одна.

— И взорветесь тут к чертовой бабушке. Послушайте, вы собираетесь делать покупку? Или просто рассматриваете товар?

В конце концов он пошел наверх, чтобы прилечь, а Флоренс усердно продолжала копаться в персональных файлах американских рыцарей плаща и кинжала.

В какой-то момент все эти секретные агенты стали сливаться перед глазами в одно пятно. Потом Флоренс вдруг поняла, что ее интересует только их внешность. Просидев еще около часа, она наконец перестала щелкать мышкой.

Этот мужчина был в военной форме с черным беретом, лихо заломленным набок. Флоренс внимательно посмотрела на орденские ленточки у него на груди, а затем перевела взгляд на его лицо. Даже не читая биографию, она могла с уверенностью сказать, что это южанин. У него был вид очень довольного собой человека — как будто не далее чем прошлой ночью ему удалось поиметь записную красотку на заднем сиденье своего старенького "форда". Впрочем, вполне возможно, он выглядел таким довольным из-за своих наград. Флоренс поискала место его рождения. Так и есть: Мобайл, штат Алабама. Фотография была сделана двенадцать лет назад. Флоренс покрутила колесико мышки, надеясь отыскать более позднюю фотографию, и быстро ее нашла. Самодовольной усмешки на лице уже как не бывало. Флоренс прочла досье и поняла почему. Он больше не был тем молодым бравым воякой.

Лучше и не придумаешь.

— Я нашла его, — объявила она дяде Сэму, когда тот вернулся.

Дядя Сэм просмотрел досье.

— Боже правый! Да он нам совсем не подходит.

— Именно поэтому я его и хочу.

— Юная леди, у меня тут не служба знакомств, между прочим.

— Я постараюсь не вешаться ему на шею. И вообще, мне непонятно, с чего это такой сексист, как вы, заинтересовался проблемой освобождения женщин?

— Да вы взгляните на его досье, — фыркнул дядя Сэм. — Странно, что он вообще до сих пор на государственной службе. Может, вы не заметили, но именно он спровоцировал тот ракетный удар в Дар-эс-Саламе в прошлом году. Если помните, тогда была разрушена резиденция посла Индонезии.

— Да нет, я заметила, — ответила Флоренс. — И мне кажется, цель была выбрана удачно.

— Послушайте, Флоренс, госсекретарю пришлось лично приносить извинение премьер-министру Индонезии.

— Вы начинаете вести себя как мой босс. Ну и что с того, что госсекретарю пришлось извиняться перед премьер-министром Индонезии? Этим ударом был уничтожен завод Аль-Каиды, производивший химическое оружие. Они разместили его вплотную к резиденции посла, замаскировав под фабрику детских протезов. Поэтому он молодец, что вызвал удар, а нам должно быть стыдно за то, что это ему пришлось отдуваться из-за какого-то там сенатора, решившего заработать себе популярность перед президентскими выборами. Вы знаете, наш Капитолий мне иногда сильно напоминает гигантскую формочку для такого хлюпающего и расползающегося желе.

Дядя Сэм театрально вздохнул и, нажав курсор, открыл новую страницу текста.

— Ну а вот это? Будучи нашим резидентом в Матаре, он соблазнил жену американского посла. О чем это нам говорит?

— О том, что он бабник. Такое случается. И, между прочим, довольно часто.

— Только не в моей лавочке, — отрезал дядя Сэм.

— На самом деле важно не то, что он отплясывал макарену в супружеской постели этого несчастного посла, а то, что он был резидентом в Матаре. У него же огромный опыт. Вы внимательнее посмотрите на его досье. Резидент в Амо-Амасе — три года. Помощник резидента в Каффе — два года. Свободно владеет арабским и французским. А посмотрите на эту информацию по террористам. Это же он взял Аднана Бахеша, наверное самого ужасного человека на всей планете. И это именно он выяснил, что Саддам Хусейн готовил покушение на Буша в 1993 году. Вы посмотрите на его награды. Три "Бронзовых звезды", два "Пурпурных сердца". По-вашему, *этого* мало? — Флоренс закрыла компьютер, отодвинула его от себя и скрестила на груди руки. — Все, поиск закончен.

— Хорошо, хорошо, — сказал дядя Сэм с очень недовольной миной. — Но я вам сразу скажу, юная леди: если вы заведете интрижку с этим мужчиной, вы поставите под угрозу всю операцию.

— На такую глупость я даже отвечать вам не буду.

— Поймите, он южанин. Эти люди ни о чем не думают, кроме секса. И, может, автомобильных гонок.

— А ваши предки, как я понимаю, прибыли в Америку на корабле "Мэйфлауэр"? — язвительно сказала Флоренс. — Или еще раньше — с викингами?

Дядя Сэм обреченно вздохнул и развел руками:

— Я бы попросил вас приберечь свой сарказм для обитателей королевства Васабия.

Теперь Флоренс оставалось завербовать всего одного человека. Но зато самого непростого. Он появился в уединенном домике в Александрии точно в назначенное время.

Потому что он никогда не опаздывал.

— Фьоренца? Что все это значит? Боже мой! Как здесь *омерзительно*!

Джордж обвел взглядом комнату, которая была обставлена, судя по всему, каким-то кротом-дальтоником, работавшим в самом занюханном подразделении бюрократической системы ЦРУ. В обязанности крота, очевидно, входило обставлять и украшать такие уединенные явочные квартиры, приспособленные для нужд американской разведки. Картины на стенах, если их вообще можно было назвать картинами, явно были куплены оптом на распродаже в универмаге "Уол-март" и мало чем отличались с эстетической точки зрения от дурацких открыток с бульдогами в кепках, играющими в покер.

Оглядев все это, Джордж сказал:

— Ага, я вижу, ты посетила аукцион Сотбис.

— Хочешь что-нибудь выпить?

— А что нальешь? Дешевого вина из коробки? Или пива покрепче?

— Джордж, нам с тобой предстоит заняться кое-чем очень серьезным. По-настоящему серьезным, поверь мне.

— А можно подумать? — сказал он и тут же продолжил: — Нет, спасибо.

— Ты даже не хочешь узнать, в чем дело?

— В общем-то, нет, — он пожал плечами. — Так вот, значит, где мы держим невозвращенцев из Северной Кореи. Видимо, для того, чтобы они чувствовали себя как дома?

Флоренс рассказала ему, насколько это было возможно, про дядю Сэма, про ежедневный обзор новостей для президента, про десять миллионов золотом, про операцию, карт-бланш и про тот факт, что у нее теперь достаточно власти, чтобы перевести Джорджа на новую работу.

Джордж слушал ее с мрачным лицом, которое постепенно становилось еще мрачнее, и время от времени понимающе хмыкал: "Хм. Угу. Хм-м".

— Джордж, — наконец сказала она, — ты помнишь наш разговор о том, *что* мы могли бы с тобой сделать, если хотя бы на десять минут оказались вдруг у руля?

— Очень хорошо помню. Я ответил тебе тогда, что не хочу быть у руля. Ни десять минут, ни полчаса, ни месяц. Я хочу, чтобы меня оставили в покое, Фьоренца.

— И поэтому ты пошел работать в Госдепартамент?

— Ты прекрасно знаешь, почему я пошел работать в Госдепартамент.

— Из-за одной несчастной реплики твоей матери за обедом в День благодарения?

Джордж был правнучатым племянником Адлера Филлингтона Фиша, того самого американского дипломата и посла в Боготе, которому президент Теодор Рузвельт в 1902 году отбил знаменитую телеграмму: ОБЕСПЕЧЬТЕ ПЕРЕШЕЕК К РОЩДЕСТВУ. Это привело к "отчуждению" Панамы от Колумбии, строительству знаменитого канала и последовавшему за этим обогащению превыше всякой меры кливлендского промышленника Марка Ханна, нью-йоркского финансиста Дж. П. Моргана, а также Уильяма Кромвеля, основателя юридической фирмы "Салливан энд Кромвель". Впоследствии эта золотая троица в знак признательности послу Фишу пользовалась его услугами в качестве советника при многочисленных сделках, что и заложило фундамент благосостояния семьи Фишей.

Четыре поколения спустя, когда на сцене уже появился Джордж, от этого благосостояния остался лишь Дом Фишей — некогда внушительный особняк из красного кирпича в Джорджтауне[1], настоятельно требовавший теперь капитального ремонта. Мать Джорджа, Филиппа Фиш-Тиббетс, так и не оправилась от разочарования, которое постигло ее то ли в результате постоянных размышлений о былом богатстве, то ли из-за внезапного исчезновения ее мужа Джеймсона Фиша по прозвищу Бычок, оставившего ее ради аргентинского игрока в поло по имени Эстебан, близкого друга семейства Кеннеди, что, впрочем, только усугубляло неприятную ситуацию. Долгие годы безутешная матушка Джорджа не давала затянуться этим душевным ранам при помощи все большего количества водки (с недавних пор смешиваемой с обезжиренными сливками). Как-то раз во время одного совсем уже мрачного обеда в День благодарения она объявила гостям, что Джордж, сидевший за столом вместе со всеми и как всегда угрюмо уставившийся в свою тарелку с грибным супом (стараясь при этом сдерживать себя, чтобы не броситься через весь стол и огреть свою мамашу серебряной супницей, подаренной по случаю вступления в должность губернатором Панамы и являющейся последним ценным предметом в доме Фишей), — так вот, она во всеуслышание заявила, что у ее сына никогда не хватит "винтиков в голове", чтобы поступить на службу в министерство иностранных дел; и даже более того — что он, скорее всего, будет зарабатывать себе на жизнь "составлением букетов". Джордж отправился на собеседование в министерство иностранных дел в ближайший же понедельник. Шестнадцать лет спустя он все еще продолжал там работать. Кто тут выиграл — оставалось неясным.

— Джордж, — сказала Флоренс. — Ты один из самых талантливых мужчин, которых я знаю. Ты погубишь себя кабинетной работой. Только подумай — какой нам выпал шанс! Больше такого не будет.

— Но ты же ничего не знаешь об этом дяде Сэме, — ответил Джордж.

— А вот теперь ты рассуждаешь как *моя* мать! Это ведь шанс изменить историю. Я уж не говорю о том, чтобы помочь восьмистам миллионам мусульманских женщин.

— Большинство из этих женщин абсолютно довольны своей судьбой. Готов поспорить, что половине из них *нравится* носить чадру. А еще им нравится то, что с ними носятся как с писаной торбой.

1. Джорджтаун — престижный район Вашингтона.

— Ничего себе — "носятся". Тебе самому по душе бы пришлось такое обращение?

— Жить в обществе, которое рассматривает меня как гражданина второго сорта и ограничивает мои права? Я что, похож на идиота?

— Вспомни цитату из Эдмунда Бёрка[1]: "Все что необходимо для торжества зла — это лишь бездействие добрых людей".

— Вспомни цитату из Мэла Брукса[2]: "Стоит один раз пуститься в бега — и не остановишься всю жизнь".

— Я не справлюсь с этим без тебя, Джордж. Поверь мне, будет весело.

— Нет, будет ужасно. Но самое ужасное, что я, видимо, соглашусь.

Задумчиво подбоченясь, Флоренс придирчиво изучала накрытый уже стол. Дядя Сэм предлагал провести первую встречу группы в том самом уединенном домике в Александрии, однако Флоренс решила приготовить настоящий итальянский обед у себя дома в городке Фогги-Боттом. Она еще не знала, как все в итоге у них сложится, но была уверена, что не много бывает в жизни таких непростых ситуаций, которые нельзя изменить к лучшему превосходным обедом, состоящим из вяленной по-ломбардски говядины, ризотто (из раков и африканских бобов по ее собственному рецепту), шоколадно-малинового тирамису, эспрессо плюс нескольких бутылок "Бароло". Флоренс была в черной кашемировой водолазке, узких брюках в стиле "тореадор" и туфлях на высоком каблуке. В ушах у нее были жемчужные серьги. Поверх водолазки она повязала фартук с оборками в стиле пятидесятых годов, в котором она выглядела, пожалуй, еще сексапильнее.

Первым появился Бобби Тибодо — парень из ЦРУ. Он позвонил в дверь без пяти восемь. Люди из ЦРУ всегда приходят пораньше — они любят контролировать ситуацию. Джордж прибыл ровно в восемь. Рик Ренард опоздал на двадцать минут, объяснив, что его задержал один конгрессмен, "который никак не мог заткнуться".

Флоренс предложила своим гостям холодное как лед "Прозекко" в узких бокалах. Мужчины настороженно присматривались друг к другу, а Флоренс поглядывала на Бобби Тибодо, наблюдая за тем, как он изучает Рика и Джорджа.

Бобби было под сорок. Он обладал крепким телосложением, коротко подстриженными светлыми волосами и скептическим взглядом из-под тяжелых век, который придавал ему выражение легкой враждебности. Он мало двигался, как будто не желая расходовать силы. Обратившись к Флоренс, он немедленно назвал ее "мэм". Она поприветствовала его на арабском и едва сдержала улыбку, когда на ее "салям" он ответил с крепким акцентом жителя Алабамы.

Он заметил, что она поглядывает в его сторону. Бобби был не из тех, кто упускает хоть что-нибудь. Флоренс почувствовала, что краснеет.

— Ну что же, — сказала она, подняв свой бокал "Прозекко" и чокаясь со всеми присутствующими, — за Акабу.

— За Акабу? — недоуменно переспросил Ренард.

1. Эдмунд Бёрк (1729–1797) — англо-ирландский государственный деятель, блестящий оратор.
2. Мэл Брукс (р. 1929) — американский кинорежиссер, актер, сценарист.

Двое других мужчин с интересом посмотрели на него, и Бобби сказал:

– А ты, значит, тот самый пиарщик?

– Специалист по стратегическим коммуникациям, – сказал Рик.

По лицу Бобби скользнуло подобие улыбки. Он повернулся к Джорджу:

– Ну а ты, значит, из Госдепа?

Люди из ЦРУ с опытом работы за границей между собой называли персонал Госдепартамента "посольской блевотиной".

Флоренс решила, что ей пора вмешаться:

– Я бывала в Акабе. Там весьма мило. Король Иордании содержит там небольшой дворец.

– Где служил? – спросил Бобби у Джорджа.

– Вообще-то, нигде. Только в Вашингтоне.

Бобби слегка поднял брови:

– А сколько ты уже в Госдепе?

– Шестнадцать лет.

– Шестнадцать лет проторчал в Вашингтоне?

– Даже шестнадцать с половиной.

Бобби повернулся к Ренарду:

– А ты сколько уже стратегически коммуникируешь?

– Я руковожу собственной фирмой уже четыре года, – ответил Рик.

– На Ближнем Востоке часто бываешь?

– Регулярно посещаю Дубаи.

– Ну и как тебе ихний новый аэропорт?

Джордж попытался перехватить взгляд Рика.

– Ну... ничего. Вполне симпатичный.

Бобби усмехнулся.

– А что тут смешного?

– В Дубаи нет нового аэропорта, – вздохнул Джордж.

– А может, сядем за стол? – предложила Флоренс.

"Бароло" и ризотто из раков слегка сгладили возникшую напряженность. Джордж помог Флоренс убрать со стола тарелки. На кухне он прошептал:

– Где ты его нашла? В фирме "Киллер напрокат"? Это же просто горилла.

– Он нам нужен.

– Между прочим, это именно он спровоцировал тот самый ракетный удар.

– И правильно сделал.

– Я ничего не имею против бомбардировок иностранных посольств, но это не значит, что всякая деревенщина имеет право...

– Джордж, удар наносился по секретному заводу Аль-Каиды.

– Да мне без разницы. Думаю, лучше открыть новую бутылку вина.

– Вернись к ним и прикрой Ренарда.

– Да, этот парень как нельзя к месту. Отличную команду ты собрала. Громила из спецслужб, продажный пиарщик и недоделанный чиновник МИДа. Про нас будут сочинять баллады, но, слава богу, меня к тому времени не будет в живых.

Когда Флоренс вернулась с новой бутылкой "Бароло" в комнату к гостям, Бобби рассказывал Рику о том, что, очевидно, по-настоящему его волновало:

— "Морские котики" во Вьетнаме, когда убивали кого-нибудь из Вьетконга, вырезали у него печень, откусывали от нее чуть-чуть и бросали рядом с трупом. Согласно буддийской теологии, если у тебя чего-нибудь не хватает, на небеса тебе вход закрыт. А этого они очень сильно не любят.

Рик побледнел и опустил свой нож и вилку.

— Ты доедать будешь? — спросил Бобби.

— Э-э... Нет.

— Ну тогда я. Можно? — Бобби придвинул к себе тарелку Рика и посмотрел на Флоренс. — Мэм, замечательное блюдо, я вам скажу. Никогда не ел ризотто с жуками.

— С жуками?

— У нас так раков зовут. Там, откуда я родом.

— А почему вы не называете меня Флоренс?

— Флоренс? Хорошо... Флоренс Аравийская.

— Лучше просто Флоренс, — она подняла свой бокал. — Ну так что, за Акабу?

Бобби поднял свой бокал:

— А-а, фиг с ней! За Акабу так за Акабу.

— Это метафора, — объяснил наконец Джордж Рику. — Она означает, что мы умрем раньше, чем туда доберемся.

— "Если умрут верблюды — умрем и мы", — процитировал Бобби. — А верблюды начнут дохнуть через двадцать дней.

Глава шестая

Эмират Матар (название которого по неясным причинам произносится как "Матерь") представляет собой полоску песка шириной в десять и длиной в триста пятьдесят миль, протянувшуюся вдоль западного побережья залива Дария. На севере он берет свое начало в комариных болотах Ум-Катуша, далее на несколько сотен миль простирается в основном на юго-восток вплоть до пролива Ксеркса, где слегка поворачивает к западу и заканчивается у Альфатуша, на лучезарном побережье Индийского океана.

Если вы будете рассматривать Матар на крупномасштабной карте, вы скорее всего сочтете это государство весьма нелепым политическим образованием. Глядя на его кривые очертания, можно предположить, что границы этого эмирата были специально прочерчены таким образом, чтобы отрезать его гораздо более крупного западного соседа, королевство Васабия, от выхода к морю. И это предположение будет абсолютно верным.

Отчет об образовании Матара можно найти в историческом труде Дэвида Времкина, который называется "Ирак у нас будет здесь, а Ливан вот здесь: как создавался современный Ближний Восток":

Черчилль был страшно зол на французов, и на этот раз не без оснований, поскольку они вели сепаратные переговоры с [королем Васабии] Таллулой касательно морских портов. К моменту созыва конференции он окончательно

потерял всякое желание церемониться с французским министром иностранных дел Делаваль-Путрийером. В ту ночь Черчилль до пяти часов просидел с полковником Лоренсом, Глэндсбери и Тафф-Блиджетом, а также с Джереми Питтом, который сильно страдал от жары и очередного приступа подагры. Наутро, когда все, наконец, собрались на переговоры, Боске и Гастон Тази заметили, что пальцы Тафф-Блиджета перепачканы зеленой, голубой, желтой и малиновой краской, о чем они лихорадочно стали сигнализировать остальным французским делегатам. Однако было слишком поздно. К тому времени, когда все пятьдесят участников уселись вокруг обитого зеленым сукном стола в Большом зале Салах-аль-Дина во дворце Маджма, у британцев уже были готовы собственные карты. И чернила на них, как заметил Шомондели, уже "совершенно просохли".

Сигго, который служил мажордомом у Сайкса (и два года спустя погиб от несчастного случая во время странного чаепития в присутствии королевы Александры в Кенсингтонском дворце), описывал этот момент следующим образом: "Уинни раскатал свою карту по всему столу, и она хлопнула как брамсель, надувающийся на мачте, когда вы в сильном прибрежном течении проходите на скорости в двадцать узлов недалеко от порта Каус". Такое вот яркое сравнение. Прекрасно понимая, что происходит, Делаваль-Путрийер попытался возражать, ссылаясь на протокол, но Черчилль ткнул в сторону француза своей сигарой, "похожей на обкусанную сосиску", и пригрозил расширить зону действия Бальфуровской декларации[1], определявшей Палестину в качестве новой родины для евреев, на Ливан и Сирию, которые находились во французской сфере влияния.

Как сообщил Флег-Райт в своей телеграмме Артуру Гленвуди тем же утром, меньше всего на свете французы хотели, чтобы "арабский мир захлестнули волны прибывавших со всего мира строителей кибуцев". Подобный поворот привел бы также к неизбежному конфликту британской ветви семьи Ротшильдов с представителями ее французской ветви, которые уже довольно долгое время присматривались к западным склонам долин Бекаа и Нуш, планируя разбить там виноградники для экспериментальных сортов черного совиньона. Делаваль-Путрийер не мог ничего поделать. Его явно переиграли.

Король Таллула пришел в ярость, увидев, как обещанное ему побережье исчезло при помощи нескольких штрихов, сделанных карандашом британского картографа. Он громогласно объявил конференцию "сборищем жаб и шакалов" (*"джамаа мин этхеаб в эддафадэх"*), шумно покинул зал и умчался из Дамаска в сопровождении двухсот бедуинов, служивших его личными телохранителями. Господин Пико заметил на это господину Гастен-Пике буквально следующее: "Только его и видели".

С другой стороны, Газир бен Хаз, толстый и сластолюбивый правитель небольшого племени вази-хад, состоявшего из торговцев и рыбаков, которые населяли это побережье со времен Александра Македонского, теперь вдруг оказался эмиром новой страны, наглухо перекрывшей все пути к морю для нефти из Васабии. Черчилль, разумеется, этого и хотел. А как еще можно было отплатить королю Таллуле за его упрямство при обсуждении предложенных ему тарифов на финики, не говоря уже о бесконечных спорах на тему: кто должен въехать в Дамаск первым и в каком наряде?

1. Декларация премьер-министра (1902–1905) Великобритании Артура Джеймса Бальфура (1848–1930) о создании в Палестине еврейского "национального очага" (1917).

В тот же самый вечер Черчилль беседовал с Глэндсбери в биллиардной комнате Британской миссии. Когда им подали бренди и сигары, он признался, что никак не может решить, от чего ему так хорошо на сердце – то ли от унижения Делаваль-Путрийера, то ли от того, что "этот говнюк Таллула может теперь подавиться своей нефтью".

Король Таллула был вынужден заключить сделку с эмиром Матара. Подписав договор, Васабия довольно быстро построила свой первый нефтепровод к заливу через Матар. В последующие годы прибавилось еще более десяти таких нефтепроводов. Иных путей доставить свою нефть на рынок у Васабии просто не существовало.

Экономике Матара этот поток черного золота явно шел на пользу. Эмиры никогда не публиковали официальных отчетов, однако ежегодные доходы от так называемых "взносов вежливости", переводимых Васабией в казначейство бен Хаза, к концу столетия оценивались уже в десятки миллиардов долларов. Династия бен Хаза тем временем неукоснительно продолжала придерживаться официальной версии об источниках столь баснословного богатства страны. Правительство утверждало, что источником денег служит фиговое масло, финики, рыболовство и туризм.

Последнее утверждение было в определенном смысле и самым наглым, если принять во внимание ужасные матарские песчаные бури и летнюю температуру воздуха, не опускавшуюся ниже сорока градусов. Однако Матар мог вполне честно заявлять о том, что часть его огромных доходов приносят азартные игры. Нынешний эмир построил на прибрежных островах, куда можно было добраться по десятимильной дамбе, целый комплекс отелей, казино и парков развлечений, который он весьма остроумно назвал "Страной неверных". Коренным жителям эмирата (официально) не разрешалось ездить на острова и предаваться азарту – включая все побочные действия, – однако этот закон крайне редко упоминался в теории и никогда не применялся на практике. Эмир провозгласил его лишь для того, чтобы соблюсти приличия в глазах местных священнослужителей.

Изящество, с которым он решал вопросы религии, вызывало всеобщее восхищение. Матарские муллы были самыми сытыми священниками во всем мусульманском мире. Они получали от государства щедрое жалованье, роскошные квартиры, по новенькому "мерседесу" каждые три года плюс ежегодный оплачиваемый отпуск на полтора месяца, который большинство из них предпочитали проводить на юге Франции, несомненно являющемся одним из самых священных мест ислама.

В результате интереса эмира к этой сфере Матар стал подлинным оазисом веротерпимости. Как сказал об этом один ученый муж: "У ислама здесь воистину счастливое лицо". Карьера священнослужителя в Матаре была крайне престижна.

Подобный подход к религии резко контрастировал с мусульманскими взглядами, царившими в соседнем королевстве Васабия. После того как в 1740 (или 1742) году на трон взошел шейх Абдулабдулла по прозвищу Разумный, он немедленно заключил соглашение с имамом Неджаза по имени Мустафа К'ум, целью которого была консолидация власти на всей территории страны. Мустафа проповедовал крайне суровую вер-

сию ислама, называвшуюся "мукфеллах". Абдулабдулла согласился признать мукфеллах официальной религией всей Васабии, за что Мустафа должен был присягнуть на верность династии Хамуджей. Вот так Васабия объединилась под властью одного правителя.

Увы, это обрекло страну (по определению одного историка) на участь самого "невеселого" государства на всем Ближнем Востоке. Если, конечно, вам не приходит на ум (замечает он) "считать весельем отрубание голов и других частей тела, бичевание, выкалывание глаз и отрезание вашего языка за такие проступки, которые в других религиях привели бы к наказанию в виде наставления раввина, либо пяти молитв "Богородице, Дево, радуйся" для христианина, либо (в случае епископальной церкви) в виде фламинго из розового пластика на лужайке у вас перед домом". Если поискать в Интернете сочетание "Васабия" и "Дольче вита", то результатом будет абсолютный ноль.

Разница в религиозных темпераментах, помноженная на проблему национальной границы, привела к вполне предсказуемому напряжению в отношениях между этими двумя государствами. Необходимость платить матарским эмирам так называемый "налог Черчилля" крайне раздражала потомков короля Таллулы.

В 1957 году его внук, король Талубадулла, пригрозил захватить часть территории Матара протяженностью в двадцать миль на том смехотворном основании, что калиф Ибн Иззир (1034–1078), являвшийся весьма отдаленным предком Хамуджей, разбил там однажды свой лагерь, отправившись на рыбалку. Дело дошло до передислокации целой танковой дивизии к васабийско-матарской границе и до энергичных полетов истребителей класса "Мираж" (поставляемых королевским ВВС Васабии весьма дружественной Францией) над спорной территорией. Неразбериха привела к серьезной обеспокоенности ООН, однако быстро закончилась короткой репликой американского посла в Каффе, который негромко, но внятно посоветовал министру иностранных дел Васабии "завязывать со всем этим поскорей".

У Соединенных Штатов были хорошие отношения с Васабией (причиной чему, разумеется, служила местная нефть), однако американцы всегда поддерживали и независимость Матара, чтобы держать Васабию на коротком поводке. Старина Черчилль, может, и напился в тот вечер, но он понимал, где собака зарыта. К тому же, как отмечал Генри Киссинджер в XXI томе своих мемуаров под названием "Жизнь гения", симпатии американцев к Матару "приводили васабийцев в настоящее бешенство". И это было приятно.

Время от времени Васабия размахивала своим ятаганом, поглядывая в сторону Матара, и угрожала прорваться к морю, но в эмирате к этим эпизодам серьезно не относились. Защищенный Америкой, Матар был настоящей мусульманской Швейцарией. Его экономика прочно опиралась на васабийскую нефть, а местные священнослужители были сыты, счастливы и непридирчивы. Единственное, чего здесь не хватало, так это, пожалуй, альпийской вершины Маттерхорн. Ну и знаменитого швейцарского шоколада.

Короче говоря, это местечко было идеальным плацдармом для Флоренс и ее команды. К тому же у Матара имелось еще одно преимущество — в баре тут можно было заказать выпивку.

Глава седьмая

Флоренс долго ломала голову, размышляя о том, что подарить эмиру. Подарок должен был стоить достаточно дорого, чтобы привлечь внимание, однако Флоренс хотелось завязать с его помощью разговор, а не просто всучить избалованному правителю очередную шикарную безделушку.

Эмир любил охотиться на газелей сидя на специальном стульчике, установленном на радиаторе его "хаммера". Поэтому Бобби внес предложение подарить пару позолоченных ружей производства фирмы "Холланд энд Холланд". Джордж, категорически выступавший против убийства животных, заявил, что в коллекции огнестрельного оружия у эмира и без того уже две сотни стволов. Взамен он предложил подарить Коран двенадцатого века, некогда принадлежавший последнему султану мавританской Испании, оправленный в слоновую кость и украшенный арабским жемчугом и цейлонскими изумрудами — три миллиона четыреста тысяч долларов за все про все. Рик, буквально все оценивавший с позиций пиара, отметил, что факт принадлежности этой замечательной книги *последнему* султану Испании может испортить все дело. Почему бы не подарить эмиру личную подводную лодку, которую Рик видел в каталоге "Шарпер имидж"?

— Арабы ведь любят воду? Спорим, ему понравится идея полного погружения.

Джордж возразил, что субмарина за семьсот пятьдесят тысяч долларов вряд ли привлечет внимание человека с состоянием в десятки миллиардов. В поддержку затеи с подлодкой возникла идея вооружить ее торпедами и ракетами ВМФ США. Однако дядя Сэм забраковал эту инициативу на том основании, что в заливе Дария курсируют американские боевые корабли, и подарок вряд ли окажется приятным сюрпризом, если один из них определит субмарину эмира в качестве вражеской цели и утопит ее.

В конце концов Флоренс остановила свой выбор на вертолете. Решено было подарить гражданский вариант боевого вертолета "Блэк Хоук" со специально оборудованной турелью перед сиденьями пилотов, откуда эмир сможет легко и просто стрелять по своим любимым газелям. Вертолетов ведь много не бывает. Как не бывает слишком много денег и слишком хорошей фигуры.

Эмир был очарован этим подарком, и вскоре Флоренс получила приглашение в королевский дворец, расположенный в столице Матара Амо-Амасе.

Все четверо компаньонов остановились в номерах с видом на гавань в одном из лучших столичных отелей с несколько хвастливым названием "Опьюлент" ("Изобильный"). Вдали мерцали огоньки нефтяных танкеров, стоящих на рейде. На площади Черчилля возвышался огромный мраморный монумент покровителя Матара. Дедушка нынешнего эмира возвел его еще в двадцатые годы. На каменном лице блуждала знакомая всему миру усмешка. Монумент ухмылялся в сторону запада — туда, где лежала Васабия.

Вся группа собралась в номере люкс у Флоренс. Джордж к этому времени уже умудрился расстроить себе желудок, несмотря на то что почти

все продукты в "Опьюлент" доставлялись прямиком из Парижа. Теперь он сидел, сжимая в руке бутылочку "Пепто-бисмола".

– Наслаждаешься Ближним Востоком? – спросил его Бобби.

– Может, начнем? – предложила Флоренс. – Мне кажется, здесь нам будет удобно.

– Ну да, – кивнул Бобби, – только тараканов много.

Джорджа передернуло от отвращения.

Бобби пробежал пальцами по клавишам своего лэптопа. На стене появилась фотография эмира. Бобби нажал еще несколько клавиш, и все увидели фотографию жены эмира. Флоренс с интересом всмотрелась в ее лицо. Супруга правителя оказалась весьма хороша собой. Ей было около сорока, и в ее умных глазах таилось легкое разочарование.

Бобби нажал еще несколько клавиш. На стене одна за другой начали появляться фотографии прекрасных женщин, чем, очевидно, и объяснялось то самое разочарование в уголках глаз эмировой жены.

– Это что? – спросил Рик. – Каталог магазина женского белья?

– Подруги эмира, – пояснил Бобби. – В основном итальянки и француженки. Хотя в последнее время он стал заглядываться и на русских. Впрочем, он может трахать все что угодно – хоть собаку, если под рукой больше ничего нет.

– Может, попытаемся проявить некоторое уважение? – сказала Флоренс. – Хотя бы на тот случай, если комната на прослушке.

Бобби продолжил свой доклад:

– Его жена, *шейха* Лейла. Мать из Матара, отец – англичанин. Он был инженером. Работал на нефтепроводе. Получил кучу денег. Женился на дочери одного из местных вождей. Лейла... Получила образование в швейцарской школе в Лозанне. Перебралась в Оксфорд. Проявила способности. В Лондоне работала ведущей на телевидении. Тусовалась с нужными людьми, включая королевских особ. Раз или два ходила на свидания с принцем Чарльзом, но ни фига у них не вышло.

– А это откуда известно? – спросил Рик.

– Я не распространяюсь о своих источниках. Хотя, чего тут скрывать, в МИ-5 целый отдел занимается исключительно анализом походов принца налево. Едем дальше – Лейла... Она влюбилась в будущего эмира Газзира бен Хаза, встретив его на королевском "Аскоте"... Это у них типа модные скачки.

– Мы в курсе, – сказал Джордж.

– А я там ни разу не был. Короче, он завалил ее, как газель с нашего вертолета, а потом притащил сюда и сделал своей арабской женушкой, – Бобби быстро перевел взгляд на Флоренс. – Такое случается.

– Ты продолжай, Бобби.

– Ну вот... И все у них до поры до времени было в ажуре. Родили сына по имени Хамдул. Ну а потом сами знаете, как бывает – мужику неохота питаться каждый день в одном ресторане. Короче, он построил себе дворец для ё... э-э-э, я извиняюсь, мэм... местечко на побережье. Называется Ум-безир. Вот там есть все, чего у мужика душа пожелает. Блин, а мы-то думали, что перепихнуться где-нибудь в лесу на заднем сиденье пикапа это круто.

– Спасибо за кросскультурную параллель, – сказала Флоренс.

– У него там вертолетная площадка и взлетная полоса для самолета в километр длиной. Это на случай, если ему так приспичит к своим де-

вушкам, что скорости вертолета не хватит, — усмехнулся Бобби. — Да, блин, хорошо быть эмиром... Так или иначе, эта шейха, она же не идиотка. Ей все известно про Ум-безир. Раньше она соглашалась вести себя, как многие другие жены, то есть закрывала глаза. Типа — мужские дела. К тому же, выходя за этого Газзира, она ведь знала, что он станет эмиром, когда его старик дуба даст, и заставила его написать расписку, что он не будет брать больше жен. А местным это не очень понравилось. У них тут свои порядки, и если после тебя не останется сотни-другой сыновей, то и цена тебе грош-копейка. Это объясняет, кстати, почему у них в Васабии сорок тысяч принцев. Там ведь плюнуть некуда, чтобы в наследного принца не попасть. Я не в том смысле, что они без конца плюют в королевскую семью. Однако он, видно, был влюблен в эту Лейлу по уши, потому что согласился на ее требование. И даже заставил своего главного муллу подогнать под это дело религиозное основание. Короче, затею Лейлы публично объявили *вафат*.

— А это еще что такое? — спросил Ренард.

— Кошер.

— Почему же она настояла на моногамии?

— Да потому что хотела видеть своего сына на троне. Набитый женами гарем не очень-то располагает к уверенности в завтрашнем дне. Все эти арабские жены последнюю тысячу лет только и знали что следить друг за дружкой, травить друг дружку, а заодно травить друг у дружки детей, чтобы только собственное чадо продвинуть... А вот это их сын, Хамдул. Ему сейчас десять лет... В общем, самое интересное для нас то, что Лейла с недавних пор решила прикрыть лавочку в Ум-безире. По нашей информации, она уже всю плешь проела своему эмиру.

— Почему? — спросила Флоренс.

— Это щекотливый момент.

— Ничего, мы вытерпим.

— Тут есть два фактора. Во-первых, она не хочет подцепить от него венерическую болезнь, поскольку при ее внешних данных эмир и с ней не прочь время от времени перепихнуться разок-другой, а во-вторых, Хамдул уже достаточно вырос и может услышать дворцовые сплетни о том, что его папаша не в силах удержать свой ятаган в собственных штанах. На этом все.

— Спасибо, Бобби, — сказала Флоренс. — Весьма полезная информация.

— Может, нам следует поглубже исследовать этот вопрос, прежде чем мы приступим к делу? — сказал Джордж.

На нижней губе у него остался розовый след от "Пепто-бисмола".

Бобби уставился на него и сказал:

— В смысле — потратить шесть-семь месяцев на решение проблемы осуществимости проекта? С кучей всяких разных таблиц?

Джордж пожал плечами:

— Ну если, конечно, вы хотите делать все с кондачка...

В Матаре к проблеме женской одежды относились вполне либерально, однако Флоренс на всякий случай решила соблюсти формальности. Она нарядилась в брючный костюм из лиловой и бирюзовой чесучи, а на волосы набросила шарфик из бутика "Гермес". Если верить Бобби, эмиру нравилось дарить такие шарфики своим любовницам.

— Когда они хороши в постели — ну то есть очень хороши, — к такому шарфику прилагается браслетик с бриллиантами. А когда они очень, очень, очень хороши, то к нему прилагается красный "феррари".

Наконец Флоренс провели в зал для аудиенций. По обеим сторонам двери стояли телохранители с мечами и в парадных костюмах.

— *Салям алейкум*, — сказала Флоренс без малейшего акцента. — *Шерефна, сомов 'кум.*

Глаза эмира слегка засветились, причиной чему было не одно только безупречное арабское произношение его гостьи. Он взял ее за руку, склонился к ней и поцеловал. Флоренс слегка покраснела. Она продолжала говорить по-арабски, стараясь не забывать, что в Матаре, беседуя с эмиром, необходимо обращаться к нему в третьем лице. Для американцев, привыкших через пять минут после знакомства называть всех и каждого "приятель" или "милочка", это нелегкая задача.

Они сели. Флоренс заметила, что стулья эпохи Людовика XVI были на несколько сантиметров ниже, чем стул эпохи Людовика XIV, на котором сидел эмир. Газзир бен Хаз — или "Газзи", как называли его близкие, — не был высоким человеком. При своих ста шестидесяти двух сантиметрах он был одного роста с Лоуренсом Аравийским[1]. Воистину — необязательно быть крупным мужчиной, чтобы вершить великие дела.

Эмир был при полном параде — в белоснежном одеянии с *гутрой* на голове, перехваченной традиционной позолоченной ленточкой, которая называется *агал*. Четыре его пухлых пальца были унизаны перстнями. Козлиная бородка тщательно подстрижена, а губы блестели как устрицы, что было, очевидно, следствием их постоянного контакта с наиболее изысканными деликатесами, какие только можно найти на этой планете — от икры и шампанского "Дом Периньон" до фуа-гра. Его лицо излучало довольство собой и жизнью. А почему бы и нет? Эмир был самым счастливым человеком из тех, что живут в палатках и полотняных шатрах.

— Ваше Величество крайне гостеприимен, — сказала Флоренс с легким поклоном.

— Это у нас в характере, — сказал он, переходя на английский.

Эмир, как и большинство аристократов Матара, был англофилом и пользовался любой возможностью продемонстрировать свое блестящее владение языком.

— Даже самый беднейший житель Матара распахнет свои двери перед путником и поделится всем, что у него есть, — улыбнулся он. — Боюсь, правда, что в Матаре вы найдете не так уж много бедных жителей. И это тоже у нас в характере.

— У вас в стране царит благоденствие.

— Хвала фиговому маслу! Второго такого вам нигде не сыскать.

— Оно известно по всему миру, — подхватила Флоренс. — И применяется во множестве отраслей. Возьмите хотя бы духи или промышленность... А вы знаете, между прочим, что китайцы его используют в качестве смазки для своих ракет?

1. Томас Эдуард Лоуренс Аравийский (1888–1935) – английский археолог и разведчик, действовавший в арабских странах; способствовал успеху антитурецкого восстания арабов во время Первой мировой войны.

— Мне не был известен этот факт. Но как это прекрасно! — Эмир слегка наклонился вперед: — Оно понижает уровень холестерина. И в то же время повышает уровень *хорошего* холестерина. Наступит время, и ученые медики это подтвердят, слава Всевышнему.

— Матар — воистину река, текущая в мир.

Они переглянулись.

— Может, хватит нам нести эту чушь? — улыбнулся эмир.

— Ваше Величество весьма великодушен. Я уж и не знала, что еще можно сказать про фиговое масло.

— А я им никогда и не пользовался, — сказал эмир, вынимая сигарету из стоявшей перед ним золотой шкатулки.

Тут же, как призрак, откуда-то возник слуга, одетый в тон портьерам и занавескам. Он поднес огонь к сигарете эмира и снова исчез, прошуршав легким шелком.

— Жуткая гадость, — продолжал эмир. — Я лично предпочитаю масло грецких орехов, которое выдавливают четырехсотлетними жерновами во французской провинции Дордонье. Мне привозят его на самолете. Кого на самом деле волнует холестерин? Мне, например, швейцарские врачи каждый месяц переливают кровь. А старую я сдаю в больницу. И, вы знаете, она там пользуется большим спросом... Послушайте, Флоренс... действительно, почему бы мне не называть вас именно так? Ведь мой язык не в силах передать всю красоту тосканских гласных... Так вот, вы преподнесли мне очень милый и, должен сказать, оригинальный подарок. Я могу показать вам целую комнату, забитую совершенно ужасными презентами. Не понимаю, почему на свете так мало людей с хорошим вкусом. Хуже всего была доска для игры в "Монополию", отлитая из двадцатичетырехкаратного золота и выложенная рубинами, бриллиантами и разными другими драгоценными камнями, а домики и отели — из платины. Вы представляете себе? Чего хотели от меня эти люди? Чтобы я все это переплавлял? Нет, я знаю, что арабы славятся своей вульгарностью, но тут уж прошу меня извинить... Кстати, у вас изумительный арабский язык. Я так понимаю, вы работаете на правительство? Ну конечно. В каком-то специальном отделе? В ЦРУ? Отправить сюда женщину — на такое надо решиться. Хватило бы у них на это воображения? Сомневаюсь... Раньше, если вашей стране было что-нибудь нужно... А я вам скажу, моя дорогая, что им *всегда* что-нибудь нужно... Они присылали *такие* подарки... Я, конечно, не хочу выглядеть неблагодарным, но, вы знаете, всему есть предел. Всевышний, да святится Имя Его, купил бы, наверное, что-нибудь такое, если бы отоваривался в магазинах сети "Уол-март". У нас тут скоро тоже "Уол-март" откроют. Мы так все волнуемся. А еще мне однажды предложили чемодан денег. Наличными!

Он хихикнул и обвел рукой комнату, в которой все выглядело так, будто каждую вещь обмакнули в золото. Причем дважды.

— Вот скажите — я похож на человека, которому нужны *наличные*?.. Ну ладно, — глаза его сузились, и на Флоренс теперь уже смотрел не радушный эмир, а многоопытный торговец с побережья. — Кто вы такая, милая дама? И, уж простите за грубость, что вам надо?

Подобная прямота не была свойственна арабам, и Флоренс подумала — уж не сморозила ли она что-нибудь?

— Ваше Величество оказывает мне честь своей прямолинейностью. Я пришла просить у вас разрешения на разговор с вашей женой Лейлой. Я хочу сделать ей деловое предложение.

Лицо эмира исказила довольно злобная гримаса.

— Деловое предложение? Моей жене? Вы что, хотите, чтобы она помогла вам продвигать какой-то продукт?

— Нет-нет! *Соомоов эль-амир.*

— Важное дело? Детские болезни? Дайте-ка угадаю... Противопехотные мины? Все красивые женщины ненавидят противопехотные мины. А я счастлив вам сообщить, что у нас их нет. Хотя временами, признаюсь, мне иногда самому хочется рассадить их вдоль всех границ, как цветы. Но газели ведь могут на них наступить. А газелей нам лучше стрелять, чем взрывать, правда? С нашего чудесного нового вертолета. Нет, в самом деле, *такая* щедрость... Ума не приложу, чем мы могли ее заслужить...

— Я счастлива оттого, что сумела угодить Вашему Величеству. Но уверяю вас, мне не нужна помощь вашей жены для раскрутки какого-нибудь крема или для общественных акций против эпидемий и против мин. Мы бы хотели открыть здесь в Матаре студию спутникового телевидения и просим вашу жену возглавить ее.

Эмир уставился на Флоренс.

— Вы приводите нас в удивление. Я думал, речь пойдет о нефти. О ней всегда заходит речь, как ни крути. На прошлой неделе приезжали какие-то американцы из Техаса. Они вообще всегда из Техаса или из Окла-*хо*-мы. Я уже изнываю по американцам из других штатов. Вот вы, например, откуда?

— Оттуда, где много деревьев, Ваше Величество.

— Значит, вам повезло. Так вы говорите — телевидение? С моей женой... Ну не знаю, не знаю...

— С позволения Вашего Величества, я бы хотела показать вам кое-какие цифры.

— Нет, нет. Эмир цифрами не занимается. Для этого есть министры. Для всех возможных цифр.

— Но это очень интересные цифры, мой господин. Из них вытекают гигантские суммы. Но я, разумеется, покажу их министрам, как велит мне Ваше Величество.

— А что вы имеете в виду под словом "гигантские"? Пустыня — гигантская. Океан — гигантский. Это я понимаю.

— Около двух миллиардов долларов в год, мой господин.

— Ну, это даже и не половина от гигантского.

Флоренс протянула эмиру заранее приготовленный листок.

— А что это за расчеты? — спросил он.

— Мы делали калькуляцию, ориентируясь на женскую аудиторию, мой господин.

Лицо эмира перекосилось:

— На *женскую*?

— Женщины являются основными покупателями. Они ходят по магазинам.

— Согласен. У кого еще столько свободного времени? Но послушайте, ведь уже существуют два арабских канала — "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия"... На случай, если вы *все-таки* из ЦРУ, я вам официально заяв-

ляю, что не симпатизирую политической ориентации ни того, ни другого. Стоит включить любой из них, и там обязательно сидит Осама рядом с этой своей пещерой и выглядит так, как будто ему срочно нужна новая почка. Но всегда ведь можно, — он нажал кнопку на воображаемом пульте, — посмотреть, что показывают по Историческому каналу. Там непременно будет какой-нибудь документальный фильм про Гитлера. Я думаю, им вообще стоит назвать себя "Канал Гитлера"... Так при чем здесь моя жена?

— На то есть много причин, мой господин. Во-первых, она — ваша жена, первая леди Матара, уважаемый человек и авторитетная особа. Во-вторых, у нее есть опыт работы на телевидении.

— Да, — сказал эмир, вспоминая о чем-то приятном. — У нее был *настоящий* успех в Лондоне. Пока она не забросила свою карьеру и не вышла замуж за одного разгильдяя!

Флоренс вежливо улыбнулась.

— Правда, за очень симпатичного разгильдяя, — добавил он. — Хорошо, продолжайте. Вы нас заинтересовали.

— А в-третьих, нам, конечно, понадобится в этом бизнесе матарский партнер, поскольку, согласно закону, пятьдесят один процент акций любой компании, которая оперирует здесь, должны принадлежать гражданам Матара. Вот вам три фактора, определяющие вашу жену в качестве единственного кандидата на пост главы нашего предприятия.

— А что значит "нашего"? "Вы" — это кто?

— Я всего-навсего телевизионный продюсер, и этот проект — моя идея... Но когда затевается такое крупное дело, нельзя обойтись без инвесторов и других заинтересованных лиц... Однако мы готовы предоставить вам...

— Вы имеете в виду — народу Матара, — вставил он.

— Пятьдесят один процент.

— Хм-м.

— Ну тогда, скажем, пятьдесят пять?

— Что-то у меня в последнее время со слухом. Долгие годы, знаете ли, стрельбы по газелям...

— Шестьдесят процентов?

— Что? Вы, кажется, сказали семьдесят?

— Шестьдесят пять.

— Давайте остановимся на шестидесяти шести. Это ровно две трети. Бухгалтерам будет легче считать.

— Хорошо, договорились.

— А чем будет заниматься моя жена? Выступать в роли свадебного генерала?

— Вовсе нет. Мы надеялись, что она примет в этом проекте самое живое участие. К слову сказать, именно это беспокоило меня больше всего, когда я собиралась на встречу с Вашим Величеством.

— Почему?

— Боюсь, что мы, в некотором роде, отнимем ее у вас. Вы же понимаете, создание и запуск телевизионной студии требует серьезных усилий.

— Ах, в этом смысле... Ну, это ей решать.

— Молва явно недооценивает Ваше Величество как мужа и просвещенного человека.

— Ну, мы ведь отнюдь не темный провинциальный народ, мисс Фарфалетти. Мы не похожи на остальных обитателей этого региона. Я передам ваше предложение жене. Хотя, должен признаться, у меня к этому отношение весьма противоречивое. Разве не сказано в Писании, что муж, свою жену возводящий в королевы, в итоге сам будет мыть посуду?

— Но разве не сказано там также, государь, что муж, своей жене придумывающий занятие, создает оазис самому себе?

— Не скажу точно, какую конкретно часть Писания мы с вами оба цитируем, но, по-моему, у вас может кое-что получиться, мисс Фарфа... Флоренс. А теперь, если позволите, моей аудиенции ждут другие. Жизнь эмира, знаете ли, не одно лишь фиговое масло.

— Даже представить себе не могу, как Ваше Величество со всем этим управляется.

Глава восьмая

На следующее утро в отель прибыло известие о том, что шейха Лейла приглашает Флоренс на чашку чая.

На этот раз Флоренс почему-то нервничала гораздо сильнее, чем перед встречей с эмиром. Возможно, причиной тому была щекотливая информация, собранная любознательным Бобби. Флоренс слишком много времени уделила ее изучению, и теперь у нее было такое чувство, будто она без разрешения заглянула в жизнь другой женщины. Она испытывала... чувство вины. Да, именно чувство вины. Потому что морочить голову пухлому вальяжному повелителю со смешным прозвищем Газзи было одно дело, а попытка обмануть его многострадальную жену — совсем другое. Понятно, что Флоренс руководили самые благие побуждения, и тем не менее она чувствовала солидарность с этой женщиной. Обе они были талантливы и выскочили замуж за принцев, чтобы уехать и жить в песчаных замках. Просто замок Флоренс рассыпался первым.

Информация, которую собрал Бобби, была самого неприличного свойства. Это свидетельствовало в пользу профессионализма специалистов из ЦРУ, однако всему на свете есть предел.

— Нет-нет, я не хочу об этом знать, — сказала она Бобби, когда тот начал посвящать ее в детали первого сексуального опыта Лейлы.

Оказалось, что будущая жена эмира утратила девственность в семнадцать лет во время школьной экскурсии по Парижу, и соблазнителем был экскурсовод из Лувра.

— Это не имеет никакого отношения к делу, — заявила Флоренс. — И не касается ни вас, ни меня, ни кого бы то ни было.

— Еще как касается, — ответил Бобби. — Заранее никогда не известно, какая деталь может спасти операцию.

Он положил досье на стол перед Флоренс:

— Я настоятельно рекомендую вам прочесть все в этой папке, мэм.

И с этими словами вышел.

Флоренс отыскала Джорджа, который постепенно приходил в себя после расстройства желудка.

— Ну почему я чувствую себя таким дерьмом, когда это читаю? — сказала она.

— Другим еще хуже, — ответил Джордж. — И совсем не от чтения. К тому же мне, например, жуть как хочется узнать — не в самом ли Лувре они... ммм....

— Тогда сам и читай.

Во второй половине дня Флоренс провели на прохладную террасу в покоях жены эмира, выходивших окнами на берег моря. Здесь в сотне метров от пляжа рядом с дворцом располагались в форме королевского герба династии бен Хаза несколько фонтанов с морской водой. С практической точки зрения это было полезно, поскольку охлаждало воздух с этой стороны дворца, однако на коже, если пройти мимо, потом явственно ощущалась соль.

Приветствуя свою гостью, Лейла поднялась ей навстречу. Стулья в этой комнате дворца, как заметила Флоренс, были одинаковой высоты. Шейха блистала удивительной красотой. Что, впрочем, не является исключительным качеством женщин, на которых женятся принцы. Одним из наиболее невинных фактов ее биографии, которые Флоренс почерпнула из папки Бобби, было то, что совсем недавно ей исполнилось тридцать семь лет. Она была выше своего мужа и не скрывала этого, предпочитая носить обувь на высоком каблуке, тогда как большинство арабских женщин обувались в основном в плоские шлепанцы. Она обладала точеными чертами лица и глазами сокола-сапсана. Она бы легко могла стать моделью — впрочем, однажды во время летних каникул в колледже она так и поступила, но скорее для того, чтобы позлить родителей, чем ради денег. Сейчас на ней был шелковый брючный костюм из Парижа и белый шифоновый шарф, контрастирующий с роскошными темными волосами. На шее скромно поблескивало золотое ожерелье. Палец был украшен обручальным кольцом с бриллиантом примерно в восемь карат. На столике за ее спиной стояли две фотографии в серебряных рамках. Одна запечатлела Лейлу с принцем Хамдулом. На другой в парадном одеянии застыл ее муж. Флоренс подумала, что люди на этих двух снимках разделены не случайно.

— Добро пожаловать, — сказала жена эмира, указывая на стул.

Она вела себя, с одной стороны, гостеприимно, а с другой — достаточно формально, чтобы Флоренс поскорей перешла к делу и не слишком задерживалась на проблемах матарского климата, красоты здешних мест и чудесных фонтанов, расположенных рядом с террасой.

— Надеюсь, эмир уже обсуждал со своей женой то дело, которое привело меня в Матар, — сказала Флоренс.

На лице Лейлы заиграла улыбка, оживив его, как лучи послеполуденного солнца оживляют чопорную гостиную. Флоренс покраснела.

— Дело, которое привело вас в Матар? Да, он рассказал мне об этом. Может, выпьете что-нибудь? Я в это время иногда позволяю себе бокал чего-нибудь покрепче чая.

При этих ее словах буквально из воздуха материализовался слуга. Шейха кивнула, и он исчез, появившись секунду спустя с серебряным подносом в руках. На подносе стояли два хрустальных узких бокала, наполненные пузырящейся жидкостью золотисто-красного цвета.

— Шампанское с гранатовым соком, — сказала Лейла, вручая один бокал Флоренс. — Коктейль по-матарски, если угодно. Sahteyn. Слава богу, что в арабском языке для этого есть слово, похожее на "Santé". Кто бы мог подумать.

Флоренс сделала глоток, и сладковато-терпкие пузырьки согрели ей горло.

— Согласно традиции я должна приветствовать вас плодами фигового дерева, — сказала Лейла. — В целях рекламы нашего национального достояния, так сказать. Но обычай этот такой противный, что я его отменила.

— Похоже, супруга эмира разделяет взгляды своего мужа на инжир.

— Давайте оставим эту чепуху с формальным обращением, ладно? Я так и не смогла к этому привыкнуть. Постоянно оглядываюсь вокруг, чтобы понять, к кому обращаются. Называйте меня Лейла. Думаю, если мы займемся вашим проектом, вы в любом случае будете меня так называть. А вы предпочитаете мисс Фарфалетти?

— Нет, лучше Флоренс.

— По-итальянски — Фьоренца?

— Да, — сказала Флоренс, слегка удивившись. — Мой отец гордился тем, что он итальянец. Впрочем, итальянцы все таковы.

— А что вы делаете здесь, так далеко от Флоренции?

— Разве эмир вам не объяснил?

— Он сказал, что вы предлагаете мне возглавить какой-то общеарабский телевизионный канал, ориентированный на женщин, — Лейла откинулась на спинку своего кресла. — Редкое предложение. Такое не часто услышишь. Я бы даже сказала — слишком заманчивое, чтобы быть правдой.

— Мы считаем вас наиболее подходящей кандидатурой. Если честно, единственной кандидатурой. Поверьте, это крайне интересный проект.

— Вот как?

Женщины обменялись долгим взглядом. В глазах Лейлы не было заметно враждебности, однако они оставались холодны, как бокал в руке Флоренс.

— Вы сами придумали этот проект?

— Да. Хотя, конечно, за любым проектом стоят заинтересованные люди. — Флоренс понимала, что лжет, и от этого ей было не по себе.

— И кто они, если не секрет?

— Вот здесь вы найдете исчерпывающую информацию.

Флоренс склонилась над свои кейсом, вынула из него папку и протянула ее Лейле. Та начала перелистывать страницы с именами "заинтересованных людей". Все они, разумеется, были фиктивными, однако, если бы Лейла захотела позвонить любому из них, ей бы, конечно, ответили. Пока Лейла изучала список, Флоренс изучала ее саму.

— Полагаю, у них у всех денежный интерес в этом проекте?

— Деньги в нашем нечестном мире — достаточно честный мотив.

Лейла улыбнулась.

— А ваши спутники в отеле — это... ваши сотрудники?

— Да. Я привезла их с собой на тот случай, если вы сразу одобрите нашу затею, и мы тогда смогли бы немедленно начать. Они хотели посмотреть Матар. А если честно, то, мне кажется, их энтузиазм связан в

определенной степени с шопингом в беспошлинной зоне, а также с развлечениями в комплексе "Страна неверных".

— Беспошлинный шопинг плюс игровые автоматы, — сказала Лейла. — Понятно. Вот оно — многообразие и богатство матарской культуры. Ваш помощник, мистер Роберт Тибодо... Фарфалетти и Тибодо — звучит как название солидной юридической фирмы... Расскажите мне о нем.

Флоренс отвернулась и посмотрела на фонтан. Она никогда не была особенно вдохновенным лжецом.

— Бобби — наш исполнительный продюсер. Следит за тем, чтобы все исполнялось вовремя и как следует.

— А мистер Джордж? Ему уже лучше?

Флоренс почувствовала, как у нее пересохло во рту.

— Да, благодарю вас... Вы очень хорошо информированы.

— Этот отель принадлежит мне. Мой частный небольшой бизнес. Эмир не хотел, чтобы я скучала. Чтобы была занята. А теперь возникает ваш телевизионный проект, чтобы я была занята еще больше. Так ведь наверняка и будет, да? Или... такова и была первоначальная идея?

Флоренс чувствовала себя не в своей тарелке.

— А мистер Ренард[1]? — продолжала Лейла. — Он играет роль хитрого лиса?

— Он занимается концептуальным планированием, — сказала Флоренс, и голос ее вдруг сорвался.

— Это от воздуха пустыни. Иногда он действует просто ужасно. Выпейте немного воды.

— Вы ставите меня в неловкое положение.

— Да? — улыбнулась Лейла. — И у меня это, кажется, неплохо выходит... Так на какой сектор правительства вы работаете? ЦРУ? Но у них ведь... другой стиль. Что-то не очень вяжется. Как вы считаете?

— Если честно, — сказала Флоренс, — то я сама не вполне понимаю, на кого работаю.

— Похоже, вам надо еще выпить. Не беспокойтесь, я никому ничего не скажу. Во всяком случае, пока у меня не возникнет сомнений, что все это придумано моим мужем, дабы отвлечь меня от этого борделя, который он устроил для себя в Ум-безире. На самом деле меня ваш проект очень заинтересовал. Давайте выпьем еще по бокальчику.

Глава девятая

Малик бен Каш аль-Хаз приходился младшим братом эмиру Газзиру. У них были разные матери, как обычно бывает в тех случаях, когда отец оставляет потомство, превышающее тридцать отпрысков.

Эти двое были весьма не похожи друг на друга — ленивый и осторожный увалень Газзир и тощий, желчный, целеустремленный Малик. Единственным объединявшим их качеством была безграничная алч-

1. Le renard (*франц.*) — лис.

ность, причины которой в случае Малика были гораздо более понятны в свете не очень выгодных обстоятельств его происхождения. Его матерью была одна из миловидных йеменских служанок, перед очарованием которой эмир просто не смог устоять (хотя трудно сказать, что в его планы вообще входило устоять против чего бы то ни было). Как только ребенок появился на свет, роженицу немедленно услали в Санаа, снабдив мешочком матарских золотых суверенов. Ребенок должен был отправиться с ней, но эмир, увидев его, тут же прикипел к нему сердцем и воскликнул: "Надо же, какой симпатичный чертенок!" Он сию же минуту дал ему имя Малик (что по-матарски означает "маленький симпатичный ублюдок") и приобщил его к своему уже довольно многочисленному приплоду, кишащему во дворце.

Малик с раннего детства стал проявлять заметную предприимчивость и желание обойти всех других. На празднование его восьмилетия была устроена гонка на верблюдах, и он заранее прокрался в конюшни, чтобы накормить верблюдов остальных принцев смесью ячменя и древесного угля, от чего, как несомненно известно любому, кто управлял нажравшимся этой смеси верблюдом, этот самый верблюд становится крайне раздражительным и практически неуправляемым. В итоге Малик выиграл гонку и получил приз. С этого началось его пожизненное увлечение гоночным спортом.

Будучи министром спорта, морали и развития молодежи, Малик организовал ежегодное авторалли "Матар-500", которое на долгие годы стало главным событием в общественной жизни страны. Малик был не только президентом и главным спонсором этих гонок, но также их постоянным участником и, хвала Всевышнему, всегда в них выигрывал. Главным вопросом для фанатов на матарском треке был вовсе не "Кто победит?", а "Кто будет на втором месте?"

На этих гонках случались удивительные происшествия. Итальянец Джентиле Фабриани однажды потерял карданный вал на триста восемьдесят девятом кругу и врезался в ограждение. Отчаянный баварец Ульдо Панц не доехал считанных сантиметров до финишной черты из-за того, что все четыре покрышки на его колесах таинственным образом лопнули. А в тысяча девятьсот девяносто девятом году американец Бадди Бенфилд проехал по луже масла, необъяснимым образом материализовавшейся прямо перед его машиной, когда всем уже было ясно, что он мчится к победе. И разве весь гоночный мир не скорбел тогда о его гибели? Так или иначе, привлекать водителей мирового класса на гонки в Матаре становилось все сложнее. Малику приходилось постоянно увеличивать размер приза за второе место, доводя его до весьма экстравагантных сумм.

И тем не менее именно эти гонки во многом способствовали известности Матара на мировой арене. Матар теперь ассоциировался не только с фиговым маслом, беспошлинным шопингом и азартными играми, но также и с коррумпированными автогонками. Решение эмира поддержать проект Флоренс было мотивировано не только перспективами новых финансовых поступлений в его казну, но еще и желанием продемонстрировать всему миру, что Матар способен занять достойное место на мировом рынке передовых технологий.

Что же касается Малика, то в свои сорок с небольшим он уже начал слегка уставать от суеты автомобильных гонок. Скорее всего, новизна

ощущений от постоянных побед на треках "Матар-500" утратила для него свою остроту. Помещение для спортивных трофеев в его дворце было до такой степени забито абсолютно одинаковыми золотыми кубками, что они уже начали пробуждать в нем отнюдь не гордость, а скуку. Вдохновляемый отчасти своей находящейся в изгнании матушкой, которая бомбардировала его электронными письмами из Санаа, теперь он положил глаз на гораздо более интересный трофей — трон старшего брата.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы его братец Газзи так уж совсем не догадывался об этом. Он очень внимательно следил за своим единокровным братом с того самого дня, когда верблюд на полном скаку сбросил его в куст крапивы.

Малик ежегодно выигрывал свой приз в "Матар-500" именно с высочайшего соизволения Газзи. Тот знал, что до поры до времени это будет доставлять юному принцу столь необходимое ему чувство самоудовлетворения. Однако, как написано в мудрых книгах, сколько ни корми скорпиона — аппетит у него не пропадет. Только живот станет больше. Таково было положение дел к моменту появления Флоренс в столичном городе Амо-Амасе.

Ситуацию к тому же осложняли французы, которые вообще всегда осложняют ситуацию. Им были известны настроения Малика, и они всячески пытались эксплуатировать их с корыстью для себя. Франция открыла посольство в Амо-Амасе, и его сотрудники проводили там дни, отнюдь не прохлаждаясь в кофейнях на набережной. Напротив, они прекрасно отдавали себе отчет в том, что Малик с точки зрения практики разведывательных служб является весьма перспективной целью.

Франция ведь так и не простила Черчиллю и его картографам того унижения, которое она испытала в тысяча девятьсот двадцать втором году. Быть может, пословица "Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным" и принадлежит испанцам, однако не кто иной, как Ларошфуко, заметил однажды: "Как все-таки приятно запихивать холодных мертвых улиток в глотку англичанина". Теперь у Франции появился реальный шанс поквитаться за старую обиду, а при определенном везении насолить также и Соединенным Штатам.

За долгие годы Франция не упустила ни одной возможности воспользоваться довольно натянутыми отношениями между Васабией и США. Когда Америка отказывалась продать васабийцам свой новейший истребитель или какую-нибудь другую ужасную технологию на том основании, что они могут применить ее против Израиля, на сцене тут же появлялась Франция, которая понимающе кивала в сторону американских дипломатов и немедленно добавляла: "Но вы, конечно же, можете купить что-нибудь у нас!" Американские конгрессмены, представляющие те регионы, где производились эти самые истребители, отправлялись потом в Белый дом и костерили там на чем свет стоит "долбаных лягушатников", загребавших большие деньжищи, в то время как им самим оставалось только "сосать пустую титьку" (вот такими изысканными идиомами оперируют наши политики). В итоге президент, постоянно нуждающийся в голосах конгрессменов для поддержки какого-нибудь нового законопроекта, разумеется, давал слабину, и Васабия получала требуемые истребители, с которых предварительно удалялось несколь-

ко самых новейших боевых устройств, для того чтобы вся эта акция не слишком задевала израильтян. Впрочем, этим было вообще наплевать. Любой пилот израильских ВВС мог играючи сбить все военно-воздушные силы Васабии, ведя огонь одной рукой, а в другой сжимая свой кошерный бублик.

Понимая, что история предоставляет редчайший шанс, французская разведка заманила принца Малика в Париж.

Приглашение пришло от президента концерна "Авто-Витесс СА", производящего гоночные машины мирового класса наряду с популярными в Америке малолитражками "алле-оп". Основанная в 1912 году Эмилем Лагасс-Понти, эта фирма произвела на свет десятки победителей автогонок класса "Гран-при". На этот раз компания изъявила желание предоставить свой автомобиль Малику для участия в гонках "Матар-500". И Малик не устоял.

А какой прием ожидал его во Франции! Ужин в Елисейском дворце в Париже с президентом Вильпеном, вечер в опере, где по этому случаю давали эксклюзивное представление под названием "Тысяча и один круг", в котором выдающийся французский тенор Отмар Бловар исполнял партию Мальпика, отчаянного мавританского гонщика на верблюдах, спасающего ислам в тринадцатом веке посредством победы над злым английским крестоносцем Бертрамом по прозванию Немытый. Все эти тонкие намеки не ускользнули от человека, сидевшего в президентской ложе в окружении восхитительного дамского антуража с этикеточкой "Made in France". На следующий день королевский визит Малика продолжился посещением завода "Витесс" недалеко от Лиона. Матарский принц провел здесь два дня в бесконечных празднествах, обедах и ужинах. К тому времени, когда он покинул Францию на борту правительственного аэробуса с шестью новенькими сверкающими автомобилями "Витесса" для "Формула-1", Малик стал убежденным и окончательным франкофилом. Ну кто, скажите на милость, сможет устоять перед французами, если они решили кого-нибудь соблазнить?

Тем временем в главной (и, в общем-то, единственной) газете эмирата "Аль-Матар" появилось сообщение о том, что жена эмира Лейла назначена главой нового спутникового телевизионного канала ТВМатар. Разумеется, эта информация не осталась незамеченной в Париже.

Флоренс и ее команда разместились в большом офисном комплексе в одном из западных пригородов Амо-Амаса. Во время первой войны в Заливе здесь было расквартировано подразделение американского спецназа. У себя в кабинете Флоренс обнаружила на стене надпись, нацарапанную кем-то из рейнджеров или морских котиков: "Дайте войне шанс". По коридорам комплекса сновали сотрудники, нанятые в основном из числа местных жителей. Оперативный центр располагался в дальнем крыле здания. Офис Лейлы, из соображений приличия, находился не здесь, а в центре города в небоскребе из черного стекла, построенном финским архитектором По Скаалмо, который приложил свою руку и к строительству развлекательного комплекса "Страна неверных".

Работа кипела практически круглые сутки. Все спали на кушетках прямо в своих кабинетах, но никто не жаловался. Даже Бобби и Джордж препирались меньше обычного. Из Штатов прилетел дядя Сэм, выразивший глубокое удовлетворение результатами деятельности

Флоренс. Он даже не нахмурился, когда Джордж показал ему финансовые отчеты, хотя все же заметил, что на такие деньги можно было бы запустить новый телеканал хоть в Америке. После этого он добавил, что сумел договориться насчет необходимых спутников.

— Ребята из Агентства национальной безопасности сделали скидку, — сказал он и усмехнулся.

В своих очках в металлической оправе и с зачесанной назад седой шевелюрой он выглядел как заправский член совета директоров компании "Дженерал моторс" образца пятидесятых годов.

Нужно ли им еще что-нибудь? Все что угодно...

Похоже, у него был секретный пропуск в любой кабинет правительства Соединенных Штатов. Флоренс уже не пыталась выяснить, на кого конкретно он работает. Она была слишком занята. Да и к чему смотреть в зубы дареному коню? Для себя она решила, что дядя Сэм из ЦРУ, хотя Бобби уверял, будто никогда его там раньше не видел. Возможно, он работал в каком-то отделе в составе другого отдела — в одном из тех таинственных подразделений, которые создавались для какой-нибудь единственной операции много лет назад, а потом о них просто забывали, но он продолжал функционировать, словно космический зонд, запущенный давным-давно в сторону далекой планеты — проникающий все глубже и глубже в холодный космос, автономный, безмятежный, всеми забытый...

Ренард, который возглавил отдел сетки вещания, был на седьмом небе от счастья. Какой специалист по пиару не мечтает о собственном телевизионном канале без постоянно заглядывающего ему через плечо назойливого клиента? Этим утром Рик был взволнован даже больше обычного, поскольку собирался представить Флоренс и Лейле пилотный выпуск ток-шоу, которое должно было стать гвоздем утреннего вещания канала ТВМатар.

— Вам это понравится, — сказал он.

Они собрались в комнате для просмотров. Лейла была в темных очках и беспрестанно курила. Любой, взглянув на нее, немедленно определил бы в ней телевизионного босса.

— Это наш флагман. Наш камертон. Якорь, если хотите.

— Ты лучше поднимай поскорее свой якорь, — сказала Флоренс. — У меня через полчаса встреча с людьми из парфюмерного бизнеса.

В последнее время Флоренс ощущала себя не столько крестной матерью арабского феминизма, сколько директором по рекламе. Она тратила почти все свое время на поиски рекламодателей. Вообще-то в этом не было особой необходимости, но чем больше на канале было рекламы, тем более достоверно выглядела вся затея. И тем больше денег плыло в сундуки эмира Газзи. В этом смысле Лейла была незаменима, поскольку она могла привлечь к общему делу производителей предметов роскоши, продававшихся в матарских магазинах беспошлинной торговли. Несговорчивым она намекала, что, если они не будут рекламировать свои товары на ее телевидении, они могут легко потерять лицензии на торговлю в международном аэропорту Амо-Амаса, тогда как именно там зарабатывались самые большие деньги.

— Ее настоящее имя Фатима, — сказал Рик, когда на экране возникла телевизионная картинка.

Ведущая программы появилась перед собравшимися в студии в глухой непроницаемой чадре. Публика зааплодировала.

— Их всех зовут Фатима, — сказала Лейла, выпуская клуб дыма. — А остальных зовут Лейла.

Фигура в чадре направилась к своему месту ведущей. По дороге она запнулась о кофейный столик и неожиданно рухнула на пол, обнажив при этом удивительной красоты ноги в соблазнительных чулках и очаровательную подвязку. Аудитория взорвалась дружным женским смехом.

— Звук пришлось наложить, — сказал Рик. — На самом деле они понятия не имели, как на это реагировать. Но когда мы им объяснили — тут уж было просто держись. Словно после тысячи лет гнета наступило настоящее освобождение...

— Может, мы просто посмотрим, Рик?

На экране появилось название шоу: *Шер Азада.*

— Мы проверили, — сказал Рик. — Большинство из них сразу догадались, что это по-французски и что это значит "Милая Азада". Улавливаете каламбур? Как Шахерезада... Девчонка из арабских сказок.

— Девчонка?

— Да какая разница!

Чуть ниже названия появилась строка на арабском: *Тысяча и одно утро.*

Ведущая тем временем поднялась с пола и тут же врезалась в стул. Аудитория взвыла. Азада наконец пробралась к своему месту и уселась.

— Все из-за этой новой чадры, — сказала она. — Ничего не вижу...

Аудитория разразилась смехом.

— Обожаю сериал про Люси, — сказал Рик. — Эту серию я бы назвал "Люси в поисках Аладдина".

— Только не выдавайте меня религиозной полиции, — попросила ведущая Азада. — А то получу тридцать плетей. И все лишь за то, что показала кусочек лодыжки!

Аудитория опять рассмеялась.

— Да уж, — сказала Флоренс. — Они ей этого не простят. Как вы считаете, Лейла?

— Сто процентов.

Но Рик возразил:

— А вот это вот — как сказать. По закону они ничего не могут ей сделать. Джордж нашел лазейку в книге Хамуджа, откуда они берут все свои дебильные правила.

— Рик, следи за своим языком в присутствии жены эмира.

— Все в порядке, Флоренс, — сказала Лейла.

— Книга Хамуджа, — продолжал Рик, — содержит все религиозные правила, касающиеся того, что женщинам делать можно, а что нельзя. Последнее включает в себя практически все, в том числе и оргазм, если им предварительно не отрезали... э-э-э...

— Это называется клиторальное обрезание, — сказала Лейла. — Ему подвергают молодых женщин, заботясь об их целомудрии. Считается, что это одно из самых значительных достижений ислама.

— Понятно, — сказал Рик. — Так вот, мукфеллины — то есть религиозная полиция Васабии, — они ходят везде с кнутами и лупят женщин прямо на месте, если застукают их обнажившими хотя бы сантиметр своего тела. А недавно они загнали нескольких девушек обратно в горящую школу только из-за того, что у тех головы были не покрыты. Вот

ведь гребаная страна. Но в нашем случае им ничего не обломится, поскольку ведущая свалилась нечаянно. Джордж — а я вам скажу, он разбирается в этом дерьме — нашел в этой дурацкой книге сносочку, гласящую, что если вы случайно оголяете свое тело, то вы вроде как ни при чем. Эта сносочка появилась аж в четырнадцатом столетии. Какая-то принцесса Хамуджей свалилась с верблюда и полетела с него вверх тормашками, и все увидели ее ноги. И вот это, я вам доложу, был скандал. Всему каравану пришлось остановиться и ждать, пока они решат — то ли забить ее камнями, то ли башку отрезать. А потом кто-то из них вдруг сказал: "Минуточку! Это же любимая пампушка нашего калифа. Что мы, вообще, здесь обсуждаем? Он сидит и ждет ее в Каффе, а мы привезем ему голову в корзинке? Да на хрен нам это надо?" Но этим религиозным ментам все-таки надо было сохранить лицо. Вот они и написали в законе, что нельзя никого наказывать, если тело было оголено случайно. Так что с религиозной точки зрения им нас теперь не достать.

— Представляю, как они взвоют от ярости, — сказала Лейла.

Рик улыбнулся:

— А мы разве не для этого городили весь огород?

Затем они досмотрели остаток программы, и Лейла повернулась к Флоренс:

— Похоже, у Матара теперь есть настоящая атомная бомба. У меня просто руки чешутся ее взорвать.

— А не следует ли нам показать этот материал сначала эмиру? — спросила Флоренс.

— Думаю, не стоит его беспокоить. В последнее время он так занят государственными делами.

Глава десятая

ТВМатар начал вещание на восходе первого дня весеннего новолуния. В газетах и журналах Васабии незадолго до этого появилось множество рекламных объявлений, призывающих женщин смотреть новый канал: "Только для вас!", "Восхитительные рецепты!", "Советы, как воспитать детей и быть хорошей женой в сегодняшнем мире!" Все эти объявления легко проскользнули мимо васабийских цензоров, решивших, что это будет еще одним ТВ-шоу, где учат готовить пряный хуммус и правильно крахмалить *тхобу* своего мужа. Как же удивились царственные мужья Васабии, услышав взрывы женского смеха, когда *Милая Азада* как по мановению волшебной палочки возникла в каждом доме от Каффы до Акбукира!

— Моя следующая гостья... Что-то я не могу ее разглядеть... Вы здесь, Фара?

— Я тут, Азада!

— Хвала Всевышнему. Итак, Фара, насколько я понимаю, вы водите автомобиль?

— Да! "Мерседес".

— Удивительно. И что вы испытываете, сидя за рулем?

— Трепет... У меня просто нет слов.

— А вы никого не сбили?

— Нет. Только несколько мукфеллинов, которые гнались за мной. Я даже потом вернулась и переехала их еще раз.

— Ну как же вы так, — упрекнула ее Азада. — Вас за это хорошенько побьют. И что было потом?

— Потом я продолжала ехать до самой границы. Машина сейчас стоит на улице. Я даже мотор не глушила. Хотите немножечко порулить?

— Только если мы сможем сбить кого-нибудь еще из религиозной полиции. А теперь нас ожидает реклама чудесных духов. Оставайтесь с нами, даже если у вас действительно есть автомобиль. Чуть позже мы продолжим нашу программу. У нас в гостях инструктор по самозащите, который даст нам несколько полезных советов, как справиться с разбушевавшимся мужем или бойфрендом во время праздника Рамадан.

Телефоны в министерстве религиозного правоохранения в Каффе звонили без остановки. Однако мукфеллины не могли ничего поделать. Единственное, что им оставалось, это ездить по городу и разбивать или отнимать телевизоры. Их традиционно лиловые автомобили сновали по улицам и скрежетали тормозами при виде работающего телевизора где-нибудь в магазине или кафе. Из машин выскакивали взбешенные мукфеллины в своих черно-синих тхобах и с кнутами наперевес.

— Итак, мы снова в эфире, хвала Всевышнему. Согласитесь, что советы инструктора по самозащите были чрезвычайно полезны.

— Ну разумеется, — отвечала Азаде вторая ведущая. — Думаю, что теперь я буду с нетерпением ждать Рамадана.

— А я куплю большой медный поднос с ручками, чтобы закрываться им, как щитом. Итак, встречайте нашу следующую гостью! Она написала книгу.

— Как замечательно!

— Разумеется, вы не найдете ее в магазинах. Однако сейчас на экране появится номер, и вы сможете заказать эту книгу по телефону. Вам пришлют ее в специальной, не бросающейся в глаза обложке.

— А как называется книга, Азада? Мне уже не терпится ее прочитать.

— Она называется "Хватит! Ты убиваешь меня, или Издевательства над женщиной в арабском обществе и как вы можете их избежать".

— Хвала Всевышнему. А про что эта книга?

Публика в студии засмеялась.

— Знаешь, это точно не книга по домоводству.

Министр иностранных дел Васабии позвонил матарскому послу в Каффе. Услышав в трубке звуки злосчастной телепрограммы, он взбесился еще больше.

— Это враждебный акт, — прорычал он.

— Я извещу своего эмира, Ваше Сиятельство, — ответил посол, спеша положить трубку, чтобы вернуться к телевизору.

— А что побудило вас написать эту книгу?

— Трудно так сразу сказать, милая Азада, но, видимо, меня вдохновили те мукфеллины, которые загнали девочек в горящую школу. Я поду-

мала в тот момент — в каком же варварском обществе мы живем, если такие ужасы происходят у нас каждый день?

Публика в студии зааплодировала.

— Спасибо, что рассказали нам об этом. Итак, книга называется "Хватит! Ты убиваешь меня". Автор — Ясмин Хамза. Мне бы хотелось, чтобы все, кто нас смотрит, купили по две книжки. Плюс еще по одной для остальных жен вашего мужа. Мы сделаем так, что у них головы пойдут кругом, мои дорогие сестры. Благодарю вас, Ясмин, за то, что пришли к нам сегодня утром. А теперь будет еще немного рекламы, после которой на нашем канале — показ мод. То, что мы носим на головах эти безобразные тряпки, вовсе не значит, что мы не умеем быть красивыми.

Где-то в Париже раздался телефонный звонок.

— Пора, — сказал голос в трубке. — Это самый подходящий момент.

— Полностью с вами согласен.

Тем временем в Ум-безире, где эмир предавался неге и наслаждениям, его старший слуга Фетиш не знал, как побеспокоить хозяина, который уединился в своей обтянутой шелком беседке с тремя дамами. Две из этих чрезвычайно одаренных прелестниц прибыли недавно из Киева и Санкт-Петербурга. Третья была парижанка, и тоже крайне одарена. В гарем эмира она попала по рекомендации его брата Малика, ужасного пройдохи и хитреца. Он встретил эту девушку по имени Аннабель во время одной из своих поездок во Францию за новыми гоночными машинами. Эмир по достоинству оценил выбор брата и снова готов был признать, что в вопросах любви, как и кулинарии, французам просто нет равных.

Телевизионный проект Лейлы настолько увлек ее, что Газзи снова был свободен, хвала Всевышнему, и безмятежно резвился в полях эроса, омываемых бирюзовой морской водой.

— Повелитель, — робко позвал слуга.

— Ну в самом деле, Фетиш... Ну сейчас не время...

Фетиш прикрыл телефонную трубку рукой и прошептал:

— Это сам король Таллула.

Король Васабии звонил эмиру далеко не каждый день.

— Чего ему надо?

— Повелитель, он мне этого не сказал. Но голос у него недовольный. Точнее, очень сердитый.

— Ну дай сюда телефон... Послушайте, дорогуши, — обратился Газзи к трем дамам. — Идите-ка искупайтесь, а?.. Алло?

Эмир постарался собраться с мыслями, разбегавшимися куда-то из-за шампанского.

— Ваше Величество? — сказал он. — Вы оказываете мне честь этим звонком. Да пребудете вы в добром здравии, и пусть осенит вас сила десяти мужчин, которые вполовину вас моложе. Какова причина вашего беспокойства, вынудившего меня прервать молитву? Телевидение? Нет, нет, нет. Это бизнес Лейлы... То есть шейхи. Женские дела — рецепты, тряпки, детишки, пироги, все в этом духе... А? Да-а? О! Хм... Нет, но этому должно быть какое-то объяснение. Разумеется, я разберусь. Да, да. Угу... А принц, ваш брат — с ним все в порядке, хвала Всевышнему? А сорок тысяч наследных принцев? Воистину Всевышний щедр и милосер-

ден. Совершенно верно. Порукой тому мое слово. Я свяжусь с вами, прежде чем солнце сольется в поцелуе с вашими западными границами. Верьте моему слову. И передайте мои добрые пожелания вашим женам. И маленьким принцам. *Салям.*

Он нажал кнопку на телефоне и швырнул его Фетишу, который давно уже был натренирован ловить бросаемые разгневанным хозяином аппараты.

— Должен ли я известить королевского пилота о том, что мы возвращаемся в Амо-Амас, повелитель?

— Разумеется, нет. Этот старикашка, этот сын египетской шлюхи, еще будет выламываться передо мной как мой владыка! Матар — не провинция Васабии. Пусть посмотрит на карту! Похоже, этот телевизионный проект не снискал его высочайшего одобрения, — задумчиво сказал Газзи, и на лице у него появилась довольная ухмылка. — Ха! Хорошо. Передай Аззиму, чтобы он разобрался во всем этом и представил доклад. Но... знаешь что?

— Что, мой повелитель?

— Скажи Аззиму... чтобы не очень спешил.

Эмир хихикнул, а затем выглянул из беседки. В лагуне, окаймленной пальмовыми деревьями, три полуобнаженные женщины резвились в неглубокой воде, словно три повелительницы Багдада. Они смеялись, брызгались водой и расчесывали друг дружке волосы.

— Изволит ли мой повелитель совершить омовение в лагуне до обеда?

— Ну, если ты будешь и дальше бегать за мной с телефонами, то пропадает всякий *смысл.* Ты меня понял?

Фетиш улыбнулся и поклонился:

— Уверен — ничто более не потревожит моего повелителя.

— В таком случае, — сказал эмир, — я пойду освежусь в лагуне. А потом отобедаю. Мы будем есть лобстеров с черной икрой, чтобы наши русские гостьи чувствовали себя как дома. А после этого подашь нам соки и шербет из ягод мирта.

— Превосходно, мой повелитель.

Тем временем девушки продолжали резвиться в лагуне, как туземки на полотнах Гогена. Их умащенная маслом кожа блестела в солнечных лучах, падающих на них сквозь пальмовые кроны.

— Фетиш, когда будешь подавать шербет, положи по крупной жемчужине на каждую тарелку.

— Выращенный на плантации жемчуг или со дна залива?

Эмир на секунду задумался.

— Со дна залива. Сегодня особый случай, Фетиш... Слушай, ты иногда такой скряга.

— Как скажете, мой повелитель.

Дядя Сэм позвонил Флоренс. Он был в восторге.

— Браво, браво! Устроили им настоящую бурю в пустыне. Уже в ООН начались заседания по этому поводу. Делегат от Васабии потребовал извинений от матарского делегата.

— То ли еще будет на следующей неделе, когда выйдет новая программа.

— Непременно включу телевизор. А вы, юная леди, поосторожнее там. В пустыне водятся змеи. Поменьше привлекайте к себе внимания. И присматривайте, пожалуйста, за этим вашим Тибодо.

Провести рейтинговый опрос в такой стране, как Васабия, оказалось делом довольно хитрым. Заниматься этим пришлось Джорджу, который имел природную склонность чиновника Госдепартамента изучать любую проблему до тех пор, пока она не перестанет существовать вообще. Он нанял одну голландскую фирму в Гааге (что само по себе географический синоним надежности и безопасности) для проведения завуалированного телефонного опроса жителей Васабии. Большинство вопросов касалось качества импортированных овощей.

Результаты проведенного исследования Джордж представил Рику, Флоренс и Лейле. Бобби отсутствовал: занимался проблемами безопасности. Сам он называл свою деятельность "превентивными мерами".

— Похоже, они заглотали наживку, — сказал Джордж. — В общих чертах мы теперь по популярности в Васабии номер один.

— Хорошая работа, Ренард, — сказала Флоренс. — Пиар-концепция оправдывает себя.

Рик кивнул.

— А как к нам относятся мужчины? — спросила Флоренс.

— Консервативно настроенные — не очень. Они либо выключали телевизоры, либо выбрасывали их в окно. Это, кстати, хорошая новость для "Сони". А тем, кто помоложе, вроде понравилось. — Джордж оторвал взгляд от своих бумаг и вздохнул. — Это, конечно, далеко не научный подход. Я бы предпочел более скрупулезное исследование...

— У нас мало времени. Что еще?

— Восемьдесят процентов опрошенных женщин говорят, что хотят увидеть, как она снимет свою *абайю* прямо в эфире.

— Не думаю, что мы к этому готовы, — сказала Лейла. — Азада — это такой цветок, который должен распуститься не сразу.

— Две трети хотят, чтобы было меньше рецептов, — продолжал Джордж. — И больше секса. И чтобы Бритни Спирс рассказала о том, как проколола пупок... Понятия не имею, каким образом в список попал этот вопрос. Я его не включал. Я вообще эту Бритни Спирс и в уме не держал.

— А как дела с книгой Ясмин?

— Лидер продаж! Мы ее, конечно, раздаем по большей части бесплатно, поскольку у женщин нет кредитных карт. Пересылаем из Голландии и Франции. При этом половину конфискуют на васабийской таможне. Мы вынуждены творчески подходить к упаковке. Сейчас наклеиваем на ящики этикетку "Тюльпаны" или "Шоколад" и пишем: "Скоропортящийся продукт". Но, видимо, скоро придется поменять тактику. Почтовая служба "ФедЭкс" не очень довольна. Коробки слишком тяжелые.

— Спасибо, Джордж. Отличная работа.

— На следующей неделе проведем новый опрос. После второй премьеры.

Второй премьерой была "Площадь Секир-Башка" — мыльная опера, транслируемая в прайм-тайм. Сюжет вращался вокруг некой королевской семьи, проживающей в неназванной стране, которая была откро-

венно похожа на Васабию. Сериал стартовал в восемь вечера и был осужден в пятистах мечетях уже на следующее утро. Министерство информации Васабии назвало его "порождением зла перед лицом Всевышнего".

Бобби, который выглядел еще более невыспавшимся, чем обычно, сообщил, что великий мулла Му́ка – религиозный лидер Васабии и уж точно не кисейная барышня – собирается объявить самую страшную фетву.

– Ну что же, – сказала Лейла, вынимая из пачки следующую сигарету. – Думаю, это растопит воск в ушах Газзи.

Флоренс уже успела заметить, что Лейла буквально упивается всем происходящим. И причина, скорее всего, была связана не с яростью, которую ТВМатар вызвал среди васабийцев, а с той непростой ситуацией, в которую Лейла поставила своего мужа. За день до этого, как она сама рассказала Флоренс, во дворце эмира произошла настоящая семейная сцена.

Эмир сказал:

– Чем вы там занимаетесь с этой американкой, во имя Всевышнего? Таллула звонил мне *три* раза.

– Сначала он позвонил сюда, дорогой. Я сказала ему, что ты в Умбезире. Отдыхаешь от своих тяжких обязанностей, гнетущих тебя здесь.

– Вот только вот этого не надо, мадам. Могла бы сообщить мне о содержании всего этого... всей этой твоей телевизионной возни. Ради святой бороды пророка, Лейла! Чем вы там занимаетесь с этой американкой? Ты знаешь, что мне про нее рассказывают?

– Она настоящая бизнес-леди. Хочешь, я покажу тебе, сколько ты заработал на прошлой неделе? Вот отчеты. Сам посмотри.

– О-о! Ну надо же... А тут... все точно?

– Это, дорогой мой, только начало. Разве мой повелитель не заметил...

– Перестань меня так называть! Ну что на тебя нашло?

– А на тебя?

– Я разве взял себе новых жен? Нет.

– Значит, так ты определяешь супружескую верность?

– Лейла, у меня из-за тебя, кажется, сердце прихватило. Перестань. Или ты хочешь, чтобы Хамдул остался без отца?

Эмир всегда прикидывался больным, когда его загоняли в угол.

– Может, мне позвать королевского кардиолога? – спросила Лейла.

– Нет, все прошло. Хотя тебя, конечно, это вряд ли волнует. – Он снова посмотрел на листок с цифрами. – Да, суммы все-таки впечатляющие.

– Как и вот это, – Лейла протянула ему вырезку из общеарабской газеты "Аль-Ахрам".

Статья называлась "Неужели 'Матарский пудинг' и есть новый Саладин?"[1]

Текст был написан Джорджем, отправлен в газету Ренардом, а Бобби за него заплатил.

1. Салах-ад-дин (1138–1193) – египетский султан, возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев.

ТВМатар, новый телевизионный канал, базирующийся в Амо-Амасе, удивляет зрителей своей дерзкой позицией, заставляя задуматься всех жителей нашего региона о новом облике эмира бен Хаза, который до настоящего момента, по общему мнению, просто распутничал и резвился в своем "зимнем дворце", а теперь, как кажется, проявляет мужество и самые передовые взгляды.

— Хм-м, — хмурясь, сказал Газзи.

— Моему повелителю это не нравится?

— "Матарский пудинг"?

— Дорогой, они называют тебя новым Саладином, господи боже мой. Ты не считаешь это комплиментом?

— Не знаю, не знаю, — сказал Газзи, роняя газетную вырезку на пол. — Это твои дела, а не мои.

— Послушай меня — давай делать это вместе. Как одна команда, — она с нежностью погладила его щеку. — Мы уже давно с тобой...

— Угу...

— Дорогой?

— Что, дорогая?

— Ты в последнее время был очень занят... и мне бы не хотелось подцепить от тебя что-нибудь.

— Слушай, Лейла! Ну ты совсем уже!

— Не тебе на меня обижаться, Газзир. И нечего злиться. Я беспокоюсь об элементарной гигиене.

— Умеешь ты испортить настроение.

— Ой, да ради бога, я тебя умоляю. Даже Хамдул ответственнее тебя. А ему всего десять лет. Я прошу тебя только сделать анализ крови. Скажешь, у меня нет на это причин? Тебе ведь так и так эту кровь меняют каждый месяц. Трудно, что ли?

— Ладно, перестань. Так что с этим телевидением?

— А что с ним?

— Таллула из-за него рассвирепел.

— Дорогой, ты ведь сам терпеть не можешь этого Таллулу и всех васабийцев вместе взятых. А это самое телевидение сделает тебя одним из богатейших мужчин в Заливе. Я уж не говорю о "новом Саладине". Если тебя что-то беспокоит, то я никак не могу взять в толк — что именно.

— Я вынесу это на обсуждение со своими министрами.

— Уверена, что они проявят мудрость и ты примешь правильное решение.

— Хвала Всевышнему. Но знаешь, — сказал эмир, — иногда мне кажется, что я женился на дьяволице!

— Ты раньше говорил мне это в постели. Помнишь нашу первую ночь в лондонском отеле "Коннот"? О, каким *львом* был тогда мой повелитель, — она снова погладила его по щеке, продолжая нежно поддразнивать.

Он страстно хотел ее, но просто не мог позволить себе опуститься до анализа крови. Раздраженно топая, он вышел из комнаты, чтобы предаться своему раздражению в одиночестве, но при этом все же не смог удержать довольной улыбки, поскольку доход от телевизионной рекламы действительно был как бурный поток живительной влаги в иссушенной зноем пустыне. Да и новым Саладином считать себя было

приятно. Хотя он не совсем отчетливо понимал — кто же тогда неверные, с которыми надо сражаться.

Глава одиннадцатая

Суть того, что господин Делам-Нуар разъяснял Малику за чашечкой кофе в роскошной гостиной дворца Фрамбуаз недалеко от Парижа, где располагалась штаб-квартира возглавляемого господином Деламом департамента французского правительства, заключалась в том, что ключевыми фигурами во всей этой игре должны стать мусульманские священнослужители. Малик был раздражен, нетерпелив и вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Ему не нравилось то, как снисходительно беседует с ним этот высокий элегантный мужчина в дорогом костюме от модного портного, то и дело проявляя недюжинную эрудицию в области истории Васабии и Матара.

Доминик Делам-Нуар возглавлял 11-й отдел, занимавшийся проведением наиболее щекотливых операций за пределами Франции. Он также являлся автором монументального отчета об установлении мира на Ближнем Востоке в 1922 году, отражающего французскую точку зрения и озаглавленного следующим образом: "Мы заберем Ливан и Сирию, а евреев и палестинцев можете оставить себе". Он говорил на трех арабских диалектах, а также на курдском и пушту. Еще он любил извиняться (пожалуй, несколько переигрывая) за свое произношение на фарси. Ко всему прочему он писал стихи на арабском. Критик из "Суар" определил его поэзию как "попытку сплавить воедино туповатый мистицизм Гибрана с перенасыщенным кофеином нигилизмом Сартра". И никак иначе.

— Разумеется, — манерно говорил Делам-Нуар Малику, — диалектика, которая была характерна для взаимоотношений Рафика с имамом Мука в начале восемнадцатого столетия, не совсем соответствует нашим взглядам на будущее обновленного Матара, не правда ли?

Малик реагировал на вышесказанное с абсолютно непроницаемым выражением лица, как будто хотел сказать, что его мозг настолько занят анализом всех нюансов и тонкостей, что ему просто не хватает нейронов для управления примитивными лицевыми мышцами. По правде сказать, он вообще ни бельмеса не понимал в речи этого самого Делам-Нуара. Единственное, что его волновало, отливалось в довольно ясную и простую мысль: *Когда же мы, наконец, будем обсуждать то, как я стану эмиром?*

— И возвращение к периоду с 1825 по 1834 год, — продолжал Делам-Нуар, — тоже вряд ли кого-то устроит! Ведь вы, наверное, помните смуту в междуцарствие Али бен Хавалли и последующий крах экономики при Мохабе, сменившийся тем, что впоследствии назвали *нувелль хеджира* во время правления Бахима Хабба?

Делам-Нуар безмятежно улыбнулся и приподнял одну бровь, подчеркивая картезианское великолепие этой исторической перспективы. А Малик уже буквально погибал от желания оказаться за рулем одной из своих машин класса "Формула-1", мчащейся по раскаленному асфальту с показателями спидометра в четверть скорости звука и проносящейся

мимо толпы, подобострастно вопящей во всю мочь: "Малик! Малик Великолепный!"

Нет, с него уже достаточно всей этой белиберды!

— Мне хорошо известно все то, о чем вы говорите, — сказал он, опуская свою чашку из севрского фарфора на столик, сделанный в свое время для одной из любовниц Людовика XV. — Но я приехал обсуждать с вами *будущее* Матара, а не его прошлое.

Делам-Нуар прикоснулся кончиками пальцев к его рукаву и сказал:

— Ну разумеется!

Малик в изумлении уставился на него.

— Вы так замечательно чувствуете историзм этой ситуации. Возможно, вы единственный, кто его чувствует среди нынешних *умара*. И как любопытно созерцать эту параллель между эмиром, вашим братом, и его троюродным дядей Мустафой бен...

— Да, да, да, Мустафа, — буквально простонал Малик. — Эта параллель бросается в глаза прямо как сирханская гадюка на человека. *Но, может, лучше поговорим про банковские счета?*

— А-а, — промурлыкал Делам-Нуар, указывая своим длинным пальцем почему-то на семиметровый потолок с изображениями пухлых ангелочков. — Меня поражает ваше абсолютное понимание. Для вас, Малик бен Каш аль-Хаз, это не просто политический шанс... Нет, нет... Это *долг*. Родственные чувства в идеальной гармонии с понятием долга. И все это в контексте гиродинамики историчности.

О чем говорит этот старый болван? По крайней мере, похоже, что он заканчивает нести свою изысканную чушь.

— Нет, нет, такое встретишь не каждый день. Браво, mon prince. Я вам аплодирую.

— Банковские счета, — снова попытался прервать его Малик.

— В Йемене, — сказал Делам-Нуар. — Все уже устроено.

— А как быть с этой американкой Фарфаф... Никак не могу произнести это имя... С этой Флоренц.

Американка сильно интересовала самого Делам-Нуара, но до поры до времени этот старый и хитрый шпион старался не показывать своего интереса и скрывал даже то, что внедрил одного из своих сотрудников, ту самую одаренную Аннабель, в ум-безирский гарем эмира.

— Мы, разумеется, внимательно наблюдаем за ней, — сказал Делам-Нуар, и речь его была теперь уже проста и конкретна, без всяких витиеватых завитушек в стиле рококо. — Этот телевизионный проект оказался очень успешным. Она зарабатывает большие деньги для вашего брата. И, кажется, его это очень устраивает.

— Мой брат — похотливая жаба.

— Вопрос в том, как возродить подлинное величие Матара. Знаете, совсем неплохо было бы, если бы вы стали тесней общаться со священнослужителями. Думаю, вам следует почаще бывать в мечетях.

— В *мечетях?* — фыркнул Малик. — Я автогонщик.

— И один из самых лучших. Вы становились чемпионом двадцать раз!

— Двадцать один.

— Совершенно верно. Но разве это причина для предубежденности по отношению к религии? Поверьте, вкупе с теми счетами в банке Йемена это заставит их увидеть вас в новом свете.

Малик вздохнул:

– У меня репутация не очень верующего человека.

Делам-Нуар сделал вид, что обдумывает сказанное Маликом, хотя на самом деле у него было заранее спланировано каждое слово этого разговора, каждая запятая. Он поднял глаза к потолку, как будто задумался в поисках ответа, и наконец сказал:

– Вам знакома одна французская пословица, которую, как и все остальное, украли у нас англичане?

– Какая пословица?

– "В окопах не бывает атеистов".

– Знакома, – солгал Малик.

– А разве бывают атеисты в кабине автомобиля "Формула-1", охваченного пламенем на скорости 400 километров в час? – улыбнулся Делам-Нуар.

– Что это вы предлагаете? – раздраженно спросил Малик. – Чтобы я загорелся на гонках и погиб?

Лицо Делам-Нуара исказила гримаса боли.

– Ни в коем случае, mon prince! – Он снова улыбнулся. – Я думал о небольшом техническом трюке, который может осуществить ваша высокопрофессиональная команда поддержки. Они ведь понимают, что такое спецэффекты?

Малик не любил инсинуаций, однако план француза был теперь ему понятен. И даже нравился.

– Жизни принца Малика ничто не угрожает! – сообщила своим телезрителям ведущая новостного выпуска канала ТВМатар Фатима Шам. – Он жив и невредим! Хвала Всевышнему!

Флоренс смотрела эту трансляцию с режиссерского пульта. Рядом с ней стояли Джордж, Бобби и Рик. Она еще никак не могла привыкнуть к восклицанию "Хвала Всевышнему" в устах ведущих теленовостей. Для американского уха это было немного странно.

Президент банка федерального резерва сообщил сегодня о незначительном снижении официального курса валюты. Хвала Всевышнему!

Ренард тоже поморщился. Специалисты по общественным связям, как правило, вообще не верят ни в черта, ни в бога, если только не чуют какую-нибудь наживу. В этом случае они могут стать очень даже благочестивы и набожны. Однако Джордж настаивал на том, что надо придерживаться традиций, и репортеры время от времени небрежно роняли в эфире привычное *Аллах Акбар*.

– Это придает каналу аромат и достоверность арабских улиц, – говорил Джордж.

Учитывая высокий коэффициент красоток среди ведущих новостных выпусков канала ТВМатар, немного уличной достоверности действительно не мешало. Почти все ведущие обладали ослепительной внешностью и манерами голливудских звезд.

Впрочем, в тот день фраза "Хвала Всевышнему" не показалась Флоренс неуместной. Ежегодные гонки "Матар-500" завершились на сей раз самым драматическим образом. Лидирующий, как обычно, автомобиль принца Малика вдруг окружили клубы дыма. Однако вместо того чтобы остановиться, принц мужественно промчался остававшиеся до финиша два круга. После того как он первым пересек финишную черту, заднюю

часть его машины охватило пламя. Весь в копоти он выскочил из кабины, и пожарные начали поливать его из шлангов своей химической пеной. Перепачканный сажей и этой пеной, принц выглядел весьма странно, но в то же время весьма ликующе. Джордж заметил, что он был похож на "смешного игрушечного арапчонка".

Телеведущая Фатима продолжила свое сообщение словами о том, что прямо с гоночного трека принц Малик отправился в мечеть, "где он возблагодарил Всевышнего за чудесное избавление от гибели".

— Я на его месте сделал бы то же самое, — сказал Джордж. — Правда, меня вы вряд ли затащите в кабину этой ревущей штуки.

Бобби тем временем очень внимательно смотрел интервью Малика, записанное до начала гонки. Малик говорил репортеру о том, как "воистину велик Всевышний".

— Чего-то он вдруг очень сильно уверовал, — сказал Бобби.

— Быть может, он обрел Бога, — сказал Джордж. — Такое бывает. Люди постоянно обретают Бога в пустыне. У Него здесь не очень много конкурентов. На Мэдисон-авеню пока никто еще не обрел Бога.

— Я обрел, — сказал Рик.

— В смысле?

— Султан Брунея в тот день открыл мне счет в банке. Я вышел на Мэдисон-авеню и услышал, как в небе поет хор ангелов. Это было абсолютно религиозное переживание. Ежемесячный аванс в пятьдесят тысяч долларов. Душа моя вознеслась.

— Ты знаешь, Рик, — сказал Джордж, — каждый раз, как я задумываюсь о том, чтобы уйти в частный бизнес, ты неожиданно открываешь рот, и мое скучное бесцветное существование, оплачиваемое мизерными чеками от правительства, начинает казаться мне полным достоинства и смысла.

— А эта машина, на которой он едет, — прервал их Бобби, по-прежнему глядя на мониторы и прокручивая в замедленном режиме запись аварии, — она ведь во Франции сделана.

— Наш принц известный франкофил, — заметил Джордж. — Часто бывает в Париже. Совсем недавно оттуда вернулся. Они все ездят туда за покупками. Каждый ездит в Париж, кроме старого бедного Джорджа, который застрял в этой дыре и горбатится на королеву Круэллу[1] за рабские гроши.

— А почему бы старому бедному Джорджу не отправиться в беспошлинный магазин, — сказала Флоренс, работая на своем компьютере. — Там огромные скидки.

— Я трачу все свои деньги на игровые автоматы в "Стране неверных" и должен вам сказать, их специально настраивают, чтобы выиграть было нельзя. Здесь правит коррупция. У меня просто слов нет! Нет слов!

— Может, напишешь длинную телеграмму Чарли Даккетту и пожалуешься ему на все это?

— Издевайся над ним сколько хочешь, но это не он приковал меня тут к рабочему столу. В Вашингтоне, по крайней мере, у меня была хоть какая-то жизнь.

1. Персонаж из мультфильма "101 далматинец".

Бобби встал и надел пиджак.

— Ты куда? — спросила его Флоренс.

— Пойду поищу Бога.

— Передавай ему привет от меня, — сказал Ренард.

Флоренс проводила Бобби глазами, и Джордж этот взгляд заметил.

— О-о, мы, кажется, втрескались, — усмехнулся он.

Флоренс покраснела.

— Довольно симпатичный тип, надо признать. Однако, Фьоренца, он явно не в твоем стиле. Уверен, что секс будет вулканическим, но о чем вы будете разговаривать после? О том, как "Алабама" сыграет против "Обурна"? Или как сломать кому-нибудь шею? Взорвать машину? Поставить телефон на прослушку?

— Если тебе нечем заняться, то я найду.

— Ну почему? Почему я позволил тебе затащить меня в эту мрачную дыру?

— Рик, — сказала Флоренс. — Мы можем посмотреть следующую серию "Секир-Башки"?

Рик произнес несколько слов в телефонную трубку, и на одном из мониторов появилась картинка. Они начали смотреть. В прошлой серии принцесса Махназ была несправедливо обвинена своим мужем, злым принцем Вакмалем, в супружеской измене. Она узнала, что Вакмаль тайно финансировал террористическую группировку, планирующую свергнуть с трона его доброго брата, короля Амбалы. Вакмаль заточил принцессу в тюрьму и собирается отрубить ей голову. Однако двоюродный брат принцессы, дерзкий юный Тафас, сумел передать ей записку в шоколадном батончике. В записке сообщалось, что он со своими спецназовцами планирует ее спасти. Но коварный Вакмаль раскусил их затею с побегом и приготовил ловушку, о которой Тафасу ничего не известно. "Площадь Секир-Башка" была главным хитом канала ТВМатар, получая самые высокие рейтинги.

Васабийцы же, в свою очередь, отнюдь не находили этот сериал занимательным.

Флоренс посмотрела в дверной глазок. Узнав Бобби, она поставила пистолет на предохранитель и открыла ему. На ней была шелковая пижама. Часы в гостиной показывали два часа ночи.

Бобби выглядел подавленным.

— Прошу прощения за беспокойство, мэм.

— "Мэм" в такое время? Может... Выпьешь чего-нибудь? — спросила она.

— Я не из вежливости заглянул, — нервно ответил он.

— У тебя все в порядке, Бобби?

— Боюсь, я облажался.

— Все равно давай выпьем.

Она налила виски в два стакана и протянула ему один из них.

— Я ездил на гоночную трассу, — сказал Бобби. — Хотел посмотреть на машину принца. Этот дым, который валил из кабины... не знаю, заметила ты или нет... Но уж очень он ровно валил с обеих сторон. Короче, нашел я его машину, и на ней, естественно, было установлено специальное дымовое устройство.

— Но мы же знали, что он нечестно ездит. Он побеждает в каждой гонке.

— Да меня не это насторожило. Все дело в странной болтовне насчет Бога и всех этих религиозных штук, а потом вдруг посещение мечети... И машину ему сделали французы. Попытайся соединить все эти детали в общую картину. Я навел кое-какие справки. Пару недель назад он ездил в Париж и нанес визит в 11-й отдел.

Флоренс знала об этой организации.

— Правда? Ты уверен?

— На сто процентов. Поэтому я и решил проверить его машину. — Бобби посмотрел в свой стакан с виски, из которого он так и не отхлебнул. — И облажался.

— Что случилось?

— Возникли проблемы. Кое-кто отправился к праотцам. У меня просто не было выбора. Они первые начали стрелять. — Он посмотрел на Флоренс невинным взглядом. — Я не хотел... Я не из тех, кто палит почем зря. Ты меня понимаешь?

— И что там произошло?

— Короче, я осматривал изнутри кабину, и тут вдруг по мне открыли огонь. Я ж тебе говорю, мне просто делать ничего больше не оставалось. Хотя я понимаю, конечно, как это осложнит нам жизнь. Прости меня. Но с другой стороны, то, что я узнал, дорогого стоит.

Минуту они сидели в молчании.

— Может, сойдет за ограбление? — с надеждой заговорила Флоренс.

— Вряд ли.

— Промышленный шпионаж?

— Не прокатит.

— Это мог быть родственник одного из тех гонщиков, которые погибли в последние годы на трассе из-за уловок Малика. Он забрался в гараж, чтобы испортить его машину. Месть. По-моему, самый лучший мотив в этой части света.

Бобби посмотрел на Флоренс и задумчиво кивнул.

— Звучит более-менее правдоподобно, однако есть две проблемы. Во-первых, это вряд ли прокатит в матарском суде, а во-вторых, остался свидетель, который может меня опознать.

— Свидетель?

— Там был еще один парень. Ему удалось уйти. Это моя вторая ошибка. Что-то сегодня ночью мне масть не идет. Короче, я должен уехать.

— Уехать?

— Ну да. А ты как думала? Я теперь стал серьезной обузой, и мне от этого знаешь как мерзко.

— Но ты не можешь вот так взять и уехать, — сказала Флоренс.

Сидя в кресле напротив него, она так сильно подалась вперед и приблизилась к нему, что ему стало неловко — и это было заметно.

— Если меня арестуют, это повредит твоей операции. У них тут все довольно либерально, если сравнивать с обычным ближневосточным укладом. Но сейчас речь идет о брате эмира и о том, что кто-то забрался к нему в гараж и убил его человека.

Флоренс лихорадочно пыталась хоть что-нибудь придумать.

— Но как мы объясним твое внезапное исчезновение?

– Думаю, мне удастся оформить его так, чтобы оно не выглядело подозрительным.

– Каким образом?

– Тебе просто любопытно или необходимо это знать?

– И то и другое.

Бобби взглянул на нее.

– У меня есть связи в иммиграционной службе. Мне проставят отъезд задним числом, и получится так, что я выехал из страны вчера.

– А-а, понятно. Хорошо. Но *каким образом* ты уедешь?

– А я давно собирался на рыбалку. В здешних водах очень много рыбы. Понимаешь? – Он поднялся с кресла. – Послушай, я вернусь, как только смогу, хорошо? Ты держись тут, Фло. Слышишь?

Глава двенадцатая

Информация об убийстве в гараже Малика попала на первую полосу "Аль-Матар". Канал ТВМатар тоже осветил эту новость должным образом. У Флоренс тут не было выбора. Матар был известен среди арабских государств как самое мирное и спокойное место, поэтому убийство одного из слуг наследного принца, да к тому же в день его чудесного избавления от смерти, вызвало целую бурю. Полиция заявила, что непременно найдет виновных.

Флоренс внимательно следила за тем, как развивается этот скандал, стараясь не показывать своей заинтересованности. Параллельно она пряталась от Лейлы, ссылаясь на простуду. Джорджу и Рику она решила пока тоже ничего не говорить – на тот случай, если их станут допрашивать. Вот почему она чувствовала себя теперь такой одинокой. Малик тем временем публично заявил, что заканчивает карьеру профессионального автогонщика и хочет отдаться своей новой страсти – религии. Он заявил также, что гибель его слуги Абу Таша явилась следствием "заказного убийства", осуществленного "врагами ислама". Это привело в недоумение даже наиболее консервативных религиозных деятелей Матара. Было не совсем ясно – каким образом стрельба в гараже могла иметь религиозную мотивацию. И тем не менее. Тем не менее.

Более того, Малик утверждал, что в действительности объектом нападения являлся именно он. В газете "Аль-Матар" была объявлена награда в пятьсот тысяч *баба* (100 000 долларов США) за любую информацию, способствующую поимке "наемного убийцы".

– А где наш Аттила? – спросил Джордж спустя несколько дней после исчезновения Бобби. – Что-то его не видно. Отправился куда-нибудь подрывать мосты?

– Он вернулся в Вашингтон, – сказала Флоренс, стараясь говорить самым равнодушным тоном. – Ты разве забыл, что он уехал за день до гонок?

– Да нет, тогда он был еще здесь.

– Нет, Джордж, он уехал до гонок.

– Фьоренца, перестань нести чепуху. Он же смотрел эти гонки вместе с нами вот с этого самого режиссерского пульта.

– Нет, Джордж, ты ошибаешься. Он уехал домой днем раньше.

Тут вмешался Рик:

– Да здесь он был. Я помню.

Флоренс посмотрела на них обоих.

– Джордж, Рик, послушайте меня. Бобби уехал домой за день до гонок. *Вы меня понимаете?*

Они уставились на Флоренс. Наконец Джордж прошептал:

– О боже мой...

– Улыбайся, – сказала Флоренс.

В помещении находилось еще несколько техников.

– Я так и знал, что этим кончится.

– Мы не будем сейчас это обсуждать, Джордж.

– А нам теперь придется заметать его следы? Типичная цээрушная...

– Это был несчастный случай, Джордж, – сказала Флоренс.

Она так сильно старалась придать своему лицу незаинтересованное выражение, что оно выглядело, как после неудачной пластической операции.

– В задницу такие несчастные случаи.

– Джордж, я прошу тебя – заткнись. Мы обсудим это в другом месте и в другое время. А пока вам надо знать только одно – он уехал домой по какому-то семейному делу. За день *до* гонок. Если будут спрашивать, то кроме этого не говорите ни слова.

– Они всё узнают.

– Нет, не узнают. Все уже улажено. Просто сосредоточьтесь на своей работе.

– А раньше ты нам об этом рассказать не могла? – сказал Джордж уязвленным тоном.

– Я пыталась вас защитить.

– Ну спасибочки. Просто отлегло от сердца. Чувствую себя в полной безопасности.

С этими словами Джордж протопал к выходу.

– Извини меня, Рик.

– Это же Ближний Восток, – пожал он плечами. – Чего тут еще ожидать? Но послушай, если они начнут мне вырывать ногти, я им все расскажу. Лучше тебе сразу знать об этом.

– Я поняла.

Секунду спустя он добавил:

– А они... *занимаются* здесь такими вещами?

– Нет. Это одна из самых прогрессивных стран арабского региона. Беспошлинная торговля была придумана именно здесь.

Дверь в режиссерское помещение резко открылась, и вошла Лейла, которую сопровождали четверо весьма грозных на вид мужчин.

– Флоренс, куда ты пропала? Тебе уже лучше? Ты сильно осунулась.

– Это всего лишь простуда.

Флоренс покосилась на эскорт Лейлы, замерший в трех метрах позади нее. Лейла проследила за ее взглядом и объяснила:

– Приказ Газзи. Из-за этого убийства в гараже. Такое ощущение, что все вокруг внезапно впали в маразм.

– Удалось что-нибудь выяснить?

– Ты же знаешь – матарская полиция известна во всем мире своей некомпетентностью. Тут не бывает преступлений, и поэтому у них нет никакой практики. Портрет убийцы вроде составили, но там было темно.

— А им известно, чего хотел этот... — Флоренс заставила себя произнести следующее слово, — убийца?

— Малик уверяет, что это было неудачное покушение. А я лично даже представить себе не могу — зачем кому-то на него покушаться, если только... — Лейла заговорила чуть тише: — Если это не был родственник одного из гонщиков, которых он подставил на трассе.

— Мне тоже такое приходило в голову, — сказала Флоренс в надежде дать развитие этой версии.

— Но в эфире об этом говорить нельзя.

— Конечно, — согласилась Флоренс. — Ни в коем случае нельзя. Малик как будто совсем изменился... после этого случая на гонках.

— Изменился — не то слово. Он вчера пришел во дворец и при всех начал поучать Газзи, цитируя Коран. Нет, ты можешь себе представить — Малик! Газзи все это не очень понравилось. Он сказал: "Мой дорогой брат, мне думается, ты сильно ударился головой об руль". Малик завелся еще больше и начал обвинять Газзи в том, что тот продает страну неверным. Так и сказал. Газзи чуть не лопнул от бешенства. Он приказал ему убираться из дворца. И теперь кое-кто из священнослужителей поднимает вокруг этого шум, призывая к паломничеству в гараж Малика. Чтобы прикоснуться к чудотворному автомобилю. Слушай, это же просто сцена из мыльной оперы на нашем канале. Один мулла даже провозгласил это религиозным долгом! Ты представляешь? В Матаре вообще давным-давно никто ничего не провозглашал. Короче, Газзи вызвал его во дворец и показал ему, где раки зимуют.

— Лейла, — сказала Флоренс. — А что, если Малик задумал недоброе?

— В каком смысле?

— Быть может, он интригует против эмира?

Лейла внимательно посмотрела на Флоренс.

— Тебе что-то известно?

— Нет, но столь внезапная склонность к религии меня настораживает. И почему это вдруг муллы так забеспокоились? Они до сих пор не возникали.

— Газзи думает, что они просто хотят новые "мерседесы". Он уже проинструктировал имама, чтобы тот их приструнил, а то свой следующий *хадж* они проведут в пешем походе в Мекку. А что до Малика... кто его знает, может, он обрел своего Бога на финальном круге. Кому под силу разобраться в душе Малика? Да и кто захочет? Ты мне скажи лучше, готова ли последняя серия "Секир-Башки"? Так хочется посмотреть!

— Мы как раз обсуждали, умрет ли принцесса Махназ или Тафас успеет ее спасти. Ты как думаешь?

— Мне лично нравятся хэппи-энды, но, ты знаешь, это все мамино воспитание. Она любила читать Диккенса. А Бобби здесь?

— Бобби?

— Мистер Тибодо.

— Ему пришлось срочно вернуться в Штаты.

— Вот как? И когда?

— В начале этой недели, — сказала Флоренс, стараясь говорить небрежно.

— Жаль.

— Почему?

— Я хотела спросить его кое о чем.

— Возможно, он скоро будет мне звонить. Передать что-нибудь?

Лейла внимательно посмотрела на Флоренс.

— А он вернется?

— Ну конечно.

— Когда?

— Как только сможет.

— Понятно... Ну тогда я переговорю с ним сама, — сказала Лейла, изучая Флоренс таким проницательным взглядом, что у той по коже побежали мурашки.

Флоренс позвонила дяде Сэму по тому самому телефону, о котором Бобби сказал: "Использовать только в случае минометной атаки".

— Как дела у моей юной леди? Послушайте, мне ужасно нравится ваш этот новый фильм. Бьюсь об заклад, что Тафас успеет в последнюю минуту и спасет Фатиму.

— Махназ.

— У меня такое ощущение, что их всех зовут Фатима. Под этой чадрой разве разберешь.

— Вот с этим мы как раз и хотим бороться. Но вообще-то речь идет не о спасении Махназ. Вы уже пообщались с нашим другом?

— Да уж. Он объявился этим утром. Он сейчас... я вижу, мы говорим по надежной линии... он в Париже.

— В Париже?

— Выясняет кое-что интересное. К вам там в дверь по ночам еще не стучатся? Их полиция известна своей некомпетентностью.

— Нет. Но мне пришлось рассказать Джорджу и Рику. Да тут еще Лейла любопытствовала насчет отсутствия нашего друга.

— С ней надо ухо держать востро. Очень смекалистая девушка. Плоды британского образования. В общем, моя юная леди, держитесь там. На вас вся надежда. Дядюшка вами гордится. Не разговаривайте с незнакомцами. И вот этот вот телефончик держите всегда под рукой. Не забывайте — это ваша "Служба спасения".

Флоренс убрала телефон. После разговора с дядей Сэмом ей не стало легче. Жаль, конечно, что Бобби нет рядом, но если он найдет в Париже что-то полезное, значит все к лучшему.

Джордж где-то прятался и, очевидно, дулся на Флоренс, поэтому она решила найти Ренарда, который всегда умудрялся приободрить ее своей беззастенчивой алчностью и сногсшибательными проектами.

— Рик, — сказала она, — а кем ты в детстве мечтал быть?

Он оторвал взгляд от монитора.

— Ты имеешь в виду, всегда ли я хотел стать продажной пиар-тварью?

— Я этого не говорила.

— Боже мой, Фрэнзи, — он так называл ее, когда хотел передразнить Джорджа с его "Фьоренцей", — да я всю жизнь хотел помогать людям.

— Брось ты.

— Очень хорошо помню, когда мне было семь или восемь лет, я мечтал о том, чтобы помочь богатым владельцам цитрусовых плантаций во Флориде сократить налоги за счет владельцев тыквенных плантаций в Калифорнии.

— Ты самый циничный тип из всех, кого я знаю.

— Однако заметь — у меня есть свои принципы. Однажды я отказал Майклу Джексону, когда он хотел стать моим клиентом.

— Правда?

— Я не был уверен, что у него есть деньги... И взгляните на меня теперь! Тоже мне — Ренард Аравийский, помогающий освободить миллиард женщин в чадре и добиться долгосрочного мира на Ближнем Востоке, который известен только тем, что тысячи лет люди здесь грабят и убивают друг друга в бесконечных религиозных распрях. Вот, посмотри, — он показал ей свою руку. — Видишь, даже мурашки побежали.

— Зато какой симпатичный загар.

— Ага, выйдешь на улицу на тридцать секунд и — бац — получишь рак кожи. Это все равно что прогуляться в микроволновке. Неудивительно, что они все тут одеты, как привидение Каспер[1]. Странное место, я вам скажу.

— Ну а ты сам-то зачем сюда приехал? Только из-за денег?

— А почему бы и нет?

— Что-то мне в это не верится.

— Может, есть и другая причина.

— Да?

— Не уверен, что тебе надо о ней знать. По крайней мере сейчас, когда все так закрутилось.

Флоренс не нашла что сказать и молча на него уставилась. Он довольно симпатичный, этот Рик. Худощавый, высокий. В другой ситуации, кто его знает, кто знает...

— Нет-нет, — улыбнулся он. — Только не произноси какую-нибудь милую банальность. Мне так нравятся вот такие моменты неловкости. Впрочем, в любом случае у нас в компании "Ренард стратиджик комьюникейшнз" не принято вступать в эмоциональные отношения с клиентами. Это всегда заканчивается их просьбами о скидке.

Рик снова опустил взгляд на монитор.

— Ты знаешь, — сказал он, — мне в голову пришла просто убийственная идея для нашего сериала. Болван, как я не додумался до этого раньше!

Выслушав то, что придумал Рик, Джордж даже поежился:

— Совсем сдурели?

Это окончательно убедило Флоренс. Джордж все-таки был типичным чиновником Госдепа, и раз уж он побледнел, значит идея была хорошей.

Втроем они отправились к Лейле, и Рик выложил ей сюжеты трех следующих серий. Пока он рассказывал, она беспрестанно повторяла: "Ой-ой", "Ой-ой-ой" и "Господи". Когда он закончил, она сказала:

— Это будет равносильно килограмму свинины в разгар Рамадана.

— Эмиру надо показывать названия серий? — спросила Флоренс.

— Ни в коем случае, — засмеялась Лейла. — Думаю, мы преподнесем ему отличный сюрприз. А то он так занят в последние дни. В Ум-безире просто шквал деловой активности. Не понимаю, как он там вообще выживает.

1. Персонаж мультфильмов и комиксов, маленькое доброе привидение.

Флоренс и Рик поднялись, чтобы уйти, но Лейла остановила их вопросом:

– А как дела у нашего мистера Бобби?

– У него все хорошо. Очень занят.

– Скоро ли он воссоединится с нами?

– Да, – ответила Флоренс. – Думаю, что скоро.

– Замечательно, – улыбнулась Лейла. – Без него здесь так *скучно.*

Глава тринадцатая

Стук в дверь раздался не совсем посреди ночи, но достаточно близко к двенадцати, чтобы Флоренс ощутила драматизм момента. Часы на стене показывали 23.35.

Посмотрев в глазок, Флоренс насчитала трех мужчин. Даже в своих двусмысленно белоснежных тхобах они выглядели как полицейские. Или даже как сотрудники какого-нибудь "эскадрона смерти". Через домофон они представились как "инспекторы Мухаммед, Рама и Азбекир из министерства внутренних дел, мадам".

Флоренс немедленно нажала кнопку автодозвона на мобильном телефоне, который ей оставил Бобби. Теоретически это должно было поднять по тревоге кавалерию.

– Господа, – сказала она в домофон. – Сейчас уже поздно. Вы меня разбудили.

Она говорила по-английски, хотя прекрасно могла общаться с ними на арабском.

– Это очень срочно, мадам.

– А по какому вопросу?

– Мы насчет вашего коллеги. Мистера Те-ти-бу.

– Его здесь нет.

– Мы знаем, мадам. Именно поэтому для нас это так срочно.

– Если это так срочно, то вам лучше поговорить с ним самим.

– Но его же здесь нет.

– Ну тогда это не срочно.

– Однако... мадам, вы должны нас впустить. Мы из полиции.

Флоренс начала беспокоиться – долго ли еще она сможет морочить им голову. Наконец запищал телефон. Голос в трубке явно принадлежал десантнику из 101-го парашютно-десантного полка:

– У вас все в порядке, мэм?

– Похоже, у моей двери стоят полицейские.

– Они сказали, что им надо?

– Задают вопросы о нашем друге.

– Мы уже рядом.

– Что мне делать, если они заберут меня с собой?

– Сохраняйте спокойствие. Без паники.

– А кто вы такой вообще?

– В настоящий момент не могу сказать, мэм.

– Я сама с ними разберусь. Мне тут еще стрельбы не хватало.

– Мадам! – настойчиво повторил инспектор Мухаммед в домофон. – Вы обязаны нас впустить! Это официальный визит. Прошу вас, оденьтесь подобающим образом.

Флоренс открыла дверь и предстала перед тремя мужчинами с лицом примерной арабской женщины, которую отвлекли от молитвы в неурочный час.

– Что все это значит? – спросила она.

– Нам нужно поговорить с вами о вашем коллеге, мистере Ти-бу... Ти-бо...

– О мистере Бобби. И что вы хотите узнать?

– Он покинул королевство, – встревоженным голосом сказал инспектор Мухаммед.

– Ну и что? Это делают сотни и даже тысячи людей ежедневно.

– Но тут есть неувязка.

– Какая еще неувязка?

– Несколько человек видели его в Амо-Амасе пятнадцатого числа этого месяца.

– Ну и что?

– Но в посольстве нам сообщили, что он уехал четырнадцатого. Этого не может быть.

– Я не помню, когда он уехал. Но думаю, за день до тех автогонок.

– Нет, мадам, этого не может быть.

– А в чем, собственно, проблема?

– Проблема в том, что мы хотим задать ему несколько вопросов.

– Зачем?

– Вопросы здесь задаем мы, мадам. Мы разговаривали с ним по телефону, и он сообщил нам, что вылетел из Амо-Амаса на самолете "Эр Франс" четырнадцатого числа, однако в документах этой компании нет квитанции на его билет.

– А что говорят в иммиграционном департаменте? Он должен был пройти их контроль в аэропорту.

Инспектор Мухаммед поморщился.

– Это правда. Вы совершенно правы, да.

– Ну тогда в чем дело?

– Неувязка. Информация иммиграционного департамента не соответствует данным из "Эр Франс".

– Послушайте, кому вы доверяете больше? – сказала Флоренс, повышая голос. – Своему собственному правительству или какой-то там французской авиакомпании?

– Тем не менее проблема не решена, мадам, – не сдавался инспектор Мухаммед.

– Но решать вы будете ее не здесь и не в такое время. И знаете, что я вам скажу? Я лично подниму этот вопрос в разговоре с эмиром, да хранит его Аллах тысячу лет.

– С эмиром?

– Да. У меня завтра на девять утра назначена аудиенция. Если, конечно, мне позволят перед ней хоть немного поспать.

– Благодарю вас, мадам, – заметно скиснув, сказал инспектор Мухаммед.

На следующее утро ровно в девять часов Флоренс и Лейла предстали перед эмиром. На повестке дня было обсуждение последних (разумеется, сногсшибательных) прибылей от рекламы на канале ТВМатар.

Еще до начала разговора о деньгах Флоренс удалось мимоходом упомянуть об агентах тайной полиции, которые ломились к ней ночью в дверь. При этом Флоренс наблюдала за реакцией эмира и его жены. Лейла была явно удивлена и недовольна.

— "Матарские львы", — усмехнулась она. — Тоже мне подобрали девиз. Львы! Любой страус победит их в схватке.

— Лейла, — сказал эмир, — ты не должна говорить о них в таком тоне. Они крайне профессиональны и бдительны.

— А ты забыл про ту группу наемных убийц, присланных из Ирака три года назад, чтобы совершить на тебя покушение? Кто тебя о них предупредил? ЦРУ. И где, интересно, была бдительность этих "Матарских львов"?

— Наши люди знали об иракских киллерах. Они работают рука об руку с ЦРУ.

— Дорогой, они все просто дебилы. Начиная с их шефа, твоего кузена Фахима. — Лейла повернулась к Флоренс: — У эмира семнадцать единокровных братьев, и половина из них полные идиоты.

— Лейла!

— Хвала Всевышнему, что он так щедро наделил умом моего дорогого мужа. И не только умом.

— Ну почему ты не проявляешь ко мне должного уважения, да еще в присутствии Флоренс? Ты смущаешь ее.

— Нет, дорогой. Я смущаю *тебя.*

Лицо эмира потемнело.

— Мое терпение на исходе. Покажите мне отчет о прибылях.

Пока он изучал бумаги, лицо его прояснялось.

— О-о... Хм-м... Хвала Всевышнему... Ну что же, должен признать, все это выглядит очень и очень мило.

— Я счастлива, что мой повелитель так высоко оценивает наш скромный труд, — сказала Лейла.

Эмир повернулся к Флоренс и томно сказал:

— С тех пор как моя жена начала работать с вами, у нее появилось то, что у себя на Западе вы называете "предубеждением". Боюсь, как бы кто-нибудь не назвал это *инфекцией* Запада.

— Единственная инфекция, которую можно здесь обнаружить, — сказала Лейла, — попала в Матар вовсе не из-за Флоренс.

— Я не позволю разговаривать с собой в таком тоне! — взорвался Газзи. — Неужели эмиру Матара не обрести покоя даже в своем собственном шатре?

Когда Флоренс осталась с Лейлой наедине, она деликатно ее упрекнула:

— Ты все-таки подзуживаешь его.

— Я тоже имею право поразвлечься. Поверь мне, для него это всего лишь игра. Теперь он с чистой совестью сможет умчаться зализывать раны в свой Ум-безир, где стоит его огромная кровать, а в ней эти русские киски. Если он когда-нибудь соберется писать автобиографию, то назвать ее следовало бы "Семь подушек мудрости".

— Может, нам лучше сделать ТВ-шоу с таким названием? — улыбнулась Флоренс.

— Нет, я уже достаточно этого насмотрелась, — ответила Лейла.

Новый комедийный сериал канала ТВМатар под названием "Мукфеллахи", в котором рассказывалось о глуповатых и при этом жестоких сотрудниках отдела религиозной полиции, стал настоящей сенсацией во всем арабском мире. Известный телевизионный критик из Каира дал ему шутливое название "Друзья из ада". Первая серия начиналась с эпизода в служебном кабинете, где шестеро сотрудников отдыхают после тяжелого рабочего дня. С самого утра они в поте лица бичевали женщин за разнообразные проступки, а теперь жалуются на то, как сильно у них болят руки, и передают друг другу таблетки ибупрофена.

– Последняя так сопротивлялась! Зато будет теперь знать, как гулять по улице без сопровождения мужчины.

– Мы живем в мире, где нет стыда, братья. Если бы не мы, в аду уже яблоку было негде упасть.

– О, как болит рука! Сегодня я нанес пятьсот ударов плетью. А завтра запланировано три побивания камнями.

– Нет, вы послушайте Мансура! Он причитает, как та женщина у магазина сегодня!

– О Господь всемогущий, – вдруг восклицает один из них. В руках у него коробочка с ибупрофеном. – Эти таблетки произведены компанией "Фитцер"!

– Ну и что?

– Это еврейская фамилия, дурак!

– Да нет. Немецкая.

– Ты что, станешь подвергать себя такому риску?

Мужчина засовывает два пальца в рот и выбегает из кадра, издавая утробные звуки.

Остальные переглядываются, а затем тоже суют пальцы в рот и тоже выбегают из кадра.

– Неплохо, – сказала Флоренс. – К тому же прошлись по проблеме антисемитизма.

– Ага, – сказал Рик. – Мне это тоже понравилось.

Великий имам Мука, являющийся высшим духовным лицом во всей Васабии, призвал к убийству ("и чем больше крови, тем лучше в глазах Всевышнего") всего штата сотрудников канала ТВМатар. Этот призыв, опубликованный в центральной газете Васабии "Аль-Кук", содержал также информацию о том, что любому мужчине, который совершит это святое деяние, будет гарантировано не только вечное блаженство в райских садах, но и удвоение обычного количества полагающихся за гробом прекрасных дев с глазами как у лани до общей суммы (тут, правда, некоторые ученые столпы ислама расходились во мнениях) более чем в сто сорок штук, чего должно было с лихвой хватить на то, чтобы занять делом любого мужчину, даже самого крепкого и выносливого, на протяжении всей вечности.

Реакция министерства иностранных дел Васабии на новый телепроект тоже была весьма однозначной. Чиновники объявили эту трансляцию "актом грубого вмешательства во внутренние дела Васабии" и "откровенной провокацией".

Министерство контроля за технологиями получило задание глушить спутниковый сигнал канала ТВМатар на территории Васабии. Правда, выполнять это задание им удалось всего несколько часов. Их

сигнал был в свою очередь заглушен еще более мощным сигналом, исходящим из Тель-Авива, где сериал "Мукфеллахи" успел снискать завидную популярность даже среди ультраортодоксов, которые телевидение вообще отрицали. Васабийское министерство всеобщего и постоянного неодобрения Израиля быстро вынесло этот прецедент на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Несколько дней в Совбезе раздавались приглушенные кудахтающие звуки, поскольку протест Васабии одновременно переводился на 196 языков. Это позволило делегату от США заметить, что вообще-то в мире нет такого количества стран. В конце концов, постоянный представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности почесал лысину, поднял над головой карандаш и наложил вето на все, на что его только можно было наложить. После чего все дружно отправились на вечеринку, посвященную презентации очередной книги Генри Киссинджера, в отель "Времена года". Ситуация в Амо-Амасе тем временем все более накалялась.

Глава четырнадцатая

Взрывы, к сожалению, давно стали привычным явлением на Ближнем Востоке, однако Матар (Арабская Швейцария) до сих пор счастливо их избегал.

Последний более-менее серьезный взрыв произошел тут в 1936 году во время официального визита боевого корабля Ее Величества "Бесспорный", на борту которого находился герцог Йоркский, заменявший своего брата Эдуарда VIII. Тот буквально соскочил с корабля на Антибском мысу, когда узнал, что миссис Симпсон собиралась посетить там маскарад, устраиваемый госпожой Вербеной Гозборо-Понг. Заявив своему адъютанту, что он не намерен тащиться куда-то в Матар, чтобы "бить там мух и погибать от скуки в окружении вонючих чурок", король предоставил своему министерству иностранных дел объясняться с разочарованным эмиратом за отсутствие Его Величества, внезапно пораженного "приступом опоясывающего лишая".

Несчастный герцог Йоркский, которому через несколько лет предстояло с большой неохотой взойти на трон Англии после того, как его старший брат пал к ногам этой разведенной дамочки из Балтимора, запинаясь и покачиваясь, сошел по трапу "Бесспорного" и, сильно заикаясь, передал от британской короны "г-г-г-лубокие чу-чу-чу-вства д-д-д-дружбы к н-н-народу Ма-Ма-Ма...".

Командир "Бесспорного" адмирал сэр Нетчбулл Кавендиш-Хамп, который хотел помочь герцогу побыстрее закончить эту явно мучительную для того речь, отдал приказ о начале салюта из девятнадцати бортовых орудий. Однако канониры по ошибке зарядили свои пушки боевыми зарядами и снесли к чертовой бабушке половину квартала Руинмалла, который в народе тут же прозвали "Улица руин". Этот эпизод погрузил герцога в такое глубокое уныние, что корабельным медикам пришлось поместить его в закрытую каюту, не разрешив ему подниматься на палубу, пока корабль не достиг Адена. В пользу семей погибших был немедленно создан специальный фонд, а на здании разрушенного ремесленного училища повесили памятную доску, знаменующую "историческую

связь и взаимопонимание между народами Великобритании и эмирата Матар".

Старики, попивающие свой чай с мятой и покуривающие свои трубки с гушем[1] на улице Рэндольфа Черчилля, которая протянулась вдоль гавани Амо-Амаса, отметили, что нынешний взрыв напомнил им тот самый день в 1936 году, когда Матар посетил будущий король.

На этот раз, хвала Всевышнему, никого не убило, и все пришли к выводу, что это — чудо. Взрывчатка была заложена в джипе, припаркованном на перекрестке улиц Чартвелл и Мальборо. Машина разлетелась в мелкие кусочки; взрыв подбросил высоко в воздух другой автомобиль. Свидетели этого происшествия наблюдали за тем, как машина пролетела несколько сотен метров по воздуху, а затем по грациозной параболе опустилась прямо на крышу англиканской церкви Святой Маргариты на Болотах и пробила ее. Окажись дьякон Уитком чуть менее проворным, все это происшествие могло б закончиться настоящей трагедией.

Разумеется, этот инцидент заставил мучиться в догадках завсегдатаев многочисленных кафе Амо-Амаса, в которых, собственно, и зарождались все матарские сплетни. Была ли церковь Святой Маргариты прямой и непосредственной целью этой атаки? А если так, то не было ли это началом джихада? А если так, то почему англиканцы? Могло ли это быть реакцией на недавнее рукоположение в сан епископа Лидса, перенесшего операцию по перемене пола? Естественно, что такое событие не осталось незамеченным. Особенно среди наиболее консервативных представителей многочисленного англиканского сообщества. Приняв решение не рисковать, Уайтхолл направил в Матар целую группу судебных экспертов для "помощи" в проведении расследования. Газета "Аль-Матар" назвала это происшествие "тревожным звонком будильника", в то же время признав, что остается неясным — кого конкретно предполагалось будить.

Тем временем Малик, ежедневно проповедовавший теперь с кафедры своего нового медресе, где студенты заучивали Святой Коран, постигая параллельно секреты обслуживания гоночных автомобилей, объявил этот теракт делом рук "иностранных святотатцев, которым позволили осквернить священную землю Матара". Камень был явно брошен в сторону дворца. Эмир остался крайне недоволен.

— В земле Матара никогда не было ничего священного, — сказала Лейла, обращаясь к Флоренс. — Но если честно, вся эта история со взрывом уже чересчур. Полагаю, у тебя нет об этом никакой информации?

— Разумеется, нет.

Флоренс порадовалась, что на этот раз сказала правду.

— Я на всякий случай спросила. Не обижайся.

— А почему я должна знать что-то про взрыв в центре Амо-Амаса?

— Дорогая моя, я просто хочу сказать, что в Матаре было гораздо спокойнее до тех пор, пока здесь не появилась ты со своей командой. У нас тут была настоящая Арабская Швейцария. А теперь мы все больше становимся похожи на Багдад. Газзи просто в ярости. Он сейчас на пол-

1. Гуш — табак, смешанный с умеренно наркотической травкой.

пути из Ум-безира, а это всегда приводит его в дурное расположение духа. Я случайно услышала, как его человек Фетиш говорил о том, что у Газзи сегодня в четыре часа встреча с французским послом Вальмаром.

— Вот как? — сказала Флоренс, изо всех сил стараясь скрыть свою заинтересованность.

— Быть может, эмиру захотелось узнать у посла, какое вино подавать к какой любовнице. Однако сменим тему. Дорогая моя, они начинают задавать мне довольно прямые вопросы насчет твоего мистера Тибодо. Я считаю, ему надо поскорее закончить с этим срочным семейным делом, которое так занимает его, и вернуться сюда. Они хотят кое о чем его расспросить.

— По поводу перестрелки? А почему он должен знать об этом?

— Просто передай ему мои слова, если будешь с ним разговаривать.

Флоренс пожала плечами:

— Хорошо.

Около шести часов вечера в тот же день дверь в офис Флоренс распахнулась, и на пороге появился крайне расстроенный Фетиш в сопровождении двух мужчин из числа королевской прислуги, в которых Флоренс тут же узнала личных телохранителей эмира.

На этот раз Фетиш обошелся без обычных церемонных поклонов и формальных вопросов. В дурном настроении он был по двум причинам: из-за капризов своего эмира, а также из-за отъезда из Ум-безира. Фетиш любил Ум-безир практически так же сильно, как сам эмир. Дело в том, что он успел завести интрижку с той самой Аннабель, новым дарованием из Парижа. Разумеется, это было опасно. Но того стоило.

Эмир требовал Флоренс к себе.

— Немедленно.

Как только она уселась на заднее сиденье присланной за ней машины, а мрачный Фетиш громко хлопнул передней дверцей, в кармане Флоренс зазвонил мобильный телефон экстренной связи. Она ответила на звонок и услышала дружеский, но вместе с тем озабоченный голос Бобби.

— А, это ты, папа, — сказала она. — Как там у вас? Я сейчас еду к эмиру в сопровождении Шарифа Фетиша. Едем во дворец. Не правда ли, это здорово? Как мама? Ей уже лучше?

— Я насчет взрывчатки в джипе, — сказал Бобби. — Лягушатники все подстроили.

— В самом деле? Ну разве это не чудесно! Надеюсь, она подружилась с медсестрами?

— Я возвращаюсь в Матар.

— Нет, нет. Не думаю, что ее сейчас можно перевозить.

— До связи.

— Бо... — чуть не проговорилась она. — Будь здоров.

Убрав телефон, Флоренс обратилась к Фетишу:

— С мамой проблемы. Она в больнице. Но сейчас ей получше.

Фетиш выслушал ее совершенно равнодушно.

— Думала, может, вам интересно, — добавила Флоренс.

Войдя в кабинет эмира, Флоренс увидела там Лейлу. В воздухе витали отголоски семейной ссоры.

— Оставьте нас, — сказал эмир Фетишу и всем остальным слугам.

— Флоренс, — сказала Лейла, — эмир только что...

— Я сам проведу эту аудиенцию. То, что вы вдвоем оккупировали мой эфир, еще вовсе не значит, что я позволю оккупировать вам себя самого в моем собственном шатре.

— Дорогой, никто не пытается тебя "оккупировать".

— Оставь свое "дорогой". Итак, Флоренс, до меня доходят некие слухи. Я хочу избежать двусмысленности и в свою очередь довести их до вашего сведения.

— Да, мой повелитель.

— Оставьте свое "мой повелитель". И не думайте обе, что сумеете одурачить меня лестью. Можете плести свою паутину сколько угодно, но я вам не насекомое. Поэтому сейчас я задам прямой вопрос. Вы занимаетесь любовью с моей женой?

— Газ, — сказала Лейла. — Это уж слишком оскорбительно.

— Пусть она ответит.

В машине по дороге сюда Флоренс репетировала ответы на вопрос "Вы сотрудничаете с ЦРУ?" К такой постановке дела она была не готова.

— Вообще-то нет. Раз уж вы спросили.

— Идут разговоры. Разговоры о вас двоих.

— А кто разговаривает? Кто сказал тебе эту чушь? — спросила Лейла.

— Достаточно того, что об этом *говорят*.

- Чудесный подход! — сказала Лейла.

— Оставь свои "подходы". Появился слух, что моя жена — жена эмира — крутит шашни с другой женщиной! Это отвратительно. Унижение мужского достоинства.

— Дорогой, не думаю, что хоть кто-нибудь ставит под сомнение твое мужское достоинство, особенно учитывая его повышенную активность в последнее время.

— Женщина, ты раздражаешь меня!

И тут вмешалась Флоренс:

— Могу ли я показать Вашему Величеству одну статью, которая вчера была опубликована в "Аль-Матаре"? Мне кажется, она как раз касается вопроса о вашем достоинстве.

Флоренс достала из своего кейса папку и передала ее эмиру.

Продолжая хмуриться, тот вынул из папки газету и начал читать. Заголовок гласил:

КАНАЛОМ ТВМАТАР НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯЕТ ЭМИР

Как сообщил нам надежный источник в Амо-Амасе, каналом ТВМатар со дня его основания руководит сам эмир Газзир бен Хаз, а вовсе не его жена Лейла.

"Именно его взгляды определяют основную концепцию, — сообщает наш источник. — Газзир прекрасно понимает всю силу и все возможности средств массовой информации и пользуется ими, чтобы трансформировать арабский мир и привести его в гармонию с современностью, сохраняя в то же время фундаментальные основы нашей богатой культуры и религии. Естественно, по этой причине у него появятся враги, но это будут достойные враги, а настоящим лидером может называться лишь тот, кто обладает воистину великими

врагами. В этом свете Газзира можно назвать новым Насером или, учитывая нынешние крестовые походы против ислама, инициированные Соединенными Штатами и Англией, его можно назвать даже новым Саладином.

Статья была написана Риком, переведена на арабский Джорджем и помещена в "Аль-Матар" мистером Тибодо.

— Хм-м, — сказал эмир.

— Вы продолжайте читать, — сказала Флоренс. — Там целых два абзаца про Лейлу.

Хотя номинальным главой канала ТВМатар является жена эмира Лейла, она всячески подчеркивает роль своего мужа в разработке и реализации поистине революционных телевизионных идей.

"Эмир, — сказала она нам в своем интервью по телефону, — настоящий провидец. Для него существует лишь будущее. Исполняя обязанности главы государства, он озабочен тысячью и одним делом во благо своей страны. У меня действительно был небольшой телевизионный опыт, поэтому естественно, что он обратился ко мне за помощью. И все же ТВМатар целиком и полностью — детище нашего эмира".

— Это ты так сказала? — недоверчиво спросил эмир.

— А ты не видишь? Там же напечатано черным по белому.

— Что это вы задумали, дьяволицы? Отвечайте немедленно.

— Помогаем тебе стать новым Саладином, — сказала Лейла. — Но если ты предпочитаешь остаться в истории очередным богатеньким эмиром, только скажи. Тебе решать.

Эмир посмотрел на Флоренс:

— Это правда?

— Если величие само идет к вам в руки, государь, какой смысл противиться?

Эмир задумчиво погладил свою бородку.

— Сегодня утром мне позвонил Камар ак-Заман, секретарь Арабской Лиги.

— Вот как? — сказала Лейла.

— Они хотят, чтобы я выступил на конференции в Бахрейне на следующей неделе.

— Это чудесно, дорогой! Раньше они тебя не приглашали.

— Ваше Величество, — сказала Флоренс. — Это воистину прекрасная новость. И все же боюсь, что ваше отсутствие в стране в такое время может оказаться... большим соблазном кое для кого.

— Что вы имеете в виду?

— Я хочу сказать, Ваше Величество, что ваш брат Малик может воспользоваться вашим отсутствием и предпринять определенные шаги против вас.

Эмир уставился на Флоренс, а потом рассмеялся.

— Малик? Свергнуть *меня*? Я вас умоляю.

— А вы задумайтесь на секунду, — сказала Флоренс. — Ваш брат из автогонщика вдруг превратился в неистового аятоллу, и на это ему потребовалось меньше времени, чем на разгон до скорости 100 километров в час. В мгновение ока все ваши муллы начали кричать, что вы испорченный человек. Я не говорю, что они правы, ни в коем случае. И, наконец,

французский посол заявляет вам, что у меня с вашей женой лесбийская связь.

Эмир вздрогнул:

— А вам это откуда известно?

— Простая дедукция, Ваше Величество. Вы встретились с ним, а затем вызвали меня и бросили нам в лицо эту сплетню — чистой воды выдумку. Тем временем Васабия приводит в боевую готовность все свои войска, и вдоль границы начинают барражировать их реактивные истребители. В самом центре Амо в припаркованном автомобиле взрывается бомба. Можете называть это паранойей, но мне кажется, что налицо все элементы готовящегося переворота. Кстати, когда месье Вальмар снова явится к вам, чтобы посплетничать про меня и вашу жену, спросите его — нет ли среди сотрудников посольства экспертов по взрывчатым веществам.

— Что вы пытаетесь мне сказать? *Французы* взорвали бомбу?

— У вашего брата с ними чудесные отношения.

Эмир повернулся к своей жене.

— Лично я считаю, — сказала Лейла, — что тебе предлагают нечто гораздо более интересное, чем править Арабской Швейцарией. Вполне возможно, Флоренс права. Ты не обязан выступать на этой конференции. Ты можешь стать новым Саладином тут, у себя дома, и продолжать богатеть на телевизионной рекламе. У Саладина, кстати, никогда не было таких прибылей. И вот еще что: ты отдаешь себе отчет в том, когда в последний раз арабское государство предлагало миру что-нибудь большее, чем попытки вызвать жалость к себе, тупое упрямство и террористов-смертников? Впервые в истории арабское государство получает доход не от нефти, а от идеи. Теперь наши женщины могут предложить цивилизации кое-что еще, кроме своих вагин. Неужели ты не видишь, что происходит? Ты можешь стать настоящим арабским лидером, который выведет Ближний Восток из тьмы Средневековья! Но вместо этого ты начинаешь драматически заламывать руки и обвинять нас в лесбиянстве!

— Браво, браво, — сказал эмир. — Вот это речь! — И снова повернулся к Флоренс: — Так вы считаете, что король Таллула замешан в этом так называемом заговоре против меня? Его истребители летают вдоль моей границы. Взад и вперед. Днем и ночью. Пустыня содрогается от рева двигателей его боевых машин. А знаете почему? Из-за вашего телевизионного канала.

— Ну не уверена, Ваше Величество. Исторически Васабия давно точит зубы на морское побережье.

— А разве американцы позволят им?

— Не могу говорить за правительство США. Действительно, американских и британских военных кораблей у ваших берегов больше, чем рыбы. Но ситуация складывается таким образом, что они могут и не захотеть вмешиваться в вооруженный конфликт.

Эмир задумался над ее словами.

— Французский посол сказал мне, что это американцы хотят свергнуть меня...

— Должна заметить, месье Вальмар принес сегодня много любопытных новостей, — усмехнулась Лейла. — Он что, тебе прямо так и сказал?

— Он сказал, что Флоренс — шпион из ЦРУ и что ее заслали сюда с целью подрыва устоев моего режима!

— Превращая тебя в богача и нового Саладина — духовного лидера всего арабского мира? Ты так себе представляешь подрывную работу?

— Вы шпион, Флоренс? — спросил эмир.

— Тебе не кажется, что для одной встречи ты уже высказал достаточно обвинений в ее адрес? — вмешалась Лейла.

— Нет, — сказала Флоренс. — Я не шпион.

По лицу эмира нельзя было сказать, что его это убедило. Да и вообще к этому времени голова у него уже шла кругом.

— Ну зачем Вальмару говорить мне о своей озабоченности возможным конфликтом между Матаром и Васабией? — сказал он.

— Кто знает, дорогой, кто знает. А может, он хочет продать тебе немножко своих французских истребителей? Вот скажи: возникала у вас в разговоре эта тема или нет?

— Ну, он что-то упомянул... в этом роде.

— Вот видишь.

— Как бы там ни было, отныне я не хочу, чтобы вас видели на людях вместе. Пойдут разговоры.

— Как это глупо, — сказала Лейла.

— Я здесь эмир! И это мне приходится думать о чести Матара. А теперь вы обе можете оставить нас. У нас болит голова.

— Честь Матара, — иронично сказала Лейла, обращаясь к Флоренс уже за дверьми кабинета. — Вот самое нелепое словосочетание в английском языке. Мне очень жаль, дорогая, но, похоже, у нас больше не будет с тобой безумного и страстного секса. Что делать — честь *Матара* стоит на кону.

Глава пятнадцатая

Текст СМС-сообщения, которое Флоренс получила на свой экстренный телефон, гласил: "Пляж Бленхайма, 22.50".

Этот пляж находился в часе езды к югу от Амо-Амаса. Один журнал для туристов назвал его в числе десяти самых красивых пляжей мира. Что, однако, не превратило его в один из самых популярных пляжей, поскольку это место облюбовали для своих игр и размножения полосатые морские крайты — самые нарядные и вместе с тем самые ядовитые змеи на планете. Прежде чем получить свое название — у знаменитых предков Уинстона Черчилля был дворец Бленхайм, — место это было известно как Нуш аль Жих-ир, или Лагуна Евы. Согласно легенде именно здесь некогда располагался Эдем.

Флоренс сидела в своей машине, глядя на пустынный пляж и черное беззвездное небо. Чувствовала она себя неуютно. Ей пришлось принять меры предосторожности против возможной слежки. Она испытывала сильную усталость. Нервы ее вибрировали от кофеина и адреналина. Голова гудела. Ей хотелось оказаться сейчас в своем крохотном городке Фогги-Ботом в горячей ванне с пузырьками, а не на этом пустынном берегу, кишащем смертоносными змеями.

Без четверти одиннадцать она вышла из машины и направилась к воде, внимательно глядя под ноги. Наконец она услышала лодочный мотор и посигналила фонариком. Ей посигналили в ответ. Флоренс смогла разглядеть небольшую надувную лодку, только когда та вплотную приблизилась к берегу. В лодке сидели трое мужчин с автоматами. Лица их были закрашены черным. Четвертый мужчина, лицо которого, в отличие от остальных, оставалось белым, спрыгнул в воду и подошел к Флоренс.

— Прямо как в кино, — сказала она.

— Билетов на самолет не оказалось, — ответил Бобби.

Затем он повернулся к своим спутникам в лодке.

— Благодарю вас, джентльмены. Передавайте привет капитану.

Лодка развернулась и, затарахтев моторчиком, быстро растворилась в темноте.

— Ну и размеры у этих нынешних субмарин, — сказал Бобби. — Целую комнату мне предоставили. А раньше, бывало, приходилось спать в торпедном аппарате. Как делишки, Фло? Скучал по тебе.

В нем что-то сильно изменилось. Разглядеть эту перемену Флоренс смогла только в машине, в неярком свете лампочки. Его короткие светлые волосы превратились в густую темную шевелюру, убранную в хвост. Еще у него появились усы. Он посмотрел на нее и ухмыльнулся:

— Скажи "здрасьте" Вилли Андервуду.

Его южный акцент абсолютно исчез, и теперь он слегка гнусавил, как уроженец западных штатов.

— Мы теперь из Рено, штат Невада. Чертовски рад с вами познакомиться. А вот и визиточка.

Он протянул ей визитную карточку.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПО ИГРОВОМУ КОНСАЛТИНГУ "ДЖЕКПОТ"

Наши фишки заряжены на все 100%

— Так, ну и что все это значит? — спросила Флоренс.

— Специалист по ремонту игровых автоматов! Правда, сами мы так себя не называем. Предпочитаем термин "оператор по настройке фортуны". Обслуживаем большие машины типа "Трамп 7600" или "Багси 1200". На этих игровых монстрах можно слупить полмиллиона, а то и целый миллион баксов. На них установлены мощные сирены: *Уиииоооууу! А вот и наш победителлллллль!* Ты меня слушаешь?

— Да-да, конечно.

— Ты что, мне не рада? — он снова заговорил со своим алабамским акцентом.

— Меня замучили вопросами про тебя. Даже Лейла и та спрашивает. Кто-то тебя сдал.

— Это понятно. Поэтому я приехал чинить игровые автоматы. В нашем деле главное — слиться с окружающей обстановкой.

— А где будешь жить?

— Номер заказан в отеле "Аладдин" в "Стране неверных".

— Ну, там ты точно сольешься.

— Знаешь, если бы я решил слиться по-настоящему, наверное, следовало бы выписать сюда пару русских шлюх. И вообще, мне все больше нравится это задание. Но ты какая-то затюканная, Фло.

— Я выгляжу затюканной, потому что из-за тебя ко мне в дверь по ночам то и дело ломится полиция.

— Ну прости. Хотя... у них скоро начнется заварушка посерьезнее, чем скромная перестрелка в гараже.

— Что ты задумал?

— Пора поменять здесь направление энергетических потоков. Я смотрю, наш друг Малик успел заделаться настоящим религиозным лидером.

— Да, и в последнее время он без конца проповедует. Подзуживает каждого муллу.

— А ты знаешь, так бывает, когда человек обретает веру, отвернувшись от греховного прошлого, — задумчиво сказал Бобби. — Большинство основателей этих ваших мировых религий были настоящими плейбоями до того как уверовали. А потом вдруг услышали этот голос, увидели эту молнию в небесах, и — бац, нате вам — хор вопит "Аллилуйя", и у каждого по миллиарду последователей. Ты только подумай: Иисус Христос был единственный, кто основал религию без всех этих штучек-дрючек на предыдущей стадии. Вряд ли он мог оттянуться по полной, работая плотником. — Бобби на секунду замолчал, а потом продолжил уже другим, серьезным тоном: — У меня весточка для тебя от дяди Сэма. Он за тебя беспокоится. Хочет, чтобы ты уезжала. Думаю, он прав. Каша здесь заваривается крутая.

— Я не собираюсь никуда уезжать. Это моя операция.

— Я только передал сообщение, мэм.

— Хорошо. А какие новости? Что тебе удалось выяснить в Париже?

— С того дня, как Малик чудесным образом обрел спасение в горящем автомобиле, в банке города Канн было открыто семьдесят восемь новых счетов. Имена владельцев этих счетов совпадают с именами семидесяти восьми главных муллов... или мулл... Не знаю, как их склонять. Зато знаю, что на каждый счет поступило по сто тысяч долларов. Помимо французских денег эти парни успевают получать хорошие бабки еще и от своего собственного правительства. Ты знаешь, я уже начинаю подумывать о карьере священнослужителя.

— Значит, все-таки правда? Они готовят переворот против Газзи?

— Я бы так и предположил, — сказал Бобби. — Они обхаживают Малика уже довольно долго, презентуя ему гоночные машины и заливая в него столько "Шато Лафит", что в нем можно утопить кошку. Заполучив Малика, они добьются своей давнишней цели — морское побережье. А там — военно-морские базы, причалы для танкеров. Черт возьми, когда они завершат все свои делишки в Амо, тут будет настоящая Ривьера. Не исключено, что они даже начнут устраивать здесь кинофестивали. А королю Таллуле и всем васабийцам скажут: "Ну вот, мы вас избавили от эмира Газзира и посадили на его место идиота-братца. Natturellement, господа хорошие, нам бы теперь скидку на нефть. Но вы не беспокойтесь. Удвойте цены для американцев — и бабки быстренько отобьются". — Бобби покачал головой и продолжил: — Ну, как же я не понял этого раньше! Если бы догадался о французах, не стал бы связываться с "Эр Франс", когда устраивал свой псевдовылет отсюда. Вот где я дал маху.

Они потому и вычислили, что парня в гараже убил я. А потом сдали меня матарцам. Хотя, с другой стороны, именно это привело меня к ним. Так что в некотором смысле мы квиты. Но ненадолго, потому что скоро я устрою нашим французским друзьям веселую и разнообразную жизнь.

– Что ты собираешься делать?

– Фло... То есть Флоренс... Тебе лучше не знать.

– Ты по-прежнему работаешь на меня, – сказала Флоренс. – Так ведь?

– Не уверен, что в настоящий момент это имеет какое-то значение. Но послушай, мне кажется, дядя Сэм прав насчет твоего отъезда отсюда. ТВМатар был отличной идеей, но вместо освобождения женщин он, кажется, основательно расшевелил весь этот арабский муравейник.

– Если Малик придет к власти, здесь будут заправлять васабийцы, и тогда для женщин начнется настоящий кошмар. Ты же знаешь, на что эти люди способны.

Бобби отвернулся к окну.

– Да уж, – сказал он. – Если бы я был гражданином Матара, я бы немедленно начал покупать акции компаний по производству чадры. Похоже, тут скоро все будет мрачно.

– Французский посол сказал эмиру, что в городе ходит слух, будто мы с Лейлой лесбиянки.

Бобби вздохнул:

– Хорошо работают, мать их. Этого у них не отнимешь. Если слух о том, что вы с женой эмира кувыркаетесь в гамаке, распространится, я, пожалуй, вызову то самое морское такси, которое только что доставило меня, и пусть они увозят тебя отсюда подальше.

– Я уже сказала, что никуда не поеду.

– Ну что же, ты – босс.

Некоторое время они ехали молча. Наконец Бобби заерзал и первым прервал молчание:

– Э-э-э...

– Что?

– Я насчет этого слуха... Это ведь точно всего лишь слух?

– Я... Да как ты... Ну ты даешь!

– Просто спросил. Как человек, который отвечает здесь за безопасность, я должен обладать полной информацией.

– Хорошо. Считай, что ты ею обладаешь.

– Ага. Понятно.

– Слушай, если я на тебя не запала, это вовсе не значит...

– Фло, – вздохнул Бобби. – Да при чем здесь это?

– Ты можешь больше меня так не называть?

– Ладно, мэм.

– И так меня не называй тоже. Ну почему я должна чувствовать себя уборщицей или старухой?

– Ладно. Флоренс Аравийская. Хочешь, так буду тебя называть?

– Никак меня не называй.

Флоренс повернулась к Бобби. Он улыбался.

– Ну и что тут смешного? Я лично ничего смешного не вижу, – сказала она.

– Да я просто подумал: как замечательно мы все тут работаем во имя мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Глава шестнадцатая

Флоренс решила пока не говорить Рику и Джорджу о возвращении Бобби. В случае, если их станут допрашивать — чем меньше они будут знать, тем лучше.

— Слушай, Фьоренца, я тебе хочу кое-что сказать... Можно?

— Ну конечно, Джордж.

— Ты выглядишь ужасно.

— Спасибо.

— Хотя я, наверное, тоже не в лучшей форме. Можно еще кое-что скажу?

— Да, Джордж.

— У меня такое чувство, что ты мне не все рассказываешь. И Ренард так считает.

— Ну ты же знаешь, ситуация сейчас непростая.

— Ты не против, если я спрошу тебя кое о чем?

— Я тебя слушаю, Джордж.

— Это, конечно, не мое дело, я сам всегда говорю: ничего не спрашивай, ничего не рассказывай, но... Это правда, что ты и Лейла?.. Понимаешь, разные слухи ходят.

— Нет, Джордж. У меня с Лейлой ничего не было.

— Да я в принципе не против...

— А вот это вообще не имеет значения. Нет, серьезно, я не ожидала, что мои собственные сотрудники будут сплетничать за моей спиной. Это дезинформация, распространяемая французами. В числе всякого прочего.

— А-а. Неплохо придумано. В здешних краях не очень приветствуется такая любовь.

В этот момент в комнату вошел Ренард.

— О, Флоренс, — сказал он. — Слыхала сплетню насчет тебя и эмировой жены?

— Мы как раз это обсуждаем.

— А-а, — сказал Рик и многозначительно кивнул.

— Это вранье, — сказала Флоренс.

— Ох, да мне-то какое дело? Хоть бы и не вранье.

Флоренс тяжело вздохнула. Неужели ей теперь придется объяснять Рику, что, если она не запала на него, это вовсе не значит, что она и Лейла — как там Бобби сказал? — кувыркаются в гамаке?

— Перестань, — сказала она. — Может, сразу запустишь в шестичасовой выпуск новостей сообщение о том, что я не кручу роман с женой правителя?

— А мне кажется, — сказал Джордж, — нам следует обратить на это внимание. С такими вещами не шутят. Они тут в Матаре, может, и либералы, но арабами быть не перестали.

— Я готова выслушать любые идеи.

— У меня есть идея, — сказал Рик. — Давай пообжимаемся на людях.

Флоренс смерила его взглядом.

— Спасибо за предложение.

— Нет, я серьезно. Если хочешь доказать им, что ты по мужской части, это самый лучший способ, — усмехнулся он. — Можно сесть в кафе "Клементина" и начать обжималки.

Джордж покачал головой:

— Здесь нельзя делать это на людях. Без разницы — ни голубым, ни натуралам. Никому нельзя.

— Но если выбирать между сплетнями о романе с Лейлой или со мной... — пожал плечами Рик.

В этот момент зазвонил экстренный телефон, и Флоренс жестом прервала Ренарда. Звонил Бобби. Или Вилли Андервуд. Или как он там себя теперь называет. В трубке были слышны звуки, характерные для игровых автоматов.

— Ты там одна? — спросил он.

— Я разговариваю с Джорджем и Риком. В чем дело?

— В Каффе осложняется ситуация. Никто пока об этом не знает, так что и ты никому не говори. Мы только что получили информацию о том, что принцесса Хамзин, вторая жена короля Таллулы, ворвалась вчера в помещение королевского совета. Это довольно плохо. Последний раз, когда что-нибудь подобное случалось в этой стране, по планете еще бродили динозавры. Но и это еще не все. На ней не было ни чадры, ни шаровар. Повторяю — не было шаровар. Но и это еще не все. Она начала читать королю и его совету лекцию об улучшении положения женщин в королевстве. Похоже, принцесса большой поклонник канала ТВМатар. Говорят, короля отвезли в больницу. Сердце у него прихватило.

— Значит, началось, — сказала Флоренс. — Восстание арабских женщин. Великолепная новость, Бобби.

— Это смотря что ты подразумеваешь под словом "великолепная". Васабийцы вне себя от злости. У них там сейчас как в растревоженном змеином гнезде. Наши птички приносят в клюве самые разнообразные известия. И знаешь кого они во всем обвиняют? Тебя. Это твоя революция, Фло. Думаю, с минуты на минуту кто-нибудь войдет в твой офис и повезет тебя на встречу с эмиром. Я потому и звоню — чтобы обрисовать тебе картину.

— Мы должны всем сообщить об этом. Надо пустить эту информацию в новостях.

— Эй, эй, эй. Ответ отрицательный. Ты кем себя вообразила? Бобом Вудвордом, затеявшим уотергейтский скандал[1]? Информация неофициальная. За стенами дворца об этом никому не известно. По понятным причинам они хотят сохранить всё в тайне. Попробуй сообщить об этом по телевидению — и увидишь, как раскрываются врата ада.

— Тогда зачем ты мне об этом рассказываешь?

— Чтобы ты вела себя поосторожней. Уж точно не для того, чтобы ты начала размахивать перед их лицами красным флагом.

— Бобби, но мы за этим сюда и приехали.

— Слышь, Фло Аравийская! Секунду меня послушай. Мы приехали не затем — я повторяю еще раз, — *не затем*, чтобы начать войну между Васабией и Матаром. Ты сейчас со мной на одной волне? Ставлю миллион долларов, которые я теперь могу раздобыть, потому что занима-

1. Роберт Вудворд (р. 1943) — корреспондент "Вашингтон пост", который вместе со своим коллегой Карлом Бернстайном (р. 1944) провел журналистское расследование, вызвавшее политический (т. н. Уотергейтский) скандал, в результате чего в 1974 г. президент Р. Никсон вынужден был подать в отставку.

юсь починкой этих долбаных игровых автоматов, что наш дядя Сэм тут со мной согласится.

— Позволь напомнить тебе, что это не твоя операция. Ты находишься здесь только для обеспечения безопасности и сбора разведданных. Однако все, что тебе удалось до сих пор, это пристрелить охранника в гараже и переполошить французские спецслужбы. Ну-ка, скажи мне теперь: ты со мной на одной волне или нет?

— Если не хочешь слушать меня, позвони дяде Сэму и узнай его мнение на этот счет. Зарплату нам обоим платит все-таки он.

— Я так и сделаю. А ты мне скажи, что будет с принцессой?

— Перспективы не самые радужные.

— Что тебе известно?

— Это не будет нигде отмечено?

— Ты что, разыгрываешь из себя того информатора, который сливал Вудворду компромат? Что тебе известно?

— Плохи дела. Мы засекли в их переговорах упоминания о камнях.

— О камнях? Значит, ее забьют насмерть?

— Ты знаешь, я бы не назвал ее поступок очень уж умным. Выставить своего мужа, короля, на посмешище перед всеми его министрами! Черт, да я бы не сделал этого даже в Алабаме.

— Ты это к чему?

— К тому, что принцесса Хамзин влипла по полной программе.

— Мы не можем бросить ее просто так, Бобби.

— Не понял. Она же на нас не работает.

— Но это наша схватка. Наша революция. Мы ее начали.

— Нет, подожди минуту. Это не мы ей велели врываться в конференц-зал своего мужа и показывать всем средний палец.

— А ты когда-нибудь *видел* побивание камнями?

— Ну, нет, вообще-то. Ты это к чему?

— А я видела. Правда, в записи, но все равно. Ей было не больше девятнадцати. Супружеская измена. Они используют небольшие камни, чтобы процедура тянулась подольше. Это было ужасно, Бобби.

— Ни секунды не сомневаюсь. И все же послушай, Фло, нам надо держать под контролем всю ситуацию в целом. Попробуй только обнародовать что-нибудь такое, и они тут же выяснят, какими путями ушла информация, и все это тут же обрушится на твою голову. И знаешь, они уже не будут бросать маленькие камни. В ход пойдут такие булыжники, что ого-го...

— Бобби, это решающий момент. Это наша Акаба. Мы не можем теперь отступить. Мы не имеем права бросить ее умирать.

— Черт возьми, девушка. Ты *чем* думала, когда сюда собиралась? На что ты рассчитывала? Думала, будешь забивать эфир этим своим феминистским дерьмом в королевстве, которое все еще находится в четырнадцатом веке, и все закончится какой-нибудь конференцией? И там будут пленарные заседания, и у всех будут бэджики с именами и минералочка на столах? И потом эти арабы вдруг скажут: "О, в самом деле, вы абсолютно правы, мудрая американская леди, вы совершенно правы, нам не следует больше притеснять наших женщин. И в самом деле, какие-то мы средневековые! О'кей, дамочки, сбрасывайте свою чадру! Кто за водительскими правами — просим в это окошко. А чтобы доказать вам, какие мы теперь будем продвинутые и прогрессивные, обеща-

ем даже не отрубать больше ваши маленькие, изящные головки!" Ты что, правда думала, что они вот так вот себя поведут? Это же Ближний Восток! Колыбель нестабильности! Родина всех конфликтов! Неужели ты не понимаешь, что тут со времен Адама и Евы все идет шиворот-навыворот? И никогда не будет по-другому!

— Тогда чем мы здесь занимаемся?

— Судя по всему, еще больше все портим. Но по крайней мере в этом мы довольно последовательны. Нам бы подошел девиз: "Осложним ситуацию на Ближнем Востоке". Фло? Ты меня слышишь? Отвечай, Флоренс. Фло! Черт возьми...

Отключив Бобби, Флоренс тут же позвонила Лейле.

— Нам надо встретиться, — сказала она. — Срочно.

— Сейчас не самое подходящее время, — ответила Лейла. — Газзир в дурном настроении. Ему без конца звонят. Что-то происходит, но он не хочет мне говорить.

— Мне кажется, я знаю, в чем дело, но это не телефонный разговор.

— И все же это не самая лучшая идея. Представь себе, как он разозлится, если нас увидят вместе. Я понимаю, это полный идиотизм, но нам не следует давать повод для дурацких сплетен.

— Это очень важно, — сказала Флоренс. — Иначе я бы тебя не беспокоила. Встретимся в торговом центре Чартвелл у "Старбакса". Буду ждать тебя снаружи. Рядом с фикусом.

— Не самое лучшее время ты выбрала для походов по магазинам, подруга.

Флоренс наблюдала за проходящими мимо нее женщинами через сеточку в своей чадре. Наконец к ней приблизилась женская фигура, с головы до ног закутанная в белую абайю. Она подошла и в нерешительности остановилась рядом с Флоренс.

— Это я, — Флоренс слегка качнула головой.

— Хвала Всевышнему, — отозвалась Лейла. — Ты только посмотри на нас. Я, например, чувствую себя как гостья ток-шоу "Милая Азада".

Они присели на скамейку под фикусовым деревом, поглядывая, как мимо них под приглушенные звуки музыки прохаживаются взад-вперед представители всех классов и сословий Матара.

— Мне удалось обмануть своих телохранителей, сбежав через заднюю дверь примерочной в магазине "Ральф Лорен". Они никуда не годятся. Не дай бог кто-нибудь в самом деле когда-нибудь решит на меня напасть. Итак, к чему вся эта срочность?

Флоренс рассказала Лейле о том, что случилось с принцессой Хамзин. Лейла слушала ее не прерывая.

— Я с ней встречалась однажды, — наконец сказала она. — Хамзин — самая симпатичная из жен Таллулы. Впрочем, теперь это ей вряд ли поможет. Господи, о чем она только думала?

Лейла вздохнула и посмотрела на кафе "Старбакс".

— Сотни лет назад, а может быть, целую тысячу, здесь был торговый квартал, — сказала она. — Повсюду бродили торговцы и караваны. В гавани стояли бесчисленные суда. Тот кофе, который впервые попробовали европейцы, проходил как раз через этот рынок. А теперь у нас тут "Старбакс". Вот такой вот прогресс... Похоже, Фьоренца, ты очень хорошо информирована о самых разнообразных вещах. Что еще можешь

ты рассказать мне у входа в этот "Старбакс"? Видимо, ты все-таки впутала меня в какую-то операцию ЦРУ. Да или нет?

– Я сама точно не знаю, на кого я работаю, – сказала Флоренс.

– В прямолинейности тебя не обвинишь.

– Я понимаю, тебе это покажется очень странным. Но это – чистая правда. Просто ко мне обратился один человек, назвавшийся дядей Сэмом...

– Нет, нет, – сердито оборвала ее Лейла. – Я ничего не хочу знать. Если, в конце концов, мне суждено оказаться в тюремной камере, то лучше уж действительно ни о чем не знать... Ну почему ты не предупредила меня раньше?

– Мне сейчас все задают этот вопрос.

Флоренс впервые в жизни обрадовалась, что на ней чадра, поскольку на глаза у нее навернулись слезы.

– Прости меня, – сказала она. – Я пыталась найти подходящий момент, чтобы сказать тебе...

– Впрочем, я уже сама начала догадываться, – проговорила Лейла чуть более мягким тоном. – Я ведь не дура. Но дела шли так хорошо, что я решила: это не может быть операцией ЦРУ. У них всегда все идет наперекосяк. А теперь... Так значит, твой мистер Бобби... Это он был в гараже?

– Да. Но это была вынужденная самооборона.

– Ну конечно, так всегда и бывает. А зачем он туда забрался?

– Проверить машину Малика. И выяснил, что на ней было установлено специальное устройство, имитирующее пожар. Черный дым, чудесное спасение... Никакой аварии. Все было подстроено ради того, чтобы у Малика появился повод для религиозного просветления.

– Так значит... Все-таки готовится переворот?

– Я могу помочь тебе и твоему сыну выехать за пределы страны, – сказала Флоренс.

Лейла поднялась со скамейки.

– Спасибо. Но мне кажется, ты уже достаточно нам всем помогла.

Глава семнадцатая

Флоренс вернулась в свой офис с тяжелым сердцем, и секретарша тут же сообщила ей, что звонил "ее дядя".

– Правда, он не сказал – какой дядя. Очевидно, думал, вы знаете.

Флоренс действительно знала. Более того, она знала, что разговор будет не из приятных. Когда она набрала номер, дядя Сэм ответил так быстро, что в трубке не успел прозвучать до конца даже первый гудок. Это, разумеется, являлось очень дурным знаком. Она буквально слышала, как у него все клокочет внутри.

– Ты что это там вытворяешь? – прорычал он.

– Я вижу, Бобби вас уже обо всем известил.

– Известил? Ты думаешь – это называется *известие*? Черта с два! Неужели ты не понимаешь, что такую информацию нельзя пускать по телевидению! Ты отдаешь себе отчет, насколько это щекотливая ситуация?

Флоренс подумала, как ей все это надоело. Большая часть времени, которое она провела, работая на правительство, ушла на бесконечные споры.

– Я сказала Лейле, что работаю на правительство, – сказала она.

– Что?!! О чем сказала?!! Зачем?!!

– Мне надоело ее обманывать. Тем более она все равно догадывалась.

– Флоренс, – сказал он совершенно другим тоном, – я вывожу тебя из операции. Немедленно. Ты хорошо потрудилась. Но теперь ты устала. Тебе нужно перевести дух. Отправляйся в Париж или Лондон. Прогуляешься там по магазинам за дядюшкин счет. Как ты на это смотришь?

– Вы отправили меня сюда организовать революцию. А теперь хотите, чтобы я прогулялась по магазинам?

– Да господи боже мой, юная леди, не надо все усложнять! Я вовсе не пытаюсь продемонстрировать мужское пренебрежение. Не хочешь по магазинам – иди в музеи. Я целиком и полностью за культуру.

– Очень передовые взгляды.

– Флоренс, если ты пустишь эту историю с принцессой в эфир, произойдет... О-о-о, ну как мне тебе объяснить?!!

– По-английски.

– Хорошо, по-английски. Я приведу тебе самый настоящий английский пример. Во время Второй мировой войны Черчиллю стало известно о том, что немцы собираются бомбить Ковентри. Но если бы он предупредил жителей этого города, немцы поняли бы, что англичане расшифровали их секретный код. Поэтому Черчилль ничего не сделал, чтобы предотвратить бомбардировку. И город был стерт с лица земли. И люди погибли. Но война была выиграна.

– Вы хотите сказать, что мы должны быть безжалостными?

– Совершенно верно.

– Благодарю вас, дядя Сэм, вы прояснили мне ситуацию.

– Я знал, что ты все поймешь. Я вышлю за тобой самолет. Ты, наверное, уже просто с ног валишься от усталости. Но как замечательно ты потрудилась! Как замечательно! Неделька в отеле "Бристоль" на улице дю Фабур Сент-Оноре пойдет тебе на пользу. Обожаю этот отель. Долгий глубокий сон, массаж, музеи...

– Звучит чудесно.

– Я встречу тебя в аэропорту. Первый, кого ты увидишь с табличкой в руках, буду именно я!

– До свидания, дядя Сэм.

Флоренс вызвала к себе в кабинет Фатиму Шам и вручила ей текст сообщения для эфира. Фатима прочла его и вскинула удивленный взгляд на Флоренс.

– Я об этом еще ничего не слышала. Это эксклюзивная информация?

– О да.

– А источник?

– Надежный.

– Ага, – сказала Фатима. – Понятно.

– Это может сделать тебя настоящей звездой, Фатима.

— Да. Быть может, я даже получу работу в крупном агентстве... Флоренс, мне кажется, сейчас самое время спросить кое о чем.

— Давай.

— Мы все работаем на ЦРУ?

— Я и сама толком не понимаю, — вздохнула Флоренс. — Хотя звучит это довольно уклончиво.

— Да уж, — улыбнулась Фатима. — В самом деле.

— Скорее всего, мы работаем именно на них. И тем не менее, если мы сейчас не предпримем каких-нибудь мер, эта девушка в Каффе умрет. Вот теперь ты знаешь все, что известно мне.

— Боже мой, — сказала Фатима. — А я-то думала, мы делаем нужную и полезную работу.

— Я тоже так думала. И еще я должна тебя предупредить, что репортаж об этой истории не прибавит тебе друзей в Васабии. Да и здесь ситуация может измениться. Мы разворошили змеиное гнездо. Я пойму тебя, если ты откажешься выходить с этим в эфир. Я могла бы сделать это сама, но тогда у них появятся сильные козыри против нас.

Фатима снова посмотрела на текст.

— Мы не можем позволить им забить ее камнями насмерть, — сказала она. — Я сяду на телефоны и попробую накопать что-нибудь еще.

У двери она обернулась и с улыбкой сказала:

— Чем бы это ни кончилось — ты молодец, Флоренс.

Флоренс вызвала Рика и Джорджа к себе в кабинет, плотно закрыла дверь, а затем набрала номер Бобби и включила громкую связь.

— Бобби, — сказала она, — я хочу, чтобы ты немедленно вывез Джорджа и Рика за пределы страны.

— Зачем? — сказал он после паузы. — Я думал, ты согласилась с дядей Сэмом и не будешь... Что происходит, Флоренс?

— Бобби, прошу тебя, хотя бы на десять минут притворись, что работаешь на меня. Я хочу, чтобы сегодня вечером их обоих уже здесь не было. Ты можешь вызвать для них это свое водное такси?

— Черт тебя побери, девушка! Я не могу заказывать атомную подводную лодку, как лапшу на вынос из китайского ресторана.

— Подводную лодку! — сказал Джордж, сильно бледнея. — Стоп, стоп, так не пойдет. Я не по этой части. У меня клаустрофобия.

— Джордж, это *большая* подводная лодка, — попыталась успокоить его Флоренс.

— Она должна быть величиной с "Куин Мэри-2" и все время плыть по поверхности.

— Джордж, — твердо сказала Флоренс. — Через двенадцать часов самым желанным на свете местом для тебя может стать боевая рубка гребаной субмарины ВМФ США! Бобби?

— Что?

— Вытаскивай их отсюда. На подлодке, на верблюде, на воздушном шаре — мне все равно. Я объявляю срочную эвакуацию. Ясно? Могу я рассчитывать на тебя? Алло, Бобби?

— Да здесь я, черт побери. Эй, парни, вы меня слышите?

— Слышим, — ответил Рик за себя и за впавшего в прострацию Джорджа, который, судя по всему, мысленно прокручивал в голове фильм ужасов с самим собой в главной роли.

— О'кей, парни, послушайте-ка. Вы наверняка знаете кафе "Уинстон" на Эспланаде около рыбного ресторана. Сейчас три пятнадцать. Через час вы должны быть там. Без опозданий, понятно? Домой не заходите. Не берите с собой ничего из офиса. Просто уходите через парадную дверь. Значит, так: выходим по одному, с интервалом в десять минут. У каждого под мышкой должна быть газета или журнал. Как будто собрались на обычную прогулку. Идти не спеша, не бежать. Не оборачиваться. Если увидите, что кто-то за вами следит, это, скорее всего, будет один из моих людей. Все должно пройти гладко. Когда окажетесь в кафе, закажите чашку кофе и сидите — не дергайтесь. За кофе расплачивайтесь, как только его принесут. Оставьте обычные чаевые. Вскоре вы увидите два белых "мерседеса" с эмблемами "Такси Амо-Амаса". Они подъедут с интервалом в несколько минут. У каждого на радиоантенне будет ленточка желтого цвета. Джордж садится в первую машину. Ренард — во вторую. Газеты забираем с собой. Вам все ясно? Или хотите, чтобы я повторил?

— Нет, нам понятно, — ответил Рик.

— Джордж, ты меня слышишь? — сказал Бобби.

— Что?

— Все будет в полном порядке. Ты справишься. У тебя есть валиум или что-нибудь в этом роде? Хотя ладно, не надо. Я положу в такси. С тобой все будет в порядке. Слушай, на подлодках полно таких... э-э... ребят, как ты.

— С клаустрофобией?

— Да нет... Ну, в общем... Короче, все будет в порядке.

— Бобби, — вмешалась Флоренс.

— Что? — резко ответил он.

— Спасибо тебе.

Бобби положил трубку.

— Видимо, он сейчас от меня не в восторге, — сказала Флоренс.

— Да объясни наконец, что происходит! — воскликнул Джордж.

— Вы оба уезжаете. Вы замечательно потрудились. Я вами горжусь.

Она ощутила комок в горле, но сумела его проглотить.

— Фьоренца, — сказал Джордж, — что происходит?

— Скоро начнется заварушка. И мне бы хотелось, чтобы вы были подальше отсюда.

— Эй, минутку, — сказал Рик. — Я лично ничего не боюсь. Ты имеешь дело с человеком, организовавшим турнир по гольфу в Северной Корее с участием О. Джей Симпсона[1].

— Рик, у нас большие проблемы. Должна признаться, что очень скоро мы, видимо, не сможем рассчитывать на поддержку тех людей, которые нас сюда прислали. Из-за этого наша ситуация становится, как говорят в старом добром Госдепартаменте, несовместимой с дальнейшей жизнедеятельностью. В такие моменты начинают эвакуировать вспомогательный персонал.

— Вспомогательный? — поднял брови Рик. — Это про меня, что ли?

1. Орентал Джеймс (О. Джей) Симпсон (р. 1947) — звезда американского футбола, актер и спортивный комментатор. В 1994 г. был обвинен в убийстве жены и ее любовника; после громкого судебного процесса оправдан судом присяжных.

— Послушай, у тебя самый блестящий... и самый непредсказуемый... ум в пиар-бизнесе. И тем не менее ты уезжаешь через пятьдесят пять минут.

— А почему бы нам всем не уехать? — спросил Джордж.

Флоренс посмотрела на своих подчиненных.

— Я тоже еду. Мы встретимся на берегу. Просто мне нужно кое-что здесь закончить.

Они вышли из кабинета. У двери Джордж успел шепнуть Рику:

— Я не поплыву на подводной лодке. Во всем мире нет столько валиума, чтобы заставить меня сделать это.

Когда дверь за ними закрылась, Флоренс не смогла сдержать слезы, однако, будучи по существу все-таки очень решительной девушкой, быстро взяла себя в руки и вернулась к работе.

Окончание в следующем номере

Гарольд Пинтер

Нобелевская премия 2005 года

Былые времена

Пьеса

Перевод с английского и вступление А. Ливерганта

По формальным признакам "Былые времена" (1971), как и большинство пьес Нобелевского лауреата 2005 года Гарольда Пинтера, относятся к театру абсурда. Три персонажа — Дили, его жена Кейт и ее подруга детства Анна — говорят между собой на разных языках (как правило, либо Дили, либо Анна, оказываются — нередко по собственной воле — вне игры), то и дело теряют нить разговора, не "держат тему" — все симптомы эстетики абсурдизма налицо. Не будем забывать, однако, что абсурд у Беккета, Чапека, Ионеско, Бунюэля, Олби, Пинтера, Магритта — не более чем форма, прием, и плоха та абсурдная пьеса, тот абсурдный фильм, роман или картина, которые абсурдны с начала и до конца, невнятны, лишены смысла: "Сказка ложь, да в ней намек..." Намек "Былых времен" прост и печален: у близких людей события вместе прожитых лет воспринимаются поразному, совпадают далеко не всегда. Драматические произведения Пинтера шестидесятых—семидесятых годов прошлого века принято у театроведов называть "пьесами угрозы" ("plays of menace"). Таковы и "Подъемник" (в русском переводе — "Немой официант", некогда ставившийся у нас в подвалах актерами-любителями), и "Сторож", и "Возвращение домой", и, конечно же, "День рождения" — самая, наверно, мрачная, беспросветная пьеса Пинтера.

"Былые времена" если и таят в себе угрозу, то несколько иного рода. В этой пьесе речь идет не об угрозе физического устранения, как в "Дне рождения", и не об угрозе потери человеческого лица, как в "Носорогах" Э. Ионеско, а о разобщенности близких, проживших вместе всю жизнь людей, о тайне человеческих отношений, которую не передать словами. Не оттого ли в "Былых временах" по многу раз на одной странице встречается одна и та же ремарка — "Молчание"...

© H. Pinter Limited, 1971
© А. Ливергант. Перевод, вступление 2006

Посвящается Питеру Холлу

Действующие лица

Дили

Кейт

Анна

Всем троим за сорок.

Перестроенный фермерский дом. В центре — длинное окно. Слева — дверь в спальню. Входная дверь — прямо. Дешевая современная мебель. Два дивана. Кресла. Осень. Ночь.

Действие первое

В тусклом свете можно различить три фигуры.
Дили сидит развалившись в кресле. Кейт сидит с ногами на диване. Анна стоит у окна.
Молчание.
Свет падает на Дили и Кейт. Оба курят.
Анна по-прежнему стоит у окна.

Кейт *(задумчиво)*. Темно.

Пауза.

Дили. Она толстая или худая?

Кейт. Полнее меня. Кажется.

Пауза.

Дили. Тогда была полнее тебя?

Кейт. Да, вроде бы.

Дили. Сейчас, может, и нет. (*Пауза.*) Была твоей лучшей подругой?

Кейт. Что это значит?

Дили. Что?

Кейт. Слово "подруга"... Как я могу сказать?.. Столько ведь лет прошло...

Дили. Ты, что ж, не помнишь, как ты к ней относилась?

Пауза.

Кейт. Очень много лет прошло.

Дили. Но ты ведь ее помнишь. Ты помнишь ее, она — тебя. Иначе бы она сюда не приехала, верно?

Кейт. Да, не помнила бы — не приехала.

Пауза.

Дили. Ты считала ее своей лучшей подругой?

Кейт. Единственной.

Дили. Лучшей и единственной.

Кейт. Одной-единственной. (*Пауза.*) Когда подруга единственная, как она может быть лучшей?

Дили. Потому что не с кем сравнивать?

Кейт. Угу.

Пауза.

Дили *(улыбается).* Несравненная, стало быть.

Кейт. Вот именно.

Пауза.

Дили. Не знал, что у тебя было так мало подруг.

Кейт. Ни одной. Вообще ни одной. Только она.

Дили. Почему именно она?

Кейт. Не знаю. (*Пауза.*) Она ведь воровала, воришкой была.

Дили. У кого воровала?

Кейт. У меня.

Дили. Что воровала?

Кейт. Всякие мелочи. Белье.

Дили хмыкает.

Дили. Ты ей об этом говорила?

Кейт. Нет... нет, по-моему.

Пауза.

Дили. Это тебя в ней и привлекало?

Кейт. Что?

Дили. Что она ворует.

Кейт. Нет.

Пауза.

Дили. Тебе хочется ее увидеть?

Кейт. Нет.

Дили. А мне вот хочется. Мне интересно.

Кейт. Что?

Дили. Как ты себя будешь вести. Я буду наблюдать за тобой.

Кейт. За мной?! Зачем?

Дили. Чтобы убедиться, что она это она.

Кейт. Думаешь, это будет по мне заметно?

Дили. Не сомневаюсь.

Пауза.

Кейт. Я ее плохо помню. Почти совсем забыла.

Пауза.

Дили. Не знаешь, что она пьет?

Кейт. Понятия не имею.

Дили. Может, она вегетарианка.

Кейт. Спроси ее.

Дили. Поздно спрашивать. Ты ведь уже приготовила мясо в горшочке. (*Пауза.*) Почему она не замужем? То есть я хотел спросить, почему она приехала без мужа.

Кейт. Спроси ее.

Дили. Что ты все "спроси да спроси"?

Кейт. А ты хочешь, чтобы я за тебя спрашивала?

Дили. Нет. Вовсе нет.

Пауза.

Кейт. Естественно, она замужем.

Дили. Откуда ты знаешь?

Кейт. Все женщины замужем.

Дили. Почему ж она тогда приезжает без мужа?

Кейт. Без мужа?

Пауза.

Дили. В письме про мужа что-нибудь говорилось?

Кейт. Нет.

Дили. Как ты думаешь, что он собой представляет? За какого человека она могла выйти замуж? Она ведь, сама говоришь, была твоей лучшей, единственной подругой. Что он за человек?

Кейт. Понятия не имею.

Дили. Какая ты нелюбопытная.

Кейт. Ты забываешь — я ее хорошо знаю.

Дили. Ты же не видела ее двадцать лет.

Кейт. А ты ее вообще ни разу не видел. Разница.

Пауза.

Дили. Мяса, если что, хватит на четверых.

Кейт. Ты же сказал, что она вегетарианка.

Пауза.

Дили. А у нее было много друзей?

Кейт. Да нет... Как у всех...

Дили. Что значит "как у всех"? У тебя, например, друзей не было.

Кейт. Одна подруга была.

Дили. Это, по-твоему, нормально? (*Пауза.*) А у нее было много... очень много друзей, да?

Кейт. Сотни.

Дили. Ты с ними встречалась?

Кейт. Кое с кем — мы ведь как-никак вместе жили. Иногда у нас бывали гости, и я с ними встречалась.

Дили. Ее гости?

Кейт. Что?

Дили. Ее гости. Ее друзья. У тебя-то друзей не было.

Кейт. Ее друзья, да.

Дили. И ты с ними встречалась. (*Пауза. Неожиданно.*) Вы жили вместе?

Кейт. А?

Дили. Вы жили вместе?

Кейт. Ну да.

Дили. Этого я не знал.

Кейт. Разве?

Дили. Ты мне об этом никогда не говорила. Я думал, вы просто дружили.

Кейт. Дружили.

Дили. А вы, оказывается, и жили вместе.

Кейт. Ну конечно. Как бы иначе она могла красть у меня белье? Не на улице же?

Пауза.

Дили. Я знал, что одно время ты с кем-то вместе снимала комнату... (*Пауза.*) Но я не знал, что с ней.

Кейт. С кем же еще.

Пауза.

Дили. Ладно, не все ли равно.

Анна отходит от окна, приближается к ним и садится на второй диван.

Анна. Всю ночь стояли в очереди, в дождь, помнишь? Господи, Альберт-Холл, Ковент-Гарден... Что мы ели?.. Полночи стоять в очереди... делали что хотели... Конечно, мы тогда были молоды, и все же какая энергия: утром — на работу, а вечером — концерт,

опера или балет, помнишь тот вечер? А потом ехали на верхнем этаже автобуса по Кенсингтон-Хай-стрит, дома хватали спички, чтобы поскорей зажечь газ, садились есть — что мы ели? Яичницу? Кто готовил? Хихикали, болтали, жались к огню, потом в постель и спать, а утром все сначала, суета, опять бегом на автобус, работа, бутерброды в Грин-парке, у каждой свои, и новости тоже у каждой свои: наивные девчонки, глупенькие секретарши, а потом — вечер, томительное ожидание, предвкушение чего-то неожиданного, невероятного... Такие бедные, такие бедные, зато такие молодые — и в Лондоне... а в каких кафе мы бывали! Крохотных, почти что закрытых, да? Кого там только не было: и художники, и писатели, иногда актеры... балерины. Мы брали по чашке кофе и сидели как мышки, вобрав голову в плечи, боялись пошевелиться — не дай бог привлечь к себе внимание, помешать, отвлечь — и слушали, и слушали... Все эти кафе, эти люди, творческие личности, не иначе... Интересно, это кафе еще существует? Не знаешь? Не можешь мне сказать?

Короткая пауза.

Дили. Мы в Лондоне редко бываем.

Кейт встает, подходит к низкому столику и наливает кофе из кофейника.

Кейт. Да, помню. *(В одну чашку доливает молоко, кладет сахар и передает чашку.)*

Анна черный кофе относит Дили, наливает кофе себе и садится.

Дили (*Анне*). Вы пьете коньяк?

Анна. Выпью с удовольствием.

Дили встает, разливает коньяк, раздает бокалы. Остается стоять с бокалом в руке.

Анна. Прислушайтесь — какая тишина. У вас всегда так тихо?

Дили. Да, здесь довольно тихо. Обычно. (*Пауза.*) Если прислушаться, иногда море слышно.

Анна. Какие же вы молодцы, что выбрали такое глухое место. Надо быть умными и смелыми людьми, чтобы постоянно жить в такой тишине.

Дили. Я-то все время в разъездах — работа такая, — а вот Кейт здесь безвыездно.

Анна. Если здесь жить, и уезжать не захочется. Лично я бы отсюда никогда далеко не уезжала, мне было бы неспокойно: воротишься, а дома как не бывало.

Дили. "Воротишься"?

Анна. Что вы?

Дили. Слово "воротишься". Давно его не слыхал.

Пауза.

Кейт. Иногда хожу к морю. Народу на пляже немного. Пляж длинный.

Пауза.

Анна. И все-таки без Лондона мне было бы скучно. Впрочем, в Лондоне я была еще совсем девчонкой. И ты тоже.

Дили. Жаль, что я был тогда с вами обеими не знаком.

Анна. Правда?

Дили. Да.

Дили подливает себе коньяк.

Анна. Мясо в горшочке замечательное.

Дили. Что?

Анна. Простите, это я к тому, что у вас замечательная жена.

Дили. А-а.

Анна. Готовит просто восхитительно.

Дили. Значит, вы не вегетарианка?

Анна. Я? О нет.

Дили. Мы тут, на свежем воздухе, любим, знаете ли, поесть...

Пауза.

Кейт. Да, я все такое люблю, люблю этим заниматься.

Анна. Чем "этим"?

Кейт. Ну, всем этим...

Пауза.

Дили. В смысле, готовить любишь?

Кейт. Да, все такое...

Анна. Мы-то с тобой ели что придется, у нас на разносолы времени не было. Но иногда, бывало, приготовим целое блюдо рагу, наедимся до отвала, а потом, и такое бывало, полночи Йейтса вслух читаем. (*Пауза. Про себя.*) Да. Бывало. И такое бывало. (*Анна встает, идет к окну.*) Какое небо неподвижное. (*Пауза.*) Видите вон ту крошечную полоску света? Это что, море? Или горизонт?

Дили. Вы-то живете совсем на другом берегу.

Анна. Да, ничего похожего. Я живу на вулканическом острове.

Дили. Я в курсе.

Анна. Правда?

Дили. Я бывал там.

Пауза.

Анна. Я так рада, что приехала.

Дили. И я рад, что Кейти с вами увиделась. Друзей у нее немного.

Анна. У нее есть вы.

Дили. Она трудно сходится с людьми, а ведь могла иметь много друзей, такая возможность у нее была.

Анна. Может, ей достаточно того, что есть.

Дили. У нее начисто отсутствует любопытство.

Анна. Может быть, она счастлива.

Пауза.

Кейт. Вы обо мне?

Дили. Да.

Анна. Она всегда была оторвана от жизни.

Дили. Она любит подолгу гулять. Да... Наденет плащ, руки в карманы — и идет, идет, часами гулять может... Да...

Анна поворачивается и смотрит на Кейт.

Анна. Да.

Дили. Иногда я зажимаю ее лицо между ладонями и заглядываю ей в глаза.

Анна. В самом деле?

Дили. Да, зажму лицо между ладонями и смотрю на нее. А потом разжимаю руки и лицо словно бы уплывает...

Кейт. Что значит "уплывает"? У меня голова на месте. На плечах.

Дили (*Анне*). Понимаете, уплывает.

Анна. Она всегда была оторвана от жизни. (*Садится.*) Иной раз гуляем в парке, и я ей говорю: "Ты все мечтаешь и мечтаешь о чем-то. Интересно, о чем? Спустись с небес на землю. А то ты как во сне". А она ко мне повернется, волосы откинет и смотрит на меня так, словно и впрямь во сне видит. (*Пауза.*) Как-то она мне говорит: "Я проспала всю пятницу". "Ничего подобного, — говорю, — с чего ты взяла?" А она опять свое: "Я проспала всю пятницу". "Но ведь сегодня пятница, — говорю, — уже вечер, ты весь день на ногах — ни минуты не спала". "Нет спала. Я весь день проспала. Сегодня уже суббота".

Дили. Вы хотите сказать, что она не знала, какой был день недели?

Анна. Именно.

Кейт. Нет знала. Была суббота.

Пауза.

Дили. Какой сейчас месяц?

Кейт. Сентябрь.

Пауза.

Дили. Она с нами словно от сна пробуждается. Вы должны чаще бывать у нас. Вы хорошо на нее влияете.

Анна. Не знаю, мне с ней всегда было очень легко.

Дили. Жили душа в душу?

Анна. Не то слово.

Дили. "Нет слов, чтоб передать, как нравишься ты мне".

Анна. Ах эти песенки. Разляжемся на полу и слушаем. Целыми днями, с утра до ночи. Эти старые, трогательные песенки. Посмотришь на нее случайно, у нее лицо такое отрешенное, незрячее.

Дили. Незрячее?

Анна. Да, а что?

Дили. Слово "незрячее" — не часто его услышишь.

Анна. Именно так — потупилась, не шелохнется. Целиком ушла в себя.

Дили. Слушала "Нет слов, чтоб передать, как нравишься ты мне"?

Кейт (*Анне*). Я этой песни не знаю. Мы с тобой ее слушали?

Дили *(напевает, обращаясь к Кейт)*. "Нет слов, чтоб передать, как нравишься ты мне..."

Анна. Ну конечно слушали. Чего мы только с тобой не слушали!

Дили *(напевает)*. "Стоишь совсем одна, как в небе бледная луна..."

Анна *(напевает)*. "И волосы волной..."

Дили *(напевает)*. "Живу тобой одной..."

Анна *(напевает)*. "Твоей улыбки нет нежней..."

Дили *(напевает)*. "Смешная, сохнешь ты по мне..."

Короткая пауза.

Анна *(напевает)*. "Ты как весенний поцелуй..."

Дили *(напевает)*. "И вот настал желанный миг. И я к устам твоим приник".

Короткая пауза.

Анна *(напевает)*. "Скажи, отчего лишилась я сна? Скажи, почему без вина я пьяна?..."

Дили *(напевает)*. "Неужто в тебя я, мой друг, влюблена?"

Анна *(напевает)*. "Что я влюблена, мне шепнула весна: 'Ты любовь сохрани. Ты себя не вини. К сердцу друга прильни'".

Дили *(напевает)*. "Любви угасло пламя..."

Анна *(подхватывает)*. "И застит дым глаза".

Пауза.

Дили *(напевает)*. "Полночных поездов встревоженные вздохи..."

Пауза.

Анна *(напевает)*. "Парк, сумерки, вода, вечерний благовест..."

Пауза.

Дили *(напевает)*. "Улыбка Гарбо, запах роз..."

Анна *(подхватывает)*. "...В окне последнем свет погас..."

Дили *(напевает)*. "Твой образ по пятам преследует меня..."

(Пауза.) Больше таких песен не поют. *(Тишина.)* А со мной вот что произошло. Зашел я как-то в кинотеатр — дешевый, первый попавшийся, — хотел "Пропащего" посмотреть. Дело было летом, во второй половине дня, жара стояла несусветная. Как я в этот район попал, не помню, зато помню, что он мне показался знакомым, и я вдруг сообразил, что именно здесь, в этом районе, отец мне мой первый трехколесный велосипед купил — первый и последний. Рядом с велосипедным магазином и был тот захудалый кинотеатр, где "Пропащего" крутили. Захожу, в фойе две билетерши стоят, одна из них груди себе теребит, а другая ее "грязной сукой" обзывает, а та, что груди себе теребит, только похотливо мычит и второй билетерше улыбается. В такой вот невыносимо жаркий день я и посмотрел в этой дыре "Пропащего". Помню, Роберт Ньютон мне тогда ужасно понравился. Я и сейчас считаю, что сыграл он блестяще. За него я и теперь в огонь, как говорится, и в воду. Правда. Да, так вот, в зале, во всем зале, кроме меня, был только один человек — она, Кейт. Сидит в темноте, в самом центре — безучастная, неподвижная. Она сидела в середине, а я сел с краю, так весь фильм и просидел. Фильм кончился, выхожу, а у первой билетерши, хоть Джеймс Мейсон и помер, вид какой-то затравленный; вышел, стою на солнцепеке, о чем-то своем думаю, а тут эта самая девушка выходит и по сторонам глядит. "Правда, Роберт Ньютон превзошел самого себя?" — говорю. Она мне что-то ответила, уж не помню что, смотрит на меня, а я думаю: Господи, думаю, мне ж ее Бог послал, я нашел свое счастье, выиграл ее в лотерею. Сели мы в соседнем кафе, заказали по чашке чаю, она в чашку посмотрела, потом — на меня и говорит: "Роберт Ньютон, говорит, сыграл выше всяких похвал". Так что свел нас,получается, Роберт Ньютон — и только Роберт Ньютон может нас разлучить.

Пауза.

Анна. Ф. Дж. Маккормик тоже неплохо сыграл.

Дили. Да, Ф. Дж. Маккормик тоже неплохо сыграл, но он-то нас не свел. *(Пауза.)* Значит, и вы видели этот фильм?

Анна. Да.

Дили. Когда?

Анна. О... Давно.

Пауза.

Дили *(Кейт)*. Помнишь этот фильм?

Кейт. Да. Очень хорошо помню.

Пауза.

Дили. Если не ошибаюсь, когда мы встретились в следующий раз, мы уже держались за руки. Я держал ее прохладную руку в своей, она

шла рядом, я сказал что-то смешное, она улыбнулась и посмотрела на меня, помнишь? Посмотрела, откинула волосы, и я подумал, что она еще прекраснее, чем Роберт Ньютон.

(*Пауза.*) А потом, немного позже, наши обнаженные тела соединились, от нее веяло прохладой, теплом, она была такая приятная на ощупь, и я подумал: интересно, что бы сказал Роберт Ньютон, если б нас видел? Что бы он сказал, размышлял я, лаская ее? Лаская ее всю. (*Анне.*) Как вы думаете, что бы он сказал?

Анна. Я никогда не была знакома с Робертом Ньютоном, но я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Есть вещи, которые помнишь, хотя их могло и не быть. Есть вещи, которые я помню, хотя их могло и не быть. Они имеют место не в жизни, а в моей памяти. Я вспоминаю их — и они оживают.

Дили. Что-что?

Анна. Взять хотя бы человека, который плакал в нашей комнате. Както раз возвращаюсь домой поздно вечером и вижу: в кресле сидит мужчина, согнулся в три погибели, прикрыл глаза рукой и рыдает, а Кейти сидит на кровати и пьет кофе из кружки. Ни он, ни она слова мне не сказали, даже не посмотрели в мою сторону. Что мне было делать? Разделась я, выключила свет и легла в постель, а занавески тонкие, сквозь них свет с улицы пробивается, по стене пляшет, занавески на ветру колышутся... Рыдает, рыдает — и вдруг перестал. Подходит ко мне, быстро так, заглядывает в лицо, но я даже не шелохнулась. Мне-то какое до него дело? Никакого.

(*Пауза.*) Нет, нет, не то я говорю, он не сразу подошел... не так было... он шел... очень медленно — темно ведь было. Шел и остановился. Постоял, посмотрел на нас обеих, на наши кровати, а потом ко мне повернулся. Подошел. Наклонился. Но я сделала вид, что сплю — сдался он мне.

Пауза.

Дили. Кто это был?

Анна. А через некоторое время слышу — уходит. Входная дверь закрылась, шаги на улице, потом тишина, потом удаляющиеся шаги и опять тишина. (*Пауза.*) Просыпаюсь среди ночи, смотрю, а в ее постели двое лежат.

Дили. Он вернулся!

Анна. Лежит у нее на коленях, в ее постели.

Дили. В темноте, на коленях моей жены?!

Пауза.

Анна. А рано утром... он исчез.

Дили. Слава богу.

Анна. Как будто его и не было.

Дили. Разумеется он был. Уходил два раза, а приходил один. (*Пауза.*) Да, поразительная история. (*Пауза.*) Как он выглядел, этот тип?

Анна. Я так его и не разглядела. Не знаю.

Дили. А он?..

Кейт встает, идет к журнальному столику, достает из коробки сигарету и закуривает. Смотрит на Анну.

Кейт. Ты говоришь обо мне так, словно меня нет в живых.

Анна. Что ты, наоборот, ты всегда была очень живой. Веселой, смешливой...

Дили. Это верно. Даже как-то вызвал у тебя улыбку, помнишь? Когда мы гуляли по улицам, взявшись за руки. Ты излучала улыбку.

Анна. Да, она умела быть такой... оживленной.

Дили. Слово "оживленная" к ней не подходит. Когда она улыбалась... Как бы это сказать?

Анна. У нее загорались глаза.

Дили. Лучше не скажешь.

Дили встает, вынимает из коробки сигарету и с улыбкой следит за Кейт. Их взгляды встречаются, Кейт смотрит, как он закуривает, забирает у него коробку, подходит с ней к Анне. Анна берет сигарету.

Анна. Уж мертвой тебя никак было не назвать. Всегда была живой. Во всех смыслах.

Кейт. Я сказала, что ты говоришь обо мне так, будто меня *сейчас* нет в живых. Не тогда, а сейчас.

Анна. Как ты можешь говорить такое? Ведь я смотрю на тебя сейчас, в данную минуту, вижу, как ты подалась вперед, застыла, с какой робостью поглядываешь на меня...

Дили. Хватит!

Пауза. Кейт садится. Дили наливает себе выпить.

Дили. Я тогда был студентом, жил настоящим. И подумывал, не связать ли жизнь с девчонкой, совсем еще малолеткой, недавно из пеленок, которая только и умеет, что молчать да смотреть в одну точку; у которой ни убеждений, ни принципов и которая, как говорится, находится в свободном полете, но сама-то полета невысокого и не моего — живет как получится, а получается не бог весть... Я, во всяком случае, слово "полет" иначе понимал — тогда... Классический женский тип, сказал я себе, а вернее, классическое женское поведение. Старое как мир. (*Пауза.*) Вот что я тогда думал, а вернее, вот что я теперь думаю о том, что думал тогда. Двадцать лет назад.

Молчание.

Анна. Когда я узнала, что Кейти замужем, я ужасно обрадовалась.

Дили. Как вы узнали?

Анна. От знакомой. (*Пауза.*) Да, ужасно обрадовалась. Потому что, видите ли, я знала: она никогда ничего не делает опрометчиво, без-

рассудно. Одни, прежде чем нырнуть, бросают в реку камень — проверить, холодная ли вода. Другие же, есть и такие, будут терпеливо стоять на берегу, пока на воде рябь не появится.

Дили. Другие что? (*Кейт.*) Что она сказала?

Анна. Так вот, я знала, Кейти обязательно дождется, пока рябь распространится по всей реке, ибо, как вам, разумеется, известно, рябь на поверхности реки свидетельствует о том, что вода прогрелась до самого дна; но даже и тогда, когда Кейти в этом окончательно убедится, она все равно может не захотеть прыгать в воду. А в данном случае Кейти в воду прыгнула, из чего я сделала вывод, что она полюбила по-настоящему, и очень за нее обрадовалась. Значит, решила я, и вы дождались своего часа.

Дили. То есть ряби, да?

Анна. Если угодно.

Дили. Мужчины тоже покрываются рябью?

Анна. Некоторые да.

Дили. Понятно.

Пауза.

Анна. А потом, когда я узнала, чем вы занимаетесь, я обрадовалась вдвойне, ведь Кейти всегда интересовалась искусством.

Кейт. Когда-то я интересовалась искусством, вот только не припомню, каким именно.

Анна. Только не говори мне, что ты забыла, как мы целыми днями бродили по Тейт. А как мы обошли с тобой весь Лондон, все старые церкви и старые, разрушенные от бомбежек здания в Сити и к югу от реки, в Ламбете и Гринвиче, помнишь? О Господи. Она зачитывалась театральными рецензиями. С восторгом читала все, что касалось культуры, а потом требовала, чтобы мы шли на выставку, или в театр, или на камерный концерт... Впрочем, в те годы в Лондоне, в нашем любимом Лондоне, было столько всего интересного, что всюду и не поспеешь, да и денег не всегда хватало. Помню, как-то в воскресенье открывает она газету и говорит: "Пошли скорей, скорей, а то не успеем". Похватали мы сумочки, вскочили в автобус, приехали в какой-то совершенно неизвестный район, влетели в полупустой зал какого-то захудалого кинотеатра — и посмотрели совершенно замечательный фильм "Пропащий".

Молчание.

Дили. Да, по работе мне приходится довольно много путешествовать.

Анна. Вам нравится?

Дили. Не то слово. Не то слово.

Анна. Далеко ездите?

Дили. По всему земному шару.

Анна. А что делает бедная Кейти, когда вы в отъезде? Чем занимается? (*Анна смотрит на Кейт.*)

Кейт. Живу, как жила.

Анна. Он подолгу отсутствует?

Кейт. Иногда да. Правда?

Анна. Вы надолго покидаете вашу жену? Как вам не стыдно?

Дили. Ничего не поделаешь, моя работа сопряжена с разъездами.

Анна (*Кейт*). Надо мне как-нибудь приехать и побыть с тобой, когда он уедет.

Дили. А ваш муж не будет без вас скучать?

Анна. Конечно будет. Но он поймет.

Дили. А сейчас понимает?

Анна. Конечно.

Дили. Мы приготовили вегетарианское блюдо. Специально для него.

Анна. Он не вегетарианец. В чем-то даже гурман. Мы живем на довольно роскошной вилле. Уже много лет. Высоко в горах.

Дили. И ни в чем себе не отказываете, признавайтесь?

Анна. Да, пожалуй.

Дили. Я ведь немного знаю Сицилию. Совсем немного. Таормина. Вы живете в Таормине?

Анна. Под Таорминой.

Дили. За городом, значит? Понятно. Высоко в горах. Не исключено, что я вашу виллу видел. (*Пауза.*) В Сицилии я был по делу. По всему миру, знаете ли, ездить приходится. Куда только не попадаешь, с кем только не общаешься. Весь земной шар исколесил. Я говорю "земной шар", потому что слово "мир" двусмысленно, а я бы хотел без двусмысленностей обойтись, держаться от них, так сказать, подальше. Как яхта?

Анна. Замечательно.

Дили. С курса не сбивается?

Анна. Если сбивается, то только по нашему желанию.

Дили. В Англии вам, должно быть, показалось по возвращении ужасно сыро?

Анна. Я бы сказала, упоительно сыро.

Дили. Упоительно сыро? (*В сторону.*) Что она хочет этим сказать, черт возьми?

(*Пауза.*) Что ж, если ваш супруг окажется в наших краях, моя женушка рада будет поставить закопченный котелок на закопченную газовую плитку и угостить его чем-нибудь аппетитным. В прямом и в переносном смысле. Счастлива будет.

(Пауза.) Поехать с вами ему, надо думать, дела не позволили? Как его зовут? Джан Карло или Пер Пауло?

Кейт (*Анне*). У тебя мраморные полы?

Анна. Да.

Кейт. И ты ходишь по ним босиком?

Анна. Да. Но на веранде я надеваю сандалии.

Кейт. Чтобы защитить ступни от солнца, да? От жары?

Анна. Да.

Дили. В Сицилии у меня подобралась отличная съемочная группа. Оператор — первый класс. Ирвинг Шульц. Мастер своего дела. А эти суровые женщины в черном! Маленькие старушонки в черном. Мы от них глаз не могли оторвать. Я был сценаристом и режиссером. Меня зовут Орсон Уэллс.

Кейт (*Анне*). По утрам вы сидите на веранде и пьете апельсиновый сок, а вечером — джин с тоником и смотрите на море?

Анна. Иногда да.

Дили. Между прочим, я в своей профессии добился многого, очень многого и по работе связан с благоразумными и тонкими людьми — главным образом с продажными личностями. Самыми разнообразными.

Кейт (*Анне*). А сицилийцы тебе нравятся?

Дили. В Сицилии я бывал. Смотреть там больше нечего. Давно уже все осмотрено, обследовано. Ничего не обследованного не осталось.

Кейт (*Анне*). Тебе нравятся сицилийцы?

Анна удивленно смотрит на нее. Молчание.

Анна *(тихо)*. Давай сегодня вечером никуда не пойдем. Давай останемся дома. Я что-нибудь вкусное приготовлю, ты помоешь голову, переведешь дух, будем слушать пластинки.

Кейт. Не знаю даже. Может, все-таки куда-нибудь сходим?

Анна. Почему тебе дома не сидится?

Кейт. Могли бы погулять в парке.

Анна. Вечером в парке грязно, какие-то мужчины прячутся за деревьями, а женщины, когда проходишь мимо, кричат дурными голосами. Из-за деревьев и кустов неожиданно выходят какие-то люди, всюду тени, всюду полиция — не погуляешь, на улицах полно машин, шумно, на каждом шагу отели, вращающиеся двери, слепящий свет, в холле полно народу, говорят без умолку, мечутся... и везде эти люстры... (*Пауза.*) Стоит выйти на улицу, хочется одного — поскорее домой вернуться. Бежать домой со всех ног... шмыгнуть к себе в комнату.

Пауза.

Кейт. Что ж будем делать?

Анна. Сидеть дома. Тебе почитать? Хочешь?

Кейт. Сама не знаю.

Пауза.

Анна. Проголодалась?

Кейт. Нет.

Дили. Проголодалась?! Мы же только что съели мясо в горшочке!

Пауза.

Кейт. Что мне завтра надеть? Ума не приложу.

Анна. Надень зеленую юбку.

Кейт. У меня нет подходящей блузки.

Анна. А бирюзовая?

Кейт. Она разве подходит?

Анна. Подходит. Очень даже.

Кейт. Хорошо, примерю.

Пауза.

Анна. Хочешь, кого-нибудь позовем?

Кейт. Кого?

Анна. Чарли... или Джейка?

Кейт. Джейк мне не нравится.

Анна. Тогда Чарли... или...

Кейт. Кого?

Анна. Маккейба.

Пауза.

Кейт. Пойду в ванную, а там посмотрим.

Анна. Пустить тебе воду?

Кейт *(встает)*. Спасибо, сегодня наполню себе ванну сама.

Кейт медленно идет к двери в спальню, выходит и закрывает за собой дверь. Дили встает и смотрит на Анну. Анна поворачивается к нему лицом. Они смотрят друг на друга. Затемнение.

Действие второе

Спальня. В центре длинное окно. Слева дверь в ванную. Справа, впереди, дверь в гостиную. Два дивана. Кресло. Диваны и кресло стоят, как и в первом действии, только теперь диваны справа, а кресло – слева. Полумрак. Анна сидит на диване. За застекленной дверью в ванную слабый свет. Молчание.

Зажигается свет. Открывается дверь, ведущая в гостиную. Входит Дили с подносом. Ставит поднос на стол.

Дили. Ну вот. Крепкий и горячий. То что надо. Вы предпочитаете с молоком и с сахаром?

Анна. Да, если можно.

Дили (*наливает кофе*). Крепкий, горячий, с молоком и с сахаром. (*Передает ей чашку.*) Комната нравится?

Анна. Да.

Дили. Здесь мы спим. Вот на этих диванах. Удобны они тем, что переставлять их можно как угодно. Можно раздвинуть, как сейчас, а можно поставить под прямым углом. Или крест-накрест. Можно спать валетом, или голова к голове, или рядом: А все потому, что эти диваны на колесиках. (*Садится, в руке чашка кофе.*) А ведь я хорошо вас помню по "Странникам".

Анна. По чему?!

Дили. По кабачку "Странники", рядом с Бромптон-роуд.

Анна. Когда это было?

Дили. Много лет назад.

Анна. По-моему, вы что-то путаете.

Дили. Это были вы, ну конечно же вы. У меня хорошая память на лица. Обычно вы сидели в углу, иногда одна, иногда нет. А теперь вот сидите у меня, в моем деревенском доме. Та самая женщина. Невероятно. В этот паб ходил парень по имени Люк. Ваш знакомый.

Анна. Люк?

Дили. Здоровенный малый. Рыжая шевелюра. Рыжая борода.

Анна. Убейте, не помню.

Дили. Да их там целая компания была: поэты, каскадеры, жокеи, комики — такая публика. Вы ходили с шарфом на шее, да, да, черный шарф, черный свитер и юбка.

Анна. Я?

Дили. И в черных чулках. Не может быть, чтобы вы забыли кабачок "Странники". Вы могли забыть, как он называется, но сам паб наверняка помните. От стойки не отходили.

Анна. У меня тогда на спиртное денег не было.

Дили. У вас были поклонники. Самой вам платить не приходилось. За вами ухаживали. Я сам несколько раз угощал вас вином.

Анна. Вы?

Дили. Именно.

Анна. Не было такого.

Дили. Уверяю вас. Я точно помню.

Пауза.

Анна. Вы?

Дили. Я. Угощал вас вином. *(Пауза.)* Двадцать лет назад... почти.

Анна. Вы хотите сказать, что мы уже встречались?

Дили. Конечно встречались. (*Пауза.*) И разговаривали. В "Странниках". За угловым столиком. Люку, правда, это не особенно нравилось, но мы не обращали на него внимания. А потом мы все поехали в гости. Куда-то в Уэстборн-Гроув. Вы сидели на очень низкой кушетке, я сел напротив и стал смотреть вам под юбку. Ваши черные чулки казались особенно черными оттого, что ляжки были такими белыми. Сейчас это уже все, разумеется, в прошлом, так ведь? Как говорится, что было, то было. Но тогда, в тот вечер, зрелище было стоящим, очень даже стоящим. Я сидел, попивал эль и не отрываясь смотрел... Смотрел вам под юбку. И вы не возражали, вы не видели в этом ничего предосудительного.

Анна. По-вашему, я видела, куда вы смотрите?

Дили. В это время разгорелся спор, то ли о Китае, то ли о смерти, то ли о Китае *и* смерти — не помню точно, но только ваши ножки видны были мне одному, и только вы одна их демонстрировали. А теперь вы здесь. Та же женщина. Те же ножки.

(*Пауза.*) Да. В это время входит ваша подруга, тоже молоденькая девушка. Садится рядом с вами на диван, вы болтаете, смеетесь, я сел пониже, чтобы смотреть под юбку и ей тоже, а вы хохочете себе, о чем-то шепчетесь, вы-то знаете, что́ у меня на уме, а она и не подозревает, но тут меня со всех сторон обступили, стали расспрашивать, что я думаю о смерти или о Китае — не важно... Обступили: перегаром разит, зубы гнилые, из ноздрей волосы торчат, поближе подсесть норовят, стараются перекричать друг друга: "Китай... смерть..." Мне ничего не оставалось, как вскочить и броситься из комнаты, они за мной, только что не бьют, будто из-за меня весь сыр-бор, мечусь я по квартире, в табачном дыму ничего не вижу, шарю по столу, ищу еще одну бутылку эля, смотрю сквозь дым, различаю двух сидящих на диване девушек, одна из них вы; сидят голова к голове, о чем-то шепчутся... потом опять ничего не вижу, ни чулок, ни ножек — а в следующий момент вас уже нет, подхожу к дивану — пусто. Вглядываюсь в отпечатки четырех ягодиц. Две из них ваши.

Пауза.

Анна. Не часто услышишь историю более печальную.

Дили. Согласен.

Анна. Простите.

Дили. Прощаю. (*Пауза.*) Больше я вас не видел. Вы куда-то исчезли. Может быть, переехали.

Анна. Никуда я не переехала.

Дили. Больше я вас в "Странниках" не видал. Где вы были?

Анна. Как где? На концертах или на балете... (*Молчание.*) Любит Кейти в ванне полежать.

Дили. Уж вы-то знаете, ее хлебом не корми — дай в ванне понежиться.

Анна. Да.

Дили. Обожает. Часами в воде лежать может.

Анна. Это точно.

Дили. Часами. Нежится. Вся в мыльной пене. (*Пауза.*) Сначала намылится с ног до головы, а потом мыло смывает. Тщательно. Она ведь у меня основательная и, не скрою, чувственная. Всю себя обсмотрит, исследует — и выйдет чистенькая, вся блестит. Вы со мной согласны?

Анна. Да, чище не бывает.

Дили. Вот и я говорю. Ни пятнышка. Светится вся.

Анна. Да, как будто плывет.

Дили. Что?

Анна. Выплывает из ванной комнаты. Как во сне. Будто не видит, что стоишь с полотенцем и ждешь, когда можно будет его на нее накинуть. Опять в небесах витает. (*Пауза.*) В себя приходит, только когда ей на плечи полотенце накинешь.

Пауза.

Дили. Да, как следует вытираться она так и не научилась, вы обратили на это внимание? Тереть себя губкой умеет, а вот растираться полотенцем — не очень. Этой наукой она, поверьте моему опыту, так и не овладела. Всегда две-три капельки воды остаются — в самых неожиданных местах.

Анна. А почему вы сами ее не вытираете?

Дили. Думаете, стоит?

Анна. Вы бы сделали это как следует.

Дили. Полотенцем, в которое она завернута?

Анна. А вы бы как хотели?

Дили. Как бы я хотел?

Анна. Как иначе-то? Без полотенца ж не вытрешь.

Дили. Не знаю.

Анна. Ну да, вытирайте ее сами ее собственным полотенцем.

Пауза.

Дили. А может, вы сами ее вытрите ее собственным полотенцем?

Анна. Я?

Дили. Вы бы сделали это как следует.

Анна. Нет, нет.

Дили. Но почему? Вы ведь женщина и должны знать, в каких местах женского тела влага собирается чаще всего.

Анна. Двух одинаковых женщин не бывает.

Дили. Что верно, то верно. (*Пауза.*) У меня гениальная идея. А почему бы нам не воспользоваться пудрой?

Анна. И это вы называете "гениальной идеей"?

Дили. А что, нет?

Анна. После ванны принято пудриться.

Дили. Да, после ванны принято пудриться, но не принято, чтобы вас пудрили. Или я ошибаюсь? В моей семье, по крайней мере, это принято не было, уверяю вас. Мою матушку родимчик бы хватил.

(*Пауза.*) Послушайте. Вот что я вам скажу. Я сам все сделаю. От начала до конца. От полотенца до пудры. В конце концов, я ведь ее муж. А вы можете наблюдать со стороны. И давать указания — по ходу дела. Убьем, таким образом, двух зайцев.

(*Пауза. В сторону.*) Боже. (*Внимательно смотрит на нее.*) Вам, должно быть, сейчас лет сорок. (*Пауза.*) Если б я сейчас зашел в "Странники" и увидел вас за угловым столиком, я бы вас не узнал.

Дверь в ванную открывается. В спальню входит Кейт. На ней купальный халат. Улыбается Дили и Анне.

Кейт (с *удовольствием*). У-у-у-х.

Подходит к окну и вглядывается в темноту. Дили и Анна за ней наблюдают.

Дили что-то тихо напевает.

Дили (*поет*). "И шляпка, и вуаль..."

Анна (*поет, вполголоса*). "...И волосы волной..."

Дили (*поет*). "...Взгляд, устремленный вдаль..."

Анна (*поет*). "...Живу тобой одной..."

Кейт оборачивается и смотрит на них.

Анна (*поет*). "Улыбки нежной свет..."

Дили (*поет*). "...И голос с хрипотцой..."

Анна (*поет*). "...Уже немало лет..."

Дили (*поет*). "...Живу тобой одной..."

Кейт подходит к ним и останавливается улыбаясь. Теперь Анна и Дили поют более раскованно, в более быстром темпе.

Анна (*поет*). "Как держишь ты бокал..."

Дили (*поет*). "...Как танцевал с тобой..."

Анна (*поет*). "...Как я тебя ласкал..."

Дили (*поет*). "...Тобой всю жизнь больной".

Кейт садится на диван.

Анна (*Дили*). Красивая, правда?

Дили. Вы находите?

Кейт. Спасибо за комплимент. Совсем другое ощущение. Здесь очень мягкая вода. Гораздо мягче, чем в Лондоне. Лондонская вода всегда казалась мне очень жесткой. Поэтому мне так нравится жить за городом. Здесь все как-то мягче. И вода, и свет, и очертания, и звуки. Здесь все размыто, нет острых углов. К тому же рядом море. Без начала и конца. Это мне нравится. Я не люблю четких границ, прямых линий, их непреложность давит. Я бы поехала на Восток, туда, где очень жарко, где лежишь под противомоскитной сеткой и медленно, глубоко вдыхаешь воздух. Понимаете... выглянешь из палатки, а кругом один песок. В большом городе хорошо лишь... когда идет дождь, он размывает свет фар, смывает тушь с ресниц. А больше в городах ничего хорошего нет.

Анна. Не скажи. В городе можно снять хорошую комнату, зажечь газ, завернуться после ванны в теплый халат, выпить чего-нибудь горячего. Ты приходишь с дождя, а все тебя уже ждут.

Пауза.

Кейт. Идет дождь?

Анна. Нет.

Кейт. Ладно, сегодня вечером остаюсь дома — решено.

Анна. Вот и хорошо. Я рада. Сможешь после ванны выпить чашку крепкого кофе. (*Анна встает и наливает кофе.*) Подошью тебе кайму на черное платье. Когда кончу — примеришь.

Кейт. Угу.

Анна передает ей чашку.

Анна. А могу тебе почитать.

Дили. Ты как следует вытерлась, Кейт?

Кейт. Вроде бы.

Дили. Ты уверена? Всюду?

Кейт. По-моему, да. Я сухая.

Дили. Ты не ошибаешься? А то потом по всему дому мокрые следы останутся.

Кейт улыбается.

Видите эту улыбочку? Точно так же она улыбалась, когда я шел с ней по улице после "Пропащего". Или нет, это было позже. Как вам ее улыбка?

Анна. Очень красивая, по-моему.

Дили. Улыбнись еще раз.

Кейт. Я и так улыбаюсь.

Дили. Нет, сейчас ты улыбаешься иначе, не так, как минуту назад, не так, как тогда. (*Анне.*) Вы ведь знаете, какую улыбку я имею в виду, да?

Кейт. Кофе остыл.

Пауза.

Анна. Прости. Сейчас сварю свежий.

Кейт. Нет, я не хочу, спасибо. (*Пауза.*) Чарли придет?

Анна. Могу позвонить ему, если хочешь.

Кейт. А Маккейб?

Анна. Ты правда хочешь, чтобы к нам кто-то пришел?

Кейт. Маккейб мне что-то не нравится.

Анна. И мне тоже.

Кейт. Странный он какой-то. Говорит мне какие-то очень странные вещи.

Анна. Например?

Кейт. Всякие глупости.

Анна. Мне он никогда не нравился.

Кейт. А вот Дункан ничего, правда?

Анна. О да.

Кейт. Мне так нравятся его стихи. (*Пауза.*) А знаешь, кто мне нравится больше всех?

Анна. Кто?

Кейт. Кристи.

Анна. Он симпатичный.

Кейт. Такой мягкий, правда? А чувство юмора? Согласись, у него отличное чувство юмора? И потом, он такой... такой чуткий. Может, его позовешь?

Дили. Не получится. Его нет в городе.

Кейт. Обидно.

Молчание.

Дили (*Анне*). Вы кого-нибудь еще собираетесь навестить в Англии? Родственников? Кузенов? Братьев?

Анна. Нет. В Англии у меня нет никого. Никого, кроме Кейт.

Пауза.

Дили. Вы не находите, что она изменилась?

Анна. Разве что совсем немного. (*Кейт.*) Ты такая же стеснительная, да?

Кейт с недоумением смотрит на нее.

(*Дили.*) Когда мы только познакомились, она была ужасно стеснительная, робкая как мышка. Наклонишься к ней — она отшатнется, стоит вроде бы рядом, а совершенно недоступна, недосягаема. Ни поговорить с ней, ни дотронуться до нее. Я это объясняла ее воспитанием, она ведь дочь пастора, у нее и с сестрами Бронте немало общего.

Дили. Дочь пастора, говорите?

Анна. С Бронте, впрочем, ее роднит не страстность, а замкнутость, погруженность в себя. (*Короткая пауза.*) Помню, как она первый раз покраснела.

Дили. Из-за чего? По какой причине?

Анна. Я шла в гости и взяла у нее без спросу белье. Вернувшись, я повинилась. Сказала, что повела себя не лучшим образом. Видели бы вы, как она на меня смотрела — в полном замешательстве. Но я сказала ей, что была за свой проступок наказана — какой-то тип весь вечер смотрел мне под юбку.

Пауза.

Дили. И тогда она покраснела?

Анна. Зарделась.

Дили. Смотрел *вам* под юбку на *ее* белье. Гмм...

Анна. Но с этого дня она стала настаивать, чтобы я носила ее белье: белья у нее было больше, чем у меня, да и выбор гораздо лучше. Так вот, каждый раз, когда она предлагала мне надеть ее белье, она краснела и все-таки предлагала. И всякий раз, когда в гостях происходило что-то интересное, я по возвращении ей об этом обязательно рассказывала.

Дили. И тогда она тоже краснела?

Анна. Этого я сказать не могу. Я приходила поздно, она в это время уже лежала в постели и читала. Только начнешь рассказывать, а она: "Нет, не надо", и выключит свет, поэтому рассказывать приходилось в темноте. Правда, совсем темно не было: и газовая колонка горела, и свет с улицы сквозь занавески пробивался... Но ей и в голову не могло прийти, что, зная ее застенчивость, я садилась так, что видела ее лицо, а она моего — нет. Она же только мой голос слышала. Вот и получалось: она меня слушает, а я наблюдаю за тем, как она слушает.

Дили. Полная идиллия.

Анна. Мы были ужасно близкими подругами.

Пауза.

Дили. Вы говорите, что с Бронте ее роднит не страстность, а замкнутость. А как она по части страсти?

Анна. Это уж вас надо спросить.

Дили. Вы полагаете? Что ж, тут вы, черт возьми, правы. Верно, это надо меня спросить. Я рад, что наконец хоть кто-то сказал что-то осмысленное. Разумеется, спросить надо меня, кого же еще?! Я ведь ее муж как-никак.

(*Пауза.*) Мне хотелось бы получить ответ вот на какой вопрос. Скажите, мне одному наш разговор начинает действовать на нервы?

Анна. Не понимаю, что вас раздражает. Я прилетела из Рима повидать свою старинную подругу, которую не видела двадцать лет, и познакомиться с ее мужем. Что вас, собственно, беспокоит?

Дили. Меня беспокоит мысль о том, что ваш муж бродит сейчас в одиночестве по своей громадной вилле, питается одними крутыми яйцами и не может произнести ни слова по-английски.

Анна. Я ему перевожу, когда это необходимо.

Дили. Да, но сейчас-то вы здесь, у нас. А он там один, мечется по террасе и ждет быстроходного катера, ждет быстроходного катера с красивыми, загорелыми людьми. Хоть на красивых людей посмотреть! На красивых жителей Средиземноморья! Красивые, элегантные, грациозные. Что мы о них знаем? Что мы, черт возьми, знаем о стройных красавицах Лазурного берега? Ни черта мы о них не знаем. Не знаем и знать не желаем! Ни о лангустах и омарах, ни о самых длинных ножках в мире, ни о нежных созданиях и феноменально нежных голосах, будь они неладны! Эти голоса я и слышу сейчас. Хватит, надоело! Меня они не интересуют. Я слежу за тем, что происходит на земном шаре, чувствую, как пульсирует жизнь, знаю, что такое бедность и злоба, — почему же я должен сидеть здесь и попусту тратить драгоценное время, слушая двух...

Кейт (*поспешно*). Если не нравится, уезжай.

Пауза.

Дили. Куда?

Кейт. В Китай. Или на Сицилию.

Дили. У меня нет быстроходного катера. И белого смокинга тоже.

Кейт. Тогда в Китай.

Дили. Представляешь, что со мной сделают в Китае, если увидят, что я в белом смокинге? Да они убьют меня, разорвут, черт побери, на части. Ты же знаешь, какие они.

Короткая пауза.

Анна. Приглашаю вас приехать ко мне на Сицилию. Вас обоих. В любое время.

Молчание, Кейт и Дили с недоумением смотрят на нее.

Анна (*Дили, спокойно*). Я хочу, чтобы вы уяснили себе: я приехала сюда не разрывать брачные узы, а отметить годовщину. (*Пауза.*) Двадцатилетнюю годовщину очень давней и трогательной дружбы, отношений, которые сложились между нами, когда вы о нашем существовании даже не подозревали.

(*Пауза.*) Я нашла ее. Познакомила с замечательными людьми. Водила в кафе, где собирались художники и писатели, иногда актеры... балерины. Мы брали по чашке кофе и сидели затаив дыхание, боясь пошевелиться, прислушиваясь к жизни вокруг нас. Я всегда желала ей только счастья. Желаю счастья и теперь.

Пауза.

Дили (*Кейт*). Знаешь, мы с Анной, оказывается, знакомы.

Кейт смотрит на него.

Да, мы встречались в пабе "Странники". За угловым столиком. Я ей понравился. Еще бы: в те годы я был строен, подтянут. Слегка косоглаз, правда. Курчавые волосы. Много волос. То что надо. Как-то у нас вышел неприятный разговор. Она вспылила. Хлеба она не ела, и я заказал ей вина. Смотрит на меня: глаза большие, испуганные. В тебя тогда все время играла: притворялась, что она — это ты. И неплохо получалось. Даже белье твое носила. Была настолько мила, что разрешила мне подглядывать. Истинное великодушие. Чисто женское. Достойно восхищения. Мы пошли на вечеринку. К философам. Неплохие ребята. Симпатичные. Компания с Эджуэр-роуд. Много лет их уже не видал. Старые приятели. Все время думают. И делятся друг с другом своими мыслями. Вот кого мне не хватает. Все уже на том свете — я их, во всяком случае, больше не видал. Философы из Мейда-Вейл. Большой Эрик и маленький Тони. Жили неподалеку от Паддингтонской библиотеки. По пути на вечеринку я повел ее в кафе и заказал ей чашку кофе. Вокруг ни одного бритого лица, все до одного бородатые. Она играла в тебя, еле слова цедила. Может, она и была тобой. Может, это ты пила со мной кофе и еле цедила слова.

Пауза.

Кейт. И что, по-твоему, она в тебе нашла?

Дили. Не знаю. А ты как думаешь?

Кейт. Твое лицо показалось ей очень тонким, ранимым.

Дили. Правда?

Кейт. Ей хотелось утешить его — так, как только может утешить женщина.

Дили. Правда?

Кейт. О да.

Дили. Ей хотелось утешить мое лицо так, как только может утешить женщина?

Кейт. Она была готова предложить себя тебе.

Дили. Не понял.

Кейт. Она влюбилась в тебя.

Дили. В меня?

Кейт. Ты был так не похож на других. Наши знакомые мужчины почти все были грубые, тупые как пробка.

Дили. Тупые как пробка? Бывают такие?

Кейт. Полные идиоты.

Дили. Но ведь и я был полным идиотом, раз смотрел ей под юбку?

Кейт. Это не признак идиотизма.

Дили. Если это была *ее* юбка. Если это была *она.*

Анна *(холодно).* Это была *моя* юбка. Это была я. Я помню, куда вы смотрели... Хорошо помню. Я хорошо вас помню.

Кейт (*Анне*). А я помню тебя. Помню тебя мертвой. (*Пауза.*) Я помню, как ты лежала мертвой. Ты не знала, что я наблюдаю за тобой. Я нагнулась к тебе. У тебя было грязное лицо. Ты лежала мертвая, вся в грязи, лицо и шея исписаны, и при этом каждая буква видна. Зато простыни твои были безупречны. Я обрадовалась. Я бы очень расстроилась, если б твой труп лежал на непотребных простынях. Это было бы непристойно. Для меня. Для моей комнаты. Ведь ты как-никак лежала мертвой в *моей* комнате. Когда ты пробудилась, я стояла над тобой и смотрела на тебя во все глаза. Ты попыталась изобразить на лице позаимствованную у меня полуулыбку, мою робкую, едва заметную улыбку. Подражая мне, ты попробовала склонить набок голову и прикрыть глаза, мы с тобой так хорошо знали эти полузакрытые глаза, — но ничего не получилось, улыбки не получилось, губы не раздвигались из-за грязи, засохшей в уголках губ. Это была не улыбка, это был оскал. Я искала на твоих глазах слезы, но слез не было. В твоих глазах не было зрачков. На лице из-под кожи торчали кости. Но выражение лица было безмятежным. На нем не было страдания. Все это произошло не здесь, где-то в другом месте. Траурный обряд я сочла необязательным. Равно как и поминальную службу. Время дня и время года, которые ты выбрала для смерти, были вполне уместными; умерев в одиночестве и в грязи, ты поступила как подобает. Мне пора было принимать ванну. Я довольно долго лежала в ванне, вышла, прошлась по комнате, наслаждаясь ощущением чистоты, потом придвинула стул, села, как была голая, рядом с тобой и стала на тебя смотреть.

(*Пауза.*) Когда я привела его в комнату, твоего тела, разумеется, уже не было. Как отрадно было сознавать, что в моей комнате находится теперь другое тело, мужское, которое ведет себя совершенно иначе, делает все то, что они делают обычно и считают хорошим тоном: например, сидят в кресле, перекинув одну ногу через подлокотник. У нас с ним было две кровати — на выбор. Твоя или моя. Мы могли лечь поверх одеяла или под одеяло. Тереться носами поверх одеяла или под одеялом. Ему нравилась твоя кровать, он думал, что на ней он не похож на себя, он ведь был мужчиной. Но как-то ночью я сказала: "Дай мне сделать одну вещь, один маленький фокус". Он лежал в твоей постели. Он посмотрел на меня с надеждой, и я его надежду оправдала. Его ожидания были вознаграждены. Он-то подумал, что я, многому у него

в постели научившись, собираюсь доставить ему какое-то особое удовольствие, захватить давно обещанную инициативу. Я же взяла цветочный горшок, где ты посадила наши прелестные анютины глазки, пересыпала землю в вазу и опрокинула вазу ему на лицо. Он пришел в ужас, он потерял дар речи, он сопротивлялся, сопротивлялся изо всех сил. Он не дал, не позволил мне испачкать грязью его лицо, размазать по нему грязь. Вместо этого он предложил мне выйти за него замуж и уехать из Лондона. (*Короткая пауза.*) Ни то, ни другое никакого значения не имело. (*Пауза.*) Как-то, примерно в это же время, он спросил меня, кто спал в этой постели до него. Я ответила: "Никто. Никто и никогда".

Долгое молчание. Анна встает, идет к двери, останавливается к ним спиной. Молчание. Дили рыдает — очень тихо. Анна стоит неподвижно. Анна поворачивается, выключает свет, садится на свой диван, потом ложится. Рыдание прерывается. Молчание. Дили встает. Делает несколько шагов и смотрит на оба дивана. Идет к дивану, на котором лежит Анна, и смотрит на нее. Она не двигается. Молчание. Дили идет к двери и останавливается к ним спиной. Молчание. Дили поворачивается. Идет к дивану, на котором сидит Кейт. Садится, затем ложится головой ей на колени. Долгое молчание. Дили очень медленно садится. Встает с дивана. Медленно идет к креслу. Падает в него. Молчание. Вспыхивает свет. Сцена ярко освещена. Дили — в кресле. Анна лежит на диване. Кейт сидит на диване.

Занавес

Лайла Стиен

Дерево на опушке леса

Рассказ

Перевод с норвежского О. Вронской

ЕСТЬ много способов ждать. Я перепробовала их все. Не так давно я открыла для себя деревья. Вернее, одно дерево. На опушке леса. Я люблю ходить туда. Стоять под ним. Ощущать спиной грубость коры. Это сосна. Внизу нет колючих веток. Они все наверху. Толстые, тяжелые от иголок. Я прижимаюсь спиной к коре. Старой, сухой. Ногтями можно отковырнуть большой кусок. И я отковыриваю. То левой рукой, то правой. Крошки коры падают на землю.

Время от времени я хожу к той сосне. Прижимаюсь к ней спиной. Трусь затылком о ствол. Это даже приятно. Я стою на ответвлении корня, которое выпирает из земли, ощущаю его под ногами. Так можно простоять очень долго. Иногда на соседнем дереве прыгает белка. Всегда на одном и том же. Милое общество. Скоро на уровне моих рук уже не останется коры. Я замираю в оцепенении. Бывает, на опушку прилетают птицы. Одна очень красиво поет. Что это за птица, я не знаю. Я вообще почти не знаю птиц. Иногда птицы отсутствуют несколько дней подряд. А потом прилетают снова.

Раньше я предпочитала сидеть. У меня есть два любимых места. Одно у окна на кухне. Там стоит солонка, которую приятно держать в руках. Она из фарфора, холодная, гладкая. Верхний край слегка загнут вовнутрь. Я никогда не просыпаю соль на скатерть, даже если без конца

© Tiden Norsk Forlag, 2003
© О. Вронская. Перевод, 2006

верчу солонку. Или перекладываю ее из руки в руку. Стол покрыт льняной скатертью. Того же цвета, что и занавески. Если я очень устала, то кладу руки на стол и прижимаюсь к ним лбом. Вернее, к одной руке. Бывает, я сдвигаю скатерть в сторону, чтобы она не помялась. Скатерть очень старая. Ее соткала моя бабушка. Это у бабушки я научилась ждать. *Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться,* всегда говорила она. Они не вернулись с лова, никто не вернулся, ни один человек. Но это обычное дело. Самое обычное.

Я жила у леса. Почти всегда. В детстве я купалась в море, но оно было холодное. За короткое лето вода не успевала прогреться. Однако кое-кто все-таки купался. Море хорошо в тихую погоду. Когда нет ветра. Моя бабушка любила смеяться. Чуть что она заливалась смехом.

Наверное, правда, что человек, переживший самое страшное, ничего больше не боится. Словно уже истратил весь отпущенный ему страх. Я это так себе представляю. Но не решаюсь спросить, что думают другие.

Я ставлю солонку на место, кладу на стол руку и прижимаюсь к ней лбом.

Обычно я просыпаюсь от малейшего звука. А вот пение птиц мне не мешает. Птицы что – они заняты своим делом. Летом они не умолкают круглые сутки.

Я недолго дремлю, прижавшись лбом к столу. Но иногда успеваю даже увидеть сон.

*

Когда же это мне приснилось, что я родила, в нынешнюю ночь или в прошлую? Все случилось так быстро. Роды начались неожиданно. И так же быстро закончились. Лучше всего я помню груди. Все остальное словно скрыто туманом. Почему-то ребенок ползал. Такая кроха уже умела ползать. Новорожденный умел ползать и все время оказывался не там, где я его искала. Он ползал быстро. Очень быстро. Я долго искала. И наконец нашла. В складках одеяла. Но груди запомнились мне лучше. Небольшие и круглые, какие бывают у родившей женщины. Они были маленькие. Острые и иссохшие. И на каждой вдруг появилось еще по соску. Неожиданно. Словно всего грудей было четыре. Как у самки животного. У лесной оленихи или у коровы. Так, должно быть, это выглядело. Я их не закрывала.

Иногда сон бывает мимолетным. Не успеешь наклонить голову, как уже проснулся. Словно в животе кольнуло. Или озноб пробежал. И ты возвращаешься обратно. Но и этот миг дарит покой. Сон не сон – этакий проблеск сна. А сколько в нем покоя!

Другое мое любимое место – кресло. В нем я тоже люблю сидеть. Дорога из него не видна. Только верхушки деревьев и кусочек неба. Уютное кресло. Случается, я в нем засыпаю.

Заслышав шаги, я вздрагиваю. Сперва вздрагиваю, потом у меня начинает стучать сердце. И наконец все во мне затихает. Тогда уже можно лечь спать по-настоящему.

О бабушке ходило много баек. Я слышала их с самого детства. Они ходят до сих пор. Говорят, она что-то искала в воде у берега. Долго искала. Каждый день, по нескольку часов каждый день. Хотя дома ее ждала маленькая дочка. Чужие люди нянчились с моей мамой, пока бабушка бродила по берегу.

Погода в тот день была хуже некуда. Ветер вдавил внутрь стену лодочного сарая. В доме люди метались от окна к окну. А на море бесновался шторм. Он сотрясал дома, лодки и деревья. На дощатом полу остались следы бабушкиных ног, она всю ночь ходила от окна к окну. Так говорят те, кто вообще говорит о той ночи. По их словам, моя мама сладко спала в своей кроватке. Хотя ветер сотрясал дом и все вокруг гремело, трещало, свистело и грохотало. Мама спала. Но вдруг проснулась и закричала. Это сочли знаком – те, кто был в доме. Уж слишком долго они не возвращались. Мой дед и другие родичи. Людей напугала не вогнутая стена лодочного сарая, не водоросли на крыльце, не черная стена над пенным морем. Их напугал ребенок. Мама проснулась и истошно закричала. Но бабушка продолжала метаться от окна к окну. Говорят, что на досках пола остались следы ее ног. Это уже потом она пошла на берег. Той долгой ненастной ночью в ней что-то надломилось. Люди заметили это потому, что она все быстрее и быстрее переходила от окна к окну, всю ночь. Когда развиднелось и ветер стих, на крыльце нашли водоросли. И вырванные из земли столбики ограды. Две лодки, две команды. По четыре человека в каждой лодке. Восемь рыбаков. Для маленького местечка это много.

Все считали, что бабушка навсегда повредилась в уме. Но они ошиблись. Ей не мешали ходить по берегу сколько она хотела. Но неожиданно она перестала. И больше не ходила. Занялась своим ребенком, как все женщины. Когда стало ясно, что она все-таки в своем уме, появились и женихи. Но бабушка не обращала на них внимания. Только посмеивалась над ними. И занималась своим делом. В трудные минуты она поднималась на чердак. Больше она никогда не ходила по берегу среди водорослей и белых ракушек. Она обзавелась велосипедом. Ездила по людям и пекла лепешки. Она была умелая, мастерица хоть куда, и добрая. Так и сейчас говорят там, где она жила.

А еще я помню, как она смеялась. Чуть что, она смеялась, это я помню. Ездила на велосипеде и смеялась. Бабушка ничего не боялась.

Помню, однажды я ждала взрослых. Я была маленькая, но уже достаточно большая, чтобы оставаться дома одной. Мне было лет десять или немного больше. Все ушли. Недалеко, к соседям, и должны были скоро вернуться. Я читала какой-то журнал. Лежала в теплой, уютной постели, укутав ноги шерстяным одеялом, и читала журнал, дверь была приоткрыта. В комнате было тепло и уютно. И тихо. Необыкновенно тихо. Я листала журнал. Страницы шуршали, когда я их переворачивала. Слышался

и другой звук. Я его хорошо помню. Треск печки. Догорая и остывая, печка всегда потрескивала. И еще один: длинная ветка царапала снаружи стену дома. Зимой ветка становилась твердой и негибкой. Летом звук был другой. Летом на ветке были листья. Когда дул ветер, ветка мягко гладила листьями стену дома. Но теперь была зима. Вернее, начало зимы. В общем, уже наступили холода. Как только огонь в печке догорел, дом тут же выстудило. Но под периной было тепло. Тепло и уютно, и взрослые должны были вот-вот вернуться. Я прочитала весь журнал. Весь, целиком. Один раз, другой. А они все не возвращались. Печка перестала трещать, только ветка продолжала скрестись о стену. Не все время. Лишь изредка. Царапала ее, словно острый ноготь. Всякие мысли приходили мне в голову, когда я оставалась одна и ждала возвращения взрослых. Если радио было выключено. Если в доме никого не было и не слышалось ничьих голосов. Мне начинало казаться, что все уехали. Куда-то далеко-далеко. Хотя они никогда не уезжали. Во всяком случае без меня. Чаще всего мы ездили к бабушке, жившей у моря. И все-таки я решила, что они уехали. Наверное, во всем была виновата та ветка. В том, что я отложила журнал и вся обратилась в слух. Твердая ветка, которая царапала стену. Не все время. Лишь когда налетал ветер. Держать журнал вдруг стало трудно — замерзли руки. Я спрятала руки под перину. И лежала не шевелясь.

Мысли имеют свойство приходить обрывками. Немного об одном, немного о другом. Не могу вспомнить, о чем я тогда думала. Это было так давно. Но помню, что лежала, вытянув руки вдоль туловища. И не шелохнулась, даже когда услышала новый звук. Помню подумала, что можно с головой спрятаться под перину. Но не смогла. Руки безжизненно лежали вдоль туловища. Перина закрывала верхнюю часть груди, но шея оставалась открытой. Я слышала, что крысы могут вцепиться человеку в горло, если увидят, как бьется пульс. А его так легко увидеть на шейной артерии. Когда человек дышит, жилка бьется. То вздувается, то опадает. Если крысы увидят, как у меня бьется пульс, они могут вцепиться мне в горло. Такое уже случалось. С детьми в колясках. Оставит кто-нибудь ребенка в коляске, а когда вернется, уже поздно.

У меня под головой лежали две подушки. Я всегда брала две подушки, когда читала. Благодаря этим подушкам мне была хорошо видна вся комната. Я отложила журнал и спрятала руки под перину. Лежала и ждала, когда вернется мама или папа. И боялась, что они уехали. На поезде. Печка молчала. Только ветка скреблась о стену. И вдруг послышался какой-то новый, совершенно незнакомый звук. У двери. Под шкафом. Совсем слабый. Не звук, только намек на него. Голова у меня лежала высоко, так что мне была видна дверь. И шкаф. И хвост! Прямой и тонкий. Да-да, это был хвост. Первое, что я увидела, был хвост. Я сразу поняла, кто это, прежде чем увидела все остальное. И подумала о горле. Прежде всего о горле. Но не могла пошевелить руками. Они перестали меня слушаться, согнуть их я была не в силах. Перина закрывала мне только грудь. Неожиданно эта тварь зашевелилась. И я лучше ее разглядела. Лапы и часть бока. Но не голову. Не глаза и не зубы. Наверное, я пошевелила ногой. Во всяком случае не рукой. Пошевелить руками я не могла. Должно быть, я шевельнула ногой. Существо вздрогнуло и метнулось под шкаф. Острый хвост. Его я хорошо разглядела. И существо исчезло.

Из глаз у меня хлынули слезы, стекая мне на уши. Они все текли и текли. Я пыталась не дышать. Остановить дыхание. Ведь когда человек дышит, это сразу заметно. Я задержала дыхание. Слезы все текли. Родители сказали, что уходят ненадолго. Они собирались вернуться до того, как я дочитаю журнал.

Сперва я не могла говорить. Папа поднял мою голову и обнял меня. Я была вся мокрая. Лицо, волосы. Он качал меня в своих объятьях. Теперь я могла шевелить руками, они сами собой поднялись и обхватили его шею. Но прошло еще какое-то время, прежде чем я смогла рассказать, что случилось. Папа взял меня на руки и отнес вниз, в гостиную — к маме. Она обняла меня, а папа нашел лопату и снова отправился наверх. Мы слышали, как лопата стукнула. Несколько раз. Потом папа пришел к нам с лопатой. Усмехнувшись, он сказал, что она очень жирная. Она лежала на лопате. Это была всего-навсего мышь. Очень жирная. Как сказал папа.

У меня и сейчас такое же чувство. Кто-то лежит и подсматривает за мной. И уже давно. Хотя раньше я об этом не знала. А теперь знаю. Но ничего не могу поделать. Ничего.

Под деревом царит особое умиротворение. Я так называю это чувство. Но объяснить его не могу. Толстые сосны очень стары. Они стоят, набравшись терпения, стоят и растут, но очень медленно. Прямые, как струна. Они уже доросли до неба. Говорят, что им не одна сотня лет. То ли все дело в стволе, прямом и надежном, к которому так приятно прислоняться, то ли в силе, сверху ли, снизу ли питающей эти старые деревья, которые все еще продолжают расти, не знаю. Знаю только, что дерево помогает. Спиной к стволу, прижав ладони к коре и касаясь затылком шершавой поверхности, скрывающей соки и годовые кольца — следы прошедших лет, многих-многих лет, — только стоя вот так, я обретаю покой. Я называю это умиротворением. Под ногтями кора. Под ступнями корни. Примятая трава. Там, где я стояла, она так и осталась примятой. Зеленый лесной ковер, который принадлежит только мне.

Вокруг других деревьев чего только не растет. Вереск и лютики. Длинные, тонкие стебельки с шапочкой наверху и короткой оборкой. Кое-где красуются ромашки. Я наблюдаю за всем здесь растущим. Отмечаю, когда появляется клевер. Его немного. Он предпочитает расти в других местах. Сосна слишком сильна. Она занимает много места, никому не уступает. Я иду к соснам. Останавливаюсь. У моих ног валяются кусочки коры. Это я отковырнула их от дерева. Ничего не поделаешь. В кору так приятно вонзать ногти. И она отколупывается, кусок за куском. Интересно, может ли дерево кровоточить? Во всяком случае, дурного намерения у меня не было. И я не собиралась снова приходить сюда. После того первого раза. Зато теперь у меня есть зеленый ковер. Я прижимаюсь головой к стволу. Затылком. Всегда затылком. Иногда я прижимаюсь к дереву и стою неподвижно. А бывает, бьюсь головой о ствол. Несильно. Осторожно, очень осторожно, но долго.

Вот было бы странно, если бы все нашли себе по дереву. Как бы выглядели тогда деревья? Если бы на всех этих стройных стволах вдруг появи-

лись бы наросты. Наросты, меняющие цвет и оболочку в зависимости от погоды. Которые прижимались бы к деревьям, замирали на время, а потом исчезали, чтобы вскоре вернуться на свой зеленый коврик. Наросты разных форм и оттенков. Толстые и тонкие. Блеклые и яркие. Если бы все люди завели себе привычку уходить в лес и там тереться головой о ствол и отколупывать кору. Чтобы почувствовать под ногтями соки дерева. А потом снова уходили бы домой. Если начнется дождь. Или наступит ночь. Или станет холодно. Или вокруг появится слишком много наростов, и ты не будешь уже один на один со своим деревом, один на один с годовыми кольцами, вереском и лютиками, но станешь одним из этих чудных существ, мокрых от слез. Вот было бы странное зрелище. Если не сказать, смешное.

Это и сейчас выглядит странно, даже когда тут никого нет, кроме меня. Но меня почти никто не видит. Я живу в тихом месте. Там нет дороги. Меня никто не видит. Иногда рядом по стволу взбежит белка. И это все. И еще птицы. Но они так пугливы. Недоверчивы и пугливы. Улетают, стоит мне только пошевелить пальцем.

Не я одна жду. Я это знаю. Знаю, что многим приходится ждать. И никуда от этого не деться.

Однажды, мне тогда было двенадцать, я помню, что мне было двенадцать лет и у меня были синие брезентовые туфли. Мы с бабушкой пошли в гости к одной очень старой даме. Она жила в каком-то приюте. Свою крохотную комнатку она обставила собственной мебелью. Все вещи стояли впритык друг к другу. Дама мерзла. Она была такая худая! И у нее было столько лишней кожи! Казалось, кожа плохо прикреплена к телу и часть ее болтается просто так. Я смотрела только на кожу. Которая была там, где ей быть не положено. Я видела, что даме холодно. Она сказала, что она ждет. Ждет с нетерпением. Уже давно. Оказывается, она ждала смерти. Но смерть не приходила. И дама была вынуждена жить в приюте. Между столом, шкафом и креслом. Носить кожу, которая ей велика. И сражаться с множеством мыслей. Их было так много, что ей было с ними не справиться. Это были мысли о вечной погибели. Главным образом, о погибели. У дамы было трое детей, и ни один из них не был верующим. У нее были внуки и правнуки. Однако никто из них не верил в Бога. Она все время пыталась наставить их, но что толку. Они прятались от нее. Да-да. Они не приходили к ней, пропащие души. И Бог допустил, чтобы это произошло у нее на глазах! Но у нее больше не осталось сил. Она молилась. Взывала к Богу и молилась. У нее саднило горло, и руки отказывались ее слушаться. Забери меня! — взывала она. У нее саднило горло, и она не могла сложить руки без посторонней помощи. Забери меня! Но они не приходили. Никто не приходил. Ее молитва была бессильна и не достигала Того, Кто был всемогущ и справедлив. Никакого сочувствия, никакой милости. Только мысли, приносившие муку, боль, скорбь о рабах греха, которые никогда не надевали подвенечных одежд и для которых были закрыты двери рая. Так она говорила. Хрипящим голосом. Ей хотелось петь, но петь она не могла. И бабушка спела псалом, который дама хотела услышать:

Соединиться с Тобой, Иисусе,
Жаждет душа моя, сердце мое.
Вырви меня из тенет искушений
И забери меня в Царствие Твое.

Бабушка ткнула меня в бок, и я запела вместе с ней. Я знала все слова, что написаны в книге. Потом старая дама заплакала. Глаза у нее и раньше были красные. Теперь она плакала в голос. Не из-за себя, не из-за собственного мужа — он и так уже блаженствовал на небесах. Но из-за детей — своих детей, живущих во тьме и не ведающих раскаяния. Из-за этих заблудших овец.

Тогда, именно тогда, мне кажется, я поняла, что мать навсегда остается матерью. И до самой своей кончины плачет над своими детьми.

Из кресла мне видно небо. Иногда оно бывает таким синим и чистым, что трудно поверить, что под ним может обитать зло. Мимо скользят легкие облака. Или растворяются в ничто, исчезают. Выглядывает солнце и все согревает. Прежде люди искали на небе знаки. Те, у кого в море вышли родные, смотрели на небо, смотрели и находили то, что искали. Все искали. И те, кто греб сейчас в море, и те, что ждали их дома. Сидя в лодках или стоя на крыльце, они толковали знаки. Как правило, они понимали их загодя. Но не всегда. Бывает, все происходит внезапно. Без каких-либо знаков. Когда моя бабушка всю ночь ходила от окна к окну, небо сначала было совершенно чистое. Шторм налетел внезапно. Никто не мог этого предвидеть. Никто не мог бы упрекнуть их, что они неверно истолковали знаки. Не было никаких знаков.

Здесь, где мы живем, люди говорят, что я должна была видеть знаки. Они во всем винят меня. Говорят, что хотят помочь, а сами во всем винят меня. Спрашивают, что я делала или говорила. Или чего я не делала и не говорила. Видела или не видела. Говорят, будто я закрыла глаза и не заметила знаков. Это я-то, которая уже много лет не может спать. Говорят, что, должно быть, я заснула. Что ходила как слепая. Слепая, ходившая по кругу. Разве не так? — спрашивают они. И спрашивают, что я думаю о том или о другом. И думаю ли вообще. Или вообще не думаю. А о чем я думала тогда? В тот раз или в другой. Не видела ли я чего-нибудь подозрительного? Но я не видела ничего необычного. Мне казалось, что все было как всегда. Ни больше, ни меньше. Когда я это сказала, они с недоверием уставились на меня. Они считали, что этого не могло быть. У них было столько знаков, на которые они могли опираться. А у меня всего один или два. В этом-то, по их мнению, и была моя вина. Говоря так, они сыплют соль на рану. Знаки. Вечно эти знаки. Они во всем обвиняют меня, хотя я знаю, что порой лодки исчезают со всей командой и без всякого знака. Нет, говорю я, я не спала.

Я жду в кресле. Это хорошее кресло. Я могу свернуться в нем калачиком и просидеть так всю ночь. Никто не увидит моих следов на дощатом полу. Я прижимаюсь спиной к спинке кресла. И не двигаюсь.

*

Тропинки, что ведут к дереву, не принесут ему вреда. Они зарастут. Все зарастает. Моя бабушка ходила по берегу. А потом она вернулась к жизни. Купила велосипед. Пекла высокие сладкие лепешки и смеялась.

Когда я была маленькая, то мечтала иметь сестру. Тебе нужна сестричка, говорили многие. Или братик. Уже не помню, что они говорили. *Мне,* во всяком случае, хотелось иметь сестру. Я точно знала, как мы будем играть. Когда она подрастет и с ней уже можно будет играть. Мы бы делали с ней бумажных кукол. Одевали и раздевали их, меняли бы на них платья, наряжали бы их одинаково или по-разному. Поскольку я старшая, а она младшая, я бы следила за ней. Причесывала бы ее, брала с собой в лавку. Мы бы покупали журналы, и я читала бы ей вслух. И давала бы ей конфеты, но не слишком много. Так я мечтала. Я и теперь иногда мечтаю о сестре. Но, конечно, иначе, чем раньше. Чаще я просто думаю, как бы сложилась жизнь, если бы у меня была сестра. Или брат. Чем взрослее я становилась, тем чаще думала о брате. На самом деле мне все-таки больше не хватало брата. Брата, который приходил бы ко мне, чтобы узнать, все ли у меня в порядке, и наводил бы порядок в моей жизни. Приносил бы мне на Рождество елку и вставлял ее в подставку. Брал бы моего сына вместе со своими детьми на футбольные матчи, водил бы их на всякие аттракционы и в цирк. Приходил бы ко мне со всей семьей, я бы раздвигала стол и накрывала на всех. Подавала бы самое вкусное, что у меня было. И, конечно, вино. И мы бы вспоминали прежние дни, детство, наши игры и всякое такое. Я даже вижу его. Он похож на моего дядю. Красивый, белокурый, добрый и веселый. На день рождения он дарит мне гусят. Каждую весну, с тех пор как я родилась, он дарит мне гусят. Пушистых, хорошеньких, разбегающихся во все стороны. Иногда я езжу туда на велосипеде. Просто сажусь на велосипед и еду туда, где он живет, где он живет со своей женой теперь, когда их дети выросли и разъехались.

А иногда он приходил бы ко мне под дерево, особенно, если холодно, и я простояла там уже слишком долго, так долго, что совсем окоченела. Он брал бы меня за руку и говорил: тебе нельзя здесь больше стоять.

Приходил бы ночью — когда я сижу в кресле. Или у кухонного стола, положив голову на руку. Я так и чувствовал, сказал бы мой брат, что у тебя что-то не в порядке, и повел бы меня пройтись.

Он жил бы не слишком далеко. Примерно в километре от меня. Может, в двух. Всегда был бы близко, знал бы, что у меня делается, приходил бы, когда нужно. И если бы кто-нибудь говорил, что во всем виновата я, брал бы меня под свою защиту. Объяснял бы им, что далеко не всем дано толковать знаки. Люди так много болтают. Они всё готовы вывернуть наизнанку. У человека голова может пойти кругом. Но иногда все складывается хорошо. Одна из женщин, с которыми я разговариваю, очень добра. Она выслушивает меня и ничего не переиначивает. Я уже давно ее не видела. Не пропадай, сказала она, звони. Но тогда я уже нашла деревья. Стволы и корни. И маленькую лужайку, которая стала мо-

ей. Они мне помогают, я это замечаю. Теперь я хожу туда. Если погода позволяет, я хожу туда.

*

Здесь, где я живу, очень тихо. От тишины слух обостряется. Я слышу шаги по ракушечнику. Стоит кому-нибудь ступить на ракушечник, и я уже слышу. Даже во сне. И тут же просыпаюсь. Но я ничего не слышала уже много дней.

Моего брата могли бы звать Бьёрном. Красивое имя.

Бьёрн паркует машину у ворот. На нем летняя рубашка с короткими рукавами. Мы собираемся на прогулку. Берем с собой еду. У нас термос и корзинка. Его жена тоже едет с нами. Я не помню, как ее зовут. Кажется, Элизабет. А может быть, Марианна. День теплый, но не жаркий. Когда едешь на машине, и не должно быть слишком жарко. Мы приоткрыли окна. Оставили щелки. Так, чтобы немного дуло, на лоб, на шею, на волосы. Наши дети уже выросли. Работают, у них свои дома. А может, они снимают меблированные комнаты. На худой конец. Они звонят нам, и мы рассказываем друг другу, как живут наши дети. Они собираются в отпуск. Наверное, на юг. Или в Париж.

Нам хорошо вместе. Мы ездим на прогулки. Пьем чай или кофе на террасе. Поливаем цветы. И те, что растут в вазонах и на клумбах. Удобряем их. Цветы такие красивые. Яркие, пышные. Мы любим ездить на машине. Например, к морю. Это не близко, но у нас впереди весь день. Ведь мы свободны. Тут много красивых мест. Светлые песчаные берега. Или скалистые. Скалы тоже хорошо. Передай мне, пожалуйста, термос, просит Бьёрн. Мы уже на месте. Сидим на пледе. Лакомимся сдобными булочками. Свежими домашними булочками. Это я их напекла. Или Марианна. Сидим и слушаем, как волны шуршат о берег. Мелкие, незаметные волны. Узкая полоска пены. Тихо плывут облака. Легкие, белые. Они то разбегаются, то снова собираются вместе. Почти все время светит солнце. Выглядывая из-за облаков. Облака небольшие, о них и говорить-то не стоит. Зато солнце сияет вовсю. Достаточно тепло. И ветра тоже в меру. После еды я ложусь и ни о чем не думаю. Я сняла туфли. Слабый ветер гладит мои ступни. На нос мне садится муха. Я сгоняю ее. Бьёрн смеется. А день все тянется. До вечера еще далеко. До настоящего вечера. Еды у нас с собой много. Есть и кекс. Тот, что испекла я. Лимонный кекс, свежий и вкусный. Не тяжелый, его приятно есть даже в жару. Бьёрн попросит кусочек. Марианна тоже. Или Элизабет. Час за часом мы следим за солнцем. А что нам еще делать? Смотреть на солнце и на пену у края воды. На пузыри. Легкие, как воздух. Не только мы выехали на прогулку. Тут довольно много народу. Чуть поодаль от нас. Может, разожжем костер? — предлагает Бьёрн. Мы не против, отвечаем мы с Марианной. Встаем и начинаем собирать ветки. Сухие ветки горят хорошо. Горят белым прозрачным пламенем. Почти без дыма. Водоросли шипят, когда мы бросаем их в огонь. От них тоже не много дыма. Чистое, светлое пламя радует глаз. Мы даем костру догореть. У нас больше нет веток. Наверно, мы слишком ленивы, чтобы искать их. Костер до-

горает, остается только горстка светлого пепла. Серебристо-серая. Серебристо-серый пепел сверкает между камнями.

Я в жизни вообще-то часто ездила на прогулки. С мамой и папой мы ездили собирать бруснику. Я сидела сзади на багажнике велосипеда. А потом уже сидела на пеньке и стерегла наш рюкзак. Если я уставала собирать ягоды, я могла отдохнуть. Так они говорили. Сядь и отдохни, если устанешь, говорили родители. Но я тоже собирала ягоды, правда, не так много, как они. Сколько мы с ними ездили! И на лыжах тоже. Отец смолил лыжи. Потом смазывал их специальной мазью. Мы ходили далеко. Все вверх, вверх. А потом съезжали вниз.

Однажды во время прогулки мы разожгли костер. Кто-то, наверное, увидел дым от нашего костра и понял, как нам хорошо. У нас была с собой коробка с едой. Не корзинка. А блестящая коробка, очень большая. Хлеб с ломтиками крутого яйца, желтый и коричневый сыр. Кто-то, наверное, слышал, как мы разговаривали, как мы болтали, шутили и смеялись. Сидел на горке и слушал. И видел, что нас трое, в том числе одна маленькая девочка. С веснушками и в красных шортах. Хотя увидеть это было, конечно, трудно. Во всяком случае, веснушки. Они у меня всегда высыпали летом, когда было много солнца. Или на Пасху. Солнце на лбу, спина упирается в снежный сугроб, и во рту апельсин. Это добрые воспоминания. У кого только их нет. Снежный сугроб за спиной, а во рту — вкус апельсина.

Все изменилось. Правда, не помню точно как и почему. Ведь столько всего случилось. Лучше всего я помню ожидание. Тогда тоже главным было ожидание. Трудно, когда нет никаких известий. Когда ждешь понапрасну. За это время можно много дел переделать. Даже съездить на рыбалку. Если знать заранее. Если знать, можно собрать в корзинку еды, пойти к автобусу, поднять на ступеньки сынишку, взять билет и сесть на мягкое сиденье. Сойти там, где тропинка спускается к морю. К примеру. Если бы только знать! Когда человек знает, ему легче. Когда он имеет какое-то представление о том, что происходит и что его ждет впереди.

Но с ожиданием можно и переборщить. Это-то я знаю. Теперь знаю. И все-таки жду. Можно было бы уже давно уехать на автобусе куда-нибудь далеко. Сойти и заночевать в каком-нибудь подходящем месте. Потом поехать дальше, познакомиться с новыми людьми, поговорить с ними. Может быть, найти площадку, где маленькие и большие дети могли бы поиграть в мяч. Мой сынишка был бы в шортах, с пластырем на коленке, темные волосы падают ему на лоб, и ему всегда хочется есть. И мы бы как следует подкрепились, прежде чем ехать дальше. Может быть, мы остановились бы, чтобы навестить старых знакомых. Там бы для нас уже были приготовлены постели. Ведь нас ждали, и уже был накрыт стол. На крыльце лежали бы ракетки и воланчики для бадминтона. Примите душ, сказали бы нам. После дня, проведенного в автобусе, это было бы так приятно! Вот, возьми бутылку газировки, сказали бы они моему сынишке.

Но всегда что-то может случиться. И помешать. Вдруг заболит голова. Или еще что-нибудь. Например, нападет усталость. Тогда придется

лечь. Автобусы, конечно, уйдут. Они ходят во всех направлениях. Может, я просто пропустила свой автобус. Ведь главное — попасть на него. Я уже не помню. Есть ли вообще человек, который помнит, что и когда он думал? Причем давно. Нельзя требовать слишком многого.

Автобусы шли, это точно, они шли во всех направлениях. Другое дело, что я не попала ни на один из них. Теперь больно думать об этом, об автобусных ступеньках и маленькой теплой ручке. О бегущем за окном ландшафте. О нас, сидящих на одном сиденье, тесно прижавшись друг к другу. Может, у нас был с собой пакет с попкорном.

*

Зимой тут не так хорошо. Ветки заснежены, снег с них то и дело осыпается на землю. Земля вся в снегу. Он достает до колен. Лучше не выходить из дому. Мне больше ничего не надо. У меня есть солонка, которую я обычно верчу в руках. Приходит Бьёрн. Сметает с веранды снег.

Всегда можно найти выход, говорила обычно моя мама. Теперь она почти не разговаривает. Но ей хорошо. Она ничего не знает и ничего не чувствует. Улыбается и смеется. Не думай об этом, говорят мне в доме для престарелых. Сюда далеко ехать, ты за нее не волнуйся. Так они мне говорят, но, как знать, о чем они думают. Не могут не думать. Ведь они знают, что туда ходят автобусы. И поезд тоже. Пойди пойми, что там у них в голове. Но они добрые.

И зимой тоже найдется выход. Из моего кресла мне будет видна верхушка дерева. На ветках будет светиться снег. Солнечные лучи пробьются между стволами. Все засверкает. Зимой здесь красиво. Иногда прибегают белки. Несмотря на зиму. И на снег.

Но пока что снега нет. У меня есть ковер из травы. На нем хорошо стоять. Особенно я люблю кору. Прижаться к коре спиной, почувствовать ее под руками, под ногтями.

Я ездила на автобусах. Не думайте, будто я никогда не ездила на автобусах или на поездах. Ездила и брала с собой сына. Еще был жив мой отец, а мама все помнила и знала. Нам было весело вместе. Мы гуляли, играли в саду. В пляжный волейбол и бадминтон. Маленькая ручка моего сына такая маленькая в большой ручище деда. Конечно, мы ездили и на поезде, и на автобусе. И даже далеко. Нас разметало, как горстку песка, песчинку туда, песчинку сюда. Так говорила моя бабушка, когда все разъехались в разные стороны. Подальше от моря.

Здесь лес. Густой лес. Между ветками просвечивают небо и солнце.

Женщина, с которой я иногда разговариваю, говорит, что мне не надо работать. Тебе там нечего делать, говорит она. Я не уверена, что понимаю, что́ она имеет в виду. Вообще-то, она желает мне добра. Она говорит, что так лучше. Что работа не для меня. Мне нравится, когда она так говорит. Бьёрн тоже так считает. Отдыхай, говорит он.

Вот только ночи... Они стали такими длинными. Когда ты ничего не знаешь. Не получаешь никаких известий. И на дорожке, посыпанной ракушечником, не слышно ничьих шагов.

Раньше я редко просыпалась. Только это было давно. Хотя и тогда тоже приходилось ждать. Но всему есть предел. Накапливается усталость. Это почти как наркоз. А потом ждать перестаешь. Думаешь, у тебя своя жизнь. Тогда идешь и ложишься.

Теперь все не так. Теперь я не могу спать. Я должна бодрствовать. Первый звук — шаги на ракушечнике. Потом на крыльце. Знакомые шаги. Легкие. Всего пять шагов. Я вздрагиваю. Хотя ждала их. Снова вздрагиваю. А потом меня начинает трясти.

Днем звуков бывает в избытке. Мимо проезжают автомобили. Я включаю приемник. Запускаю стиральную машину. Стираю белье, отжимаю в центрифуге, вешаю. Я часто меняю постельное белье. Оно быстро становится мятым и влажным. Я сушу его на солнце и на ветру. Если на улице мороз, я сушу его дома. Из приемника льется музыка. Слушаю я недолго. Когда она мне надоедает, я выключаю приемник. Могу остановить и стиральную машину. Отключить вытяжку над плитой. Выключить пылесос и закончить уборку в другой день. Музыку я переношу лучше всего, только негромкую. Но тут хватает и всяких других звуков. Хлопает крышка почтового ящика. Я выхожу и достаю ежедневную газету. Листаю ее. Музыка из приемника и шелест газеты. Кружка кофе, которую поднимаешь, а потом ставишь обратно на стол, тихо, почти беззвучно. Уплотнитель в кофеварке прохудился. Она булькает и фырчит. И я уношу ее из комнаты.

Не все птицы поют красиво. Некоторые просто кричат.

Чайки над берегом — это к дождю. Мы здесь, к счастью, не слышим чаек. В лесу их нет. Вороны и сороки тоже кричат. Что с ними сделаешь! Зато другие птицы поют. Особенно одна, у нее такой голосок, что сердце разрывается, когда ее слушаешь.

Надо было водить сынишку в лес. И почему я этого не делала! Собирали бы с ним ягоды. В детстве я любила собирать ягоды. Мы брали бы с собой определитель птиц. Там написано, кто как называется и как поет. Мы узнали бы, чем чижик отличается от скворца. Могли бы нарисовать их и повесить рисунки на стенку. Нарисовать их сидящими на ветке или в полете.

А еще сны! Только ляжешь, они тут как тут. Вот я и стараюсь поменьше спать. Сижу в своем кресле или у кухонного стола, зажав солонку в руке. Она падает на стол, если я засыпаю.

Однажды ночью мне приснилось, будто у меня болит колено. Так сильно, что я не могу пошевелиться. И не могу наклониться, чтобы посмотреть, в чем дело. В конце концов, пересилив боль, я все-таки наклонилась. Оказалось, что колено грызет собака. Улеглась на моей ноге и

грызет колено. Вся шкура у собаки была изодрана так, что мясо и кости торчали наружу. Я не могла ни сбросить ее, ни ударить ногой, ни прогнать. Она грызла долго. Но вдруг все прекратилось. Боль исчезла. Собака исчезла. Теперь я могла пошевелиться и посмотреть вниз. Оказывается, кошка вылизала мне рану, успокоила боль.

В другой раз мне приснился мальчик на санках. Маленький мальчик на бешеной скорости летел вниз по крутому склону прямо в море.

Постельное белье иногда странно потрескивает. Или жестко шелестит, как бумага. Как твердые листы бумаги. Не мягко, как газета. А жестко и резко. Бывает, этот шелест и потрескивание так режут ухо, что я вынуждена встать с постели.

Однажды я не могла встать. Что-то давило мне на ноги. Что-то тяжелое лежало у меня на ногах. Оказалось, это какой-то незнакомый человек. Одеяло не потрескивало, оно давило. Кто-то сверху лежал на нем. Я хотела крикнуть, но не смогла. И все-таки, должно быть, я застонала, хоть и через силу. Сын оказался тут как тут, вошел, приблизился легким шагом к кровати и прикоснулся к моей руке.

Нам бы с ним купаться в море. Взять с собой еду и плед. Я могла бы купить маски для ныряния. Мы бы осторожно ходили по воде и смотрели на рыб, маленьких рыбок, снующих во все стороны. Поймали бы золотых рыбок. И пустили в аквариум. Мы бы их кормили и смотрели, как они растут. Блестящие, желтые и красные, с маленькими хвостиками. Мы бы посадили в аквариуме водоросли и меняли в нем воду. И у каждой рыбки было бы свое имя.

У меня есть дерево на опушке леса. Я часто хожу туда. Теперь оно стало как будто моим. Там, где я обычно стою, трава примята. Растет там и вереск. Много вереска. Он сам распрямляется после того, как на нем постояли или прошли по нему, втоптали в землю. Ягоды, те раздавлены, сок течет, но вереск распрямляется сам собой. Если ступать осторожно, то можно по ягодке набрать целую кружку. Но я спешу. Время не терпит. Мне надо спешить. Когда я стою, прижавшись к коре спиной, мне становится лучше. И я стою. Трусь затылком о ствол. Волосы спутываются. Я долго стою. Иногда даже до темноты. Я не боюсь темноты. Она тихо подкрадывается и окутывает меня, почти как одеяло. С наступлением темноты все меняется. Возникают новые формы. Дома и деревья становятся неузнаваемыми. Словно ты переехал в какое-нибудь другое место. И звуки тоже меняются. Отступают вдаль. Будто ты еще стоишь там, среди вереска и сладких ягод.

В кресле или за кухонным столом звуки всегда более резкие. И такие близкие. Солонка, соскользнувшая к краю стола. Тапочка, качающаяся на ноге. Газета, которую я отложила. Прохудившийся уплотнитель в кофеварке. Я застилаю стол скатертью. Она смягчает звуки. У меня все столы застланы скатертями. Я постоянно подхожу к телефону и проверяю, есть ли гудок.

Но звонят не те. Всегда не те. Говорят про то, про сё. Я их слушаю. У них добрые голоса. Мягкие и добрые. Они говорят тихо, но я все слышу. Когда я кладу трубку на место, рука у меня бывает затекшей. Потом я иду и ложусь. После того как я затекшей рукой кладу трубку, мне снятся совсем другие сны. В голове вертится старая строфа, и я ложусь, но сперва раздеваюсь. Все с себя снимаю. Аккуратно складываю одежду на стул. Умываюсь, чищу зубы. И ложусь спать. Старинная строфа вертится в голове, прячется со мной под одеяло. Правда, она немного изменилась:

Спаси и сохрани
От бед и прегрешений.
Да озарит огонь священный
Твои земные дни.

Я поднимаю трубку и звоню. Я тоже иногда звоню по телефону. Когда много дней не слышу шагов на ракушечнике, я звоню. Меня бьет дрожь, этот звонок все равно не поможет, но я снимаю трубку. У меня на бумажке записаны два номера. Бумажка лежит в моем кошельке.

Когда сидишь в кресле или за кухонным столом, звуки слышны более отчетливо. Сначала я слышу хруст ракушечника. Потом шаги на крыльце. На ступеньках. Пять ступенек. Наконец дверь, она немного скрипит, надо смазать петли. Шаги в коридоре. Сперва стук башмаков. Потом башмаки снимают. Мягкие, тихие шаги, но я их слышу. И наконец голос, нежный голос, и дыхание, уже в комнате. Рука, касается моей руки, потом плеча, легко, словно крыло птицы. Его нежный голос: теперь ты можешь лечь, мама.

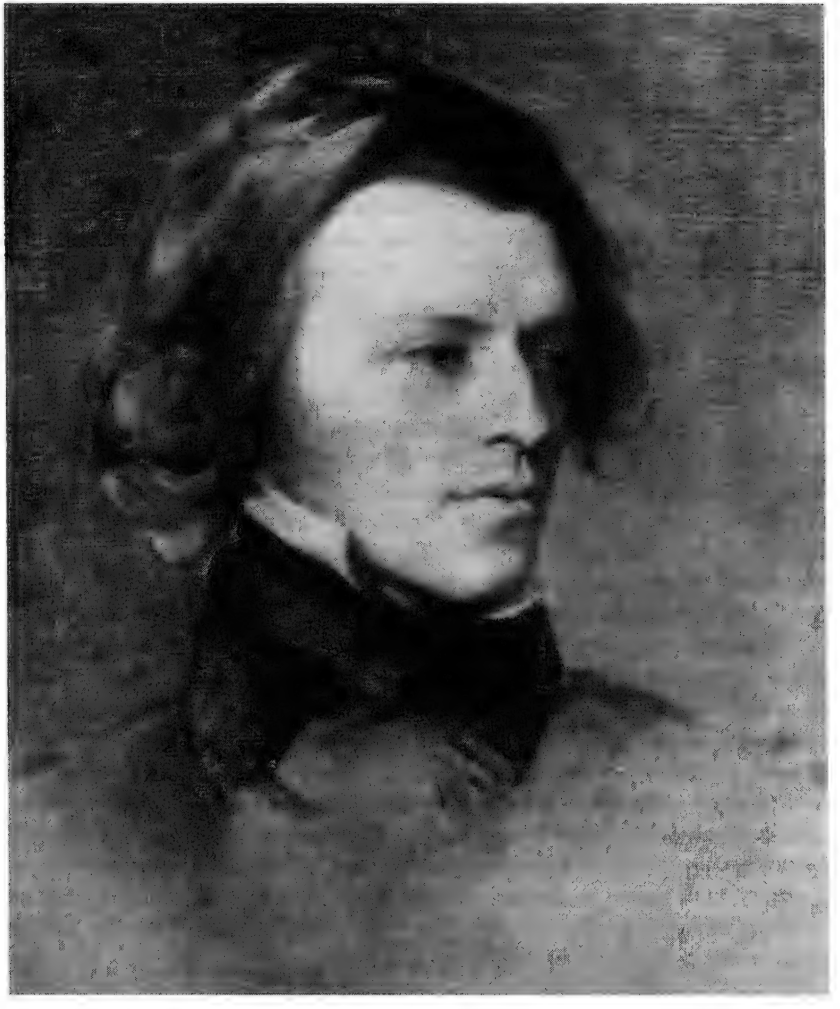
Они не позвонили. На этот раз мне не позвонили. Никто не позвонил и не сказал: отдохни. В конце концов пришлось разбить кофеварку. Она громко запротестовала. Уплотнитель в ней совсем сгнил. Когда я стою под деревом, ко мне приходит Бьёрн. Он всегда приходит ко мне, когда я там стою. Пошли, мы уезжаем, говорит он. И мы грузим в багажник сумку с едой, трубку с маской и полотенца. Садимся. Опускаем стекла. Ветер ерошит нам волосы. Сын со своими светлыми взъерошенными волосами похож на счастливого тролля. Приехав на берег, мы купаемся. Вода в море теплая. Мы плещемся и брызгаем друг на друга. Сын загорел. Совсем взрослый парень, коричневый от солнца, широкоплечий. Он такой сильный. Так далеко заплывает. Гребет сильными взмахами. В воде он похож на стрелу, пущенную из лука. Потом он возвращается. Мы расстилаем на песке плед и ложимся. Бьёрн и я. Лежим и жаримся на солнце. Сын возвращается, брызгает на нас водой и смеется. С волос и с подбородка у него текут ручейки. Бусинки воды искрятся на лице, на плечах, на всем загорелом теле. Он сверкает. И скалы, и песок, и море — все сверкает и переливается.

Альфред Теннисон

“Я слышу голос, говорящий в ветре!”

Стихи

Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова



Теннисон, около 30 лет. Литография Дж. Линча с портрета маслом Сэмюэля Лоренса

© Григорий Кружков. Перевод, вступительная статья, 2006

Он говорил: "Для меня несомненно, что есть некое всеведущее Верховное существо: не может быть, чтобы хоть одна жизнь на свете прошла неузнанной до конца или непонятой".

Из воспоминаний Одри Теннисон

Наверное, никто из английских поэтов не пользовался при жизни такой общенациональной славой, как Альфред Теннисон (1809–1892). Никто не испытал посмертно такой жестокой переоценки. Новые поколения, для которых само слово "викторианство" сделалось синонимом пошлости и ханжества, не пощадили главного поэта ушедшей эпохи. Джеймс Джойс придумал ему прозвище "Лаун-Теннисон". Уистан Оден в предисловии к "Избранным стихотворениям" (1944) назвал его "самым глупым" из английских поэтов. И добавил в издевательской сноске: "Т. С. Элиот заметил мне, что он мог бы припомнить двух-трех английских поэтов еще глупее, и я был вынужден с ним согласиться".

Томас Элиот, обладавший достаточно широким вкусом (он ценил и своего антипода Киплинга), называл Теннисона еще и "самым печальным из английских поэтов". "Он знал всё о меланхолии – и больше ни о чем", – соглашается с ним Оден. Оба поэта-критика признавали исключительную музыкальность стихов Теннисона, их техническое совершенство, и все-таки из такой оценки невольно возникает образ, достойный кунсткамеры: огромное чуткое ухо, полностью отделенное от мозгов.

"Посмеемся над насмешниками", – сказал Йейтс. Прошло еще несколько десятилетий, и перспектива вновь сместилась. Нам смешно читать комментарии Одена к "Улиссу", в которых он категорически осуждает Теннисона за отказ его героя "стать ответственной и полезной личностью", за "прославление героя-денди". Мотивировка кажется заимствованной из советских учебников. Остается только заклеймить как "лишнего человека" постаревшего Одиссея, отправляющегося в свое последнее плавание за Геркулесовы столпы.

Поколение после Первой мировой войны ("потерянные" молодые люди и оксфордские леваки) по-своему уютно устроилось. "Насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом" на целые десятилетия сделалась ходовым товаром.

Но настало поколение внуков. Викторианский мир видится издалека если не лучше, то беспристрастней. И пришла пора опять всмотреться в старые фотографии А. Теннисона (некоторые из них сделаны Льюисом Кэрроллом), вслушаться в хриплую аудиозапись на одном из первых восковых валиков (подарок Эдисона), а главное, заново перечитать стихи поэта и попытаться понять его искусство и судьбу.

I. *Curriculum vitae*

Если судить по внешним вехам биографии, Теннисону с начала и до конца везло. Его не сгубила чахотка, как Китса, он не утонул в море, как Шелли, не испытал такой нужды, как Джон Клэр или сестры Бронте. Его отец, от-

лично образованный человек, служил настоятелем сельской церкви в Линкольншире — там прошло детство поэта. Юноша поступил в колледж Святой Троицы в Кембридже, где его талант был сразу замечен. В 1827 году вышел сборник "Стихотворения двух братьев", куда (вопреки названию) вошли стихи не двух, а трех братьев Теннисонов — Альфреда, Чарльза и Фредерика. Через три года Альфред Теннисон публикует уже свой собственный том "Стихотворения, по преимуществу лирические" (1830). У него появляется много друзей и поклонников. В тридцать три года, издав свои "Стихотворения" в двух томах, он достигает значительной известности. В 1845 году ему назначена почетная государственная пенсия. В 1850-м он удостоен звания поэта-лауреата. На свои литературные доходы Теннисон приобретает дом на острове Уайт, впоследствии — второй дом и усадьбу в Суссексе. Его почитают простые читатели, государственные мужи и царственные особы. Его называют величайшим поэтом современности. Он дважды отвергает предложенный ему королевой дворянский титул и лишь на третий раз принимает его, став баронетом и лордом. Он умирает в 1892 году в возрасте восьмидесяти трех лет и удостаивается торжественных похорон в Вестминстерском аббатстве.

Но за этой внешней канвой скрывается совсем другая история — страхов и отчаянья, тоски и потерь, терпения и мужества. Эта тайная история преодоления самого себя и есть настоящая история поэта, которому принадлежат самые безысходные и самые мужественные стихи своего времени.

II. Т*ень друга*

Студент, приехавший в Кембридж осенью 1827 года, был чудовищно неловок и неуверен в себе. С первого общего обеда в колледже он сбежал, не выдержав шума, ярких огней и незнакомых лиц. При этом выглядел он отнюдь не уродом. Правда, одевался неряшливо — эту привычку он сохранил на всю жизнь, — зато был высок, худощав, лицом смугл, как араб, и как-то сурово, "по-львиному", красив. Он привлекал внимание, но сам дичился людей.

Автопортреты Теннисона

"Я сижу здесь, — писал он своей тетушке Рассел, — один, как сова, в своей комнате (между мной и небом только слой черепицы). Снизу, подобно шуму моря, доносятся стук копыт, грохот колес, крики пьяных студентов и пьяных горожан... Не знаю почему, но я чувствую себя среди этой толпы страшно одиноким. Местность — отвратительно плоская, развлечения однообразные, занятия в университете — скучные, прозаические. Только скучные и сухие, как палка, юные

джентльмены могут находить в них удовлетворение".

Так обстояло дело до весны 1829 года, пока Теннисон не познакомился с "апостолами" – своего рода дискуссионным клубом студентов, на котором обсуждались всевозможные вопросы современности, науки и литературы; многие из "апостолов" писали стихи, обменивались стихотворными посланиями.

Артур Генри Хэллем, 1832. Карандашный рисунок Джеймса Спеддинга

Счастье измеряется глубиной отчаянья, из которого оно вывело человека. Нужно представить себе долгие месяцы одиночества и депрессии, в которых пребывал Теннисон, чтобы понять, как благодарен он был своим новым друзьям – в особенности Артуру Хэллему, с которым он особенно сблизился и на котором сосредоточился весь пыл его дружеских чувств.

Разумеется, это были платонические чувства, основанные на восторженном переживании "всего Доброго, Прекрасного и Возвышенного". Тот священный культ пылкой дружбы, который цвел в Англии в елизаветинскую эпоху и отблески которого мерцают у Пушкина в стихах, обращенных к лицейским друзьям (да и у других поэтов пушкинской эпохи). Словесное выражение этих чувств порой неотличимо от обращения к возлюбленной:

> О! молви слово мне! Пускай знакомый звук
> Еще мой жадный слух ласкает,
> Пускай рука моя, о незабвенный друг!
> Твою – с любовию сжимает...
>
> К. Батюшков *Тень друга*

В 1830 году Хэллем с Теннисоном приняли участие в рискованном политическом заговоре испанских революционеров, намеревавшихся свергнуть тиранию Фердинанда VIII. В их задачу входила доставка денег и инструкций для мятежников Северной Испании. Они добрались до Пиренеев и встретились с главой местных заговорщиков, который, однако, настолько разочаровал их своей тупой злобностью, что навсегда отбил у Теннисона симпатию к революционным начинаниям. Вскоре основная часть инсургентов на юге Испании, в их числе несколько англичан, попала в руки правительства и была расстреляна без суда и следствия. (Сто лет спустя другие английские молодые люди, в их числе Оден, поедут в Испанию сражаться против генерала Франко – с тем же энтузиазмом и примерно с тем же успехом.)

Еще одно обстоятельство сблизило друзей: Артур познакомился с сестрой Альфреда Эмили и влюбился в нее. Несмотря на препятствия со стороны семьи жениха, молодые люди дали друг другу обещание.

Несчастье грянуло неожиданно, как гром среди ясного неба. В августе 1833 года Хэллем с семьей отправился на континент. В письме Аль-

фреду и Эмили от шестого сентября он восторженно описывал богатства Венского музея. Пятнадцатого сентября, по возвращении в Вену из Будапешта, он скоропостижно скончался, как сообщалось, "от апоплексического удара".

Что произошло на самом деле, нам неизвестно. Люди в двадцать два года редко умирают от инсульта. Невольно возникает подозрение о самоубийстве[1], но какие для него основания? Артур Хэллем был талантливым и подающим большие надежды молодым человеком, сыном известного историка. Он закончил Итонскую школу вместе с Гладстоном, будущим премьер-министром, знал несколько языков, писал стихи, печатал критические статьи в журналах. Наконец, у него была невеста.

Ну, а если все-таки? Следует учесть, что самоубийство в Англии XIX века считалось тяжелым уголовным преступлением; неудавшихся самоубийц казнили. Поэтому факт самоубийства обычно скрывался родными. Письмо его дяди из Вены содержит подозрительные детали — например, дружное заключение собравшихся врачей (венских, то есть никогда прежде пациента не видевших), что скоропостижно скончавшийся молодой человек в любом случае был не жилец ("it was the General Opinion that he could not have lived long")[2].

Четырнадцать лет спустя, через несколько месяцев после выхода книги Теннисона "In Memoriam", опять-таки во время поездки с семьей на континент, но уже не в Вене, а в Сиене (Италия), умер младший брат Артура, Генри Фицморис Хэллем. Умер "при обстоятельствах столь же удручающих и в некоторых отношениях удивительно схожих", как пишет автор предисловия к посмертно изданным произведениям Артура Хэллема. Удивительно схоже и объяснение причины смерти Генри Хэллема, которому было только двадцать шесть лет: "Есть основания заключить по результатам медицинского обследования, что он не смог бы прожить очень долго, если бы даже с ним не случилась эта роковая болезнь" ("...his life would not have been of very long duration, even had this unhappy illness not occurred")[3].

С этой точки зрения по-другому видится и судьба переписки Теннисона и Хэллема. Письма Теннисона к другу были уничтожены отцом Хэллема. Письма Хэллема сожжены после смерти Теннисона его сыном. Почему? Обычно биографами высказывается предположение, что причиной уничтожения писем, вероятно, являлась их дружеская пылкость, которая могла быть ложно истолкована. На мой взгляд, предположение неубедительно: ведь той же пылкости сколько угодно в стихах, посвященных Хэллему, где Теннисон говорит о бракосочетании их душ и сравнивает себя с безутешной вдовой. Вполне достаточно для любых идиотских толкований!

Совсем другое дело, если переписка Хэллема с Теннисоном содержала обсуждение темы самоубийства и могла зародить сомнения в официальной версии смерти Артура, объявленной его семьей, — тогда их просто необходимо было уничтожить. А в том, что такая тема обсуждалась в письмах, я почти не сомневаюсь. Ведь она затрагивается и в пере-

1. Английские биографы не рассматривают такой версии. Что их останавливает — недостаток фактов или традиционное чувство propriety, уважения к семейной тайне?
2. Arthur Hallam. Remains, in Verse and Prose. — L., 1869.
3. Ibid.

писке с другими "апостолами", с которыми Хэллем был заведомо менее откровенен, ибо настоящим другом считал только Теннисона. Например, в письмах Хэллема к Монктону Милнзу встречаются признания в посещающих его таких приступах отчаяния, когда "смотришь в лицо смерти и безумию", а также определение жизни как "неизлечимого вида сомнамбулизма".

Жизнь как сомнамбулизм, то есть хождение во сне, заставляет вспомнить фразу Шелли из поэмы "Адонаис" (1822), посвященной памяти Китса: "Не умер он, он только превозмог / Сон жизни..." Надо сказать, что среди кембриджских "апостолов" существовал настоящий культ Шелли и Китса, безвременно ушедших из жизни гениев, а поэму Шелли, воспевающую гибель поэта как высокую мистерию смерти и воскрешения, они переиздали вскладчину на свои собственные деньги. В этой поэме Шелли упоминаются юноша-поэт Томас Чаттертон, покончивший с собой в восемнадцать лет, и римский поэт Лукан, тоже самоубийца, и есть немало мест, которые можно трактовать как апологию ранней смерти:

Он воспарил над нашим наважденьем,
В котором оставаться мы должны,
Горячку называя наслажденьем
В ночи, где ложь и злоба так сильны,
И жизнью безнадежно мы больны;
Он воспарил над миром, исцеленный,
И не узнает ранней седины...

Адонаис. XL. Перевод В. Микушевича

Напомним и строки самого Китса из "Оды Соловью":

Вот здесь, впотьмах, о смерти я мечтал,
С ней, безмятежной, я хотел уснуть,
И звал, и нежные слова шептал,
Ночным ознобом наполняя грудь.

Знаменательно, что одним из первых произведений, созданных Теннисоном после смерти Артура, была поэма "Два голоса, или Мысли о самоубийстве" – длинное, почти в пятьсот строк, словопрение на тему "быть или не быть". Поэт олицетворяет мнение "за", а его оппонент (тихий голос из ниоткуда, рассуждающий о бессмысленности жизни и ничтожности человека) – "против". Отражают ли эти "два голоса" внутренние колебания Теннисона, потрясенного утратой, или он пытается завершить незаконченный спор с Хэллемом?

Мне скажут, что гипотеза о самоубийстве спотыкается об отсутствие видимых причин. Но молодость, согласно статистике, сама по себе причина. Показать, что ты не зависишь от того, кто дал тебе эту жизнь (от Отца), но обладаешь собственной свободной волей, своим "хочу!" – великое искушение для молодого, "протестного" сознания. К тому же с античных времен существовало мнение (Эпикур, Плутарх и другие), что из жизни хорошо уходить, когда ты счастлив, на вершине жизненных благ и удач.

Так думали не только древние. Монтескье писал об особой "английской болезни": "Англичане умерщвляют себя необъяснимо, нередко в разгар счастья". Карамзин в "Письмах русского путешественника" связывал это с английской меланхолией, а последнюю – с неправильной диетой. Однако то, что в XVIII веке представлялось труднообъяснимым, в эпоху романтизма сделалось вполне понятным для нового поколения эпикурейцев и фаталистов.

Между прочим, вот еще знаменательное (по крайней мере, для меня) совпадение. В том же самом 1833 году, когда Артур Хэллем неожиданно умирает в Вене, выходит полное издание "Евгения Онегина" Пушкина, до тех пор печатавшегося отдельными главами. Последние строки последней, восьмой главы гласят:

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным своим[1].

III. Тень *друга*
(продолжение)

Дружба с Хэллемом была самым сильным переживанием в жизни Теннисона, его смерть – самым тяжелым ударом. Он посвятил памяти Артура книгу стихов "In Memoriam" (1850), которую писал шестнадцать лет. Образцом для нее послужили, по общему мнению, сонеты Шекспира, в центре которых образ не возлюбленной, а друга. Но и влияние "Сонетов на смерть мадонны Лауры" несомненно – в упрямой длительности скорби, в пристальности взгляда, стремящегося вослед улетевшей душе. "In Memoriam" состоит, однако, не из сонетов, а из стихотворений разной длины, написанных однообразными катренами с опоясывающей рифмовкой. Сам Теннисон сравнивал эти строфы с "ласточкиными зигзагами" ("short swallow-flights"); и это определение кажется мне гениально точным. Это именно метания мысли, томимой религиозными сомнениями, скорбью об ушедшем друге и укорами совести.

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

А. Фет *Ласточки*

1. В этой строфе читатель слышит вздох по Ленскому, погибшему на поединке с другом. Вспомним, что и молодой Пушкин не раз дрался на дуэли из-за суцих пустяков, как бы доказывая, что не слишком дорожит жизнью и всегда готов уйти, "не дочитав ее романа". Дуэльная мания в России XIX века не есть ли брутальный вариант суицидной мании?

Начиная с XVI века наука только тем и занималась, что проделывала дыры в религиозной картине мира, а богословие эти дыры и прорехи латало и заштопывало. Лишь в XX веке эта гонка закончилась, христианин сошелся с агностиком в том, что "наука – особая статья, а религия – особая статья", и одно не исключает другого; а каким образом Бог сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи, есть тайна, которую нам не разгадать. В этой перспективе кажутся странными настойчивые попытки Теннисона представить себе состояние человека после смерти и понять, сразу ли начинается другая жизнь, или какое-то время умершие пребывают в "междужизненных потемках" ("intervital gloom")? Нам трудно следовать за Теннисоном, когда он впадает в философию, стараясь переварить новые открытия, пошатнувшие прежние представления о происхождении человека и его месте во Вселенной: все-таки трудно заново пережить интеллектуальный шок, потрясший Европу полтора века назад. Но там, где поэт, оттолкнувшись от рационального берега, отдается на волю своего горя и печали, он снова становится просто поэтом:

И кто я, в сущности, такой?
Ребенок, плачущий впотьмах,
Не зная, чем унять свой страх
В кромешной темноте ночной.

Существуют две точки зрения на поэму "In Memoriam". Первая – она была высказана уже современниками, в частности Фицджеральдом[1], – что автор слишком долго растравлял свое горе, сплетая себе терновый венок и рассматривая под микроскопом свою печаль. К такому же мнению склоняется и нынешний читатель, восхищающийся отдельными фрагментами поэмы, однако находящий ее в целом слишком растянутой и рассудочной.

Другая точка зрения – ее придерживался, например, Элиот – состоит в том, что нельзя выковыривать из этой книги изюм хрестоматийных строф, пренебрегая остальными; перед нами цельная вещь, связный лирический дневник, в котором важно каждое слово. В конечном счете, это вершинное достижение Теннисона, его патент на бессмертие.

Какое из этих мнений "правильнее"? "In Memoriam" впечатляет величием замысла, отдельными замечательными местами. И все-таки мне больше нравятся "Улисс" и "Тифон", написанные в первый год после смерти Хэллема и выражающие те же скорбные чувства, хотя и не впрямую. Может быть, как раз в этой окольности, "ненарочности" всё дело?

Теннисон писал об "Улиссе", что это стихи о нем самом: "всё в прошлом, и все-таки нужно жить и сражаться до конца". Впрочем, стихи не всегда вмещаются даже в толкования автора. Да, Улисс – это сам поэт, обреченный "сражаться до конца", но это – и Хэллем, отправляющийся в неизвестность на ладье мертвых: "Передо мной корабль. Трепещет парус. / Морская даль темна..." И это любой другой человек, решившийся "дерзать, искать, найти и не сдаваться". Если бы мы ничего не знали об

1. Эдвард Фицджеральд (1809–1883) – английский поэт, автор популярных переводов из Омара Хайяма, друг Теннисона.

обстоятельствах его написания, "Улисс" все равно остался бы великим стихотворением. Мужественным, суровым, лишенным всякой сентиментальности и многословия. Воистину автор "Улисса" мог бы сказать, как Йейтс веком спустя: "Гомера некрещёный дух – вот мой пример честнóй"[1].

Из греческой мифологии взят и сюжет "Тифона" – о возлюбленном богини зари Эос, получившем в подарок бессмертие, но не вечную молодость. Легко понять, чем мог привлечь этот миф Теннисона, видящего позади себя внезапно оборвавшуюся молодость, а впереди – долгие годы без единственного друга. Здесь опять – не прямая аллегория, а частичное наложение мотивов, которое высвобождает лирическую энергию мощнее, чем полное и буквальное совпадение. И уже не важно, к кому, к какой богине обращены последние строки стихотворения:

Освободи, верни меня земле;
Всевидящая, с высоты своей
Призри на тихую мою могилу –
Когда, истлев, навеки позабуду
Твоих пустых чертогов высоту,
Твою серебряную колесницу...

IV. Тень *безумия*

Память о друге не оставляет Теннисона ни на день, его поэма-реквием подспудно растет; но жизнь тем временем берет свое. В 1834–1836 годах Альфред переживает любовь к красавице Розе Бэринг, семья которой была определенно против невыгодного жениха. Власть денег, тщеславие, браки по расчету – вот "социальная подкладка" нескольких довольно посредственных стихотворений и баллад Теннисона, написанных в это время – таких, как "Леди Клара Вир де Вир", "Леди Клэр" и "Дора", а также более сложной по замыслу – и значительно более поздней – монодрамы "Мод" (1854).

Вскоре Альфред и его братья получают скромное наследство от деда Джорджа Теннисона, и в 1837 году семья покидает Сомерсби. К этому времени отец их уже шесть лет как умер, многие братья выпорхнули из гнезда. Альфред с матерью и несколькими сестрами переезжают в деревню Хай-Бич, возле Эппинга.

Здесь, буквально напротив их дома, располагалась прогрессивная лечебница для душевнобольных доктора Алена, где пациентов не держали взаперти, а пытались создать им "почти семейные" условия жизни. Здесь, в Хай-Бич, неожиданно скрещиваются биографии Альфреда Теннисона и Джона Клэра, талантливого поэта-крестьянина со злосчастной судьбой[2]. В том же самом 1837 году Клэр был помещен в заведение доктора Алена (где и пробыл четыре года вплоть до своего побега). Теннисон подружился с живущим по соседству доктором и, очевидно,

1. Выбор (Vacillation), VIII.
2. Стихи Джона Клэра и статью о нем см. в "ИЛ", 2005, № 4.

познакомился с его уникальным пациентом. Доброжелательное отношение Алена к Клэру должно было особенно расположить Теннисона к гуманному медику. Однако их дружба парадоксальным образом едва не довела самого Альфреда до умопомешательства.

Дело в том, что Ален оказался не только врачом, а одновременно и прожектером, увлекающимся и легкомысленным. Он уговорил Теннисона вложить деньги в его проект фабрики "пироглифов", иначе говоря, фабрики по производству дорогой мебели машинным, индустриальным методом. Теннисон не только отдал почти все, что у него было, продав полученную в наследство землю, но и пытался вовлечь в это дело всех, кого только мог. Странное ослепление, скажем мы сейчас. Нет, вполне в духе того времени, когда люди верили в науку и инженерию, когда паровые машины с триумфом завоевывали море, сушу и умы людей. К тому же "пироглифы" звучали так похоже на "пироскафы"! Увы, в данном случае проект оказался блефом. Компаньон Алена сбежал со всеми собранными деньгами, а Ален вроде как спятил, продолжая агитировать и подбивать людей вкладывать деньги в уже обанкротившееся предприятие.

Конец 1830-х и начало 1840-х годов было самой трудной порой в жизни Теннисона. В клинике Алена, между прочим, содержался не только Джон Клэр, но и младший брат Альфреда — Септимус. Другой брат Эдвард уже десять лет находился в лечебнице для душевнобольных в Йорке (где ему суждено было прожить до самой смерти). Третий брат, Чарльз, и четвертый, Артур, тоже подолгу лечились в подобных заведениях — один от пристрастия к опиуму, другой — к алкоголю. Семейная склонность к черной меланхолии ("black blood of Tennysons") тяготела и над Альфредом. Бывали дни, когда у него не было сил написать короткое письмо. Периодически он и сам жил в заведении Алена вместе с братом Септимусом и Клэром в качестве полугостя, полупациента.

Позднее, когда появился закон, запрещающий пребывание "неофициальных больных" в домах для сумасшедших, Теннисон, как и многие другие англичане с нервными расстройствами, сделался постоянным пациентом водолечебниц. Это были необыкновенно популярные тогда заведения[1], где лечили строгой диетой, ваннами, мокрыми обертываниями и так далее. В общей сложности Теннисон провел в таких местах около года. "Из всех малоприятных образов жизни водолечение, несомненно, самый малоприятный, — писал он другу, — ни почитать при свече, ни погреться у камина, ни чая, ни кофе, одни мокрые простыни, холодные ванны и контрастные процедуры; и все-таки я крепко верю в пользу всего этого".

В 1842 году вышли "Стихотворения" Теннисона в двух томах. В первый том он включил переработанные вещи из издания 1833 года, во второй том — стихи следующего восьмилетия, в числе которых, по мнению его друга Эдварда Фицджеральда и ряда других критиков, — почти все высшие достижения поэта. (А дальше — "шампанское выдохлось", считал Фицджеральд.)

Двухтомник готовился Теннисоном в страшном нервном напряжении. Это напряжение не разрядилось и после выхода "Стихотворений".

1. В числе пациентов водолечебниц были Диккенс, Теккерей, Карлейль, Дарвин, Бульвер-Литтон и другие литературные знаменитости. R. B. Martin. Tennyson: The Unquiet Heat. — Oxford; London, 1980, p. 277.

Теннисон скитался по домам друзей и родственников, в Лондоне и вдали от столицы; он так волновался, что просил друзей собирать и присылать ему лишь положительные рецензии. Теккерей как-то отозвался о нем: "Ворчун, но человек гениальный"[1]. Разорившись на афере Алена, поэт клял судьбу, жаловался на тяжелое безденежье; впрочем, дотошные биографы установили, что даже в самые худшие годы у Теннисона был достаточный доход для приличной жизни. Тем не менее в течение нескольких лет он по временам впадал в такое отчаянье и депрессию, что друзья всерьез опасались за его жизнь. Лишь к 1845 году его дела поправились: благодаря хлопотам покровителей он получил личную пенсию от правительства, кроме того, сломленный несчастьями доктор Ален умер, а так как он застраховал свою жизнь на Теннисона в виде обеспечения его вклада, то почти все потерянные деньги вернулись назад.

Но значительно больше, чем финансовое положение, Теннисона тревожили проблемы со здоровьем. Его преследовали какие-то мучительные "припадки", он боялся, что у него развивается наследственная эпилепсия, как у его дедушки и дяди. По-видимому, то были не судороги, а так называемые малые приступы — головокружения, резкие перепады настроения, а также предшествовавшие им необычные эйфорические просветления сознания, подобные "предвестникам" эпилептического припадка. Между прочим, эпилепсией страдал и Эдвард Лир, который стыдился своей болезни и скрывал ее, в дневниках именуя свои припадки "приходами демона".

Вот чего боялся Теннисон, вот отчего он пытался лечиться у Алена, а потом — скитаясь по водолечебницам и врачам. Можно себе представить, какие страхи он испытал, какие заклинания твердил. "Не дай мне Бог сойти с ума..." Пушкин лишь представил себе эту перспективу, а Теннисон видел ее в страданиях и сломанных жизнях братьев — и не только видел со стороны, но носил с собой этот кошмар, глядел ему прямо в глаза.

Лишь в 1848 году он сумел преодолеть свои страхи — или, по крайней мере, притерпеться к ним. Один из врачей предположил, что "припадки" Теннисона могут быть связаны не с эпилепсией, а с наследственной подагрой, при которой иногда наблюдаются "предвестники", сходные с эпилептическими. Теннисон поверил ему (или заставил себя поверить). С этого момента он больше не ездил в водолечебницы. Он выстоял в единоборстве с "демоном"; силы мрака съежились и отступили. Уже в следующем году он снова стал подумывать о женитьбе на Эмили Селвуд.

V. Тень *отца*

С Эмили он познакомился еще в 1836 году. С первого взгляда его очаровал вид этой хрупкой девушки, похожей на ангела и на сильфиду, потом, когда они подружились, — ее чуткий и добрый характер. Воспитанная в строгости теткой и отцом, которому она поклонялась, Эмили обладала всеми свойствами ума и души, которые Теннисон ценил более всего и в которых нуждался. Два года спустя они стали женихом и невестой, но в 1840 году Теннисон неожиданно расторг помолвку. Десять лет — беспримерно долго — продолжалась их странная разлука.

1. Philip Henderson. Tennyson: Poet and Prophet. — L., 1978, p. 46.

Портрет Эмили Теннисон, жены Теннисона. Г. Ф. Уоттс, 1862

"Здесь прошелся загадки таинственный ноготь..."

Теннисон выставлял в качестве объяснения недостаток средств для женитьбы, заверяя Эмили в письмах, что его любовь ничуть не охладела. Эту же версию поддерживала впоследствии сама Эмили. В "Воспоминаниях для сыновей" ("Narrative for My Sons") она писала, что помолвка расстроилась из-за того, что Альфред неожиданно потерял свое состояние. Неправда! Разрыв произошел за два года до разорения.

Их переписка этих десяти лет опять-таки уничтожена. Случайно сохранился фрагмент письма 1840 года, сбивчивый и загадочный.

Как эта зависимость от тебя сочетается с моим бегством от тебя? Не спрашивай, поверь мне, что это так. Правда в том, что я бегу от тебя ради собственной пользы, может быть, и ради твоей — в любом случае, ради твоей пользы, если она неотделима от моей. Если бы ты знала, почему я бегу тебя, ты сама больше всего на свете желала бы, чтобы я тебя бежал. Ты спрашиваешь: "Неужели мы никогда больше не встретимся?" Я не знаю такого слова и не желаю его знать. Не знаю и не верю в него. Бессмертие человека отвергает это слово — бессмертие, по сравнению с которым мировые циклы и эоны мимолетны, как наши часы и дни[1].

Это жестокое по любым меркам письмо доказывает, что истинной причины разрыва Теннисон не открывал даже Эмили. И тем не менее она, фактически брошенная невеста, двадцатисемилетняя барышня, ждала его еще десять лет! Ждала без всякой надежды, верила ему и продолжала любить.

Так в чем же была истинная причина странной разлуки? Может быть, как предполагают, дело в эпилепсии, которую Теннисон подозревал в себе и боялся передать детям? Или в страхе перед иррациональной силой болезни, возможным сползанием к безумию? Может быть, это была инстинктивная тяга к свободе и душевной неустроенности, при которых только и пишутся великие стихи?

"Всего сильнее — тяга прочь, и манит страсть к разрывам", — сказал другой поэт.

Вероятно, имели место разные причины. Но главная отгадка, на мой взгляд, заключается в общем психологическом правиле, выведенном в XX веке Карлом Юнгом: "Как правило, жизнь, которую в силу сложившихся обстоятельств не сумели прожить родители, переходит по наследству к детям, т. е. последние вынуждены вступить на такой жизненный путь, который должен возместить то, что не исполнилось в жизни родителей"[2].

1. Martin. Cit. op., p. 247.
2. К. Г. Юнг. Дух в человеке, искусстве и литературе. — Минск, 2003. С. 276.

Чтобы понять решение Теннисона, нужно вспомнить судьбу его несчастного отца. Старший сын, обойденный наследством за свой неуравновешенный, непредсказуемый нрав, он был вынужден принять сан священника, к которому не имел никакого призвания. Тогда же он женился на девушке без приданого, зато необычайно красивой и наделенной легким, добрым характером. За первые четырнадцать лет брака Элизабет родила двенадцать детей, из которых один умер в младенчестве. Заботы об остальных одиннадцати детях легли, прежде всего, на мать семейства.

По воскресеньям Джордж Теннисон читал проповеди в церкви, весьма красноречивые, но совершенно непонятные темной крестьянской толпе, к которой он обращался. Представьте себе глухую деревушку Сомерсби, пасторский дом, все более и более наполнявшийся детьми, суету и постоянный шум, невыносимый для доктора Теннисона. И хотя он обладал разнообразными талантами, играл на арфе, увлекался стихами, имел огромную для сельского священника библиотеку в две с половиной тысячи томов, мог быть блестящим, увлекательным собеседником, все его задатки оказались погублены всуе. Обида на судьбу, отсутствие необходимого покоя и болезнь жены — истощенная родами, она к сорока годам стала полуинвалидом, проводящим свои дни лежа на кушетке, — усугубляли его природную унылость, склонность к вину и внезапные вспышки гнева. Все более тяжелые и сопровождающиеся дикими выходками припадки, перемежаемые периодами слабости и частичной амнезии, сделали его в конце концов почти невменяемым и привели к безвременной смерти в 1831 году.

Несмотря на детские обиды и стыд, Альфред всю жизнь чувствовал любовь и сострадание к отцу. Именно отцовской библиотеке и отцовским наставлениям в классической поэзии он обязан самой ценной частью своего образования. Отец был первым, кто различил незаурядный дар в Альфреде. Он даже издал "собрание сочинений" своего десятилетнего отпрыска в единственном рукописном экземпляре, торжественно озаглавив его: "Поэзия Теннисона" (без имени!) — и включив в него опыты Альфреда в латинском стихосложении: элегические стихи, сапфические и алкеевы строфы и так далее.

Надо добавить, что и мать Теннисона была незаурядной женщиной, поощрявшей склонность к стихописанию во всех своих детях, — и не случайно, что еще один ее сын, Чарльз, стал известным поэтом. Образ матери подсознательно сказался на матримониальном выборе Альфреда: ангельский нрав Эмили — запечатленное отражение характера Элизабет.

Неудивительно, что весь детский опыт поэта внушал ему желание возместить то, что не исполнилось в жизни его отца, совершить свое предназначение в мире прежде, чем семейные узы отяготеют над ним. Он боялся погубить свой *талант печали*, слишком рано истощить жилу драгоценной поэтической руды — тоски, страдания, разлуки.

Вполне возможно, что в нем жил подсознательный страх "чадоплодия". Одиннадцать детей в трех комнатах; суетящиеся няньки и прислуга; малыши, бросающиеся врассыпную при виде раздраженного отца; отец, затыкающий уши и не способный сосредоточиться ни на чем серьезном, — вот что с ранних лет врезалось ему в память. Когда он женился на Эмили, ей уже исполнилось тридцать семь лет и она могла родить ему только двух сыновей. К этому времени (1850 год) все его главные вещи, за исключением лишь "Королевских идиллий", были созданы.

Судьба Теннисона – своего рода блоковское "возмездие", только наоборот: здесь не прошлое мстит поэту, а поэт мстит прошлому за своего отца.

Объективно врагами поэта выступают не только призрак безумия, но и женщина, ее соблазн и притягательность. Отсюда – не только знаменитый образ Вивьен, льстивой колдуньи, погубившей мудреца Мерлина (одно из alter ego Теннисона), но и главный мотив другой главы "Королевских идиллий" – "Женитьбы Герейнта": любовь опасна, ибо она подтачивает силу героя, отвлекает его от подвигов. Мудрая жена Энида (читай: Эмили) понимает это и мучится угрызениями совести:

Смогу ли я в бою стоять с ним рядом,
Достанет ли мне мужества смотреть,
Когда мой муж, быть может, будет ранен,
Или убит? Зачем? Чтобы никто
Не смел сказать о нем с насмешкой: дескать,
Герой на женщину растратил силы?
О стыд! Боюсь, что я жена плохая!

VI. *Сон о королевстве*

Некоторые читатели, возможно, будут шокированы попытками проникнуть в мотивы поступков Теннисона, усмотрев в этом посягательство на священную тайну поэта. Несомненно, сам Теннисон был бы на их стороне. В свое время, возмущенный публикацией писем Китса к Фанни Брон, он написал стихотворение с эпиграфом: "Проклятие тому, кто потревожит мои кости" (эпитафия Шекспира). Завидна судьба того, кто избрал себе другой, не поэтический удел; "он избежит, в конце концов, позора тех, кто знаменит".

Ведь ныне, коль умрет поэт,
Остыть бедняге не дадут,
А уж вокруг и спор, и суд,
Скандал и крик на целый свет.

"Ломай замок! Врывайся в дверь!
Священного нет ничего!
Подай нам слабости его!" –
Рычит многоголовый зверь[1].

На самом деле, честный литературно-психологический анализ не имеет ничего общего с изображенной здесь вакханалией. Разумеется, плоские, во фрейдистском ключе, суждения о художнике, превращающие его жизнь в клинический пример, отвратительны. Грязное вынюхивание и высматривание под покровом научности может быть интересно обывателю, но оно не проясняет, а только залепляет грязью истинную картину.

И все-таки нельзя отрицать, что произведения поэта, в особенности романтического, неотделимы от его биографии. Путь, поиск и восхождение к идеалу совершаются не только в стихах, но и его повседнев-

1. "К ***, после прочтения 'Жизни и писем'".

ной борьбе с судьбой. Образ Китса, например, нисколько не пострадал от усилий биографов; опубликованные письма к Фанни не ослабили, а усилили впечатление от его любовной лирики. Если не с подозрением, а с сочувствием и пониманием вглядеться в жизнь поэта, возникает завораживающая картина того, как (вновь процитирую Юнга) "художественное творчество, с одной стороны, переплетено с личной жизнью художника, а с другой — доминирует над этим переплетением"[1].

Лучшие произведения Теннисона, художника безусловно романтического, относятся к области снов — тех, по выражению Китса, "золотых королевств" ("the realms of gold")[2], по которым так любит скитаться воображение поэта. Одним из таких воображаемых краев стала для Теннисона страна, где правил легендарный британский король Артур. Еще мальчиком Теннисон зачитывался книгой Мэлори "Смерть Артура", которую он нашел в библиотеке отца. "Королевские идиллии", создававшиеся в течение почти четырех десятилетий, стали его поэтической интерпретацией легенд об Артуре и рыцарях Круглого стола. Именно это произведение, повлияв на художников-прерафаэлитов и Уильяма Морриса, породило тот невероятной силы "артуровский бум" в искусстве XIX века, эхо которого не утихло до сей поры.

Поэма Теннисона выросла, как из зерна, из длинного стихотворения "Morte d'Arthur", написанного в 1834 году в месяцы первой, самой острой скорби по Артуру Хэллему. Так фатально книга детства переплелась с реальной утратой. Смерть друга навсегда поменяла для него прошлое с будущим, "повернула голову назад", и там, в тумане давно минувшего, он увидел царство идеала, утраченного его современниками. По мудрому замечанию одного из критиков, Теннисон всю жизнь был "инстинктивным бунтарем" против того самого общества, в котором он сумел занять столь идеальную конформистскую нишу. Большинство его современников чувствовало это.

Не обошлось, конечно, и без критики. Когда вскоре после кончины Альберта, мужа королевы Виктории, вышло издание поэмы с посвящением принцу-консорту и элегическим вступлением, Алджернон Суинберн в своем отзыве не преминул вставить шпильку насчет поэмы, "которую можно было бы, наверное, назвать 'Смерть Альберта'". Впрочем, его главная претензия была другая. По мнению Суинберна, сделав короля Артура непорочным образцом, удалив само упоминание о его главном грехе — инцесте, от которого рождается предатель Мордред, — Теннисон удалил из своей поэмы главную пружину трагедии.

Суинберн прав. Только в том-то и дело, что Теннисон писал не трагедию. Жанр его произведения указан в названии — идиллии, сцены из воображаемой жизни[3]. По существу, сны. Еще точнее, сны-пророчества.

Однако лишь в первой главе "Приход Артура" Теннисон изображает рыцарей Круглого стола в идеальных тонах, как силу, торжествующую над дикостью и варварством. Уже начиная со второй главы, мы чувствуем, что в королевстве Артура неладно, что там завелась какая-то гниль.

1. К. Г. Юнг. Дух в человеке, искусстве и литературе. Ор. С. 70.
2. "Long have I traveled in the realms of gold" — строка из "Сонета, написанного после прочтения Гомера в переводе Чапмена" Дж. Китса.
3. Название Теннисона, кроме того, содержит романтическое снижение, почти парадоксальное: идиллии обычно описывают жизнь крестьян и пастухов, так вот же вам — "идиллии короля" ("The Idylls of the King").

Все обширное полотно поэмы изображает закат и падение древнего рыцарства.

Образ Камелота, каким он предстал юному Гарету и его слугам, принадлежит к лучшим местам "Королевских идиллий". Сначала они видят лишь серебряную дымку рассвета над царственной горой, возвышающейся между лесом и полем, и лишь потом — то возникающий из нее, то вновь скрывающийся град Артура.

Порою вспыхивали башни замка,
Порой в тумане выступали шпили
И башенки пониже, временами
Огромные ворота озарялись,
И снова город исчезал в тумане.

Слуги Гарета пугаются, один из них говорит: "Ни шагу дальше, хозяин, это колдовской город, построенный эльфийскими королями, и сам его король — не настоящий король, а подмененный эльфами оборотень". Другой восклицает: "Такого города вообще нет нигде, это все — мираж, видение!"

Однако Гарет заставляет их идти дальше, и пред ними предстают ворота. Описание фантастически украшенных ворот Камелота, "подобных которым не было на свете", поражает (недаром впоследствии оно послужило камертоном для Толкиена и других авторов "фэнтези"). Наконец из города выходит длиннобородый старец, которого Теннисон называет "Seer", то есть "провидцем" или "знающим". Он подтверждает, что город построен эльфийскими королями и королевами, явившимися на заре из священного ущелья; в руках у них были арфы, и город возведен под звуки их музыки. Город этот зачарованный, кажущийся, лишь один король — настоящий; хотя иные говорят, что наоборот: город настоящий, а король — только призрак.

Опасайся заходить в этот город, продолжает старик, ибо сам ты попадешь под власть этих чар, и король свяжет тебя такой клятвой, которую позорно не дать, но невозможно сдержать. Так что лучше стой, где стоишь, — на этом поле, среди пасущихся коров.

Ведь музыка еще звучит — и, значит,
Град еще строится; он вырастает
Под музыку — и, значит, никогда
Не может быть достроен до конца,
Но будет вечно строиться.

VII. *Сон о королевстве (продолжение)*

Поэма Теннисона состоит из вступления "Приход Артура", десяти глав, посвященных деяниям рыцарей Круглого стола, и заключительной главы "Уход Артура". Современники видели в каждой части "Идиллий" какой-то моральный урок или аллегорию. Но поэма Теннисона не аллегорическая, а символическая. Артурова столица Камелот — земной *сон*,

зыбкое отражение Небесного Града. Тень, постепенно наползающая на этот Сон, — тень греха и какого-то неведомого космического Зла.

"Тень и сон" (*Tennyson*), сознаюсь, довольно примитивный каламбур; хотя и не примитивнее того: "Donne is done" ("Донн — умер"), которым не брезговал Джон Донн, блестящий поэт-метафизик XVII века.

Конечно, всякий "настоящий символ непостижим в своей последней глубине" (Вяч. Иванов). Если бы Камелот был бы *только* символом Божьего Града, а тьма, наползающая на королевство Артура, — *только* тенью греха, мы бы снова имели обычную аллегорию. Но туман, заволакивающий поле последней битвы Артура, — это не только туман измены и греха, но и туман судьбы, "слепой туман, который сгустился над всеми земными путями", а также гибельный туман человеческого неведения и сомнения. Недаром в каждого воина, который его вдохнул, вползает необоримый страх, и даже на короля нападает смятение, ибо в этом тумане невозможно отличить врага от друга и удары наносятся вслепую. В одном коротком отрывке слово "туман" повторяется пять раз. И даже сраженные воины, обращая лицо к небесам, видят перед собой один лишь туман.

Невольно вспоминается сонет Китса "На вершине Бен-Невиса":

> ...Вниз погляжу ли, в пропасть, — там в теснине
> Слепой туман клубится: столько мы
> Об аде знаем; обращаю взор
> Вверх — облачной текучей пеленою
> Закрыто небо; застит кругозор
> Туман — он подо мной и надо мною...

Вот так Теннисон совпадает с агностиком и отчасти язычником (эллином) Китсом. Он тоже не дает "правильных ответов" — скорее, сам загадывает загадки. Что это за клятвы, требуемые королем, которые "позорно не дать, но невозможно сдержать"? И как это знание согласуется с презрением Теннисона к предателям, которые "отвратительнее язычников"?

Самая ценимая добродетель в мире "Королевских идиллий" — верность. "Слово человека есть Бог в его душе, — говорит король Артур присягнувшему ему молодому рыцарю. — Что бы ни случилось, верю тебе отныне и до смерти".

> And Arthur said, 'Man's word is God in man:
> Let chance what will, I trust thee to the death[1].

В имперскую эпоху верность своему слову (клятве, присяге) считается высокой доблестью человека. Я понимаю Теннисона, я тоже вырос в империи. Еще до школы мы прочли рассказ Пантелеева "Честное слово" — про мальчика, которому старшие ребята, игравшие в войну, велели стоять на посту и забыли про него, а он, дав слово, стоял до самой ночи и ни за что на свете не соглашался идти домой. Выросло целое поколение людей, считавших такое поведение единственно правильным (и я среди них), — хотя мы и не поняли бы восклицание короля Артура, потому что понятие "Бог" считалось тогда несерьезным, антинаучным: оно не стояло в одном ряду с честностью и долгом.

1. The Coming of Arthur. ll. 132–133.

В "Королевских идиллиях" великое королевство Артура рушится, в сущности, из-за нарушенного слова. Из-за измены королевы Гвиневеры, из-за присяги, про которую забыл храбрый Ланселот.

Оказывается, целый мир может держаться на одном слове, на данном когда-то обещании. Так жизнь поэта держится на верности своим снам. "In dreams begins responsibility". "С мечты начинается ответственность" (Йейтс).

Что бы ни говорили о слабостях поэмы, об отдельных вялых местах и длиннотах, ее достоинства с избытком их выкупают. Недаром влияние "Королевских идиллий" на английскую литературу оказалось столь длительным и непредсказуемым. В частности, сцена последней битвы Артура с полчищами Мордреда в непроглядном тумане на берегу зимнего моря отозвалась не только во многих сценах "Властелина колец", но и, например, у Элиота в "Бесплодной земле":

Призрачный город,
В буром тумане зимней зари,
Толпы, текущие через Лондонский мост, как их много,
Я и не думал, что смерть погубила столь многих...

I. Погребение мертвых

Или вновь о призрачном городе (хотя Камелот не назван):

Что там за город вверху над горами
С треском разваливается в небе лиловом
Башни рушатся
Иерусалим Афины Александрия
Вена Лондон
Призрачный...

V. Что сказал гром

VIII. *Сон о славе*

У Теннисона тоже было свое братство Круглого стола. Вряд ли он смог бы выстоять и победить, если бы не поддержка его верных университетских друзей, членов оксфордского "Общества апостолов" (существующего, между прочим, до сих пор). Четыре рецензии на "Стихотворения" 1842 года были написаны именно "апостолами": Милнзом, Спеддингом, Стерлингом и Франсисом Гарденом. Горячо одобряя стихи, они подчеркивали (вполне в духе того времени), что поэзия Теннисона не только чарует, но и наставляет.

В начале 1840-х годов слава Теннисона пересекла Атлантику. Эдгар По писал о нем по крайней мере трижды. В статье "Поэтический принцип" он называет Теннисона "благороднейшим поэтом из всех когда-либо существовавших". В отличие от "апостолов", По хвалит его не за моральные уроки, а за тончайшую музыкальность и дразнящую неопределенность поэтической мысли. Развейте эту таинственную атмосферу — и вы уничтожите дуновение волшебного. Поэзия станет насквозь

понятной мыслью, "она, может быть, не потеряет способности вызывать симпатии читателя, но утратит то, что делает стихи стихами"[1].

В заметке о Шелли 1849 года Эдгар По делает попытку анализа поэзии Теннисона в ее развитии. Он находит, что его ранняя манера соединяла в себе все нелепые крайности эпигонской поэзии того времени, однако считает, что поэт сумел отбросить эту ошибочную манеру, предварительно отсеяв из ее лучших элементов новый, "чистейший из всех существующих" поэтический стиль. Но этот процесс, предупреждает По, еще не закончен, требуется сплав редчайших умственных и нравственных качеств, в соединении с мастерством и волей, чтобы мир увидел, может быть "самую лучшую поэму, которая возможна"[2].

Интересно, что бы сказал Эдгар По (умерший в том же 1849 году), прочитав "Королевские идиллии"?

И уж совсем трудно представить, как отреагировал бы американский поэт на монодраму Теннисона "Мод". Читателям того времени она показалась дикой и несвязной. Это рассказ от первого лица, разбитый на короткие монологи, о любви молодого человека, чей отец разорился и погиб, к дочери богача, по-видимому, сыгравшего главную роль в этих несчастьях. Девушке прочат в женихи сынка богатых родителей, но она неожиданно отвечает на любовь бедного и странного (полубезумного!) ухажера. Брат Мод застает их в саду, следует дуэль, на которой брат гибнет. Герой бежит; Мод умирает от потрясения. Вдалеке от родных мест, на Бретонском берегу, герой заново переживает прошлое и излечивается от своего эгоизма и вместе с тем от своей нервной болезни. Несомненно, "Мод" — самая "браунинговская" из поэм Теннисона, некоторым образом, даже самая "достоевская".

Теннисон, читающий "Мод", 27 сентября 1855. Рисунок Данте Габриэля Россетти

Новая вещь Теннисона была встречена английской публикой неоднозначно. Поэт Джерард Хопкинс, например, в частном письме назвал ее "перебранкой, недостойной джентльмена"[3]. Однако в наше время поэма вновь привлекла внимание исследователей своей новаторской формой и возможностью анализа под углом новейшей психопатологии.

Интересно, что именно "Мод" была любимым произведением Теннисона, он любил декламировать ее своим гостям, неизменно доводя слушателей и самого себя до слез. Два-три эпизода из поэмы традиционно вставляются в антологии, в их числе знаменитая сцена ночного разговора героя с цветами:

1. Эстетика американского романтизма. – М., 1977. С. 155–157.
2. Там же. С. 170.
3. По-английски: "an ungentlemanly row." Cit. Tennyson: Critical Heritage, p. 334–335. "Но несмотря на это, – добавлял Хопкинс, – он великий поэт, чьи вещи сделаны из золота и слоновой кости".

Белый ирис, уснув на закате дня,
Не проснулся и в этот раз,
И жасмин, душистую гроздь клоня,
В сонных чарах своих погряз.
Только лилии, обещанье храня,
Стерегли наш заветный час;
Только розы и лилии ради меня
До зари не смыкали глаз.

.....

Роза алая у ворот
Жарко вспыхивает, как в бреду;
Вот она идет, моя Мод,
Чтоб утишить мою беду;
Роза белая слезы льет;
Шпорник шепчет: "Она в саду!"
Колокольчик сигнал дает,
И жасмин отвечает: "Жду!"

Именно эти стихи сделал Льюис Кэрролл объектом пародии в своей сказке "Алиса в Зазеркалье", выведя на сцену целый букет болтливых и придирчивых Роз, Лилий и Маргариток ("Глава II. Сад говорящих цветов"):

Лайонел и Хэллем Теннисоны, сыновья. 1857. Фотография Льюиса Кэрролла

"— Вот она идет! — закричал молоденький Шпорник. — Я слышу ее шаги! Топ-топ! Только она так топает, когда идет по дорожке!"

Нельзя сказать, совпадение это или нет, но "Алиса в Зазеркалье" появилась в 1869 году, когда отношения Кэрролла с Теннисоном разладились. Знакомство их произошло десятью годами раньше, когда молодой Чарльз Доджсон, тогда еще никакой не Кэрролл, а лишь преподаватель математики (и по совместительству фотограф-любитель, обожавший снимать детей и знаменитых людей), прикатил к Теннисонам на тележке, груженной штативами, реактивами и раскладным фотоаппаратом. Он очаровал Хэллема и Лайонеля, сыновей Теннисонов, фотографировал всех вместе и порознь, гулял с самим Теннисоном и получил приглашение заезжать к ним в Фаррингфорд на остров Уайт. Вот первое впечатление Кэрролла от встречи с поэтом:

Я ждал в гостиной... Спустя некоторое время появился человек странного косматого вида: его волосы, усы и борода выглядели нечесаными и растрепанными, мешая рассмотреть черты лица. Он был одет в слишком широкую для него визитку, простецкие серые брюки из фланели и небрежно завязанный шелковый шейный платок. Волосы — черные, глаза, вероятно, тоже; взгляд острый, беспокойный, нос орлиный, лоб высокий и широкий; и лицо и голова красивые и мужественные. Обращение его с самого начала было любезным и дружеским, разговор отличался сдержанным чувством юмора[1].

1. Cohen., N. Morton. Lewis Carroll: A Biography. — New York, 1995, p. 159.

Теннисон, 1857. Неотретушированная фотография Льюиса Кэрролла

Кэрролл навещал знаменитого поэта еще не раз; эти дни он неизменно отмечал в дневнике символическими "белыми камушками". К сожалению, в конце концов, Кэрролл "пересуетился" – прислал из Оксфорда письмо: дескать, здесь гуляют некие неопубликованные стихотворения Теннисона, которые мне дали почитать; не разрешите ли вы показывать их моим друзьям? На это письмо он получил форменный афронт от Эмили: "Джентльмен должен понимать, что, если поэт решил не доводить каких-то своих сочинений до публики, значит, на то у него были свои причины". Кэрролл обиделся, выразил свою обиду в письме, и на этом, к сожалению, все закончилось. Сохранились лишь фотографии Теннисона работы Кэрролла.

Другой гений английского нонсенса, Эдвард Лир (1812–1880), не умел фотографировать, но зато он был прекрасным рисовальщиком и сделал сотни иллюстраций к произведениям своего любимого поэта. Вдобавок он сочинил множество романсов и песен на его стихи (что, казалось бы, слабо вяжется с образом викторианского насмешника и эксцентрика!). Отношения Лира с Теннисоном тоже не были свободны от недоразумений и обид, и все-таки любовь Лира к другу оказалась сильнее. Известно, что в последние месяцы своей жизни, пока не заболел, Лир напряженно работал над большой картиной по поэме Теннисона "Енох Арден", мечтая подарить ее поэту.

Хэллем Теннисон, фотография Льюиса Кэрролла

Я привел эти два примера потому, что, как мне кажется, они дают нам некоторое представление о том поклонении, которое окружало Теннисона в годы его наивысшей славы. Сравнимым с ним по авторитету в английской поэзии был только Роберт Браунинг (1812–1889). Оба поэта поддерживали между собой подчеркнуто уважительные отношения (впрочем, до близкой дружбы не доходило). Любопытно, что идею своей самой амбициозной и длинной поэмы "Кольцо и книга" Браунинг сперва предложил Троллопу (как сюжет для романа), а потом Теннисону[1]. По счастью, Теннисона не увлекла эта история – так же как Браунинга, слава богу, не привлекли артуровские легенды.

В 1870 году Теннисон построил себе второй дом на склоне высокой горы Блэкдаун, на самой границе графств Суррея и Суссекса. Внушитель-

1. R. B. Martin. Tennyson: The Unquiet Heat, p. 477.

ный особняк был расположен в довольно глухом месте, в трех милях от железнодорожной станции Хейзелмир. "Для живущих в доме – максимальные удобства, для желающих попасть в него – максимальные неудобства", – резюмировал лорд Хоутон после первого посещения Олдворта[1].

Теннисон с первого дня полюбил свой новый дом, здесь ему хорошо писалось, он мог в полном одиночестве гулять по окрестным лесам и холмам. Особенно ему нравилось одно место на склоне Блэкдауна, откуда открывалась потрясающая панорама Суссекса – вплоть до угадывающегося вдали моря. Это место, которое Теннисон назвал Храмом Всех Ветров, отмечено теперь каменной скамьей и "алтарем ветров".

Здесь, в Олдворте, Теннисон дописал "Королевские идиллии"; здесь он умер.

Уже впав в забытье, он прижимал ладонью том Шекспира, открытый на его любимой сцене из "Цимбелина", где Имогена говорит Постуму: "Зачем ты оттолкнул свою жену? / Представь, что мы с тобою на скале, / И вновь толкни меня". Постум отвечает: "Пока я жив, / Как плод на дереве, держись на мне"[2]. Слова, которые он никогда не мог читать без слез.

Семья сидела в комнате, ожидая конца. Была ночь полнолуния; камин чуть мерцал, но в комнате с большими окнами было светло от яркого месячного света, заливавшего пол, стены и кровать умирающего. Казалось, в комнате звучали собственные строки Теннисона, описывающие смерть Артура:

Весь день раскатывалось эхо битвы
Над зимним побережьем в Лионессе,
Пока не пали все бойцы Артура,
Сражавшиеся рядом с королем.
А сам король Артур, смертельно ранен,
Был поднят храбрым сэром Бедивером
И отнесен в часовню, что стояла,
Убогая, с разбитым алтарем,
На голой, темной полосе земли
Меж длинным озером и океаном.
Ночь белая была от полнолунья.
.....

IX. *За волнолом*

Уильям Йейтс в своих статьях и воспоминаниях неоднократно использует формулировку: "после смерти Теннисона". Викторианская эпоха в поэзии закончилась не с кончиной старой королевы, а, пожалуй, лет на десять раньше. Как водится, новое поколение, в которое входили молодые люди разных направлений – Йейтс со своими друзьями из Клуба рифмачей, Киплинг, Хаусман, – принялись выпалывать из поэзии то, что они считали издержками уходящей эпохи: рассуждения, морализаторство, не идущие к делу описания природы, политическую риторику, излишнее

1. Ibid, p. 475.
2. Перевод П. Мелковой.

Медальон Томаса Вулнера. 1856

любопытство к патологическим явлениям психики и тому подобное.

И все же Йейтс, крупнейший поэт следующего пятидесятилетия, был многим обязан Теннисону (хотя и не признавал этого). Героическое начало его поэзии вобрало в себя мощный пафос "Улисса". Жажда борьбы и неустанного поиска, "судьбострастность" (amor fati) — идут оттуда. В стихотворении "Пилот-ирландец провидит свою гибель" очевидны прямые переклички с "Улиссом".

Ни долг, ни родины призыв,
Ни исступленной черни рёв —
Минутной вольности порыв
Бросает в бой меж облаков.

Перевод А. Сергеева

Герой оглядывается на то, что прожил, бросает взгляд вперед: и тут и там он видит лишь пустую "растрату дыханья" ("a waste of breath"). Так Улисс негодует на бесцельно уходящий остаток лет: "как будто жизнь — дыханье, а не подвиг". Стихотворение Йейтса посвящено памяти майора Роберта Грегори, сына леди Грегори, погибшего в воздушном бою над Францией. Один из критиков верно заметил, что в содержании "Улисса" и "Пилота-ирландца" присутствует обратный параллелизм: Теннисон скрывает свою молодость за маской постаревшего героя, а Йейтс, наоборот, скрывает свою старость, произнося монолог от лица юноши[1].

Героический дух с годами лишь усиливается в поэзии Йейтса, и вместе с ним все громче звучит принятие жизни, "трагическая радость".

"Ну и что? Из склепа доносится голос, и он повторяет одно слово: 'Радуйся!'" — пишет он в стихотворении "Круги".

What matter? Out of cavern comes a voice,
And all it knows is that one word 'Rejoice!'

И это снова прямая реминисценция из Теннисона; так заканчивается его стихотворение 1834 года "Два голоса": "Для чего же я вступил с беседу с этим унылым голосом, а не с другим, говорящим: 'Радуйся!'?"

And wherefore rather I made choice
To commune with that barren voice,
Than him that said, 'Rejoice! Rejoyce!'

Примеры можно умножать. В песне-прологе к пьесе "Последняя ревность Эмер" (1919) Йейтс сравнивает женскую красоту сначала с белой морской птицей, а потом — с раковиной:

1. Kean, J. Patrick. Yeats's Interactions with Traditions. — Columbia, Missurri, 1987, p. 263.

Странная и бесполезная эта вещица –
Хрупкая раковина, что бледно искрится
За полосою прибоя, в ложбине сырой;
Волны разбушевались пред самой зарей,
На побережье ветер накинулся воя...
Вот и лежит она – хрупкое чудо морское –
Валом внезапным выброшенная перед зарей.

Сравните с отрывком из "Мод" Теннисона:

Вот, на песке морском,
Раковина, посмотри –
Крохотная вещица,
Не крупней ноготка,
С тоненьким завитком,
Розовая внутри,
Как чудесно искрится,
Радужна и хрупка!

Мог бы назвать ученый
Кличкой ее мудреной,
С книжного взяв листа;
Но и не нареченной
Имя ей – красота[1].

Теннисон обогатил английскую поэзию новым разнообразием ритмов, размеров, небывалых модуляций. Хореи, дактили, анапесты, дольники в различных сочетаниях, строки сверхдлинные и короткие, даже односложные стопы ("Бей, бей, бей!"), различные способы рифмовки, в том числе внутренние и эхо-рифмы... Задолго до Верлена он явочным порядком ввел в поэзию принцип: "De la musique avant tous choses" – "Музыка прежде всего!" Диапазон его поэзии необыкновенно широк: от мужественной героики до тончайшей, необъяснимой тоски и печали...

Таков Теннисон в своих лучших вещах. И этим велик. Но не все в его наследии равноценно. Прав был его биограф Мартин, сказавший: "Те стихи, в которых он более всего стремился быть современным, устарели в первую очередь"[2].

Увы, как многие другие поэты, Теннисон, доверяя своей интуиции, все-таки был чувствителен к чужому мнению. Тиранство дурного вкуса той эпохи – эпохи, по своему существу, антипоэтической – сказалось на многих его стихах, зараженных риторикой, назидательностью, "психологией". Это касается большинства его произведений на социально-моральные темы: таких, как "Королева мая", "Леди Клара Вир де Вир", "Дора" и другие.

Именно эти стихотворения и привлекли первых русских переводчиков Теннисона. Напомним, то было время (1860-е годы), когда от поэзии требовали прежде всего прямой пользы и облегчения народных страданий.

1. Мод. Часть вторая. Строки 50–60.
2. R. Martin. B. Tennyson: The Unquiet Heat, p. 264–265.

Особенно повезло в России "Леди Кларе Вир де Вир", прекрасной и надменной аристократке, которой автор советует оставить в покое своих несчастных поклонников и отправиться "в народ" — учить детей грамоте, шитью и полезным ремеслам. Это стихотворение переводилось на русский язык трижды: кроме А. Плещеева, еще О. Михайловой и Д. Мином.

Лишь к концу века подуло иным ветром, и книги Теннисона открылись совсем на других страницах. Дело дошло наконец до стихов символических и пророческих. Характерен выбор Бальмонта: "Кракен", "Волшебница Шалот", "Вкушающие лотос", "Странствия Мальдуна". Вышли отдельным изданием "Королевские идиллии" в переводе О. Чюминой.

Но самым знаменитым в России стихотворением Теннисона стала "Годива". Баллада, основанная на старинном предании о доброй леди Годиве, которая, чтобы спасти земляков от непосильных поборов, согласилась проехать нагой по улицам своего города. В этом стихотворении счастливо сошлись туманный средневековый колорит и позитивное "народническое" содержание. "Годива" угодила всем: и некрасовскому "Современнику" 1859 года (перевод М. Михайлова), и эстетам Серебряного века (перевод И. Бунина, 1906). Недаром Осип Мандельштам через много лет вспоминал в стихотворении "С миром державным я был лишь ребячески связан...":

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай... Я не помню, Годива.

X. "Все *сбылось*"

Биографию Теннисона можно обрамить двумя русскими виньетками.

Первая — это захватывающая история, которую Теннисон в детстве слышал от своего отца. В 1801 году Джордж Теннисон, только что окончивший Оксфорд и рукоположенный в священники, совершил путешествие в Россию на коронацию царя Александра вместе с представителем Англии лордом Сент-Эленом. То, что Джордж действительно был в России, подтверждается документально, остальное известно с его слов. На большом обеде в Москве, данном Сент-Эленом, Теннисон неожиданно обратился к своему соседу по столу и громко произнес: "А ведь в Англии не секрет, кто убил императора Павла, это — граф Такой-то". За столом воцарилась мертвая тишина. После обеда граф Сент-Элен под благовидным предлогом вызвал Джорджа в соседнюю комнату и сказал: "Вы знаете, кто сидел рядом с вами? Это — граф Такой-то, которого вы публично обвинили в цареубийстве. Ваша жизнь находится под серьезной угрозой. Не медля ни минуты, уезжайте из города. Доберитесь до Одессы и ждите там моего курьера: он поможет вам покинуть Россию". Не заезжая домой, Теннисон сел на коня и поскакал по дороге к Одессе. Въехав в город и найдя ночлег в каком-то убогом предместье, он на следующий день слег с тяжелейшей горячкой и три месяца находился между жизнью и смертью. Два раза ему мерещилось сквозь забытье, что с улицы раздается звук знакомой английской мелодии: это проходил курь-

ер лорда Сент-Элена, играя на рожке. На третий раз у Джорджа хватило сил выглянуть на улицу и окликнуть курьера, который привел его на английский корабль, и так ему удалось вернуться на родину.

Что в этом рассказе правда, а что миф, судите сами. По крайней мере, на детей преподобного доктора Теннисона он неизменно производил большое впечатление, хотя рассказывался каждый раз чуть-чуть по-другому. Но рожок, доносящийся сквозь сон, — рожок, которому лишь на третий раз удалось ответить, — присутствовал неизменно.

Вторая история — уж точно никакая не выдумка, хотя она тоже касается российской императорской фамилии. В 1883 году Альфред Теннисон был приглашен премьер-министром Гладстоном, своим давним приятелем, в круиз на корабле "Пембрук-Касл". По прибытии в Копенгаген они были званы на ужин к королю и королеве Дании. Теннисон, не любивший торжественные мероприятия, остался на корабле, но на следующий день большая компания знатных особ пожаловала на борт "Пембрук-Касла". Кроме датской королевской четы, там были еще греческий король с королевой, российский царь с царицей и целое сборище принцев, герцогов, министров, адмиралов и генералов. После обеда Теннисона попросили почитать стихи в узком кругу. Они переместились в маленькую кают-компанию, где Теннисон был втиснут между принцессой Уэльской (дочерью датского короля и женой будущего английского монарха Эдуарда VII) и ее сестрой Дагмарой, вышедшей замуж за Александра III и ставшей таким образом русской императрицей Марией Федоровной. Теннисон по рассеянности принял ее за фрейлину и, водрузив на нос очки для чтения, продекламировал два стихотворения, отбивая ритм чуть ли не на колене у своей соседки. Когда он закончил, она вежливо похвалила стихи; поэт, не различая ее лица из-за очков, ласково похлопал царицу по спине и ответил: "Очень, очень тронут вашими словами, моя дорогая!" Очевидцы сообщают, что царица только улыбнулась, но царь Александр был шокирован.

Вероятно, Альфред Теннисон — единственный английский поэт, столь фамильярно обошедшийся с русской императрицей. Судьба порой вычерчивает странные круги; а что, если это было возмездие за смертный страх, пережитый отцом Теннисона в России?

После революции, в Стране большевиков, Теннисон за свои консервативные взгляды и "связь с британским империализмом", естественно, стал персоной non grata. Но одна его строка, заключительная строка "Улисса" — без имени автора, — сделалась широко известной благодаря В. Каверину и его роману "Два капитана". Одна только строка, но зато какая:

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Сын Теннисона, Хэллем, запомнил со слов отца, как тот мальчуганом, еще не умеющим читать, бывало, выбегал из дома в непогоду и, широко расставив руки, кричал в необъяснимом восторге: "Я слышу голос, говорящий в ветре!"

В конечном итоге, "все оправдалось и сбылось". Он прошел и медные трубы славы, и посмертное непонимание. Весы выровнялись, роли определились. Теперь ясно, что Йейтс принял эстафету романтизма не от прерафаэлитов и Уильяма Морриса, а непосредственно из рук Теннисона.

Великий поэт узнается по тому, сколь прочным звеном он входит в цепь родного языка и поэзии. Альфред Теннисон — прочное звено. Истинная предтеча символистов, сновидец, путешественник по золотым мирам прошлого, предвестник будущего.

Он поет о том, каким будет мир,
Когда годы и время пройдут.

Из *цикла* "П*амяти* А. Г. Х."

V

Порой мне кажется: грешно
Писаньем горе умножать —
Как будто полуобнажать,
Что прикровенным быть должно.

И если сызнова пишу,
То лишь затем, что я таким
Занятьем истово тупым,
Как опиумом, боль глушу.

И, чтобы спрятать скорбь свою
И холод жизни обмануть,
В дерюгу слов укутав грудь,
Я здесь, как чучело, стою.

VII

Дом пуст. К чему мне тут стоять
И у порога ждать теперь,
Где, прежде чем ударить в дверь,
Я сердце должен был унять?

Укор вины, укол тоски;
Взгляни — я не могу уснуть,
Бреду в предутреннюю муть
Вновь ощутить тепло руки,

Которой нет... Тебя здесь нет!
Но снова слышен скрип забот,
И в мокрой, серой мгле ползет,
Как привидение, рассвет.

XI

Как тихо, Господи, вокруг!
Такая тишь среди полян,
Что, если падает каштан,
Слой листьев поглощает звук.

Тишь в поле. Зябкою росой
Калины каждый лист омыт;
И паутину золотит
Зари осенней луч косой.
Тишь в воздухе, ни ветерка;
Недвижный лес день ото дня
Пустей. И в сердце у меня
Покой и мертвая тоска.

Тишь, как туман, у ног течет,
Равнина дышит тишиной
И хочет слиться с пеленой
Холодных мутно-серых вод.

Над океаном — тихий бриз;
И в той груди навек покой,
Которую лишь вал морской
Колышет мерно вверх и вниз.

LIV

О да, когда-нибудь потом
Все зло мирское, кровь и грязь,
Каким-то чудом истребясь,
Мы верим, кончится добром.

У каждого — свой верный шанс;
Ничто не канет в никуда,
Как карта лишняя, когда
Господь закончит свой пасьянс.

Есть цель, невидимая нам:
Самосожженье мотылька
И корчи в глине червяка,
Разрезанного пополам, —
Все не напрасно; там, вдали,
Где нет зимы и темноты,
(Так мнится мне) для нас цветы
Неведомые расцвели...

Но кто я, в сущности, такой?
Ребенок, плачущий впотьмах,
Не зная, как унять свой страх
В кромешной темноте ночной.

CIV

Подходит к Рождеству зима.
Ныряет в тучах лунный круг;
В тумане колокола звук
Доносится из-за холма.
Удар глухой во мгле ночной!
Но не пронзил он грудь насквозь,
Лишь вяло в ней отозвалось:
Здесь даже колокол другой.

Здесь всё другое — лес, поля,
Душе — ни вехи, ни следа...
Пустыня, памяти чужда,
Неосвященная земля.

Из поэмы "Мод"

(2)

Выйди в сад поскорее, Мод!
Уже ночь — летучая мышь —
Ускользнула в свой черный грот;
Неужели легла ты и спишь?
Роза мускусная цветет,
И луна глядит из-за крыш.

Видишь, стало в саду светать,
И звезда любви в вышине
Начинает меркнуть и угасать
На заре, как свеча в окне,
И в объятиях солнечных исчезать,
Тая в нежном его огне.

До утра со скрипкой спорил гобой,
Хрипло жаловался фагот,
И мелькали вместе и вразнобой
Тени в окнах — ночь напролет;
Тишина настала лишь пред зарей,
С первой россыпью птичьих нот.

И сказал я лилии: "Лишь с одним
Она может быть весела;
Гомон бала ей больше невыносим,
Болтовня толпы тяжела".
Наконец-то рассеялся шум и дым,
В зале музыка замерла;
Укатили гости один за другим,
Эхо смокло, и ночь прошла.

И сказал я розе: "Промчался бал
В вихре танцев, красок, огней.
Лорд влюбленный, как бы ты ни мечтал,
Никогда ей не быть твоей.
Навсегда, — я розе пообещал, —
Она будет моей, лишь моей!"

И пылание розы вошло мне в грудь,
Затопляя душу мою,
И я долго стоял, не смея вздохнуть
И слушал, словно в раю,
Плеск ручья, спешащего в дальний путь —
Через луг твой — в рощу твою.

Через луг, где следы твоих легких ног
Так свежи в траве луговой,
Что цепочку их мартовский ветерок
Обратил в фиалки весной, —
Через луг счастливый наискосок
До опушки нашей лесной.

Белый ирис, уснув на закате дня,
Не проснулся и в этот раз,
И жасмин, душистую гроздь клоня,
В сонных чарах своих погряз.
Только лилии, обещанье храня,
Стерегли наш заветный час;
Только розы и лилии ради меня
До зари не смыкали глаз.

О волшебница сада, явись на зов!
Ночь окончилась — поспеши;
В блеске шелка, в мерцании жемчугов
По ступеням сойди в тиши,
Солнцем стань, златокудрая, для цветов,
И томленье их разреши.

Роза алая у ворот
Жарко вспыхивает, как в бреду;
Вот она идет, моя Мод,
Чтоб утишить мою беду;
Роза белая слезы льет;
Шпорник шепчет: "Она в саду";
Колокольчик сигнал дает,
И жасмин отвечает: "Жду!"

Вот она идет сюда — ах!
Слышу: платье шуршит вдали;
Если даже я буду остывший прах
В склепной сырости и в пыли,
Мое сердце и там, впотьмах,

Задрожит (пусть века прошли!) –
И рванется в рдяных, алых цветах
Ей навстречу из-под земли.

(3)

Вот, на песке морском,
Раковина, посмотри –
Крохотная вещица,
Не крупней ноготка,
С тоненьким завитком,
Розовая внутри,
Как чудесно искрится,
Радужна и хрупка!

Мог бы назвать ученый
Кличкой ее мудреной,
С книжного взяв листа;
Но и не нареченной,
Имя ей – красота.

Тот, кто в ней обитал,
Видно, покинул в тревоге
Домик уютный свой;
Долго ли он простоял
Возле своих дверей,
Рожками шевеля
На жемчужном пороге,
Прежде, чем с головой
Кануть в простор морей?

Тонкая – даже дитя
Пяткой ее сломает,
Крохотная – но как чудно,
Дивно сотворена!
Хрупкая – но волна,
Что поднимает шутя
Трехмачтовое судно
И о риф разбивает,
Сладить с ней не вольна.

Поэт

Ливень схлынул, и вышел Поэт за порог,
Миновал дома, городской предел,
Ветерок подул от закатных туч,
Над волнами ржи, как дрожь, пролетел.
А Поэт нашел одинокий холм

И так звонко, так сладко песню запел –
Дикий лебедь заслушался в небесах,
Наземь жаворонок слетел.

Стриж забыл на лету догонять пчелу,
Змейка юркнула в свой приют,
Ястреб с пухом жертвы в клюве застыл,
Он скорей растерян, чем лют;
Соловей подумал: "Мне так не спеть,
На земле так, увы, не поют –
Он поет о том, каким будет мир,
Когда годы и время пройдут".

Строки

Я в детстве приходил на этот склон,
Где колокольчики в траве цвели.
Здесь высился мой древний Илион
И греческие плыли корабли.
Теперь тут сеть канав со всех сторон
И лоскуты болотистой земли,
Лишь дюны серые – да ветра стон,
Дождь над водой – и груды туч вдали!

За волнолом

Закат вдали и первая звезда,
И ясный дальний зов!
И пусть теперь у скал замрет вода;
К отплытью я готов.

Пусть медленно, как сон, растет прилив,
От полноты немой,
Чтобы безбрежность, берег затопив,
Отхлынула домой.
Пусть колокол вечерний мерно бьет,
И мирно дышит бриз,
Когда пройду последний поворот,
Минуя темный мыс.

Развеется за мной, как морок дня,
Береговой туман,
Когда мой Лоцман выведет меня
В открытый океан.

Александр Ват

Мой век

Устные мемуары

Фрагменты книги

Перевод с польского Н. Каменевой

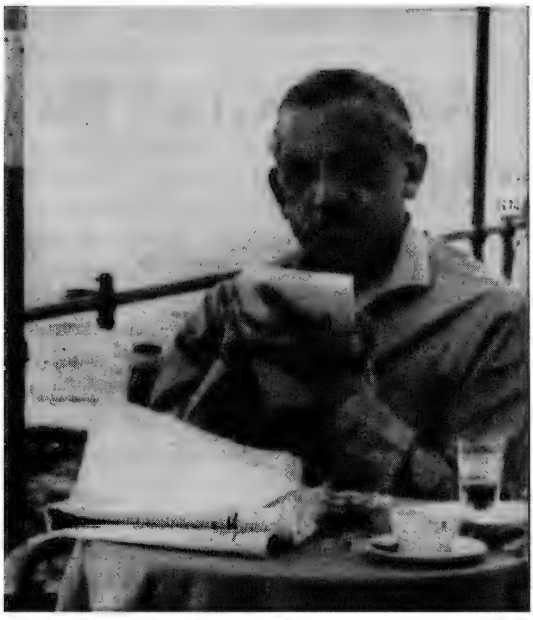
Предисловие Чеслава Милоша

Эта книга значительно отличается от тех, которые обычно называются воспоминаниями или мемуарами, можно даже сказать, что ценность ее как памятника эпохи тем больше, чем яснее проступают в ней черты особого литературного жанра. Она представляет собой беседу, записанную на магнитофон и впоследствии отредактированную (чтобы упорядочить синтаксис и частично устранить повторы), но сохранившую все особенности обращенного к собеседнику живого слова.

Умерший в 1967 году в Париже Александр Ват был личностью хорошо известной в литературной Варшаве, хотя в разные периоды его творчество оценивали поразному. В годы возникновения независимой Польши, сразу после Первой мировой войны, он был одним из тех футуристов, которые скандализировали общество. Позже, в конце 20-х, он присоединился к тем, кого эвфемистически называли "левыми". К ним принадлежали и его приятели, такие, как критик Анджей Ставар, поэт Владислав Броневский, режиссер Леон Шиллер, театральный художник Владислав Дашевский. Во время Второй мировой войны Вата в Варшаве не было, но это не означало, что о нем забыли: тем или иным способом просачивались вести о том, что его арестовали во Львове, что он вынужден скитаться по советской Средней Азии — в списках ходило его стихотворение "Алма-Атинские ивы". После 1946-го Ват вернулся в Польшу, но в годы "первого либерализма" ничего значительного не написал, затем, с 1949 по 1956 год, наступил период, когда его заставили как еретика замолчать, но потом наконец пришла пора, когда вновь забил источник его поэтического вдохновения: в конце жизни о Вате как поэте отзывались очень высоко — он снова стал соратником (хоть и не сверстником) "молодых".

В литературе он с самого начала был известен как Александр Ват, настоящая же его фамилия — Хват. Родился он 1 мая 1900 года в Варшаве, в еврейской семье с давними традициями — еврейскими и польскими. Среди его предков числятся: философ XI века Раши, прославившийся комментариями к Библии, которые перепечатываются и сегодня; знаменитый каббалист XVI века Ицхак Лурия; великий раввин из Кутна Гаон — прапрадед со стороны матери. Дед Александра, владевший земельными угодьями и металлургическим заводом, снабжал оружием участников восстания 1863 года, в котором погиб его брат Берек Хват. В доме у отца Вата, человека широко образованного, знатока каббалы и современной

© Copyright by Central and East European Studies, University of California, Berkley
© Copyright for the Polish edition by Paulina (Ola) Wat and Andrzej Wat, 1977, 1990
© Н. Каменева. Перевод, 2006



философии, было много книг на самых разных языках, и молодое поколение, воспитывавшееся в атмосфере культа польской литературы, в то же время рано начинало обучаться французскому и немецкому языкам, не говоря уж об обязательном в школе русском.

В 1918—1919 годах, еще будучи студентом философского факультета Варшавского университета, Ват своим основательным знакомством с Шопенгауэром обратил на себя внимание профессора Тадеуша Котарбинского[1]. К тому времени он был уже автором футуристических стихотворений, которые своим "коверканьем прекрасного польского языка" шокировали отнюдь не только его тетку-поэтессу (та в молодости грешила стихотворством и почитала Диотиму). Впоследствии Ват не раз говорил, что он и его единомышленники принадлежали не к футуризму, а к дадаизму, и просто произошло смешение терминов. Однако Маяковский, который во время двух своих поездок в Варшаву регулярно захаживал к Александру и Оле Ват, записал у себя в дневнике[2], ныне опубликованном: *"Ват — урожденный футурист"*[3]. Не преуменьшая роли первого польского бунта против традиционного синтаксиса, мы тем не менее находим, что ограничивать творчество Вата рамками юношеского футуризма, или, как он его называл, дадаизма, было бы неправильно, хотя в свое время именно так оно и было. Первый стихотворный сборник "Я с одной, я с другой стороны от моей мопсоподобной печурки" вышел осенью 1919 года (на обложке стоит 1920); следующий, "Стихи", появился только в 1957-м, а третий и последний, "Средиземноморские стихи", — в 1962-м. Сюда нужно добавить то, что осталось в рукописях и вошло в посмертный поэтический сборник "Темный свет" (Париж, 1968). Как получилось, что возник такой долгий перерыв — целые десятилетия? В настоящей книге вы найдете ответ на вопрос, что происходило с Ватом в минувшие годы; из его воспоминаний, особенно из того, что он говорит по поводу своего единственного сборника рассказов "Безработный Люцифер" (1927), становится понятно, что молчание имело для него принципиальное значение. Многие европейцы подозревали тогда, что Европа подорвала самые основы своей жизни, но мало кто из пишущих прибегал к такому яростному сарказму, как Ват в его издевательских, авангардистских рассказах, их можно сравнить только с антиутопией Карела Чапека, а в Польше — с творчеством Виткевича. Для Вата такой выбор стиля означал, что он дошел до некой черты, за которой литературное творчество лишается смысла. Почему и как человек столь язвитель-

1. Тадеуш Котарбинский (1886–1981) – польский философ и логик. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Должно быть, имеются в виду "Записные книжки" В. Маяковского.
3. Здесь и далее курсивом выделены все иноязычные фразы, в том числе и русские.

ного ума неожиданно увлекся русской революцией? Это огромная тема, и, размышляя над ней, автор ставит диагноз не только себе прежнему, но и тысячам интеллектуалов XX века. Можно лишь сказать, что, если большинству из них увлечение революцией давало стимул для пропаганды ее в искусстве, Ват — с той минуты, как заключил "пакт с историей", — перестал писать и стихи, и рассказы: его Муза оказалась мудрее его самого. На посту редактора единственного выходившего в Польше в период межвоенного двадцатилетия коммунистического издания "Месенчник литерацки" — широко распространенного и в самом деле влиятельного — он занимался только публицистикой, а позже, когда отошел от политической деятельности, стал главным редактором книгоиздательского дома "Гебетнер и Вольф". Накаляющаяся политическая атмосфера 30-х годов так истощила творческие силы Вата, что его имя почти совсем исчезло из печати. Только когда заключенный им "пакт" был расторгнут, Ват-поэт заговорил снова. Как произошло расторжение "пакта"? Об этом и написана книга — о том, что автор передумал и пережил в 1939 году во Львове и позднее — в многочисленных советских тюрьмах, на пустынных просторах Азии, а также во время болезни, впервые начавшейся у него в Варшаве в пору, когда безоговорочная преданность доктрине стала нормой жизни, а он был из тех зачумленных, при виде которых знакомые переходили на другую сторону улицы. Именно тогда у него случился обширный инсульт (как говорили когда-то, "удар"); после такого обычно умирают, но он выжил. С тех пор лопнувший в мозгу кровеносный сосуд напоминал о себе приступами сильнейшей боли — недугом скорее психосоматическим, от которого у врачей не было средств. Настоящее поэтическое творчество Вата началось в годы болезни и старости, это размышления много выстрадавшего человека о времени, бытии, смерти. Трудно не заметить, что "футурист" 1919 года никуда не делся — более того, все эти годы он словно неустанно совершенствовался, чтобы наконец явиться в полном блеске. Отсюда смесь цирковой клоунады и записанных по горячим следам снов о жизни и об истории, саркастических восклицаний и философских сентенций.

После 1956 года в Варшаве Вата начали носить на руках и возвеличивать. Для недобитых Сталиным польских коммунистов имя натерпевшегося и в Польше, и в России редактора "Месенчника литерацкого" значило много. В 1957 году за сборник "Стихи" Вату была присуждена премия "Новой культуры"[1]. Ему позволили путешествовать. Поскольку суровые зимы обостряли его болезнь, Александр и Оля (Паулина) Ват после 1958 года жили преимущественно на юге Франции и в Италии. Они как-то умудрялись продлевать паспорта — то ли как полуэмигранты, то ли как нуждающиеся в лечении больные.

До войны я не был знаком с Ватом лично. Начало нашей дружбы можно отнести к одной проведенной вместе печальной новогодней ночи — это было уже в послевоенной Варшаве, и с тех пор от встречи к встрече, когда и я, и супруги стали жить за границей, дружба эта только укреплялась. Я понял, что его стихотворения, рождавшиеся из чего-то огромного, выражали лишь малую толику некоего великого целого, которое постоянно в нем жило, просилось наружу, частично находя себе выход в виде завораживающих рассказов — свидетеля и участника событий. <...>

Наконец о том, как возникла эта книга. Кажется, шел 1965 год; с января по июнь Ват с женой жили в Беркли, потом вернулись во Францию. Пару раз в неделю я приезжал к ним на улицу Бенвеню, и к тому времени, когда им пора было

1. Премия литературного еженедельника "Новая культура".

улетать в Европу, собралась уже целая стопка магнитофонных кассет. Ват считал, что туда вошла примерно половина, а может, четверть всего, что необходимо рассказать. В июне того же года я вслед за ними прилетел в Париж. Аккуратно, через день проходил я знакомыми улочками Латинского квартала, чтобы услышать продолжение рассказа; таким образом, постепенно собралось около сорока пленок — записей наших разговоров, которые и составили эту книгу.

Очень важным и благоприятным обстоятельством было то, что мы с ним принадлежали к одному культурному сообществу, хотя и к разным его формациям: он — 20-х годов, я — 30-х. Мы знали одни и те же имена, книги, литературные сплетни, легенды, а кроме того, одинаково свободно ориентировались во французской и русской литературах. Ему не нужно было в ходе разговора что-то разъяснять мне, вдаваться в подробности — это сразу нарушило бы течение его мысли. Я почти не перебивал его вопросами и задавал их только тогда, когда необходимо было подтолкнуть собеседника к новому монологу. <...>

Чтобы подготовить запись к печати, потребовалась большая и кропотливая работа, и главная заслуга тут принадлежит той, что не раз появляется на страницах книги, — Оле Ват. Расшифровывая записи, предложение за предложением, она переводила их в машинописный текст, который я отредактировал; затем она еще раз все перепечатала. Но дело этим не кончилось — результат не вполне нас удовлетворял. Я снова взялся за карандаш. Не скрою, действовал я в интересах будущего историка — я с самого начала сказал себе: не нам решать, что он сочтет важным, а что нет. Именно поэтому мы бережно сохранили язык в том виде, в каком он звучал тогда в варшавской интеллектуальной среде, этим же объясняются многочисленные повторы слов, фраз, возврат к одним и тем же событиям — ведь нечто повторяемое снова и снова предстает каждый раз в ином свете. <...>

Конечно, "Мой век" — так мы, посовещавшись, решили назвать книгу — более интересен тем читателям, которым известно "кто есть кто", то есть тем, для кого огромное количество имен, мелькающих на страницах книги, не просто пустой звук. И все же смею надеяться, что "Мой век" способен заинтересовать каждого, независимо от того, много или мало ему известно об эпохе. Книга представляет собой подвижное панорамное полотно; действие происходит на разных широтах: начиная от Парижа, а если считать недолгое пребывание Вата в Беркли, то и от Америки — и кончая подножиями Памира...

В общем, героев множество, хотя, пожалуй, важен лишь один — сам рассказчик, его личность. Так уж случилось, что в XX веке отодвинуть личность рассказчика на второй план невозможно, теперь мы знаем, что от того, какова она, зависит, получаются ли описываемые фигуры яркими или расплываются, как тени. Ват умел видеть людей, а это редкое умение, и многие вышли у него "как живые", причем речь идет не только о внешних чертах, но и о нравственной сути; число этих людей огромно — они представляют самые разные социальные слои и народы Европы...

Беркли, 1974

I

Милош: Первые проблески политического сознания появились у меня, как ты понимаешь, в 1926 году, во время переворота Пилсудского. Поэтому меня особенно занимает период 20-х годов, к тому же это период очень важный и для истории Европы, где после русской революции сразу стали ощущаться самые разные левые настроения, Польша же наконец обрела независимость и пребывала в состоянии эйфории. В данный момент меня интересует процесс идеологизации интеллигенции и литературных кругов, я бы хотел узнать, как они относились к таким малопонятным для них вещам, как политика, марксизм, революционность.

Ват: Что тогда было? Было желание переворота, такого же, как в России. Заражал пример страны, которая начала переделку с самых основ. Какая это была бы переделка — марксистская или другая, значения не имело. Главное, люмпенский дух и потрясение основ. Но поскольку идея была плебейской не только в классовом, но в и культурном смысле (плебейство — ее *modus vivendi*[1]), — пример России был понят невероятно узко. Однако именно события в России послужили катализатором. Например, в 1918—1919 годах происходили крестьянские волнения, и конечно, низы бунтовали, потому что на них влияла коммунистическая идеология, вернее, коммунистическая *praxis*[2]. Возникли, как и в России, рабочие советы. И все же это было временное явление, катализатор действовал, но перспектив у явления не было. Мне кажется, что Польше чуждо плебейство в том смысле, что никакая модель, никакой идеал, которые близки люмпену, не могли здесь иметь успеха. И не только потому, что в то время наверх выплыло колоссальное количество людей, которые и завладели Польшей, — служащие, целый слой служащих, ведь Польша очень быстро стала страной служащей интеллигенции, под нее подстроились и люди свободных профессий. Дело даже не в этом, а в шляхетской ментальности, в идеалах шляхетского быта, которые важнее происхождения. Не говоря уже о трилогии[3], польской Библией был "Пан Тадеуш", "Илиадой" и Библией, тем и другим одновременно, священной книгой...

Ты говоришь о стыке идеологии и литературы. Никакого стыка не было. Гемпель[4] издавал литературно-политический журнал "Нова культура", главным поэтом считался Словик[5]. Это его настоящая фамилия. Эдакий присяжный поэт, так сказать, Конопницкая, заливающаяся соловьем. Были еще какие-то графоманы. Но произошел перелом, и дело закончилось для них полным крахом. Примерно году в 1924-м, когда нашей группе футуристов-дадаистов надоел футуризм, то есть когда мы, собственно, поняли, что повторяться больше невозможно, Стефан Кордиан Гацкий[6] стал издавать журнал "Ф 24", интересный, между прочим. Стихи он писал неудачные, но новаторские и основал первое аван-

1. Способ существования (*лат.*).
2. Действие, дело (*греч.*).
3. Цикл исторических романов Генрика Сенкевича (1846—1916): "Огнем и мечом", "Потоп", "Пан Володыевский".
4. Ян Гемпель (1877—1937) — общественный деятель, литературный критик, издатель. Член ППС, затем КПП; был репрессирован в СССР.
5. Данные не установлены. Игра слов: słowik — *букв.* соловей (*польск.*).
6. Стефан Кордиан Гацкий (1901—1984) — польский поэт, после Второй мировой войны эмигрировал в США.

гардистское издательство: там вышли "Семафоры" Важика, потом Бруч[1] – три или четыре томика. Но и все – на большее не хватило денег. Пока я раздумывал, не выпустить ли пару своих сборников, они кончились. На улице Злотой, 8, где у Гацкого была холостяцкая комнатка, у нас еще до основания журнала состоялось редакционное совещание. Дом принадлежал Мечиславу Грыдзевскому, и там же размещались "Вядомосци"[2]. Мы все пришли, Гацкий открывает собрание: "Господа, дальше так жить невозможно. Надо основать новое направление". Представляешь, кучка непонятно откуда взявшихся, растерянных умников чует: в мире что-то происходит!

Кстати, это стало началом для Важика, которого привел туда я. У него уже были замечательные стихи, те, из "Семафоров", "Глаза и губы" появились потом. Все мы – нас было несколько человек – резонерствовали под явным влиянием футуризма и русской революции. В 1919-м или 1920-м из России вернулся Ясенский[3], он видел все. Пережил революцию и стал обезьянничать – подражать тамошнему футуризму. "Скамандр" тоже начался с подражания. Я имею в виду русские футуристические кабаре. Основателем "Пикадора", кафе, с которого ведет родословную "Скамандр", был Тадик Раабе. Он создал его, как только вернулся из России. Писал под псевдонимом Крук, к тому времени сочинил несколько сонетов. Позже он стал адвокатом, а сразу после войны – прокурором. Он быстро понял, что он не поэт, но тогда мы именно от него узнали, как в России устраивают авангардистские литературные кабаре. Так вот, в нашу группу входили просто молодые люди, которые, в отличие от "Скамандра", не имели ни веса, ни мастерства, были далеки и от польской поэтической традиции, и от формалистических изысков, читали чужое и писали под влиянием чужого. Все это, по сравнению со "Скамандром", были минусы. К тому же мы уступали им и числом, и способностями. Молодежь, которая собралась в "Скамандре", была по-настоящему талантлива. Надо признать, что если говорить о таланте, то блистали именно они; невероятная удача – то, что их было так много. В отличие от нас, они прекрасно вписывались в стиль жизни служащей интеллигенции, мелкой буржуазии, польской провинции. Но у нас, молодежи из бунтарских групп, маргинальных по сравнению со "Скамандром", было преимущество, а может, и недостаток, в общем, мы понимали – со старым покончено. Произошла радикальная перемена, и нужно все ломать, все менять – неважно, как, что и где.

Ясенский? Он жил в Кракове, а все началось в Варшаве. Однажды он приехал с собственной свитой, с Млодоженцем[4] и на свой страх и риск устроил какой-то невероятный вечер. Это было, кажется, в 1921 году, точно не помню. Такой большой, грандиозный вечер в зале Гигиенического общества. Толпы народа, "Сапог в петлице"[5], монокль, Игорь

1. Адам Важик (1905–1982) – польский поэт и переводчик, один из лидеров литературного авангарда; Станислав Бруч – польский поэт и переводчик.
2. "Вядомосци литерацке" – литературный еженедельник, в 1924–1939 гг. пропагандировавший поэзию "Скамандра", поэтической группы, возникшей в Варшаве в 1920-м, куда входили Юлиан Тувим, Ярослав Ивашкевич, Леопольд Стафф, Казимеж Вежинский, Ян Лехонь и др.
3. Бруно Ясенский (1901–1938) – польский поэт-футурист и прозаик. С 1929 г. жил в СССР, в 1936 г. был арестован, погиб в пересыльном лагере под Владивостоком.
4. Станислав Млодоженец (1895–1959) – польский поэт и прозаик, в 20-е гг. – представитель течения формизма и футуризма.
5. "Сапог в петлице" – поэтический сборник Бруно Ясенского.

Северянин... "Они еще не знают, что раз появился Ясенский, остальные больше не существуют..." Кто не существует? Каспрович, Тетмайер? Все! Но ведь на самом деле именно Ясенский среди футуристов был самым большим подражателем... Тогда же приехал Чижевский, еще несколько молодых людей, и что забавно, среди них был Бжехва[1]. Он об этом никогда не вспоминает, наверное, стыдится, что входил в группу Ясенского и выступал со всеми ними в зале Гигиенического общества. Был там еще какой-то человек, кажется, из Радома, который выдавал себя за Александра Вата. Присоединился к группе и приехал на вечер как Александр Ват. В кафе меня представили Ясенскому. Он покраснел, прямотаки вспыхнул: "Как вы смеете называть себя Александром Ватом, когда Александр Ват приехал с нами?" И показывает мне совсем молодого человека, страшно симпатичного, робкого, который, в свою очередь, тоже краснеет и начинает бормотать, что, дескать, иногда ощущает себя кем-то другим, ему захотелось так себя представить. Ну, разумеется, Ясенский выгнал его вон.

Чижевский был формистом, Ясенский считался футуристом, хотя мы ничего общего с классическим футуризмом не имели. Вряд ли нам стоило называть себя именно так, потом, правда, мы себя переименовали в неофутуристов, но и это было не то. Несомненно, самое большое влияние оказал на нас русский футуризм, Маяковский и особенно Хлебников, но существовала и другая сторона дела — дадаизм. Так что, скорее, нас нужно отнести к дадаизму.

Но сейчас наша главная тема — контакты и сближения авангардистских групп с левыми. Так вот, я, пожалуй, вернусь опять к Гемпелю и "Новой культуре". Но сначала хочу сказать, что мы, конечно, существовали не в пустоте. Если говорить обо мне, то, как я помню, социальные проблемы меня не очень интересовали. Моя голова была набита совсем другим: Ницше, Кьеркегор, Штирнер[2] и бог знает что еще, так что коммунизм и социализм меня скорее отталкивали. Существовал какой-то эмоциональный порыв, *feeling*[3], и, прежде всего, конечно, интеллектуальная потребность — полного обновления, то есть, как я уже говорил, ощущалось, что произошло землетрясение, ничего такого элита "Скамандра" не испытывала. И дело не только в русской революции, по крайней мере в моем случае. Это скорее было влияние прочитанного, авторов, предчувствовавших крах, закат Европы. Так сказать, катастрофизм Шпенглера до появления самого Шпенглера — настроение очень тогда характерное. По мне, это и есть дадаизм или то, что, наверное, можно по-другому назвать нигилизмом. Утрата веры в то, что у европейской цивилизации есть будущее. Так что, хотя мы и были молокососами, образование Польского государства значило для нас гораздо меньше, чем общая катастрофа эпохи — непостижимая, происходившая на наших глазах, нам, молодым и отчаянным, она казалась невероятно притягательной. По-моему, разница между твоим и моим поколением именно в том, как мы и как вы понимали катастрофическое.

1. Титус Чижевский (1880 — 1945) — художник, поэт, теоретик искусства, представитель формизма — направления, близкого к футуризму; Ян Бжехва (1900—1966) — детский поэт, прозаик, переводчик.
2. Макс Штирнер (1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец, развивал идеи анархизма.
3. Чувство (*англ.*).

У твоего поколения это ощущение возникло в условиях сталинизма, с одной стороны, и гитлеризма, с другой. Все, и уж конечно Польша, оказались между жерновами. Кроме того, сознание, что эпоха закончилась, у вас было еще более глубоким, чем у нас: мир рухнул, развитие цивилизации невозможно, и вы в тисках у двух чудовищ, невероятно сильных и стремительных. В ваше время ситуация в Польше складывалась так, что и коммунистическое *adagio* казалось вполне вероятным; в общем, либо фашизм, либо коммунизм. Для Польши 30-х и то, и другое было абсолютно реальной перспективой. Надо признаться, что у моего поколения, то есть у людей мне близких, тоже было такое же ощущение катастрофы, но перед нами еще не маячили тени этих чудовищ. Наоборот, руины нас радовали: все валилось, рушилось, понимаешь, был повод для внутреннего веселья, потому что можно было построить что-то новое, огромное, неизведанное и отправиться в это неизведанное; и конечно, великие надежды, что вот-вот из-под руин...

Милош: Веселье, позволь тебе заметить, весьма ощущается и в поэзии "Скамандра", года эдак примерно до 1930-го.

Ват: В определенном смысле, да. Но там другое. У них веселье патриотическое: вокруг — нормальная жизнь, в Польше — нормальное общество, в котором есть место и для поэтов, можно писать, выполнять свои обычные поэтические функции. Отсюда великая радость. Мы же, наоборот, радовались, что рушатся основы, что все можно, все дозволено. И в этом смысле слово "футуризм" применительно к нам, может, имеет какой-то резон. Я писал об этом Маркову[1], который прислал мне свою книгу о Хлебникове, очень хорошую. Он отделяет русский футуризм от Маринетти и всего итальянского футуризма на том основании, что, когда Маринетти приехал в Россию, русские футуристы приняли его довольно холодно. К тому же, как он считает, есть и идеологическое расхождение: русские были сначала за социалистическую революцию, потом — за коммунистическую, а Маринетти — за фашизм, войну, милитаризм и тому подобное. Значит, по существу, речь идет о разном. Но я ответил Маркову, что это неверно. Маринетти написал мало, то есть, собственно говоря, — ни одной вещи[2], но дело в другом. Когда мы начинали свой футуризм, никакой футуристической поэзии мы не знали. Нам хватило одного-единственного лозунга, одной формулы, одной коротенькой фразы: "Слова на свободе"[3]. Понимаешь, этот призыв дать слову свободу, это ощущение его как объекта, с которым можно делать все, что заблагорассудится, означал подлинную революцию в литературе, такую же, как, скажем, "Бог умер" у Ницше. Слово выпустили на свободу, с ним можно поступать как угодно. Это дало нам невероятный толчок. Если бы не было Маринетти, то либо не было бы Джойса, не говоря уже о Хлебникове и Маяковском, либо Джойсу, Хлебникову и Маяковскому пришлось бы Маринетти выдумать. С этого и должно было все начаться. С установки, что слова свободны. С этой точки зрения футуризм, его открытия сыграли решающую роль.

1. Владимир Федорович Марков (р. 1920) — представитель второго поколения русской эмиграции, поэт и литературовед, исследователь творчества В. Хлебникова; автор книги: The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. Berkeley, Los Angeles, 1962.
2. Оценочное суждение Вата: Филиппо Таммазо Маринетти (1876–1944) был не только главой и теоретиком футуризма, но и поэтом, очеркистом, автором пьесы и романов.
3. "Слова на свободе" — лозунг Филиппо Маринетти.

В социальных и политических вопросах мы были циниками. Социализм мы представляли себе как доктрину, как некий идеал. А своим врагом считали коллективизм, да-да, именно коллективизм с его жесткой регламентацией, требованием законности. Мы же хотели беззакония. Мы видели русскую революцию, видели, как сто пятьдесят миллионов человек на огромном пространстве крушат абсолютно все, что существовало до них, иначе говоря, проводят в жизнь то, о чем Маяковский писал еще до революции: можно начать все сначала и делать по-своему. Для нашего интеллигентского сознания не существовало ничего более заманчивого. Во что выльется коммунизм, еще было неясно. Тогда мы воспринимали его как тотальный нигилизм и всеобщее смешение, правда, кровавое, как потом показал Пильняк; но эта деревня, этот взрыв диких, архаических сил! То был уже не демос, а и впрямь что-то невероятно древнее. Нам, революционерам-эстетам, русское сектантское буйство, его темные силы казались невероятно привлекательными. И вот в какой-то момент мы сделали решительный шаг. Вошли в "Новую культуру" Гемпеля, смешавшись с разными там Словиками, причем, по наивности своей, считали, что мы всех примиряем.

Это был ежемесячный журнал. Помню, я принес в редакцию какой-то сумасбродный рассказ о двойном агенте Азефе, потом еще какой-то стишок о боге-полицейском, очень атеистический. Туда входили я, Стерн, Бруч и, кроме того, Броневский[1]. Как там оказался Броневский? Я встретил его в университете, на философском факультете. Он только что демобилизовался, офицер, провоевававший семь лет, в то время искал Бога и переживал какие-то свои мировоззренческие кризисы, к которым относился с невероятной серьезностью. Часами читал наизусть "Беневского"[2]. В общем, родословная понятна: Словацкий, а значит, и "Скамандр" — в той мере, в какой "Скамандр" был последователем Словацкого. "Господин поручик, прямой, как свеча" — ты знаешь эти его стихи. "Скамандриты" сразу оценили его, хотя он еще ничего не напечатал. Он не забывал старых армейских друзей. Легко мог сделать военную карьеру как один из "стариков" в своем легионе, но, как я уже говорил, был поглощен своими душевными страданиями. Еще одна интересная деталь — он жил с матерью и сестрами на Даниловичевской, его дядей по матери или по отцу был генерал Конажевский. Так вот, комната у него была супершляхетская: персидский ковер, дедовские кинжалы, сабли крест-накрест, пианино, которым он нас мучил — играл Шопена, играл ужасно, но самое ужасное, что приходилось это слушать. Тут он, как и во всем остальном, был деспотом. Сабли крестом на персидском ковре, в углу венгерка, где-то там военный мундир и *Virtuti Militari*[3], а на письменном столе — Ленин, зачитанный, с пометками на полях, и стихи. "Господин поручик, прямой, как свеча"... Понимаешь? И дикий Шопен. Я где-то читал о том, как Пшибышевский играл Шопена. Наверное, получше, но по сути то же самое — через пшибышевщину. Вот и Броневский туда же. И все это при... как бы получше выразиться, интеллектуальной наивнос-

1. Анатоль Стерн (1899—1968) — поэт, писатель-сатирик, литературный и кинокритик, один из основателей польского футуризма; Владислав Броневский (1897—1962) — поэт, переводчик, родоначальник "пролетарской" поэзии в Польше. В 1940 г. был арестован во Львове органами НКВД, освобожден в 1941 г., воевал в армии Андерса.
2. "Беневский" (1841) — неоконченная поэма Юлиуша Словацкого.
3. Орден "За военную доблесть" (*лат.*).

ти, которую он сохранял до конца. Броневский не был интеллектуалом, хотя не надо преувеличивать, потому что временами, между третьей и пятой рюмкой, у него появлялся потрясающий, утонченный юмор. Качество оного определялось моментом: между второй и четвертой или между третьей и пятой — в зависимости от того, как шел процесс отрезвления. По форме Броневский был "скамандритом", Лехонь[1] ценил его очень высоко, считал идиотом, но ценил как большой талант. Броневский, с одной стороны, был приверженцем поэтической традиции, нас считал варварами — тут он не ошибался — и "антиполяками", потому что ничего польского в нашей поэзии не было. С другой стороны — Ленин и Маяковский. Формально Маяковский его еще тогда отталкивал, но Маяковский — певец революции, как и Ленин, поэтому Броневского тянуло к нам, футуристам, — тем, кто хотел совершить революцию в литературе. Мы находились под влиянием Маяковского, а значит, духовно, идеологически были ему близки. Вот он и застрял у нас, никак не решался перейти к "скамандритам". Наконец совершил посадку у Гемпеля. Если мне не изменяет память, именно он был инициатором союза с Гемпелем. Получился эдакий ковчег Завета.

В то время, о котором я говорю, Гемпель уже с головой ушел в коммунизм. Женился на простой работнице, побывал на курсах в России и стал функционером на зарплате. Имелась такая категория. Платили им мало, нищенски, но они были чиновниками, аппаратчиками. Гемпель стал первым известным мне аппаратчиком. Собственно, я и познакомился с ним как с аппаратчиком. Он был человеком очень благородным и добрым, но я узнал его, когда он был уже запуган и с ужасом ожидал, что скажет начальство. Чиновник на побегушках, связанный по рукам и ногам. В "Новой культуре" он еще казался хозяином: редактор, идеолог. Но только казался, на самом же деле таковым не был. И хотя тогда партийная организация, а это 1923, 1924 годы, была более или менее свободной — партия еще не стала монолитом, однако после третьего номера, где мы опубликовали свои футуристические стихи, разразился страшный скандал, причем именно в партии. Гемпелю наговорили каких-то невероятных вещей, и он нас уволил. Просто выставил на улицу, распрощался. Оставил только Броневского как секретаря редакции. Броневский нуждался, и другой работы у него не было. Вот так в обстановке взаимных недоразумений произошла первая встреча литературных новаторов с партией, и очень скоро иллюзии как с одной, так и с другой стороны развеялись.

"Три залпа" (Броневский, Станде, Вандурский)[2] — год 1925-й, книжку издали после закрытия "Новой культуры", в это время Броневский был уже с коммунистами. Появились Вандурский, Станде. Оба имели за душой изданные сборнички, но очень примитивные. Эти двое вышли из партийных низов, занимались партийной работой и ни в какие литературные группы не входили. Станде был под обаянием немецкого экспрессионизма и немножко "Здруя"[3]. Вандурский, пролетарий из Лодзи,

1. Ян Лехонь (наст. имя — Лешек Серафинович, 1899—1956) — польский поэт, в 20-е гг. — член поэтической группы "Скамандр".
2. Станислав Рышард Станде (1897—ок. 1939) — поэт, представитель "пролетарской" поэзии; репрессирован в СССР; Витольд Вандурский (1891—ок. 1937) — драматург, поэт и публицист, с 1929 г. жил в СССР, в 1933 г. арестован.
3. "Здруй" — журнал польских экспрессионистов.

женился на врачихе, занимался организацией митингов и находился под влиянием Пролеткульта. В сущности, все трое ориентировались на Пролеткульт. Броневский, может быть, в меньшей степени, тогда он был очень проскамандритский, словацко-скамандритский. Но Вандурский, и особенно Станде, несмотря на любовь к экспрессионизму, — это польский вариант Пролеткульта. Так сказать, его первая польская серьезная заявка. Ясенский же со Стерном оказались бабочками-однодневками, никто в партии их серьезно не воспринимал. <...>

II

Ват: <...>Ты меня спрашивал о "Дзвигне"[1]. С ними я был связан благодаря личной дружбе со Ставаром и отчасти Щукой[2]. Ставар был коммунистом довольно давно, он вообще свою интеллектуальную жизнь начал сразу с коммунизма. Самоучка, из деревни, очень начитанный — читал все подряд. Языков, кроме русского, не знал, но зато по-польски не пропускал ничего, что касалось марксизма. Был секретарем коммунистической фракции в Сейме. Но уже тогда у него начались большие неприятности по партийной линии. Щука закончил Школу изобразительных искусств, обожал архитектуру. Вместе со Ставаром, на которого большое влияние оказали "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ", они основали журнал "Дзвигня", который должен был новыми художественными средствами пропагандировать революцию и коммунизм. Так она и появилась, "Дзвигня". Жилось им очень тяжело, потому что партия считала их бесполезными. По тем же причинам, что и сегодня. Одна из них — новизна языка, новая азбука искусства; ожидалось, что этот язык станет проводником идеологии, оружием классовой борьбы, а на самом деле он оказался непонятным для масс, не доходил до них. Широким массам гораздо понятнее был Словик, о котором я уже говорил, сентиментальные стихи Словика или полусолдатские, динамичные Броневского. И еще одно — в сфере идеологии, в том, что они называют надстройкой, коммунисты всегда были традиционалистами, и не только потому, что традиционное искусство понятнее народу, но из-за их собственной двойственности, когда речь идет о соотношении теории и практики. Теория декларировала гуманистические принципы, которых не постыдился бы и Лев Толстой, а искусство Ставара и Щуки, апеллировавшее к интеллекту, считалось дегуманизированным, оно входило в противоречие с тем, чего хотели и хотят коммунисты.

Милош: Еще один вопрос. Первый "Краковский авангард" Пайпера и Пшибося?

Ват: Это было в те годы явлением очень интересным и знаменательным. Пайпер, несомненно, предтеча конструктивизма. Он приехал — не помню — в 1920 или в 1921 году. "Звротница"[3] начала выходить в 1921-м, может быть, немножко позже. Пайпер вернулся из

1. "Дзвигня" (*польск.* рычаг) — общественно-литературный журнал, издавался КПП.
2. Анджей Ставар (1900–1961) — польский поэт, критик, переводчик, сотрудничал в коммунистических изданиях; Мечислав Щука (1898–1927) — художник, скульптор, представитель авангардного искусства.
3. "Звротница" (*польск.* стрелка) — журнал "Краковского авангарда".

Испании, где он прилежно посещал собрания в "Атенео"[1] и был большим поклонником и другом испанского поэта-конструктивиста Уидобро[2]. Намного старше нас – такой господин с бородкой и в декадентской шляпе с широкими полями. Всем нравилось клясться бородой Пайпера. Курил сигару. На собраниях в кафе председательствовал и, на манер мадридских художников и поэтов, явно стремился основать школу. Превосходил нас всех зрелостью мыслей. Размышлял последовательно, но слишком запрограммированно. Правда, в тогдашней суматохе никто этого не замечал, то есть, может, и замечал, но его мысли так отличались от того, что делали мы, варшавские новаторы первой волны! Наша роль, если вообще она у нас была, – заключалась вот в чем: быть частицей некоего целого, занять хоть какое-то место среди направлений и явлений, из которых складывалась общая картина литературы того времени. На самом же деле мы были антилитературой, а в жизни, из-за всех своих протестов и скандалов, которыми сознательно провоцировали общество, – аутсайдерами. Начав с антипоэзии и антилитературы, мы шли от того, что называется жизнью, но чем больше писали, тем больше приобретали вкус к поэзии, наша поэтическая практика становилась футуристической, конструктивистской, мы сближались с "Краковским авангардом". Пайпер мастерски сформулировал теорию и опробовал на практике свое новое направление, создал алфавит и язык для новой темы: Город–Масса–Машина. Но наметились и решительные расхождения. Я, например, сознательно шел в сторону бормотания, лепета, сегодня нечто подобное наблюдается у Бялошевского[3]. Я хотел раздавить, смять слово, а Пайпер и "Краковский авангард" – это очень рафинированный эстетизм, чистой воды эстетизм.

Милош: Но они же вторичны по отношению к французскому символизму.

Ват: Да, конечно, это его производная. Они тоже хотели изменить тип поэтического восприятия, исходили из нового способа чувствования – как бы новой кожей, из экзальтации поэзии и эстетики, но в антиэстетику не превращались. Мы же с самого начала стояли на противоположных позициях, но все мы были молоды, в головах хватало всякой мути, и противоречия как-то сглаживались. <...>

IV

Милош: Я хотел бы сделать комплимент всем, кто выпускал "Месенчник литерацки". Я имею в виду репортажи – или то, что выдавалось за репортажи, – из всех уголков страны, в них вы писали об очень конкретных социальных проблемах. Без всякого сомнения, на читателя это воздействовало сильнее, чем любое теоретизирование.

Ват: Идея ежемесячника возникла у Ставара. Что касается меня, то это был период полного ослепления. Я тебе уже говорил, что 1924-м и

1. Культурно-просветительские центры в Мадриде и других городах Испании.
2. Висенте Уидобро (1893–1948) – чилийский поэт, основатель поэтического направления, получившего название "креасьонизм", в 20-е гг. жил в Мадриде и Париже.
3. Мирон Бялошевский (1922–1983) – поэт и прозаик, представитель "лингвистической" поэзии, в основе которой лежит словесная игра.

1925-м я писал рассказы, некоторые из них опубликованы в "Скамандре", в 1926-м я выпустил их книгой, а в 1928 году начался мой коммунизм. Что случилось? Поглупел. Очень простая история. Не выдержал атеизма и нигилизма. <...>

Знаешь, есть такой рассказ у Грэма Грина, по-моему, один из лучших. Герой, уезжая в отпуск, запер дом, а туда забралось хулиганье. Сломали внутреннюю лестницу, все разрушили, растащили, остались одни стены. Хозяин возвращается, видит издалека свой дом, вроде ничего не изменилось. Входит, а там пустота и разруха. Так и моя тогдашняя злость, страшная, неукротимая, была проявлением интеллектуального хулиганства, реакцией на то, что внешне вроде ничего не изменилось, а внутри — все изуродовано, разрушено, выброшено на помойку. Оказалось, что этого я вынести не могу. И я бросился в объятия единственной имевшейся веры. <...>

VI

Ват: Долгое время роль связного между нами и партией в "Месенчнике" выполнял Гемпель. Противно было смотреть, как он бегал туда-сюда. Со мной он маялся. Например, приносил целую кучу партийных материалов и статей, а я их не печатал, оставлял за собой право вето. Он постоянно метался между мной, то есть редакцией "Месенчника", и партначальниками, хотел все уладить, найти компромисс. Им как-никак хотелось оставить "Месенчник" за собой. Случалось и такое: они, например, запретили стихотворение Броневского "Бакунин". Дескать, нельзя печатать стихи, где превозносится Бакунин, которого Маркс выгнал из Интернационала. А я уперся: "Будем печатать". Потом то же самое — с другим его стихотворением, очень есенинским, пессимистическим. "Ну, как это, мы строим социализм, а он нас отравляет пессимизмом". Я никогда не был поклонником музы Броневского, никогда, но ведь он поэт, да и вообще я не из покладистых. Короче говоря, я заартачился. Гемпель выглядел таким жалким, трусил перед ними. Насколько он был смел — ну, просто лев, да и только — при столкновении с полицией, с государственной властью (а уж в тюрьме — просто железный человек!), настолько трусил и постоянно трясся перед партийным начальством. Явление довольно распространенное. Уже тогда, в 1928 году, партия отличалась железной хваткой.

Броневский же был человеком очень храбрым и безумно упрямым, особенно когда дело доходило до поэзии, до его стихов. Скандалы случались и из-за статей Ставара — начальство не желало никакой полемики, — но я их протаскивал. Вот тебе образчик обычной раздвоенности этой породы: с одной стороны — невероятная смелость, геройство, бескомпромиссность, с другой — дикий страх и в конце концов полный конформизм. Обвинение в троцкизме в 1928 году звучало небезопасно, тем более, что на заседании Коминтерна, кажется, в 1925-м, вся польская делегация поддержала Троцкого. Помню, вначале ужас Гемпеля и ему подобных — вдруг их заподозрят в левизне! А потом — противопо-

А. Ват и Ч. Милош. Беркли, 1963 г.

ложное: дикий страх, что их заподозрят в правых настроениях и сочувствии Бухарину.

Милош: Я бы хотел вернуть наш разговор в более литературное русло. Ты знаешь романы Виткевича[1], помнишь, когда они вышли: "Прощание с осенью" – 1927 год, "Ненасыщение" – 1930-й. Там как раз описана Польша того периода, о котором мы говорим. В "Прощании с осенью" – банкиры, богатые буржуазные дома, приемы, иногда даже оргии и страх перед революцией и "уравнителями", как он их называет.

Ват: Что касается банкиров, то я бывал с Виткевичем у одного из них, его незаконная жена, литовская княжна, приходилась близкой родственницей Виткевичу – кузиной, но он называл ее всегда княжна. Она жила с банкиром, евреем, который, кстати, помог Польше получить выплаты по плану Юнга[2]. Я появлялся на этих приемах с Виткевичем, он же меня и познакомил с хозяином, только раньше, году в 1924-м, 1925-м. Но видишь ли, какая история, Виткевич отнюдь не может служить "зеркалом на большой дороге", он, возможно, порой и попадал в точку, но зеркалом не был. Установка на деформацию у него так велика, что реконструкция образа Польши, тем более какой-то конкретной Польши, по Виткевичу – дело совершенно невозможное. Он создавал образ самого себя. Бросал в котел всякую всячину, что-то брал в Польше, что-то в Европе, все перемешивал и придавал этому собственную физиономию. Книги Виткевича – это сам Виткевич, его портреты. Каждая вещь – портрет Виткевича, одного из многих Виткеви-

1. Станислав Игнацы Виткевич (псевд. Виткацы; 1885–1939) – польский писатель, художник, философ; автор теории "чистой формы" в искусстве.
2. План взимания репарационных платежей с Германии был разработан в 1929–1930 гг. под руководством американского банкира Оуэна Юнга (1874–1962).

чей. Виткевич и сам образ своей эпохи, и через то, что он пишет, если воспринимать это опосредованно, можно почерпнуть немало сведений о Польше и мире. Но как непосредственный источник знаний он очень ненадежен. <...>

VII

Ват: <...> Ты меня спрашивал о тогдашней социально-политической ситуации и образе Польши у Виткевича. А я говорил, что этот образ нужно воспринимать опосредованно, но прав был лишь отчасти. Как и на все на свете, на это можно взглянуть по-разному. Во время революции Виткевич находился в России, к тому же в качестве офицера одного из самых блестящих аристократических полков. Мы видели его фотографию в мундире — просто молодой бог, невероятный красавец. Кстати, фотография очень интересная, сделана в зеркалах — через систему зеркал, получилось восемь Виткевичей, сидящих вокруг стола. Как ему удавалось служить в таких частях без надлежащих средств? Ведь это было дорогое удовольствие. Тем не менее выглядел он блестяще. К слову сказать, банкир, о котором я говорил, жил тогда в Петербурге или Москве. С кузиной или племянницей Виткевича, княжной Довгелло или что-то в этом роде.

Милош: Во время войны Виткевич из Австралии вернулся в Петербург, там у него нашлись какие-то его родственники, вроде очень хорошо устроенные.

Ват: Вот именно, кажется, эта самая Довгелло. Они с Виткевичем потом нередко вспоминали об ушедших временах.

Милош: Но, наверняка, по-русски он не говорил. Ведь он из Закопане.

Ват: Он фантастически умел передразнивать людей — мимику, манеру говорить. Обладал невероятной звуковой памятью, поэтому язык мог выучить очень быстро. *A propos*[1], ты знаешь, почему он оказался в Австралии? Его невеста покончила с собой, и ходили разговоры, что в результате его экспериментов, он будто бы подтолкнул ее к этому. Существовала реальная опасность, что прокуратура займется этим вплотную, и тогда его быстренько отправили в Австралию. Он, видимо, еще совсем молодым начал ставить эксперименты на людях. Да, так вот, он участвовал в революции. Но говорить об этом не любил. Правда, время от времени что-то такое мне рассказывал, но гораздо больше я узнал от ротмистра Лангнера, его приятеля, который знал всю его подноготную. Виткевич был невероятно популярен среди солдат, поэтому его оставили в полку. Но что-то там произошло трагическое, он мучился угрызениями совести. Точно не знаю, но догадываюсь. Видимо, его друзья-офицеры стали жертвами кровавой расправы. Он не любил говорить о России, о русской революции и дико боялся коммунизма. В своих романах он, конечно, использует его, но только как понятие, не выходящее за пределы литературной игры. Мы дружили, однако, превратившись в коммунис-

1. Кстати (*франц.*).

тического неофита, я перестал быть тем, что называется *salonfähig*[1], нигде не мог удержаться от агитации. Обращал всех подряд. Помню, мы както ужинали у нас дома: Виткевич, Заремба, если не изменяет память, и Загорская[2]. Все закончилось плачевно, потому что как хозяин я вел себя отвратительно, просто дырку им в голове просверлил, агитируя за коммунизм. А он терпеть не мог таких разговоров. Я все-таки думаю, что дело было в какой-то травме, а может, и в трусости — уж очень он не любил эту тему. Когда мы еще дружили, я расспрашивал его о жизни в России, но он либо не отвечал, либо плел какие-то фантастические байки. Впрочем, хочу обратить твое внимание на другое.

Милош: Но ведь он, кажется, был человеком фантастической смелости?

Ват: Одно дело смелость в бою, а совсем иное, когда вокруг тебя озверевшая толпа, взбунтовавшиеся солдаты. Это уже не вопрос природной смелости. Вспомни, например, хотя бы его культ Мичинского[3], кстати, очень на него повлиявшего: "Василиссу Теофану" он считал одной из лучших польских пьес. Так вот, этот культ связан был у него с необычайно элегическим отношением к смерти Мичинского, очень страшной и жестокой. Ты помнишь, того ведь зарубили. У самоубийства всегда много причин, но последним поводом, последним толчком к самоубийству, как я уже говорил, стал, возможно, для Виткевича страх перед тюрьмой, особенно советской. Весьма вероятно, что он его испытывал. Когда меня освободили из-под ареста в связи с "Ежемесячником", мы с ним пошли в какую-то пивную, он все смотрел на меня (да и потом в Закопане тоже) и хватался за голову: "Александр, как ты мог это выдержать? Восемь недель!" Мы говорили о тысяче вещей, а он снова и снова: "Как можно выдержать восемь недель в тюрьме?"

Но я хочу сказать совсем другое. Мне кажется, никто никогда не обращал внимания на влияние русской классической литературы на Виткевича. Вчера я просматривал одну статейку о Гоголе, давно собирался. Представь себе Гоголя, который появился бы не только после Рембо, но и после Маринетти, футуризма и Маяковского. Отбрось формальные приемы, которым Гоголь, человек своего времени, или, как говорят марксисты, "ограниченный своим временем", должен был следовать. Я тут наткнулся на одну его замечательную повесть — "Иван Петрович Шпонька и его тетушка[4]". По духу очень близко к драматургии Виткевича, но Виткевич пошел дальше, конечно. Ведь у него за плечами авангард, он уже не считал нужным придерживаться тех правил, которые другие полагали для себя обязательными. Возьмем, например, сон Шпоньки из Гоголя. Это же что-то среднее между Виткевичем и Кафкой. Шпоньке лет так под сорок, тетушке пятьдесят, и вдруг ей стукнуло в голову, что пора его женить. Шпонька в ужасе. Как большинство героев Гоголя — вспомним, например, "Женитьбу", — он напуган этой идеей

1. Светский (*нем.*).
2. Ева Шельбург-Заремба (1899–1986) — прозаик, автор книг для детей и юношества; Анна Загорская (1882–1942) — поэт, прозаик, член ППС; погибла в Освенциме.
3. Тадеуш Мичинский (1873–1918) — польский поэт, драматург и прозаик, представитель польского модернизма; автор драмы из жизни Византии X в. "В сумраке золотого дворца, или Василисса Теофану". Убит белорусскими крестьянами при до конца не выясненных обстоятельствах.
4. Неточность: героя Гоголя зовут Иван Федорович Шпонька.

невероятно. Гоголь великолепно рисует сцены метафизического ужаса, который охватывает Шпоньку при мысли, что придется лечь в постель с женщиной. Ему снится, будто он убегает от невесты, но силы оставляют его, он падает. Вдруг кто-то хватает его за ухо. Оказывается — это жена с головой гусыни. И таких жен-гусынь множество. Куда ни глянь — всюду она. Снова бежит, и снова — жены, жены: в шляпе, в кармане, в его собственном ухе. Потом во сне является тетка, она же колокольня. Убери отсюда условность сна, которой придерживался Гоголь... правда, не всегда. Возьмем "Нос", помнишь того типа, у которого нос то исчезает, то появляется без всяких причин. Без каких бы то ни было физических обоснований и объяснений. Или, скажем, "Женитьба". Невеста, девка на выданье; сваха, которая непременно хочет героя женить; и его приятель, который настаивает на том же. А он страшно боится. Но вот наконец он рядом с невестой, их заставляют поцеловаться в губы. И после поцелуя он сразу: "Мы должны сей же час пожениться". <...> Невеста убегает переодеваться. И вдруг на него находит ужас. Страх, леденящий душу. Оглядывается, комната заперта. Видит окно. К счастью, этаж первый, невысоко, и он выпрыгивает. Да это же настоящий Виткевич! Ну и последнее, чтобы закрыть тему. Я думаю, образец, которому он сам следовал, — главный герой "Бесов". Опустошенный человек с выжженной душой, ставящий эксперименты на себе и на других. Самые рискованные — и до самого конца. Одновременно это человек, который всех очаровывает. Виткевич был такой же: попойки, какое-то копание в грязи — чистый Ставрогин. Не думай, что я импровизирую, у меня и тогда было полное ощущение того, что рядом со мной Ставрогин. Например, однажды в Варшаве он меня повел к такому художнику Ежевскому — на Литовскую улицу, там еще внизу был *Tattersall*[1]. Художник — ниже среднего; жил с толстой бабой, тоже художницей, старше его, на редкость безобразной, похожей на ведьму и слегка тронутой. Перебивались они тем, что рисовали цветные почтовые открытки, вернее, попросту раскрашивали к праздникам. Там и происходили так называемые "трехдневки". Грязь неправдоподобная, вонь жуткая. Постели лежат прямо на полу, валяются какие-то тюфяки. Белье — год как не стиранное. Хозяева просто смердят от немытости. И вот там-то запирались на эти самые "трехдневки": три дня — хлеб, колбаса и водяра. Каждый приносил водку, и начиналось! Однажды я пробыл там без малого двое суток, больше не выдержал. Виткевич говорил, что на третьи и начинается *общая схватка.* То было его любимое выражение. Групповая оргия. Он рассказывал об этом постоянно: чьи-то руки, ноги, непонятно, что кому принадлежит. Я, конечно, видывал там всякое, но до *общей схватки* как-то не доходило. Пили до полного идиотизма. Правда, у Виткевича голова была крепкая, по крайней мере тогда. Одним словом, какие-то подозрительные типы, опустившиеся личности, уголовники, художники, *бывшие люди,* и в этой кошмарной норе Виткевич — красивый, остроумный, блистательно красноречивый. Эпилог у этого моего знакомства был забавный. Представь себе — внизу *Tattersall*, тогда еще существовали военные представительства, и какой-то английский генерал каждый день совершал во дворе конную выездку. Ну, и наш художничек сначала

1. Конюшня для проката лошадей (*нем.*).

наблюдал за ним со второго этажа, потом сделал набросок и показал ему, а генерал возьми да и закажи настоящий английский портрет. Ежевский получил какие-то колоссальные деньги. Виткевич сказал, что Ежевские переезжают на другую квартиру, и в сочельник будет *новоселье*, он часто вставлял в свою речь русские слова. Я был молод, и мысль об оргии мне очень импонировала. Я воображал, что увижу Содом и Гоморру. На всякий случай, как научил меня Виткевич, сунул в карман бутылку водки (впрочем, все что-нибудь приносили). Приходим, все просто сияет чистотой, пахнет дивно, огромный стол, белоснежная скатерть, толпы гостей. На стене Пресвятая Дева и распятие. На столе никакой водки — одно вино. Мы с Виткевичем тут же вышли в коридор и начали пить прямо из горла. Соответствующего навыка у меня не было, я тут же опьянел, вернулся в комнату и, в бешенстве от того, что мои ожидания обмануты, набросился, как тигр, на Ежевского и давай его душить. Потом я еще как-то раз одного человека чуть не задушил спьяну, пришлось с выпивкой покончить. Да, так что в общем — Ставрогин! Виткевич, несомненно, находился под большим влиянием образа Ставрогина. Хотя, кажется, ни о Достоевском, ни о Гоголе никогда не писал, он принадлежал к тем писателям, которые любят заметать следы или пускать по ложным.

Милош: Ставрогин у Достоевского человек конченый; ты считаешь, что Виткевич тоже? В чем это выражалось?

Ват: Виткевич был душевно совершенно опустошен. Все его теории — угасание метафизического чувства...

Милош: Но ведь чего-чего, а чувства этого ему было не занимать.

Ват: Смотря что иметь в виду. Ставрогину тоже было не занимать ума, оригинальности, идейной смелости, но если говорить о системе ценностей, человек он был конченый. А Виткевич? Все его пьесы — это же просто Пшибышевский, только еще не высмеянный.

Милош: Ладно, не будем слишком критичны. <...>

VIII

Милош: Я расспрашивал о Виткевиче — он меня очень интересует, ведь он был катализатором, человеком невероятно чутким к разным эстетическим направлениям. И ты, и он верили, но каждый в свое: один в нечто позитивное, другой — наоборот. То же наблюдалось и в моем поколении — мы одновременно читали и Виткевича, и "Месенчник литерацки". <...>

X

Ват: <...> "Месенчник литерацки" был большой политической акцией, резонанс имел огромный. Сейчас в это и поверить трудно. Мы выходили пятитысячным тиражом, и каждый номер зачитывался до дыр. Люди покупали один экземпляр на двадцать человек. Журнал попадал даже в тюрьмы. Его читали все сочувствующие коммунизму, и авторитет у него был колоссальный. Не могу понять, как мы этого добились. Возможно, дело в том, что это просто было самое интеллигентное коммунисти-

ческое издание. Но в литературном отношении — полный провал. Мы замкнулись в нашем маленьком гетто: несколько человек, наглухо отгородившихся от остальной литературы. <...>

Шел 1931 год. Как литературная группа мы потерпели сокрушительное поражение. Мы не только не расширили свое влияние, а почти его утратили, я, например, как поэт, сам себя закупорил. По существу, остался один Броневский. Арестовали нас в начале сентября, если не ошибаюсь. Как только привезли в участок, сразу, в первую же ночь, вызвали на допрос к следователю. Такой себе типичный полицейский, потом один энкавэдэшник мне очень его напомнил. Все они похожи, во всяком случае, это один и тот же тип — сотрудник тайной полиции. Такие есть во всех странах и при всех режимах. Тот был суровый, но не жестокий и невероятно унылый. Первым делом он мне заявил: "Как вам известно, сегодня (а может, вчера) Сейм утвердил решение о введении особого положения (или чего-то в этом роде). Ваше преступление подпадает под статью, предусматривающую наказание в виде смертной казни". Это было слишком грубо, чтобы меня испугать. Я знал, что какое бы ни действовало положение, особое или нет, о смертной казни нет и речи. Так что он перебрал, и прием не сработал. После допроса, который продолжался час или полтора, внесли в протокол мои анкетные данные. Разумеется, в ходе допросов приписывали мне какую-то демоническую роль, конспиративную деятельность, напирали на мое высокое положение в партии. В общем, все по известному сценарию, ничего нового. Было ли мне страшно? Не слишком. Не могу сейчас восстановить в памяти тогдашнее мое состояние, но, в конце концов, я же заранее знал, что так все и будет. Единственное, это совпало с периодом и без того для меня тягостным: Оля только что встала после тяжелой болезни, и Анджей был такой слабый[1]. Я ожидал, что получу года четыре, максимум — пять. Труднее всего было из-за Оли, мы действительно никогда не разлучались — не расставались ни на минуту. Но, с другой стороны, это было что-то вроде крещения, посвящения в высокий сан. Я представлял себе, как буду здесь, в тюрьме, работать над собой, стану истинным сыном новоявленной "церкви" или даже знаменем борющегося пролетариата. Тюрьма превратится в мои университеты, школу, первое причастие. Я утешал себя тем, что выйду отсюда не мягкотелым интеллигентом, а несгибаемым, мужественным революционером. Я походил на человека уже обратившегося, но еще не крестившегося, который думает, что, как только его окропят, все сомнения отпадут и он узрит свет откровения, поистине лучезарный. На деле же, внутренние сомнения мучили меня тогда страшно. Я понимал все убожество "Месенчника" и убожество нашей интеллектуальной жизни. Но еще хуже было ощущение интеллектуального убожества, которое потом, при Беруте, стали называть "тоской межвоенного периода". Но это была не тоска, а именно ощущение ужасного убожества. Я надеялся, что избавлюсь от него в результате тюремной закалки — облекусь, так сказать, в "новую плоть". Как я вел себя на следствии? Полагаю, экзамен я все-таки выдержал. Может быть, слишком много говорил, бывал болтлив. После допросов упрекал себя за многословие. Но

1. Оля (Паулина) Ват — жена Вата, Анджей Ват — сын Вата.

все-таки, думаю, держался скорее с достоинством. Во всяком случае в камере вел себя как положено. Принимал участие в четырехдневной голодовке. Или вот первого мая — мы знали, что, если позволим себе хоть какой-нибудь демонстративный жест, расправы не миновать. И все же, когда нас вывели на прогулку, у каждого в петлице что-нибудь краснело: клочок бумажки, лоскуток... А из всех окон за нами и впрямь следили вооруженные охранники, шпики. Тем не менее мы промаршировали по маленькому дворику, по-военному печатая шаг. Как солдаты революции. И хоть и негромко, но все-таки вполне отчетливо пропели: *"Все выше, и выше, и выше..."*, не обращая внимания на их револьверы и грозный вид. На это я был способен. <...>

XI

Ват: Камера № 13, если не ошибаюсь. В ней нас держали, пока шло предварительное следствие, потом перевезли в тюрьму. Все, кто проходил по одному делу, сидели в одной камере — вещь в Советской России неслыханная. Начнем с того, кто как переносит тюрьму. Я — очень плохо. Быстро понял, какая это для меня мука, а ведь только что я так много думал о заключении, даже с каким-то подъемом воображал себя в роли узника, и вдруг — хоть вой. Тогда я впервые испытал "радости" отсидки. Во всей полноте и, так сказать, в кристально чистом виде они открылись мне на Лубянке. Коммунисты говорят, что самые трудные — первые десять лет. Неправда. На Лубянке я под конец уже научился сидеть. Не все одинаково реагируют на тюрьму, и на Лубянке я понял, в чем состоит основная трудность, особенно для людей определенной категории. Там сознаешь, что личность не автономна, и раньше ты существовал в неком симбиозе, а теперь ты калека — часть тебя отрезали, отрубили, оторвали. Второе — на Лубянке это было особенно мучительно — ощущение замурованности. Наконец, третье и самое трудное — опять-таки во всей полноте осмысленное мной в одиночке на Лубянке, — восприятие времени. Парадоксы восприятия времени: настоящее невероятно растягивается, становится похожим на гармошку, а прошедшее катастрофически сжимается. Я сейчас говорю походя, потому что объяснить, что это такое, можно, лишь всерьез рассказав о Лубянке. Но даже в благоустроенной и вполне приличной тюрьме, как та наша варшавская, все это уже имелось, хоть и не в такой степени. Там я узнал настоящую цену Яну Гемпелю. В журнальные времена он всегда был в панике — эдакий загнанный партийный функционер, перепуганный, постоянно лепечущий: "Что скажет начальство? Ой-ей-ей, что скажет партия?" Эта вечная оглядка и трясущиеся руки. И вдруг в тюрьме — полное перерождение: спокойствие, достоинство, доброта. Собранный, прямо-таки лучившийся добротой. Он нас учил не только, что говорить и как вести себя на следствии, но и как сидеть. Утрясал все конфликты, особенно те, что вспыхивали между мной и Броневским. Потому что тюрьма вырабатывает свои особые, тюремные яды — между запертыми в клетку людьми возникает ненависть. Он все смягчал, каждого умел успокоить. Для нашей камеры он был как отец родной.

Броневский же в камере вел себя как чудовищный эгоист, и в то же время в нем было что-то обаятельное. Тип человека *indomitable*[1] — совершенно необузданного. Он постоянно ходил, курил папиросу за папиросой и развивал перед нами очередную идею побега — мания в тюрьме распространенная. Причем делал это абсолютно серьезно. У него созревали самые разные, но все как один совершенно детские, фантастические планы побегов и подкопов: отвлечь внимание охранников, раздобыть пилку, подпилить решетку и тому подобное. Временами сценарии бывали очень сложными, прямо-таки головоломными, тем не менее он относился к ним как к чему-то вполне реальному, а не как к бредням, которые просто помогают отвлечься. В воспоминаниях офицеров или военнопленных такой человеческий тип упоминается часто: подобные люди живут своей манией даже тогда, когда она не имеет никакого смысла, когда чревата расправой над товарищами. По ночам он не мог спать, то есть засыпал и тут же просыпался. Начинал откашливаться, сморкаться, вертеться — мы не реагировали. В тюрьме сон — великое благо, самое счастливое время; даже если не спится, можно погрузиться в себя, закрыть глаза и мысленно вернуться домой. А тут в час или два ночи — кряхтение, метания на койке, и наконец, если мы не просыпаемся, он вскакивает как ужаленный, принимается петь, курить, а если и это не помогает, хватает нас за руки и заставляет слушать стихи или затевает философские споры. Стихи читал свои или, чаще, Словацкого. Память у него была великолепная, Словацкого он знал наизусть почти всего. Из тех, с кем я встречался, только он и, пожалуй, еще Галчинский[2] никогда не забывали, что они поэты в самом высоком смысле слова: ни при каких обстоятельствах не отказываться от своего *mode d'exister*[3], в любой ситуации — поэзия прежде всего. Так что иногда приходилось слушать стихи ночами напролет.

Я не запомнил подробностей следствия: тупо, скучно и, в сущности, безобидно. Следователь — помню его физиономию, но не помню фамилии — из тех, что в России, а позже и в Польше встречались на каждом шагу. Мировоззренчески, да и по темпераменту не полицейский, а бюрократ, канцелярский работник. Вел себя противоречиво: с одной стороны, страшно нас запугивал, я тебе уже говорил, даже грозил смертной казнью (что было смешно), ну и большими сроками; а с другой стороны — материалов, чтобы засадить нас надолго, ему более чем хватало, но самые опасные вещи, которые нам было бы трудно объяснить, он из дела так и не вынул. Полагаю, получил на этот счет соответствующую инструкцию. <...>

XII

Ват: Хочу еще раз ненадолго вернуться к моему варшавскому тюремному опыту. Кое-что сформулировать поточнее, чтобы не получилось односторонне. Я тебе уже говорил об арестантах из народа. Впервые в жизни я попал в неинтеллигентную коммунистическую среду. И обнару-

1. Неукротимый (*англ.*).
2. Константы Ильдефонс Галчинский (1905–1953) — польский поэт и переводчик, в 20-е гг. член авангардистского объединения "Квадрига".
3. Способ существования (*франц.*).

жил там сильнейшую классовую ненависть, зависть, жажду мщения и тому подобное. Не хочется, чтобы у тебя создалось впечатление, будто я ко всем таким заключенным относился отрицательно. Разумеется, среди них попадались прекрасные люди — большой нравственной чистоты, готовые к абсолютному самопожертвованию. Причины агрессивности и мстительности у этого слоя были совсем иные, чем, скажем, у мещан или интеллектуалов — например, у писателей. Для писателей враждебность, зависть, желание мстить — это особенности их психотипа, глубоко неприятные и, несомненно, отрицательные. Тогда как для коммунистов из народа враждебность была таким же естественным чувством, как *libido*, в будущем оно могло превратиться в *libido dominanti*[1] (например, представим себе, что кто-нибудь из них лелеет мечту стать начальником тюрьмы, один такой у нас и в самом деле был), но чувство это не говорило о них дурно ни в психологическом, ни в моральном плане. Это было естественное чувство, своего рода эстетика — если трактовать ее более широко, как определенный способ восприятия жизни. Да, чувство, безусловно, естественное. Я прекрасно это понимал, тем не менее поразило оно меня очень неприятно. Но я ни на минуту не потерял ко всем ним не только уважения, но и горячей симпатии. К сожалению, они не отвечали мне взаимностью, хотя в целом мы ладили. Вообще, в тюрьмах отношения с людьми складывались у меня неплохо, а иногда и прекрасно, причем сразу. Взаимная симпатия возникает у сокамерников как-то сама по себе, независимо от черт характера — она или есть, или ее нет. Я встречал очень достойных людей, которые с первой минуты вызывали антипатию, и наоборот. Ко мне скорей относились приязненно, особенно в годы моей советской "карьеры", в Варшаве — хуже: я отталкивал коммунистов, с которыми сидел, своей неортодоксальностью, чуждостью, непонятностью. Тогда для меня это было важно. С одной стороны, они меня не разочаровали — напротив, захотелось стать одним из них (в них горел огонек, и я ощутил тоску по чему-то благородному, по какому-то доброму теплу, которое от них исходило), но, с другой стороны, к их доктрине, без которой они жизни себе не мыслили, недоверие мое только усилилось. Словом, все эти нюансы немало для меня значили. Печальным итогом моего нового опыта стало следующее: я осознал, что мы не созданы друг для друга. <...>

Как мне удалось освободиться? В основном, благодаря Стефании Семполовской[2]. Оля ходила к ней на прием на Смольную, и та прислала мне в камеру доктора Стефановского, о котором стоит сказать несколько слов. Он был личным врачом Пилсудского, человек невероятной душевной ясности, голубиной доброты и бескорыстия. С ним считались, потому что Пилсудский любил его чрезвычайно, и в самом деле, не любить его было невозможно. <...> Накануне его посещения мой знакомый, Эрлих, принес мне от тюремного фельдшера порошки, совершенно безвредные, но ускоряющие частоту сердечных сокращений чуть ли не вдвое. Я их принял; на следующий день доктор Стефановский меня осмотрел, тут же появился тюремный врач, но он так уважал Стефановского, что и не пытался возражать ему.

1. Желание господствовать (*лат.*).
2. Стефания Семполовская (1869–1944) — общественная деятельница, одна из руководительниц Союза польских учителей и польского Красного Креста.

Положение мое на свободе было непростым, но, как человек молодой и здоровый, я особенно не печалился. Я понимал, что теперь придется соблюдать осторожность, чтобы не погореть снова. Партия была заинтересована в том, чтобы лицо, хотя и не занятое на конспиративной работе (стало ясно, что для этого я не гожусь), но сочувствующее, не привлекало к себе внимания. (Во времена "Месенчника" я вел себя — сам черт не брат; меня даже предупреждали, чтобы не нарывался на неприятности). В общем, примерно через месяц после освобождения у меня состоялась конспиративная встреча. Не помню фамилии этого коммуниста, он потом кончил страшно — не выдержал тюрьмы. Его посадили и вскоре выпустили, но он, вероятно, был психически болен, потому что сразу после освобождения покончил с собой, выпрыгнул из окна с какого-то там этажа. Но в то время, о котором я сейчас говорю, он выполнял роль связного. Он сразу же предложил мне подумать о проекте нового журнала. Мне следовало подобрать нескомпрометированных людей, которые служили бы, так сказать, фасадом, а я бы держался на заднем плане и работал вместе со Ставаром. И в самом деле, нам нашли какого-то молодого юриста, встречались мы с большими предосторожностями, виделись каждый раз в каком-нибудь богатом доме; чтобы сбить шпиков со следа, всегда брали такси. Но, вероятно, нас все-таки выследили. Когда он подал запрос на журнальную лицензию (полагалось иметь лицензию), ему отказали без объяснения причин. Вскоре меня навестил один знакомый коммунистический начальник и сообщил, что Станде направляют из Москвы в Берлин, и мне следует ждать его там. О чем мы должны были говорить со Станде, уже не помню. Вероятно, все о том же журнале. Но я не поехал, сейчас не могу вспомнить точно почему. Оля никогда мне ни в чем не препятствовала, но в тот раз, помнится, решительно возражала против поездки. Ведь меня только что выпустили под залог, за мной постоянно ходили по пятам, недавно умерла моя сестра, и я еще не пришел в себя после ее смерти, которую переживал очень тяжело. Одним словом, не поехал. Я себя потом спрашивал, чего было больше в ту минуту: страха после первого тюремного опыта или разочарования в партии, начавшегося еще раньше, в пору моего редакторства, я даже могу сказать, когда именно: когда писал статью о Прусте и Джойсе и буквально места себе не находил от беспокойства. В общем, не знаю ответа. Мы потом обсуждали это с Лившицем, тем самым коммунистом, который предлагал мне отправиться в Берлин. Сейчас он живет в Париже, очень там популярен, известен под именем Макс (это партийная кличка). Уже в то время он был в своем роде выдающимся человеком, одним из тех, кто после возвращения из России поехал в провинцию, где занял скромную должность, руками и ногами отбиваясь от партийного сановничества. В Польше я встречал таких немало, тогда в их интересах было зарыться в какую-нибудь мышиную норку и не высовывать носа. Работал хозяйственником — заместителем директора маленькой фабрики. Его пытались перетянуть к себе Берман и Берут, но он отговаривался больной печенью и чем-то еще. Главное было забраться куда-нибудь подальше от властей, лучше всего в глухомань, и помалкивать. После Октября[1], а может и раньше, ему удалось уехать. Сейчас он живет как рантье, кажет-

1. В октябре 1956 года состоялся VIII Пленум ЦК ПОРП, после которого началась польская "оттепель".

ся, получает какую-то пенсию от немцев, еще раз женился. Я узнал, что он в Париже, слишком поздно, он пришел к нам накануне моего отъезда. Я очень жалел — уже не оставалось времени вспомнить старое. Я только успел спросить, как тогда относились в партии к тому, что я все больше и больше отдаляюсь от нее. Поручения выполняю, но без рвения, свойственного неофитам. Считалось ли, что я не выдержал первого ареста и тюрьмы? Он ответил, что ничего такого не слышал. Говорили, что я интеллигент и коммунист из меня не получится. Хороший вариант сочувствующего обывателя, но не коммунист. <...>

XIII

Ват: Почти сразу же после закрытия "Месенчника литерацкого", в 1932-м, стали предприниматься попытки основать новый журнал; в 1933-м, 1934-м и вплоть до 1936-го я во всем этом активно участвовал. Я останавливаюсь на этом подробно, чтобы стало понятно, какие трудности переживала тогда польская [коммунистическая] партия.

Коммунистическая верхушка оторвалась от большинства рабочих и профсоюзных деятелей, среди которых попадались порой личности в том или ином отношении замечательные, но, если говорить об идеологии, представлявших собой сплошную серую массу. Понятно, что мировоззренческие дискуссии, борьба фракций, споры по поводу событий в России — все это имело место в партии, но только в высших ее кругах. Там прекрасно знали, что творится в Советской России, и очень по этому поводу сокрушались. Фракционные стычки, происходившие в России, отзывались эхом в наших партийных верхах. Эхом, гибельным по своим последствиям. Совершенно точно, что еще до начала московских процессов, то есть в 1932, 1933, 1934 годах, преобладающим настроением в польском коммунистическом руководстве было беспокойство по поводу советской внешней и внутренней политики. Когда я говорил с кем-нибудь с глазу на глаз (а у меня такие разговоры случались часто, потому что я мучился сомнениями), то в личной беседе — если люди доверяли друг другу — оппозиционные настроения ощущались очень сильно. Но что касается рядовых партийцев, они в массе своей интересовались всем этим гораздо меньше, принимали на веру советскую пропаганду и знать не желали, что правда, а что нет. <...>

Как коммунист Броневский обладал необычным статусом. Власти относились к нему не просто терпимо, но так, словно вручили ему особый пропуск: он был едва ли не единственным в Польше коммунистом, которого принимали и как поэта, и как бывшего пилсудчика, и как коммуниста. Он импонировал даже полицейским — как поэт он и их очаровывал. В общем, считалось: раз он такой необыкновенный, пусть себе будет коммунистом — так сказать, в порядке исключения. Когда после войны, в 1956 году, в Таормине я первый раз встретился с Грыдзевским[1], он сразу начал: "Этот Ивашкевич, свинья... — ну, и так далее. — Вот Броневский — другое дело. Он и до войны был коммунистом, пусть

1. Мечислав Грыдзевский (1894–1970) — литературный критик, в 20-е гг. редактировал "Вядомосци литерацке".

Анджей и Оля Ват. Прованс, 1956 г.

себе пишет о Сталине и о чем хочет". Но я сумел переубедить его, объяснил, что это величайшее заблуждение. Ивашкевич всегда был писателем-царедворцем, всегда ладил с властью, с правительством, с элитой, к которой и сам принадлежал. Но Броневский, певец пролетариата, революционер, просто не имел права оставаться на службе у режима, который этот пролетариат так чудовищно эксплуатировал. Вернувшись после войны, он стал призывать народ к трудовым подвигам. Писал уже очень плохо, но убеждал шахтеров, что надо вкалывать вовсю. Даже по кинохронике видно, как люди бедствовали. Получали нищенскую зарплату — какие еще призывы, просто позор! То, что мог себе позволить Ивашкевич, коммунист — не имел права.

Броневский, в сущности, один из немногих, кто остался верен партии. В то время его роль уже определилась — место глашатая революции досталось ему. И в самом деле, когда он читал стихи перед рабочей аудиторией, зал прямо-таки впадал в неистовство. Он был поэтом и трибуном революции, но ему всегда не хватало рационального начала, он не стремился как-то выстроить свои идеи. Просто следовал традиционному со времен Мицкевича образу певца. Неумение анализировать было главной причиной, по которой он никогда не отходил от генеральной линии партии, и лишь иногда — это ему дозволялось — писал заунывные, кабацкие стихи. <...>

XIV

Ват: Роспуск — по приказу Москвы — Польской коммунистической партии не произвел на меня особого впечатления, другое дело — аресты и гибель друзей и хороших знакомых. Ликвидировали буквально всех, и это,

разумеется, было ужасно. Мы сразу узнавали, кого взяли, кого собираются судить как агентов польской разведки. Разгар кампании пришелся на 1937-й. А первые аресты поляков в России — это 1936-й, 1937-й. Некоторых вызвали в Москву в 1938-м, но очень многие сидели уже давно. Варский[1] — несколько лет, верхушка — тоже. Кое-кто находился в Париже, оттуда всех их вытребовали в Москву. Кампания по ликвидации началась перед самым роспуском партии — на волне большой сталинской чистки, московских процессов и тому подобного. Как я тебе говорил, у меня не было никаких сомнений по поводу этих процессов, никаких — я с первой секунды знал, что это сталинская провокация. С первой секунды. Впрочем, я был уверен, что Троцкий сделал бы то же самое, а может, что и похуже, и в силу этой своей уверенности, пожалуй, преувеличивал потенциальные преступления троцкистов. Я пытался обсуждать происходящее с разными знакомыми, друзьями-коммунистами, буквально хватал за рукав или за пуговицу. Как правило, все старались отвертеться, мало кто решался хоть что-нибудь сказать в ответ, разве только простые люди, которые оправдывали то, что творилось: "*Им виднее* — там лучше знают". Другие, более интеллигентные, объясняли: "Война! Перед войной нужно очистить ряды, ничего не поделаешь, без жертв не обойтись". Известная песня: лес рубят — щепки летят. Но большинству недоставало смелости выдавить из себя даже это, выкручивались, как умели, твердили, что не могут сойти с выбранного пути, отказаться от самих себя, от своей молодости, от прекрасного прошлого, от идеалов — ну, и так далее. Но я ревизию своего коммунизма произвел раньше — когда узнал, что такое коллективизация, вот тут я прозрел окончательно и бесповоротно, так что и без всяких процессов понимал что к чему. Я считал их *nebenprodukt*'ом[2], да и начались они, прежде всего, внутри партии: я знал, что те, кого сейчас преследуют, только что сами были преследователями. Для меня переломным моментом стала коллективизация, но, кроме того, как я уже говорил, бросалось в глаза сходство между коммунизмом и гитлеризмом. Вероятно, вследствие того, что даже в годы самого своего горячего увлечения коммунизмом я не был *anima naturaliter communista*[3], я не остановился на полпути и дошел в своей критике до самого конца: до полной ревизии марксизма и материализма, но противопоставить им что-либо позитивное не сумел. Альтернатива же: либо коммунизм, либо фашизм — меня не устраивала, но именно она-то и была реальной. Как поступить? Не то чтобы я, как буриданов осел, не знал, что выбрать, сомнений, какое из двух зол меньше, у меня все-таки не было, но я впал в оцепенение. До 1935 года я писал довольно много, но ничего из художественной прозы не печатал, а потом рукописи пропали. А так осталась бы пара томов рассказов — полуэссе-полурассказов. Я тебе уже объяснял, почему не хотел их публиковать: то, что я сочинял, совершенно не вязалось с марксизмом. Я осознавал, что он обращен на внешнюю сторону существования, — это, кстати, одна из возможных его трактовок. Коммунизм враждебен всем внутренним процессам, в том числе и тем, что происходят внутри человека. Наши левые симпатии, увлечение, заинтересованность коммунизмом во многом объ-

1. Адольф Варский (1868–1937?) — один из создателей польского рабочего движения, позже — член ЦК КПП.
2. Побочный продукт (*нем.*).
3. Ироническая отсылка к афоризму Тертуллиана "Anima naturaliter christiana" ("Душа — по природе христианка"; *лат.*); зд.: коммунист по призванию.

яснялись тем, что мы видели, как ненадежна и опасна внутренняя стихия человека. Но сегодня известно, что бывает, когда предпочтение оказывают внешней стихии, – происходит убийство человека внутреннего, что и является сущностью коммунизма. Сталинизм был направлен на то, чтобы вытравить из человека внутреннюю жизнь... Разумеется, это лишь одна из точек зрения, можно иметь сто других, но мне такой диагноз кажется верным: задача коммунизма – убийство внутреннего человека. Все, что говорят софисты и врут интеллектуалы-коммунисты, на самом деле сводится лишь к этому. Чтобы вбить в душу коммунистические заповеди, нужно убить внутреннего человека. Разумеется, не следует думать, что западная цивилизация всегда основывалась на самопознании, вовсе нет, и, скорее всего, именно она вскрыла присущие ему опасности, но западная цивилизация и интернализм[1] сумели ужиться, поэтому интернализм и лежит в ее основе. Оказалось, что я, по самой своей природе, не гожусь для коммунизма – сделан не из того материала, потому что всегда и во всем стремился разглядеть, что происходит внутри, это один из главных моих принципов. Ну, а что касается моей ревизии коммунизма, произошла она довольно рано, я отошел от марксизма и его разновидностей и больше не желал иметь с ними ничего общего. Об этих моих размышлениях и рассказывали впоследствии так подробно во львовском НКВД всякие там Шенвальды, Шереры и Гроши[2]. Когдя я обсуждал с ними волновавшие меня вопросы, разумеется, наружу выплывали не только те вещи, на которые мы смотрели одинаково, но и то, что нас разделяло. Положение мое было ужасно. Что бы я ни думал о коммунизме, я не мог превратиться в антикоммуниста в тогдашней Польше, где вовсю шел процесс фашизации. Да и в окончательности собственной декоммунизации у меня не было никакой уверенности, я просто стучался во все двери и задавал вопросы. Безнадежность ситуации заключалась в том, что от коммунистов высшей пробы, коммунистов anima naturaliter, связавших жизнь с партией, я никогда не мог добиться ответа – они отделывались лозунгами и штампами. Единственной более или менее живой их реакцией было: "Да, вы правы... Ты прав... Но что я могу сделать... Сейчас это невозможно". Все это привело меня в такое состояние оцепенения, что в 1935 году я решил больше вообще ничего не писать. Покончил с писательством. Это было здравое решение, потому что я перестал что-либо понимать, ощущал лишь растерянность и полную мировоззренческую пустоту.

И в самом деле, начиная с 1936-го или даже 1935-го, я не брал пера в руки. До 1939 года я работал в издательстве Гебетнера[3] – читал, давал оценки, не скупился на советы, исправлял чужие рукописи. Впрочем, я очень это любил, мне нравилось анализировать текст, нащупывать нитку, на которой все держится: потянешь – и происходит обвал. Вернее, сначала нащупываешь нитку, а потом уж анализируешь. Я поступал так со всеми писателями, правда, никогда им ничего не навязывал, разве только однажды. Я приводил доводы, говорил, объяснял, разбирал страницу за страницей, иногда даже предложение за предло-

1. Интернализм – течение в историографии и философии науки, сложившееся в 30-е гг. XX в. как оппозиция экстернализму, на который значительное влияние оказал марксизм.
2. Люциан Шенвальд (1909–1944) – участник поэтической группы "Квадрига", член КПП; Хенрик Шерер – польский журналист; Виктор Грош – польский коммунистический деятель.
3. "Гебстнер и Вольф" – крупнейшая польская издательская фирма, основана в 1857 году в Варшаве.

жением, но у меня был принцип: если после моего разбора автор продолжает упорствовать, значит, у него своя правда, и не важно, совпадает она с моей или нет. Я составил даже небольшой план изданий поэзии, но Гебетнер не спешил вводить его, тянул. Начал работать я у него в очень скромной должности. Издательство выпускало такой специальный бюллетень оптовой торговли для книжных магазинов, потому что у Гебетнера, кроме всего прочего, был оптовый склад. Выпускать его мне как раз и поручили. Но потом я так сошелся с Яном Гебетнером, что, когда эту должность упразднили, меня сразу назначили главным редактором. В то время дела фирмы находилась в плачевном состоянии. Единственным настоящим писателем был Хойновский, кстати, женатый на дочери Гебетнера, и еще Пежинский. Остальные — сплошные графоманы, вроде Релидзинского[1], прокуренные графоманы эндековского пошиба, жалкие отбросы "Варшавского курьера"[2]. После того как умер Густав Гебетнер, издательство стало разваливаться, погрязло в долгах, людям перестали платить. Когда я поступил туда работать, банковский долг составлял, если не ошибаюсь, пять миллионов. Ян Гебетнер, очень живой и самый энергичный из братьев, инициативный, прекрасный коммерсант, был эдаким торговцем-интеллектуалом, обладавшим невероятным талантом втягивать фирму в какие-то страшные махинации, из которых выпутаться было невозможно, но он выпутывался гениально — и так постоянно. В масштабе Польши — личность очень интересная. Эндековская семья, набожно-патриотическая, очень благочестивая. Сам Ян был истово верующим, но я узнал об этом совершенно случайно. В издательство он приходил около восьми, невероятно пунктуальный. Я появлялся в десять, выторговал себе это право. Позже я узнал, что он ежедневно ходит в костел на утреннюю службу. Кроме самых близких, об этом никто не имел понятия. Старался это скрывать, потому что был не ханжой, а истинно верующим. В деловых кругах его считали ловким пройдохой, но при всей своей ловкости — типично варшавское сочетание — обладал определенными моральными принципами, такими, знаешь, железобетонными. Например, будучи депутатом от партии Национального единства[3], вышвырнул за дверь директора департамента Министерства иностранных дел, который пришел к нему требовать, чтобы он меня уволил. В начале сентября (он входил также и в совет директоров "Руха"[4]) он получил концессию на бензин. Знаешь, бежать из Варшавы было непросто, во-первых, мало автомобилей, во-вторых, нет бензина, потому что правительство сразу же ввело на него ограничение. Но, собственно, распоряжался этим Гебетнер, он да еще один из директоров "Руха", но он был главнее. Помню еще, 5 или 6 сентября мы спустились в подвал во время тревоги, у него было два или три сына, и у одного из них, его любимца, эпилептика, случился

1. Петр Хойновский (1885—1935) — прозаик, переводчик, новеллист, считался наследником традиций Б. Пруса; Влодзимеж Пежинский (1877—1930) — драматург, прозаик, эссеист, представитель польского модернизма; Юзеф Релидзинский (1886—1964) — прозак, эссеист.
2. НД (Narodowa Demokracja) — политический блок, объединявший правые и центристские силы после получения Польшей независимости; "Варшавский курьер" — еженедельник, выходивший в 1821—1939 гг.; в соответствующую эпоху выражал взгляды НД.
3. "Национальное единство" (Obóz Zjednoczenia Narodowego) — политическая партия, объединяла сторонников санации, выдвигала лозунг объединения вокруг армии.
4. "Рух" — ассоциация польских распространителей прессы.

приступ прямо там. Но он не трогался из Варшавы, хотя имел для того все возможности. Мне говорили, что, когда его назначили одним из комиссаров Стажинского[1], он с невероятным мужеством ездил по Варшаве, не обращая внимания на бомбежки, — несокрушимых принципов был человек. Так вот, я привлек в его фирму всех сколько-нибудь стоящих авторов, которых можно было увести из других издательств: от Моркотовича, из "Руя". Собственно, всех, кого хотел, кроме Домбровской, которая была связана с Моркотовичем. Занялся рекламной стороной дела: полностью изменил обложки, пригласил лучших художников, все модернизировал. К тому же в это время совсем перестали печатать Пруса, даже "Куклу" невозможно было купить — весь тираж разошелся, и я объявил ренессанс Пруса. Достал огромную сумму — одолжил у моего друга, директора одного филиала в Варшаве Рудольфа Моссе. Собственно, без копейки в кармане я издал собрание сочинений Пруса и как следует его разрекламировал. И опять остался без единой копейки. Но мне очень доверял мой хороший знакомый, владелец Национальной типографии, доктор Шарф. Срок действия авторского права на издание Пруса истекал, оставалось всего два года, но адвокат Родкевич и слышать не хотел о собрании сочинений, потому что Гебетнер последние десять лет не платил вдове, когда она была еще жива, даже процентов. Нелегкое было предприятие. Да, Родкевич, старый противный эндек, но невероятно живописный тип: кстати, в Театре Польском он абонировал соседнюю с президентом Мостицким[2] ложу и во время спектакля высовывался из нее, тряс палкой и кричал: "Канальи, стервецы!" Он знал Пруса и Сенкевича и рассказывал мне всякие интересные вещи о них, которые до сих пор нигде не опубликованы.

В общем, у Гебетнера мне много чего удалось сделать. Я подключил к делу критиков и вообще организовал рекламу. Отправляя экземпляры на рецензию, присовокуплял двадцать коротеньких отзывов собственного сочинения. Потом, уже за подписями рецензентов, они появлялись в печати, причем не только в провинции, но и в Варшаве. Вот тебе и авторитет, и деньги для фирмы. У меня служили шесть человек, но, по существу, я все делал сам: читал, иногда сверял, даже держал корректуру, проверял титульные листы, оформление.

Времена были невеселые, и работа стала для меня настоящей отдушиной. Впервые в жизни я относился к ней как к истинному благу; потом, правда, это повторилось еще раз. С авторами дела складывались по-разному. Я говорил тебе, что Берент[3] — единственный писатель, которого я побаивался. Правда, я знал и Жеромского, и аура, которой он был окружен, очень на всех действовала. Но я уже тогда не считал его великим писателем. А Берента робел. Нелюдим, старый холостяк, впадавший порой в такую ярость, что, казалось, сейчас убьет. Я однажды видел его в подобном состоянии. И одновременно — невероятно добрый, чуткий человек, который буквально всем своим существом переживал про-

1. Стефан Стажинский (1893–1944) — политический деятель, в 1934–1939 гг. — президент Варшавы, с сентября 1939 г. — гражданский комиссар при Штабе обороны Варшавы.
2. Игнацы Мостицкий (1867–1946) — президент ПР в годы перед Второй мировой войной.
3. Вацлав Берент (1873–1940) — польский писатель, представитель литературы "Молодой Польши". Автор трехтомного историко-биографического цикла романов: "Течение" (1934), "Диоген в кунтуше" (1937), "Сумерки вождей" (1939).

исходившее. В последние годы его главной болью стала Польша — его ранило все, абсолютно все. В этой боли, собственно, ключ к его последнему циклу. Ключ с секретом. Он хотел понять, что такое Польша? И ради того, чтобы понять, трудился в поте лица. Обливался кровавым потом. Он невероятно мучился, дописывая последнюю биографическую часть своей трилогии. Но я никогда не осмеливался вмешиваться, давать ему советы. Иногда он сам просил меня об этом, настаивал, и мне приходилось трудно. Надо сказать, лишь однажды я не удержался и согрешил — заставил автора все переделать. Хотя это скорее надо поставить мне в заслугу. Хороманский[1] как молодой писатель получил у нас премию. И мне захотелось, чтобы получил еще кто-нибудь. А тут как раз Ялю Курек[2], присылает рукопись. Смотрю — графоманство и халтура невероятная. Но у меня своя техника чтения, благодаря которой нахожу в этом тексте одну великолепную страницу. Дочитываю до конца и заставляю его проделать следующее: выбросить первые восемьдесят страниц. Уверяю его, что из них может получиться другая повесть, надо только немного расширить, дополнить. Я надеялся, что он не станет этого делать. А он, бедняга, расширил-таки, *noblesse oblige*[3], выпустил еще одну книжку: "Высокая вода". Воды в ней и в самом деле много.

Милош: А что стало с той первой, о которой ты говорил?

Ват: Получила премию для молодых писателей. Называлась "Грипп свирепствует в Направе".

Милош: Ее потом перевели на несколько языков...

Ват: Да, но не будем забывать, что она стала чуть ли не главной вещью, где изображается послереймонтовская деревня[4]. И заняла определенное место в истории литературы. Как видишь, у Гебетнера я кое-что издал. Но у нас с ним было железное правило. Мы договорились, что политическая окраска книги его не касается. Иногда он, правда, отклонял книгу по той причине, что она слишком сложна и на ней он может много потерять. И все-таки один промах я совершил. Мог издать "Фердыдурке"[5], но он ее не пропустил, а я не настоял — не был уверен в успехе. Книга меня заинтриговала, хотя и не понравилась, и я не стал бороться за нее.

Не хочу хвастать, но после пакта Молотова—Риббентропа мне сразу стало ясно — речь идет о разделе Польши. Я понял, что будет война. Сначала я думал, что Польша пойдет на уступки, и проблема Гданьска как-нибудь будет улажена. Но едва стало известно, кажется, 23 августа, что стороны договорились, я уже знал: и Гитлер войдет в Польшу, и Сталин. На свою беду, я сказал об этом своему приятелю Владиславу Дашевскому[6], с которым иногда встречался в "Симе". Позже во Львове я понял: либо русские меня арестуют и отправят на Лубянку и в лагерь, либо заберут немцы, и дело тоже кончится лагерем. Дахау или другим. А может, как-нибудь проскочу. Но адская машина и на этот раз сработала чет-

1. Михал Хороманский (1904—1972) — польский прозаик, автор известного романа "Ревность и медицина" (1933).
2. Ялю Курек (1904—1983) — польский прозаик, поэт, публицист и переводчик.
3. Положение обязывает (*франц.*).
4. Владислав Станислав Реймонт (1867—1925) — польский прозаик, лауреат Нобелевской премии, автор четырехтомного романа "Мужики" (1904—1909).
5. "Фердыдурке" — повесть Витольда Гомбровича (1904—1969), польского писателя и драматурга.
6. Владислав Дашевский (1902—1971) — театральный художник, график, карикатурист.

ко. Два года назад в газете "Политика" напечатали списки тех, кого, по постановлению правительства, собирались отправить в Березу Картускую[1]: сплошь интеллигенция, всего шесть или семь писательских имен, и среди них — мое. В общем, оказалось, что я повязан крепко, и даже не двойным узлом, а тройным. Кто виноват — я или история? В сущности, я всегда был тем, кем следовало, только в неподходящее время. Политиком — когда нужно было быть поэтом; поэтом — когда надо было быть политиком. Коммунистом — когда порядочные люди были антикоммунистами; антикоммунистом — когда все благоразумные примкнули к коммунизму. Я стал авангардистом и новатором, когда в Польше, даже в кругах молодежи, еще не было ни поэтических движений, ни особого слуха для восприятия новаторства, а через несколько лет, когда я изменился и стал более умеренным, объявилась молодежь, которая захотела новаторства.

Во Львове я оказался в октябре. Арестовали меня 24 января 1940 года. Эти три львовских месяца тяжело вспоминать — три месяца страха, притворства и неуклюжего вранья. Я попал во Львов, хотя очень не желал и боялся этого. Я знал, что все, кто имел отношение к "Месенчнику литерацкому", погибли, и не сомневался, что меня ждет та же участь. Я уже представлял себе, что такое советские тюрьмы и лагеря и какая судьба ждет Олю и Анджея. <...>

XVI

Я тебе уже говорил, что в ноябре–декабре атмосфера во Львове была такая же, как в Вильнюсе, судя по описанию Юзефа Мацкевича[2]. Все то же самое: изменившийся, подурневший город, парализованный страхом перед надвигающейся чудовищной машиной. А может, даже похуже. Ты знал довоенный Львов? Один из самых прекрасных польских городов, потому что — веселый. Очень экзотический, яркие краски — никакого тебе варшавского, краковского, познанского серого цвета, ничего серого. Очень европейский. Немножко напоминал Вену — такой же опереточный, излучавший радость жизни, вроде некоторых итальянских городов... или Марселя. Но едва вошли советские войска — правда, стояла осень, — он сразу стал грязным, серым, убогим, каким-то придавленным к земле, пресмыкающимся. Горожане — в затрапезе, в обносках, наверное, боялись надеть что-нибудь поприличнее. Но поляки, старая добрая польская интеллигенция, ощущавшая связь со своей страной... держалась. Игнорировала большевиков, отгораживалась от них. Например, Мария Домбровская нигде не показывалась. Во Львове уже ощущалась нехватка разных жизненно важных вещей, и Ванда Василевская присылала ей продукты. Но Домбровская была непоколебима: Василевскую не приняла, говорить с ней не стала — не желала ее

1. Береза Картуская — в 1934–1939 гг. польская тюрьма для политзаключенных.
2. Юзеф Мацкевич (1902–1985) — писатель, публицист. В 1941 г. в вильнюсской газете, издаваемой немцами, опубликовал очерки о вступлении советских войск в Литву, часть польского общества осудила его как коллаборациониста.

знать. Продукты, правда, брала — невозможно было отказаться. Потом, в какой-то момент сбежала в Варшаву, но пару месяцев прожила-таки во Львове. И конечно, ни разу не появилась в союзе писателей.

В союзе, в основном, крутились люди вроде Василевской и ей подобных. В качестве военных корреспондентов приезжало много советских писателей — почти все в форме. Происходившее — хотя и не в "Правде" и "Известиях", но в местных украинских газетах — вполне официально называлось "польской войной". Наверное, думали, что так смоют позор 1920 года[1]. Потом перестали и говорили уже только об освобождении Западной Украины. Воинские звания определялись литературным рангом: Демьян Бедный состоял в чине генерала, это я точно помню, Шкловский, кажется, капитана или майора. И все как один спрашивали: *Где ваша Ванда Василевская?* <...>

Что касается меня, то я тогда встречался с Василевской и говорил с ней. Вокруг все только и делали, что врали, но я абсолютно уверен, что она была искренна. Принадлежала к мистической породе женщин, которые не видят реальности, то есть видят, но другую, скрытую от нас. Я хочу рассказать одну историю, довольно интересную. Незадолго до описываемого времени Ванда побывала в Киеве, где ее принимали с триумфом. Поехала с мужем, Богатко, — бывшим каменщиком, красавцем, спортсменом, парнем хоть куда. Он был умный, хваткий, с чувством юмора, невероятно веселый и сильный. Ей везло на силачей. Корнейчук тоже отличался атлетическим телосложением. Мне кажется, в ту пору она очень любила своего Богатко. Так вот, вернулись они из Киева, а несколько часов спустя должен был состояться митинг на площади, и Ванде предстояло дать отчет о поездке. Я пошел с Броневским и Богатко. Говорила она сплошными газетными лозунгами — прямо мелодекламация на тему о счастливой жизни и всеобщем ликовании. Но свои речи произносила с огнем, с непритворным воодушевлением. Жесткая, сухая, ширококостная женщина с плоским лицом и большими выразительными глазами, пламенно жестикулирующая. Послушаешь ее, сплошная радость и детские улыбки. Когда все закончилось, Богатко говорит нам с Броневским: "Пошли в пивную". Затащил нас туда, выпивал он крепко. Там полно советских офицеров, а Богатко густым басом наставляет нас сразу после этого самого собрания: "Если поедете в Киев, как только ступите на перрон, одной рукой прижмите к себе чемодан, а другой — шапку держите, не то сорвут". Позже в тюрьме к нам в камеру посадили украинца, который рассказал о смерти Богатко (эту версию подтвердил и Броневский). Двое энкавэдэшников пришли к нему домой и застрелили на месте. В газетах писали, что его убили украинские националисты. Но нет, сомнений не может быть, Броневский, который до конца дней поддерживал с Вандой самые теплые отношения, говорил то же самое: Богатко застрелили люди из НКВД. История эта — хорошая демонстрация настоящей, беспроигрышной сталинской школы перевоспитания. *Point de rêveries*[2]. Раз — и готово. В дзене дают по голове, чтоб перестроить сознание. А тут происходит *перековка* души. <...>

1. Имеется в виду польско-советская война 1919—1920 гг.
2. Никаких иллюзий (*франц.*).

XVII

Ват: <...> Теперь расскажу демоническую историю моего ареста. Как тебе известно, в пивные я не ходил даже в Варшаве, не любил дыма, водки, да и пить перестал. Но во Львове — пару раз довелось. Как-то явился ко мне Дашевский и говорит: "Слушай, я пригласил несколько человек, приходите". Заставил поклясться, что придем. Отправляемся в ресторан. У нас отдельный кабинет. Кто там был? Броневский, Леон Пастернак (его жена, актриса, в тот вечер была занята в спектакле), Шемплинская, ее муж-спортмен, который, кстати, повел себя потом очень достойно, Пайпер, актер Балицкий, брат Балицкого из "Института Выдавничего", художница Семашкова, которая после войны прославилась как иллюстратор детских книг, и Войцех Скуза[1]. Стернов не пригласили, но они были в общем зале. Сидим вокруг большого стола. Там же в кабинете в углу — еще один столик. В какой-то момент появляется высокий тип и усаживается за него с актрисой из польского театра, красивой блондинкой, о которой было известно, что она спит и с советскими, и с несоветскими. Дашевский, сконфуженный, нервный, ходит не переставая вокруг стола и то и дело справляется, достаточно ли всего, что еще заказать. В общем, *пир на весь мир. Пир во время чумы.* Я два или три раза спрашиваю у него: "Скажи, наконец, по какому поводу?.." А он потирает руки и отвечает: "Увидишь, увидишь!" Затем он перебрасывается несколькими словами с этой актрисой и русским, возвращается к нам и спрашивает: "Не возражаете, если к нам присоединится известный искусствовед из Ленинграда?" Такой высокий, худой человек, из породы худых русских, в мешковатом костюме. Обтянутые скулы туберкулезника, лицо какое-то мертвоватое. "Никто не против? Это историк искусства, очень интересуется литературой, хотел бы познакомиться". Никто, конечно, не против. Тот садится в конце стола, за спиной у него дверь, завешенная портьерой, по одну сторону — артистка, по другую — Скуза, чуть дальше — Броневский, а я — на противоположном конце. Все громко говорят, ничего не слышно. Но в какой-то момент возникает *перепалка* между русским и Владеком Броневским, я вижу, Броневский что-то цедит, почти не разжимая губ. Начинается что-то неладное, они сидят наискосок друг от друга и пикируются. Вижу, как Скуза тянется к артистке, что-то ей говорит, а между ними этот русский. И вдруг он дает Скузе по физиономии, тащит скатерть на себя, и все летит на пол: бутылки, стаканы, тарелки. Вот тебе пример эйдетической памяти — я перечисляю запечатлевшееся у меня на сетчатке. Скорее всего, то был условный знак, потому что через минуту из-за портьеры появляются двое в темно-синих костюмах — здоровенные, кургузые, с квадратными физиономиями. Они не вбегают, а входят, вроде даже пританцовывая, и бац — налево, бац — направо: начинается мордобой. В какой-то момент вижу, что один из них сцепился с мужем Шемплинской и тот колотит его страшно, ведь он, кажется, был боксе-

1. Леон Пастернак (1909–1969) — поэт, сатирик, в 20-е гг. — участник левых поэтических групп; Эльжбета Шемплинская-Соболевская — прозаик, входила в руководство львовского союза писателей; Войцех Скуза (1908–1942) — поэт, публицист; арестован в 1940 г.

ром. Тут же я сам получаю удар в челюсть и падаю. Удар такой, что хотя у меня фантастически крепкие зубы (что не зуб, то дуб — не вырвешь), один у меня тут же зашатался, но не вылетел — потом качался еще лет восемь. Я весь в крови — течет из носа, изо рта, в глазах мутится. Оля в отчаянии, льет на меня воду, делает что-то еще, пытается меня вытащить оттуда. Вокруг паника, кричат уже и в залах, но к нам никого не пускают, двери заперты, и тут я замечаю, что два боксера лежат на полу пьяные в стельку, то есть делают вид, будто пьяные. Лежат с закрытыми глазами и даже как бы храпят. Оля видит убегающего Владека Дашевского, догоняет его возле гардероба, вцепляется в плечо: "Владек, что происходит?" Тот в отчаянии вырывается, не помня себя хватает пальто, которое гардеробщик держит уже наготове, и убегает. Оля видит, что на крыльце полно милиции, все перекрыто, но перед Дашевским расступаются. Через секунду милиция врывается в зал, и больше никого не выпускают.

Должен сказать, что потом, во времена соцреализма, Владек Дашевский вел себя на удивление прилично. От него многое зависело, он пользовался немалым влиянием, с ним очень считались и в партии, но никому из художников он не навредил. Мне кажется, что львовская история — хотя по натуре он личность беспринципная — все же нравственно его потрясла. В Польше он после войны вел себя очень тихо, очень прилично. Тогда в ресторане взяли меня, Пайпера, Скузу — он потом погиб в лагере, Броневского и — из общего зала — Стерна. Он сидел всего несколько месяцев, его, единственного, выпустили. <...>

XVIII

<...> Было уже около часу ночи, когда меня привезли в тюрьму. Вхожу в камеру — такая кишка, как потом выяснилось, в одиннадцать с половиной метров. Окно, конечно, зарешечено. Около полуметра занимала круглая жестяная печь, вернее, ее обращенная к нам сторона (другая, с дверцами, выходила в коридор), а так было бы метров двенадцать.

Там стояло двое нар, потом их вынесли. Всюду лежали тюфяки, почти без соломы, заключенные спали на своих вещах, превратившихся в кучу грязного рванья. Каждое утро начиналось с рутины, много раз описанной в разных воспоминаниях. *Подъем*, не помню, в котором часу, но очень рано. Приходил старший дежурный, один из двоих или троих, сменявших друг друга. Затем завтрак. Давали что-то похожее на кофе — цикорий, потом перешли на *кипяток*, который арестанты и простой народ называют чаем, и четыреста граммов испеченного по-советски хлеба, больше всего напоминающего вязкую, мокрую глину. Днем тюфяки следовало складывать у стены один на другой, но люди обычно лежали или полулежали по периметру. Хлеб делили на несколько частей, чтобы хватило на весь день. В ежедневную рутину входил еще парикмахер и иногда *баня*. Бани в советских тюрьмах бывают регулярно, например, в Москве, на Лубянке, за девять или десять месяцев мы только один раз не пошли в положенное время в баню. Но в Замарстынове за девять месяцев без малого нас водили, не знаю, раз шесть-семь, не больше, а мо-

жет, и меньше. Отношение наше к бане было двояким: о ней мечтали и ее боялись. Что она собой представляла? Начнем с воды. Конечно, мы были очень грязные, потные, покрытые коростой грязи. Но и вода всегда была грязной. Однако самое страшное не струи грязной воды, не мокрая зловонная одежда, которую кидали на землю, а вши. После бани они приходили в бешенство, несколько дней просто бесновались. Никогда они так не кусались, как в это время. Санобработка результата не давала. Наоборот, мне кажется, именно после бани их сексуальная активность невероятно возрастала и сопровождалась особой злобой и агрессивностью.

Камера наполнялась быстро, невероятно быстро, и буквально недели через две уже была набита до предела — двадцать восемь человек. Время от времени к нам подсаживали двадцать девятого, тридцатого, но ненадолго, на день-другой. Был у нас в камере такой гениальный математик, геометр с прекрасным пространственным воображением, семнадцатилетний гимназист Кмичинский. Ему удалось как-то так нас растасовать, что на этих одиннадцати с половиной метрах все помещались. Подбирал по росту, не оставляя никаких зазоров, — настоящая головоломка. Двадцать восемь человек на одиннадцати с половиной метрах — это пытка. Зима 1939—1940 года была, как ты помнишь, суровая, но даже зимой, и уж особенно весной — а в 1940 году сразу стало очень тепло — ночи превращались в настоящий ад. Самое омерзительное физиологическое воспоминание, оставшееся у меня от советских тюрем, — ночи в Замарстынове. Этот свой и чужой пот, текущий по обе стороны от тебя ручьями. Надо самому это пережить, чтобы понять, какое мучение — плавать в чужом поту, сливающемся с твоим собственным. Воздух был такой, что как-то, когда приехала комиссия из Москвы, — наверное, прокуроры, черт их знает кто, но судя по поведению начальника тюрьмы и охраны, какие-то важные шишки, — так вот, когда открылась дверь, никто из этих хмурых людей в кепках не решился переступить порог камеры. Мне кажется, именно поэтому наша охрана усиленно поливала себя одеколоном. Другое дело, что это был еще и советский военный стиль. Не солдат, нет, младших офицеров — от всех них несло дешевым одеколоном, как после парикмахерской. Теперь тебе легко вообразить, что для нас значила, я имею в виду, с точки зрения воздуха, *оправка*. Знаешь, у каждого есть минуты в жизни, по которым он тоскует, испытывает ностальгию. Первые поцелуи и так далее... в общем, у каждого свое. Одно из моих ностальгических воспоминаний — я ловил себя на этом много лет подряд, и даже здесь, за границей, поймал себя относительно недавно, — так вот, моя великая ностальгия: вернуться туда и еще раз пережить летнее возвращение по длинному коридору из уборной. Наша камера от нее была далеко. Не знаю, сколько метров, шагов пятьдесят-шестьдесят. Мы шли невероятно медленно, хотя охранники, которые водили нас на оправку, кричали, злились, даже рукоприкладствовали. Но мы все равно шли медленно. Уборная была страшная. Сиденья, правда, выложены кафельной плиткой, но времени давали так мало, что каждый садился, где стоял. Обязанность каждой камеры — убрать после себя, но, по сути, это было невыполнимо, так что тем, кто входил позже, пристроиться было негде. Несмотря на краны с водой, умыться не представлялось возможным — не хватало времени. Текла струйка холодной воды, но мы едва успевали ополоснуть лицо.

Окна туалета смотрели на Замарстыновскую улицу. Довольно высоко врезанные, зарешеченные. Мы хватались за решетки под ор надзирателей — те следили через глазки, но все, кому удавалось, хватались и подтягивались, чтобы бросить взгляд на нормальных людей, идущих по улице. Чувства возникали смешанные. Примерно такие, как в больнице, когда долго лежишь: смотришь из окна или с балкона на улицу, видишь здоровых людей и думаешь: "Дурачки, вы и не знаете, может быть, все вы больны". Нечто подобное мы ощущали по отношению к тем, кто шел по Замарстыновской. Другое дело, что Львов все больше нищал, и все более жалкой выглядела и наша улица. Прохожие какие-то оборванные, серые, понурые. Тем не менее у них была свобода. А у нас один-единственный, брошенный наружу взгляд. Нет, не единственный — еще можно было посмотреть из коридора на длинный, чистый, уложенный брусчаткой двор — зрелище особенно приятное летом, летним вечером, пока еще светло. Там росли три шелковицы. Потом эти варвары одну из них, совершенно здоровую, срубили, не понимаю зачем. Недалеко от тюрьмы начинались холмы, и летом доносился запах луга и сена. Путь из смердящей уборной в смердящую камеру, прогулка медленным шагом вдоль распахнутых во двор окон — представь себе, это и было счастье. И не только счастье, а катарсис, внутреннее очищение, духовное и физическое. Оно продолжалось какую-нибудь минуту, но в другом, психическом измерении длилось гораздо дольше. Таковы мои самые дорогие воспоминания, и я в самом деле часто ловил себя на мысли: "Ах, еще бы раз это пережить!" <...>

XIX

Ват: Я тебе рассказывал о своих сокамерниках, о вечерних духовных песнопениях, и в связи с этим хочу рассказать кое-что о себе. Несмотря на смрад, окружающее убожество и унижения, люди каждый день пели гимны Пресвятой Деве. Все верующие. А я лежу в своем углу — они вместе, а я сам по себе. Сначала я был единственным евреем в камере, потом появился еще один. Но не в этом дело. Я был исключен из числа верующих. Они молились, славили Матерь Божью. А я, не принадлежавший к их сообществу, страшно им завидовал. Сидел в углу и плакал, хотя я не из тех, у кого глаза на мокром месте. Я считаные разы в жизни плакал. С рациональной точки зрения в этом было что-то парадоксальное. Веры в Бога я у себя в душе не находил, но испытывал живое, поразительно сильное чувство своей отверженности Богом вследствие самого факта моего в Него неверия. Я верил не веря, верил в то, что отвергнут. Говорю об этом, потому что потом в Саратове ко мне вернулось чувство Бога, должно быть, оно во мне все время зрело, но больше всего — в ту пору отверженности и оторванности от людей.

У каждого из нас имелись в запасе кое-какие истории. У меня — литературные, ни о чем другом говорить не хотелось. Я рассказывал обо всех литературах: французской, немецкой, польской, русской. Адвокат Руг был человеком очень образованным по части истории — знал во всех деталях историю польских пограничных областей, Львова и прекрасно, замечательно ее нам излагал. Как бы тебе объяснить, то не был обычный банальный рассказ об истекающей кровью земле, войнах, бит-

вах, о том, что поколения сменяются, а Польша остается. Ни малейшего оттенка национализма. К тому же с нами сидели и украинцы. О польско-украинских войнах он говорил очень беспристрастно, не принимая ничью сторону. Как будто от имени самой этой земли. То был для нас всех очень ценный, очень важный урок, он принес утешение. Мы увидели, что наша судьба, наши несчастья вписаны в огромную историческую панораму, почувствовали свою связь с этим краем, с людьми, жившими тут столетиями. При таком взгляде личное становится менее важным. Это было очень ценно.

Я, в свою очередь, рассказывал о литературе. То, что помнил, а также мои клише: у меня ведь сложилось собственное понимание литературы — прежде всего, польской. Говорил о том-сем: Мицкевич, романтизм, "Молодая Польша", "Скамандр" и так далее. Я тогда изобрел некий прием — кстати, что ты о нем скажешь? В то время он мне показался уместным — то есть плодотворным, если пытаться произвести пересмотр истории польской литературы. Плохо только, что все делалось по памяти. Я начал с конца и двинулся вспять. Начал со "Скамандра", перешел к "Молодой Польше", потом к позитивизму, потом к романтизму, псевдоклассицизму, барокко, Ренессансу. Я подумал, что, если основательно, с примерами разработать такой подход, получится неплохой вариант: взгляд на литературу в свете наступившего будущего. На каждом этапе можно выделить явления, получившие развитие, и отбросить те, что его не получили. Кроме того, композиция становится древовидной — с ветками, сучками. Что это дает? Начинаешь видеть литературу в толстовском свете — ее внеэтичность, внеморальность, литературу как обман. Что я говорил, как сам воспринимал то, что говорил? Как шелуху, все превращалась в шелуху. Литература не соответствовала нашей экзистенциальной ситуации, не дотягивала до нее, понимаешь? Она годилась только для баб и детей, а не для взрослых мужчин. Ну, разве как игра, как способ забыться, отвлечься.

Милош: Для взрослых существует история. История и теология.

Ват: Да, ты прав, история и теология. Остальное для баб и детей, или, когда скучно, можно скоротать время, пересказывая фабулу. Тогда еще у меня была хорошая память, я помнил множество романов. Между прочим, это помогло мне сделать блестящую карьеру — добиться особого положения среди уголовников в *Третьем отделении* в Алма-Ате. Они каждый день умоляли меня рассказать какой-нибудь роман. "Красное и черное", например, вызвало настоящий восторг. Любознательные уголовники! Пересказывать сюжеты я начал еще в Замарстыновской тюрьме. Шло на ура. А мои мудрствования по поводу барокко и "Скамандра" оказались бесплодной чепухой. Кстати, из польских романов (между прочим, далеко не все поддается пересказу — к примеру, трилогия[1]; впрочем, я и сам не дочитал ее до конца, она мне всегда казалась скучной) большим успехом пользовался "Фараон"[2]. Но никто и ничто не могло сравниться с О. Генри. В свое время я перевел рассказов пятьдесят и хорошо их помнил. Особенно они нравились русским уголовникам, но не только — полякам тоже. О. Генри отлично подходит для тюрьмы. Вывод простой: что в тюрьме родилось, то для нее и сгодится. Он

1. См. сноску 3 на с. 177.
2. "Фараон" — роман Болеслава Пруса.

ведь там начал писать свои рассказы. Во время моих лекций по литературе был и такой случай. Я пересказывал "Разбойников". Большинство знало содержание, но многим хотелось вспомнить Шиллера, да и вообще услышать о разных театральных постановках. Рассказываю — пьесу я тогда помнил хорошо. И вдруг все превращается в невероятный абсурд. О чем, собственно, написана эта драма, которая имела огромное влияние на свое время вообще и на Французскую революцию, в частности (Конвент прислал Шиллеру диплом почетного гражданина Франции, но он отказался от чести), которая вдохновляла молодежь на протяжении нескольких поколений? О том, как молодой балбес, возмущенный тем, что коварный брат настроил против него отца, а честным труженикам-горожанам не нравятся его дебоши и попойки, мешающие им спать по ночам, присоединяется к шайке бандитов. Они убивают, грабят. И не только имеют право на свои бесчинства, но даже считаются героями. Это как бы их святое право. С точки зрения тюрьмы — чистый абсурд. Но, разумеется, я не обобщаю.

Милош: Все дело в форме, лишь она придает благородство.

Ват: Да, форма и язык. Язык, структура и какие-то неуловимые вещи, не поддающиеся определению.

Милош: Попробуй пересказать "Пана Тадеуша" — что из этого получится?

Ват: Ну да, конечно. Но мы сейчас говорим о другом — о тюремном восприятии... <...>

XXI

Ват: <...> Еще в январе, вскоре после ареста, слышу, что соседнюю камеру выводят на оправку, из коридора явно доносится голос Влада Броневского. Жду, когда они вернутся. Наконец, идут, я стою под дверьми и громким шепотом спрашиваю: "Владек, ты что-нибудь знаешь о своих?" Он отвечает: "Олек, завтра поговорим". Все это время я как на иголках. На следующий день их повели на оправку вечером, перед нами. Я опять у дверей — выводят. На обратном пути Владек шепчет: "В уборной третья или пятая ручка от входа, там записка". В камере слышно каждое слово, все в курсе, всем интересно. Целое событие. Ищу в уборной и в самом деле нахожу приклеенную хлебом записку. Квадратик, на нем тюремная морзянка. Возвращаюсь в камеру, он стучит. Но у меня нет навыка, не могу справиться. Зато юный Кмичинский, который был скаутом, наш математик и электротехник, прекрасно знает этот шифр. Я даю ему бумажку, чтобы легче было следить, сажусь рядом, он мне переводит, что говорит Владек, а я говорю, что отвечать. У Владека, разумеется, от семьи никаких известий. Объясняет, как собирается держаться на следствии. Перестукиваемся, говорим. Дело происходит вечером, неожиданно раздается скрежет замка, двери распахиваются, мы отскакиваем друг от друга, входит дежурный для вечерней поверки. И вдруг Майтелес орет истошным голосом: "Он перестукивается, у него бумажка". Дежурный, вероятно, антисемит, цыкает на него. Но тот не унимается, тычет в меня пальцем: "У него бумажка!" Бумажку я тем временем успел проглотить. Дежурный попался вполне

сносный, но Майтелес от него не отстает, твердит свои три слова как заведенный, помешался от ненависти. Дежурный его уводит, но через пятнадцать минут они возвращаются оба и с ними еще двое. Майтелес повторяет все снова и показывает на Кмичинского. Бедный Кмичинский, которому во время следствия, вероятно, досталось немало зуботычин, весь просто затрясся. И тут я говорю: "Не было ничего такого, вы же видите, он сумасшедший. Нет никакой бумажки. Можете меня обыскать". А Майтелес все тычет в Кмичинского. Кмичинский задрожал и говорит: "Это не я, это он". Бедняга, он потом места себе не находил от стыда, оправдывался. Проходит два дня, наконец меня забирают и ведут к начальнику тюрьмы. Я уже говорил тебе, что тогда во Львове я еще не умел сидеть в советской тюрьме. Изображал левого, и моя трусость фатально отразилась на ходе следствия. За коммуниста я себя уже не выдавал, но строил из себя прогрессиста. В создавшейся ситуации, раз уж Кмичинский признался, я ничего не отрицал. Сказал, как было дело: услышал голос Броневского; не знаю, что с семьей, волнуюсь за нее, хотел что-нибудь узнать; с Броневским говорили о наших семьях, но, как оказалось, и у него нет вестей из дому. Начальник приказал мне все это написать. Я написал, вернулся в камеру и думал, что все утряслось. Миновала еще пара дней. Снова за мной приходят, ведут в карцер. Такая маленькая клетушка в подвале, оконце вровень с мостовой, стекло выбито. Зима стояла лютая. Деревянные нары, параша, ушат. Каждое утро дежурный наливал в него воды, а потом выливал ее на бетонный пол.

Милош: А было чем прикрыться?

Ват: Нет, ничего. К счастью, меня не раздели, а то наверняка бы умер. Я уехал из Варшавы в летнем пальто, но во Львове Дебора Фогель, еврейская писательница, очень привлекательная женщина и тонкий критик (не знаю, что с ней потом стало), отдала мне мужнину шубу, обветшавшую, но на ватине. Я с ней потом проехал всю Россию, она меня просто спасла. Наверное, я был здоров как бык, раз этот карцер выдержал. Было дико холодно. На нарах я мог улежать максимум пару минут, потом срывался и начинал ходить. О том, чтобы заснуть, нечего было и думать. Я вырвал из шубы клок ватина и затолкал в ботинки — сильней всего мучился из-за ног. Однако отморозил нос, больше ничего. Еще раз удивил врачей выносливостью своего организма. Пять суток ходил, ложился лишь на несколько минут. Разумеется, выдавали мне только полпайки хлеба. А в соседней камере сидел Владек Броневский, который меня поразил. Отказался со мной разговаривать, сказал только через стену, что презирает меня за то, что я сознался. Всех обстоятельств с Майтелесом и Кмичинским он, конечно, не знал. Сам он ни в чем не признался. Потом я тоже стал применять этот метод — не сознаваться даже в очевидном. Даже если все ясно как божий день, отрицать — и все тут. Это единственно возможная линия поведения с советскими властями и их органами. Нахально, глядя в глаза, говорить нет. Тогда отстанут. Если, конечно, заранее не получили приказа о пытках. На Лубянке я увидал, до чего можно довести пытками очень мужественного человека — самого мужественного из всех, кого я знал среди советских зэков. Но я не принадлежал к тем, кого пытают. Владек же был невероятно смелым — какая сила! — просто орел. Я им восхищался. Я ходил обычной своей разболтанно-интеллигентской походкой или бегал по кругу.

Он же — как я ему завидовал! — чеканил шаг в солдатском марше и пел легионерские песни. Все время, все пять суток!

Милош: Фантастика!

Ват: По сравнению с Владом, я чувствовал себя просто каким-то замерзающим червяком, вошью, которой суждено окоченеть от холода. Я не знаю ничего более достойного, чем тогдашнее поведение Броневского. Тем страшнее коммунизм, который даже такую выдающуюся личность впоследствии превратил в тряпку. Так вот, он презирал меня и не хотел со мной говорить. Потом мы встретились на Лубянке — в тот день нас всех вывозили оттуда, но он еще помнил обиду. Собственно, это было уже не на Лубянке, а там, куда нас перевезли. Притиснутые друг к другу в крошечном боксе, мы простояли всю ночь. Утром нас отправили в Саратов. Мы встретились очень тепло, хотя я тебе уже говорил... Я все пытался ему объяснить, рассказать о Майтелесе. Но он считал, что никаких оправданий нет и быть не может. Скрежетал зубами. Не признаваться ни при каких обстоятельствах. Вот так! Но карцер я выдержал. На шестой день был едва живой. Пришел надзиратель, я его знал раньше. Украинец, деревенский парень, ряха, как у дурачка из сказки, но очень добрый. Принес ведро воды и тряпку, чтобы я вымыл бетонный пол. Я взял тряпку, намочил, но выжать не мог. Он стоял в дверях, смотрел, понял, что у меня нет сил. Взял и сделал все сам. Потом отвел меня в камеру. Время было утреннее — наверное, часов одиннадцать, камера гудела. Мне тут же освободили место. Я был очень слабый, по сути, полуживой. Не несчастный, а только отупевший и полуживой. Я лег на нары и сразу уснул. Нет, все-таки не сразу. Засыпая, я слышал, что происходит в камере. Это продолжалось минуту или две, но мне показалось — очень долго. Слышал, как Ленц-Ленчевский, другой наш юнец, но такой "весь из себя", с аристократическими замашками, говорит: "Снова нам этого еврея подсунули". И я провалился в сон, не знаю, как на его слова отреагировали другие. Только зарегистрировал услышанное в сознании, но, так сказать, без обратной связи: ничего не ощущая. Меня это не расстроило, не заинтриговало.

Милош: А как в камере отнеслись к Майтелесу?

Ват: Когда я вернулся, его уже не было. Знаю, что камера разделилась. Люди приличные, с чувством собственного достоинства, с ним не разговаривали. Никто его не оскорблял, бойкота не объявлял, просто относились очень холодно. Нашлись два или три человека, которые подлизывались к нему, улыбались, старались услужить. Остальные соблюдали ледяную вежливость. Боялись его, но с честью вышли из положения. Никто не пытался его стыдить. Было бы глупо стыдить помешавшегося от ненависти Майтелеса. Но это еще не конец истории. Год 1943-й. Я работаю в польском представительстве в Алма-Ате. У нас там склады подарков со всех концов мира. Моя обязанность — открывать и инспектировать школы. В тот день я, как обычно, сидел за столом. Ко мне то и дело входили доходяги из колхозов, опухшие, в тряпье, покрытые язвами. И вдруг — Майтелес. Увидел меня, узнал. Страшно удивился, подошел, начал что-то мямлить. Запомнилось только, что работает где-то недалеко от Алма-Аты, в колхозе. Приехал на наш склад за вещами. Я ему сказал, чтобы проваливал и не трусил — знать его не желаю. На том и расстались. <...>

XXII

Главу XXII расшифровать не удалось из-за плохого качества записи. В ней шла речь о тяготах львовского следствия, о сменявших один другого судебных следователях. На основании показаний коллег-литераторов о разговорах, которые в 1939 году они вели с Ватом в Варшаве, ему было предъявлено обвинение во враждебном отношении к Советскому Союзу. Его преступление квалифицировали то как троцкизм, то как сионизм, один раз даже как агентурную деятельность в пользу Ватикана. Следствие было прервано, и в октябре 1940 года Вата перевезли в Киев. <...>

Главы XXIII, XXIV и частично — XXV, как и весь текст, публикуются на основании магнитофонной записи, но в последние месяцы своей жизни их успел отредактировать сам автор. <...>

Чеслав Милош

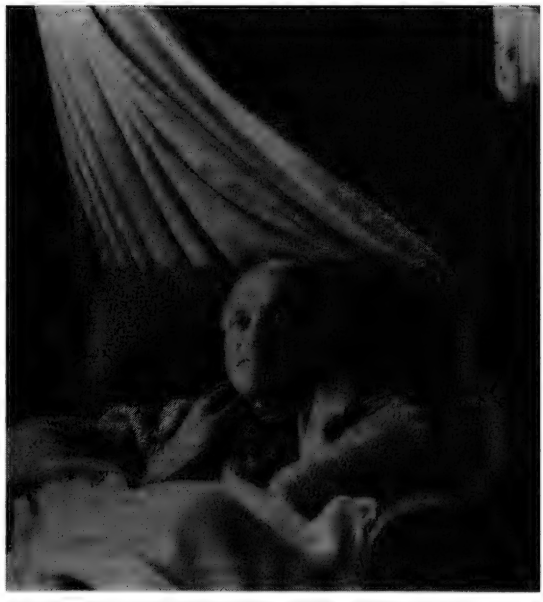
XXIII

Ват: Я в Киеве. На задворках вокзала меня сажают в *черный ворон*. Железный короб с наглухо изолированными крошечными отсеками. Мой — примыкает к кабине шофера. Такой низенький и тесный, что, даже согнувшись в три погибели, я упираюсь лбом и коленями в перегородку. На уровне лица в железе по кругу проделаны отверстия. Круг — сантиметров десять в диаметре. Обычно я припадал ртом к этим дыркам. Но сейчас нет необходимости: дверка к шоферу приоткрыта. Я с благодарностью думаю о милосердии моего конвоира. Он сидит рядом с шофером, рад компании, болтает вовсю — вот пустобрех! — о разных людских делишках, сыплет именами: Вася, Наташа, Федя, Таня. Андрюша сделал это, Федя сказал то. Смеются. Хорошо! После страшной Замарстыновской тюрьмы меня, скрюченного в железном гробу (стоит захлопнуть дверцу, и я сразу же подохну от удушья), везут в очередной застенок, а тут: "Вася сказал Тане: поцелуй меня в ...". В мире все идет своим чередом, все хорошо. <...>

Только в пятой или шестой тюрьме меня соглашаются принять. После коротких формальных процедур меня отводят в камеру. Какая большая! Правда, народу много, но после девяти месяцев, когда нас было двадцать восемь человек на одиннадцати с половиной метрах, кажется так свободно. Радуюсь простору, воздуху — по мне, вони почти не чувствуется, — деревянным нарам, сокамерникам-землякам. Поляки и украинцы из Польши. Прокуроры, адвокаты, судьи, полицейские, украинский посол, не помню точно — Скрыпник? Селевич? Натыкаюсь на холодные, сверлящие взгляды. Что это — недоверие, ненависть к незваному гостю, чужаку? Ложусь на нары, которые мне указали, ощущаю, как устал. Опускаю веки — чтобы не потерять связь с чудом обретенного миропорядка, сохранить перед внутренним взором образ гармонии: деревья, щебечущие птицы. Но не тут-то было. Крики — мои сокамерники выясняют отношения. В глазах у них бешенство, бешенство и больше ничего. Это единственная камера, после которой в памяти не осталось ни одного лица, ни одной фамилии. Но был бы я лучше этих

людей, если бы прошел через то, что они?

В тюрьме голос не единственное средство коммуникации. И наш корпус, и противоположный были сверху донизу сплошь перетянуты нитками. Уже годом позже, в Саратове, я сидел с молодым уркой, который умудрялся перекидывать через оконный щит и переправлять в другие камеры, даже на самые высокие этажи, спичечные коробки с моими записками: *Не сидит ли среди вас польская гражданка Ват?*



А. Ват. Прованс, 50-е годы

Другим средством коммуникации служили надписи в уборной. Порнографии хватало, но преобладала не она. Часто встречались польские надписи: фамилия, возраст, дата, срок, место отбывания приговора. Многие были сделаны молодыми: пятнадцати-, шестнадцати-, семнадцати-, девятнадцатилетними, почти у всех — по восемь, десять лет Колымы или Котласа. Польские надписи обычно деловые, конкретные: если кто из земляков прочтет, просьба запомнить и передать дальше, пока весть не дойдет до близких. Часто давали точный адрес, а иногда только: "Родителей увезли в Казахстан в апреле 1940-го". Теперь у меня не оставалось сомнений, что семьи арестованных были депортированы "в апреле 1940-го", но моя интуиция, мои еженощные телепатические перелеты на улицу Набеляка, где девятого апреля я увидел пустую квартиру, открыли мне это гораздо раньше. Тревога за Олю и Анджея снедала меня постоянно, но пока я сидел в этом месте, два раза в день я ощущал ее как удар в сердце.

Ну и русские надписи: если не блатные и не информативные, то философские. Много стишков, частушек. В основном, плохих, но не лишенных какой-то дикой энергии. Сделанных настоящими урками либо теми, кто под них подделывался. Попадались и творения интеллигентов. Кое-что из этого всего до сих пор вертится у меня в голове.

Самое сильное впечатление произвели на меня тогда философские сентенции. Потом мне встречались похожие в каждой провинциальной тюрьме. *Будь проклят, кто выдумал название исправительно-трудовые лагеря* — так начиналось стихотворение.

Красивее всего звучал старинный афоризм:

> От тюрьмы и сумы не отказывайся,
> входящий не сумись[1],
> выходящий не радуйся.

1. Сумиться — помешаться, спятить с ума (Словарь В. Даля).

Прямо антифон[1] хора многовековой трагедии русского народа. Стародавнее изречение беглых крепостных и странников на редкость полно, правдиво и достойно отражало современную русскую историю. Меня очаровали его спокойствие и суровая правда. Но я, пришелец из другого мира, не хотел поддаваться его обаянию и с издевкой думал: "Без согласия народа на тюрьму и суму большевики бы не удержались; идея насилия, родившаяся на Западе, который не только пережил чудовищный гнет и несправедливость, но и воздал виновным, именно здесь обрела землю обетованную". Но когда я вернулся на нары и под перебранки моих сотоварищей, людей еще недавно вполне западных, стал повторять поразившие меня слова и вслушиваться в их серьезное анапестовое звучание, я уже не сомневался — это и есть святая правда. Закрыв глаза, я старался представить себе того, кто на грязной стене тюремной уборной вместо "Спасайся, кто может" вывел достойное и смиренное напутствие. Кем он был, этот посланец народа? Один из миллионов ему подобных? В бессмысленности, хаосе, стихийности собственных страданий он разглядел смысл судьбы целого народа. Сегодня, когда я через двадцать пять лет читаю "Один день Ивана Денисовича" или "Матренин двор", я вспоминаю эти слова, и передо мной вновь встает привидевшийся мне тогда образ христианина, стоического русского лагерного мудреца.

Будь проклят, кто выдумал название... — это гнев, обращенный на язык, смысл слов, семантику. Насилие, произвол, издевательства несравнимо легче перенести, если нас не заставляют называть их свободой, справедливостью и благом. С точки зрения истории случаи массового уничтожения людей не исключение, а правило, жестокость кроется в самой природе человека и общества. Но здесь было изобретено нечто новое — какое-то третье измерение зла, более глубокое и изощренное, — грандиозный театр изнасилованного языка. И если бы дело было только во лжи и лицемерии! Люди всегда лгут, а власть всегда лицемерна. Но лицемерие власти обычно порождает бунт, здесь же сама идея бунта была подавлена в зародыше — раз и навсегда. Ложь — болезнь или вырождение языка, потому что его естественным предназначением является правда. Ложь, по сути своей, преходяща, эфемерна и, находясь в извечной конфронтации с неистребимым стремлением языка к правде, в конце концов сама себя разоблачает. Но здесь естественный процесс самоутверждения правды был отменен — на веки вечные. Историческая языковая связь между словом и обозначаемым им понятием, предметом или фактом, сама логика их взаимообусловленности была конфискована у личности государством. Слово стало обозначать только то, что предписывал ему, по своему усмотрению, узурпатор всех слов, фактов, понятий и душ. Чем ничтожнее были факты, тем помпезнее они назывались. И если бы этот механизм использовался для обычной маскировки зла, прикрытия мерзостей войны, тирании, территориальных захватов — как не раз бывало в истории со времен Тацита! Но здесь демонстративно, с дьявольской настойчивостью и упорством, утверждалось сосуществование высоких слов и чудовищной реальности, и вас принуждали верить в этот союз как в некое естественное тождест-

1. Антифон (*греч.*) — церковное песнопение, при котором один голос (или хор) отвечает другому.

во, иначе — вам конец. Темные времена средневековья знали нечто похожее, бывали какие-то поползновения, наметки чего-то подобного, но впервые в истории в таком колоссальном масштабе, такими темпами и так последовательно была произведена настоящая перековка душ. Умирающих от голода крестьян снимали в фильмах, где столы ломились от изобилия, и под страхом смерти они *обязаны* были верить, что не их нищая жизнь, а роскошные застолья "типичны" для их колхозной жизни. Молодые энтузиасты с упоением пели: *Я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек*[1] – в то время, как их отцы гнили в лагерях. Но для душ, не поддавшихся пресловутой перековке, не было ничего ненавистнее этой всеобщей словесной коррупции. Она приводила к полному духовному вырождению. Душила, как ночной кошмар, как петля на шее.

Когда я вышел на свободу, в России, тогда уже усмиренной до кладбищенского состояния, мне случалось встречать немолодых людей, готовых погибнуть, но перед смертью выкрикнуть, что рабство есть рабство, а не свобода. Позже, в берутовской Польше, в самые черные времена, это было явлением частым. Я и сам принадлежал к таким отчаянным, за что заплатил высокую цену. <...>

И снова черный ворон, едем вдоль какой-то боковой ветки. Через пару километров от станции, среди путаницы рельсов, возле будки с солдатами стоит *столыпинка.*

Подъезжаем, я уже знаю точно, к Москве. Опять нас высаживают на задворках, за кордоном солдат видны бабы, укладывающие шпалы. Двоих моих товарищей сразу забрали, а я со своим конвоиром стою, жду. <...>

XXIV

Ват: <...> Коридор, лифт, снова длинные коридоры, чистые; по низу деревянный плинтус; ядовито-зеленая масляная краска, выше белая стена. Если издали раздаются шаги, мои конвойные стучат ключами о пряжку ремня, звук очень человеческий, но это обман. Меня дважды поворачивают лицом к стене — мимо проводят другого заключенного. Нельзя, чтобы я увидел его лицо, а он мое. Это мир железного порядка. Куда меня ведут? Тишина в этом мертвом доме зловещая. У меня такие тревожные предчувствия, что я готов со своими двумя безмолвными конвоирами ходить по лабиринтам Лубянки вечно. Время от времени кто-нибудь из них цокает языком, чуть задевает меня рукой — от человеческих рук исходит тепло, струятся успокаивающие флюиды. Но мертвая тишина не дает успокоиться, она пугает. Останавливаемся перед камерой № 34.

Помещение не маленькое, несколько вытянутое, метров двенадцать или тринадцать. Вдоль стен четыре железные койки, застеленные одеялами, рядом — ночной столик: *тумбочка*, пол дубовый, натерт до блеска, возле окна — стол, на нем большой чайник. Книги! Быстро пе-

1. Так у Вата.

ресчитываю — пять толстых томов. Шахматы, двое играют. Третий лежит на кровати. Маленький кореец. Он садится и разглядывает меня. Вокруг царят симметрия и порядок. На одной тумбочке — длинная белая булка. На глаз здесь двенадцать квадратных метров, а заключенных только трое, я четвертый. Люди хозяйственные, это видно. Представились. Кореец низко кланяется, опять ложится и закрывает глаза. Двое других оставляют игру, завязывается разговор. Один высокий, сутулый, с благородным выражением длинного, немного лошадиного лица. Мешает только рот — вялый, как у гурмана или сплетника. Жестикулирует изысканно, хотя и немного странно, словно старается снять жилетку, не снимая пиджака. Это Евгений Яковлевич Дунаевский, переводчик персидской поэзии. К автору популярных песен отношения не имеет. Другой — поляк, шофер польского консульства, киевского или харьковского; глаза затравленные, глубокие борозды морщин. Мне достается койка генерала Андерса[1], которого лишь недавно забрали отсюда. Дунаевский тут же принимается с восторгом рассказывать о генерале: мужественный, рыцарственный, в камере держался безупречно, не заносился, терпеливо выносил мучительную боль от недолеченных ран. "Рыцарь, рыцарственный, рыцарский" — звучит то и дело. Генерала уважали и за высокий ранг, и за репутацию. "Настоящий генерал", — подытожил Дунаевский. Кажется, Андерс намеревался писать в специальном боксе труд о Сентябрьской военной кампании[2]. Через пару недель я сам оказался в таком боксе. Там писали прошения, *заявки*, обращения к следователю, начальнику тюрьмы, генеральному прокурору, в Президиум Верховного Совета и к самому Сталину. Стоял стол с чернильницей и стул. Листок бумаги торжественно вручал старший надзиратель. <...>

Страстью Дунаевского было сравнительное языкознание. Он знал много языков. Кроме нескольких западных, персидский, иврит, латынь, немного — санскрит. Литовский он считал невероятно важным для своих исследований, приставал к нашему поручику [новому соседу, литовцу] — спрашивал, как звучит то или это, и тут же строил цепочки дедукций.

Иногда его этимологические построения казались мне смешными. Они принадлежали к разряду некогда популярной народной этимологии. Но в безумии Дунаевского был метод. Позаимствованный у академика Марра, чью яфетическую теорию до 1951 года всем советским лингвистам под страхом смерти вменялось в обязанность считать единственно верной. Вслед за Марром, которого Дунаевский называл "гениальный любитель", он доказывал тождество структуры языка и структуры событий. "В слове отражается быт", — твердил он. Как и Марр, он хотел обосновать возникновение языков и праязыка материалистически, объяснить родство слов и словоформ в разных языках не общностью происхождения, не единым генеалогическим древом, а одинаковыми фазами материального "быта", сходными условиями об-

1. Владислав Андерс (1892–1970) — генерал, политик. В 1939 г. арестован органами НКВД, освобожден в 1941 г. С 1941 г. командовал созданной в СССР армией, в 1942 г. вывел ее на Ближний Восток. Позже командовал польским корпусом в войсках союзников. После войны — в эмиграции.
2. В сентябре 1939 г. нацистская Германия напала на Польшу и в течение трех недель заняла главные военные пункты.

щественного существования и коллективного труда. Он утверждал, не знаю, справедливо или нет, что из двух тысяч слов, которые вошли в современный русский язык из праславянского, тысяча девятьсот связаны с трудовыми процессами. Но сознательно дистанцируясь от Марра, Дунаевский сосредоточился именно на последней сотне, означавшей вещи нематериальные, поэтому его лингвистические фантазмы представляли собой гибрид "вульгарного" материализма и мистицизма. Мне в этом, правда, виделось нечто комическое. Слушая Дунаевского, я не мог не вспомнить двух недоумков: Бувара и Пекюше, рожденных сарказмом Флобера[1]. В русской революции победили Бувар и Пекюше.

Умозаключения Дунаевского обладали великой убедительностью. Он разработал удивительный фонетический аппарат, куда входили труднопроизносимые сочетания звуков, разные там "тссрде", "кдрдз", звучавшие выразительно и отчетливо, как голоса инструментов в слаженном квартете. Свои монологи он сопровождал танцевальными жестами, глаза горели, число мелькавших в воздухе пальцев, казалось, возрастало десятикратно.

Меня это страшно увлекало, но еще с Замарстыновской тюрьмы я панически боялся чужих маний, я не раз чувствовал, как ветерок от их крыльев касается моего лица. Должен сказать, что я хорошо помню фонетические выкладки Дунаевского и их смысл, но не помню всех звеньев доказательств.

Вначале его интересы были шире. Первые несколько недель он расспрашивал меня о книгах, вышедших на Западе после рокового 1934-го, просил рассказать о фрейдизме, особенно интересовался книгой "Тотем и табу". Когда я говорил ему об "изначальной амбивалентности слов", о словах, некогда обозначавших вещи противоположные, он сам приводил примеры: *caldo* – теплый и *cold* – холодный[2]. Радовался, находя подтверждение той или иной своей гипотезе. Но меня поражали пробелы в его воистину широком образовании. То же позднее удивляло меня в Алма-Ате, когда я встречался с писателями и кинодеятелями. Все, что происходило в западной гуманитарной науке после 1934 года, было сплошным белым пятном даже для самых просвещенных. Не только Дунаевский с его Марром, но и Виктор Шкловский не пошел в лингвистике дальше Соссюра. Мой сокамерник в Саратове, который тайно изучал логицизм и был арестован по доносу своего друга за запрещенные научные исследования, нигде не мог достать "Трактат" Витгенштейна, ну и так далее. Образование советских гуманитариев заканчивалось 1934 годом. Правда, выдающимся специалистам разрешался доступ к текущим западным публикациям, но далеко не всем и лишь в рамках некой узкой области. В Алма-Ате в 1942 году в гостинице "Дом Советов" избранная публика, учившаяся на сценарных курсах "Мосфильма" (где иногда появлялся сам Эйзенштейн), с упоением слушала на собраниях мои рассказы о фильмах Рене Клера или Саша Гитри ("Обманщик"). Из многочисленных кинокартин недавних лет они знали только "Диктатора". Последним проявлением литературного но-

1. Персонажи неоконченного сатирического романа Г. Флобера "Бувар и Пекюше" (1881).
2. Caldo (*итал.*), cold (*англ.*).

ваторства считалась проза Рильке. "Записки Мальте"[1] передавались тайком, из рук в руки вместе со списками последних стихотворений Мандельштама. И это в кругу Зощенко, Маршака, Паустовского, Шкловского! <...>

XXV

Ват: <...> Чтение на Лубянке стало одним из главных впечатлений моей жизни. Книги не просто помогли мне отвлечься — они преобразили меня, сформировали заново. Я стал иначе понимать не только литературу, но и вообще все.

Литература — попытка некоего постижения и синтеза, и значит, поэзия в конце концов — героизм. Я — нагой, голодный, слабый, дрожащий пещерный человек, беззащитный перед лицом стихий, демонов и диких зверей, а поэт совершает подвиг утешения — подвиг в подлинном смысле слова. Мне стало тогда ясно, что в этом суть литературы, ее оправдание в мире. Утешение другого такого же, лишенного всего, слабого пещерного человека. Трудно об этом говорить, не касаясь того, что такое познание, проникновение в тайну, молниеносное ее постижение, предшествующее познанию, то есть самая глубокая интуиция. Это зависит от души. Я уже рассказывал тебе, что раньше, в Замарстыновской тюрьме, мучась тем, что ничего не знаю об Оле, я прибегнул к парапсихологической практике, но в одночасье бросил — понял, что кончу сумасшествием. Но здесь было совсем другое, мир иных тайн. Конечно, будь у меня тогда перо и бумага, я описал бы открывшийся мне особый миропорядок, философскую систему, скажем, в духе Сведенборга. Но очень постепенно, как-то незаметно я утратил тогдашнюю веру. Что я о ней знаю? Что это просто догадка, глубоко интуитивное убеждение, присущее древним с незапамятных времен: у человека не одна душа, а несколько. Помню, сам я дошел до восьмой. Воплощением и образом одной из них была литература, вернее, поэзия литературы, ее смысл. В одном своем стихотворении ты пишешь о двух душах, я же за девять месяцев тюрьмы дошел до различения и узнавания восьми. Может, это было, как у Сведенборга, общение с категориями и ангелами. А может, и с дьяволами. Троны, серафимы.

Эссе, найденное в бумагах автора

Я тебе уже говорил, что в первой же партии библиотечных книг мне попался Пруст — "В сторону Свана". Первая книга после целого года перерыва. С удивлением, а потом почти со страхом, я осознал, что вся моя система ценностей даже не рухнула, а просто не существует — осталась

1. Полное название книги Райнера Марии Рильке (1875–1926) — "Записки Мальте Лауридса Бригге" (1910).

за стенами тюрьмы. Знания о людях, обществе, сложные психологические штудии, скрупулезные исследования человеческих страстей, тонкие мыслительные операции – все, что прежде доставляло мне такое удовольствие, здесь на Лубянке казалось чем-то вымороченным, претенциозным, иногда даже вызывало раздражение. Что мне сатира на салон Вердюренов после кошмара Замарстыновской тюрьмы? Что мне сам этот салон, герметичный, как запаянный в бутылку кораблик, что мне эти мысли, лишенные живой крови, изыски рафинированных героев? Конечно, занимательно и помогает убить время. Но все, что в романе не было поэзией – энергией поэзии, динамикой поэзии, – я рассматривал как театральную бутафорию.

Тем не менее "Сван" нисколько не умалился для меня. Наоборот, сила и очарование романа действовали на меня больше, чем когда-либо. Его поэзия – благодаря которой все, чего касается автор, приобретает сокровенную, очень личную "внутреннюю вибрацию" – была тем неожиданней, что ощущалась кожей. И явственнее всего выражалась в самом для меня важном: переживании уходящего времени. Это была поэзия постоянной агонии, когда ничто еще не погибло, но уже находится в стадии умирания. Поэзия мгновения, длящегося между жизнью и смертью, сверхъестественно долгого последнего вздоха – именно тут крылась глубина, вернее, глубины книги, которые так трогают читателя. Чем было бы иначе творение Пруста? Гигантской фреской пустоты в обоих смыслах этого слова: пустого места и тщеты. Длинные фразы, бесконечные прустовские периоды, которые я воспринимал как аналог моего тюремного угасания, отзывались во мне со всей своей первозданной силой. Поэтическая форма, которая вызывает к жизни первозданную силу, – вот архетип отношений автора и читателя.

Как нарочно, все не удавшееся Прусту, все его квазибальзаковские описания "загнивающего капитализма", безмерно превозносились автором предисловия Анатолием Луначарским и приводились в качестве единственного оправдания публикации. Как и все марксистские критики, этот последний прекраснодушный большевик писал не о романе, а о его социологической тени. Прочитав эту вводную статью, я осознал, что коммунизм отвращает меня не только своей жестокостью, но и сведением многообразия к линейной упрощенности.

Кстати говоря, вульгарные и обскурантистские штампы марксистских критиков, вроде "субъективно реакционный, но объективно прогрессивный", "гений, ограниченный своим временем... классовым происхождением", спасали тогда и спасают доныне настоящую литературу в тех странах, где, по выражению Гобино[1], "критикой занимается инквизитор".

Среди первой доставшейся мне пятерки книг был Макиавелли в издании "Academia". Так же случайно мне вскоре попалось дореволюционное издание его избранных сочинений с подробной биографией и перепиской. Раньше я читал Макиавелли, как *tout le monde*[2], через призму макиавеллизма: гений политического аморализма... мужественный и суровый мир кондотьеров... *virtú*[3]. На Лубянке настоящим открытием стал для меня Макиавелли-поэт. И отнюдь не потому, что писал стихи,

1. Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882) – французский социолог, философ, этнограф-ориенталист, писатель.
2. Все (*франц.*).
3. Добродетель (*итал.*).

довольно заурядные, но потому что *был им.* Поэзией (и поэтами) держится земля. *Dichterisch wohnt der Mensch auf dieser Erde*[1] (Гёльдерлин). Поэт действия, Макиавелли пытался преобразить жизнь на земле поэтически.

Книга попалась мне вовремя. Среди мерзостей Замарстыновской тюрьмы я проникся ненавистью и отвращением ко всякой политике. Чтение Макиавелли восстановило равновесие мировых событий, ко мне вернулось чувство пропорции, способность к дифференциации — чего еще было желать? Я научился различать политику как коллективную судьбу и политику как инструмент. Макиавелли показал, что такое политика под другими небесами. Под звездами, которых мы не видели из наших тюрем.

Сейчас говорят о "макиавеллизме Сталина", смешивая воедино татарщину и высшие достижения ренессансной мысли и добродетели (*virtú*). Хотя я избегал тогда даже малейших намеков на Сталина, ибо причиной моего ареста и главным из выдвинутых против меня обвинений были мои суждения о нем, которые я высказывал приятелям при многочисленных свидетелях. И все же я не удержался и прочитал сокамерникам то место, где Макиавелли советует Государю свершить насилие, к которому он будет принужден, одним махом и в самом начале, чтобы не угодить в порочный круг нескончаемых гонений.

Чтение возвращало нас к жизни, погружало в круг забот нормальных, свободных людей, живших в широком мире. Мы воспринимали вымысел как реальность — с наивной доверчивостью детей, слушающих сказки. Не для того ли нам давали книги в этой тюремной лаборатории, где ставился эксперимент по выяснению предела человеческих возможностей? Вполне допускаю, что каждая мелочь была продумана самим Сталиным. Может быть, одновременное пребывание заключенного в столь разных реальностях должно было довести его сознание до шизофренического расщепления и сделать беззащитным перед следствием? А может быть, инквизитор таким образом старался довести до накала угасающее в тюрьме желание жить? Потому что я, например, волю к жизни и, даже более того, ницшеанское *amor fati*[2] находил в каждом, даже самом пессимистическом произведении. Чем пессимистичнее оно было, тем сильнее я ощущал в нем скрытую пульсацию энергии, витальной силы. Как если бы вся литература нужна была только для того, чтобы восхвалять притягательность жизни, причем любой; как если бы больше не оставалось никаких соблазнов, с помощью которых природа отвлекает нас от желания самоубийства, от мысли Экклезиаста и Сенеки: лучше не родиться, а тому, кто родился, — лучше сразу умереть.

Попадались книги, которые я читал когда-то на свободе, в ту пору они вызывали у меня депрессию. Например, "Записки из подполья". Но тут в камере и они пели осанну жизни: "Посмотри, сколько тонкого очарования даже в такой убогой, жалкой, 'подпольной' жизни!" На Лубянке свобода казалась во сто крат более желанной, чем в Замарстыновской тюрьме. Не из-за книг ли? Как знать, не этого ли добивался инквизитор: разжечь жажду свободы до такой степени, чтобы узник ради нее был готов на все, чего бы от него ни потребовали? <...>

1. "Как поэт живет человек на этой земле" (*нем.*).
2. Любовь к судьбе (*лат.*).

XXVII

Ват: <...> Но вернемся в камеру. Дни идут, и я начинаю понимать: со временем что-то творится, я стал ощущать его неоднозначность, его невероятную важность для человеческого сознания. Лубянка — лаборатория по изменению восприятия времени. К тому же закончился мой "верблюжий период", когда организм жил за счет своих запасов. Я начал голодать. Вскоре после первой встречи со следователем — генералом или полковником, уже не помню, хотя он был в форме, — меня вызвали опять. Вхожу в довольно большую комнату, обставленную как обычный служебный кабинет, но очень светлую. За двумя столами, довольно далеко друг от друга, сидят два энкавэдэшника. У одного лицо восточное, у другого — типично русское. У того, с восточной, грузинской внешностью лицо красивое, но как бы никакое — без биографии. Относительно молодой, лет около тридцати, может быть, больше, трудно определить. Сейчас я сразу бы понял, что тот с "лицом без биографии" — грузин, правда, хотя вряд ли узнал бы его, а ведь столько раз видел. Зато другого — узнал бы наверняка. Русский интеллигент, лицо вечного студента-революционера, туберкулезник: чахоточный румянец, щеки и грудь впалые, глаза огромные, с лихорадочным блеском, *с неутолимою тоскою.* Таким можно себе представить Раскольникова. Правда, трудно удержаться от вопроса, что сделал бы Раскольников после преступления и суда в советское время: пошел бы на площадь каяться или завербовался в ЧК? Скорее, второе. Впрочем, вот тебе история. Не так давно Анджей был в Москве. Общался с молодыми писателями и художниками. Познакомился там с лидером одной художественной группы, тоже художником. У них в группе принцип — бездомность. Колесят по всей России, везде у них друзья, находят себе какие-то пристанища, там же устраивают выставки — работы, разумеется, абстрактные. Их глава, бородач, самый из них старший, лет сорока — бывший офицер НКВД и КГБ. Его посадили на пять лет незадолго до смерти Сталина за то, что он просто так, без всякой причины застрелил лагерника. Когда его выпустили по амнистии, он в первом же городе, до которого доехал, пошел на площадь, разорвал на себе рубаху и давай каяться, рассказывать о страшных преступлениях ЧК, НКВД, КГБ и о собственных — тех, что совершил сам. Разумеется, его тут же арестовали, но вскоре выпустили как сумасшедшего. Решили оставить в покое. Вот тебе Раскольников советского времени.

Итак, сначала мне представился Лалашвили, тот грузин, который вел мое дело, другой оказался лишь статистом. Не знаю, то ли он был ниже чином, то ли я не попал в его веденье. Во всяком случае, Лалашвили представился первым. Очень изысканно, как в салоне. А перед ним — я: настороженный, ощетинившийся, замкнувшийся в себе, все мышцы напряжены; кроме того, помню со львовских времен, что перед следователем положено сидеть в строго определенной позе с особым образом сложенными руками. Лалашвили же говорит мне, чтобы я расслабился. Выражение лица доброжелательное, держится, как в кафе или салоне. Затем называет фамилию другого энкавэдэшника: "Николаев", или что-то в этом роде, уже не помню. Начинается разговор. Сначала о том, как я себя чувствую, доволен ли в той мере, в какой можно быть довольным в тюрьме. Говорю, что доволен, камера чистая, сокамерники очень приличные люди. Но есть одно очень тяжелое обстоятельство —

семья. Что с моей семьей? Это меня убивает. И тут же прикусываю язык, понимаю, что выдаю свою слабую сторону. Ее могут использовать. Но что сделано, то сделано. Впрочем, я все равно бы спросил. Он отвечает: "У меня нет точной информации, но знаю, что они живы и здоровы". И тогда я автоматически спрашиваю: "Оба?" Он мгновение колеблется и отвечает: "Оба". Но мне хватило этого мгновения, чтобы передо мной разверзлась пропасть. Еще хуже стало потом, когда я вернулся в камеру и завертелись бесконечные мысли. С одним из них что-то случилось, может быть, самое страшное? С кем? Что именно? Мой ум не отключался ни на секунду. Какое еще несчастье произошло? Я спросил, оба ли – "да... только нет точной информации". Я уже во Львове знал, что семьи арестованных депортированы. К тому же я почувствовал это во время моих парапсихологических опытов. Я спросил у него, где они? Ответил, что уже не во Львове, где-то в Азии, он сейчас не знает, но постарается узнать и честно скажет: "Я не стану от вас скрывать, у меня нет таких намерений". Он старался показать, что я должен ему доверять, особенно когда речь идет о таких вещах. На столах у них лежало много книг. Ну понятно – Чаховский, "История современной литературы", мы издали ее у Гебетнера. Такой том я уже видел у следователя во Львове. Потом, кажется, Бобжинский, "История Польши" – в общем, все, что касается Польши. Кстати, я потом рассказал об этом Казику Чаховскому, незадолго до смерти он приехал из Кракова в Варшаву и все время, все три дня, был в подпитии. Милый, добрый человек. Спьяну страшно обрадовался: "Ну вот, я это предвидел, когда писал".

Спрашивали о литературе и литераторах. И ничего – о моем деле. Вероятно, чтобы побороть мое недоверие, речь вели сначала о покойных, позже, на последующих допросах, перешли к живым. <...> Несколько раз подключался Николаев, у которого была еще более теплая, очень русская манера беседы. Расспрашивал о польской литературе и писателях, причем заодно и о литературных проблемах. Очень интересовался Жеромским. Я не без удовольствия прочел им целую лекцию – подробно проанализировал "Канун весны"[1] и видел, что Лалишвили это пришлось по вкусу. В тот раз я говорил не как марксист. Он, основательно проштудировавший мою биографию и протоколы допросов, знал, что во Львове я старался казаться марксистом, и настойчиво, даже не в меру настойчиво пытался с этого пути меня сбить. Он не мог мне сказать: "Да пошлите вы к черту ваш марксизм!" – но явно склонял меня к этому. Он добивался от меня истинного положения дел. Тут следует внести коррективы в расхожее представление о большевистских догматиках, пребывающих на вершинах власти. Разумеется, на низших ступенях требовался повальный догматизм. Узких, догматичных людей, овладевших лишь азами марксизма, готовили вполне сознательно. Но выше... Хотя Лалашвили был только капитаном, он работал в учреждении, которое относилось к очень высокому уровню, к самому высокому: разведка или НКВД. Короче говоря, здесь не занимались мелким сыском, это было исследовательское учреждение, и я выполнял роль пособия! Называлось это учреждение то ли *Первое отделение третьего отдела*, то ли *Третье отделение первого отдела*. Видимо, тут изучали

1. "Канун весны" – роман Стефана Жеромского (1864–1925).

польские проблемы. Вполне вероятно, что меня и впрямь привезли сюда для неких исследовательских целей, поэтому-то я и удостоился чести попасть на Лубянку. Позже я понял, что был им нужен как спец по литературе, который, в отличие от польских марксистов, нарисует им правдивую картину. Марксистский подход они игнорировали — даже Борейша[1] им был ни к чему (хотя Борейша кое-что знал). А уж тем более остальные упражняющиеся в марксизме поляки, все эти теоретики и доценты. Сами эти люди — те, что занимали высокие посты, — конечно, верили в марксизм и были вполне убежденными марксистами, но в их марксизме ощущался привкус скепсиса... То есть для них реальность являла собой нечто чрезвычайно сложное. Марксизм оставался марксизмом, но гораздо больше их интересовал реальный мир. То был первый допрос, на котором я больше не пытался изображать из себя марксиста и продемонстрировал следователям, что могу быть им полезен. Но сам я тогда совершенно этого не понимал. Ну так вот, я говорил о Жеромском и "Кануне весны". Кроме того, обратил внимание Лалашвили на Берента, которого он не знал. Сказал, что слышал фамилию, но — сомневаюсь. Я всегда считал, что именно Беренту, в его эпопее, удалось передать квинтэссенцию польского характера. Он вообще задумал свою трилогию как некий ключ к современной Польше, и я понимал, как он работает. Лалашвили, безусловно, был человеком умным, хотя и недостаточно образованным. Но все же знал немало и благодаря природным способностям многое хватал на лету. Можно было говорить по существу, без разжевывания. Я ему объяснил, как Берент в трилогии трактует личность Пилсудского, пилсудщину и в целом — период независимой Польши. У меня в памяти еще были свежи разговоры с Берентом.

Вот такие беседы — прямо литературное кафе! Ты же знаешь, я делаюсь болтлив, когда речь заходит о литературе. Ведь я вышел из литературных кафе, вот и осталась у меня эта слабость. Стоит мне оказаться в соответствующей атмосфере, и я готов чесать языком даже со злейшим врагом, даже с теми, кто причинил мне величайшее горе, например, с Путраментом, не говоря уже о Борейше. Когда мне случалось попадать в настоящие литературные кафе или хотя бы переноситься туда мысленно, если попадались хорошие собеседники, меня сразу захлестывала волна дружеских чувств и искренней симпатии, и это меня совершенно обезоруживало. Все исчезало, все претензии и обиды. То же самое было тогда — ему удалось меня отогреть. Я ушел от него в состоянии какой-то счастливой одури. Уходя, даже на минуту забыл о семье. Подумал, потом забыл, вспомнил, снова на время забыл. Вернулся в камеру блаженненький — казалось, будто у меня крылья выросли. <...>

XXVIII

Ват: <...> Дни идут, пытка временем делается все страшнее и страшнее. Можно еще считать подарком судьбы, что порой я хожу к дорогому другу Лалашвили, доверия к которому у меня становится все меньше.

1. Ежи Борейша (1905–1952) — издатель, публицист, коммунистический деятель.

Между тем в Москве наступает весна. Я провожу ее на Лубянке, в душной камере. В гигантском затхлом здании, до отказа набитом людьми. Прогулки – почти каждый день, отменяются очень редко, но водят нас вниз, в тесный дворик, стиснутый кольцом каменной громады. И все же весна прорывается даже сквозь стены. Не знаю, есть ли еще где-нибудь такая весна, как в Москве. Она размораживает и раскрепощает с невероятной силой. Может быть, и правы те, кто придают такое большое значение климату в формировании русского национального характера. Суровая зима, а потом стремительный ледоход – это вызывает необычайный всплеск витальных сил. Незадолго до Пасхи нас вывели на прогулку на крышу – не знаю почему, причем впервые за все время днем. Правда, уже темнело, спускались сумерки. Но небо и воздух! У весны не было более легкой добычи, чем мы, и мы тотчас пали ее жертвами. Я ощутил это очень сильно. Впитывал в себя весну и слушал музыку. Вообрази, на Пасху по радио передавали "Страсти по Матфею"! Когда до моего конца крыши донесся Бах, уже звучал финал. Второй раз я слышал в тюрьме музыку. К сожалению, Бах вскоре закончился, дальше было что-то русское, может быть, Шостакович, не знаю. Но удивительно прекрасное, торжественное, праздничное. <...>

XXIX

Ват: В России музыка играет огромную роль, и неслучайно. Блок, поэт гибели старой России, самый большой поэт переходного времени, был подвержен магии того, что называют *Zeitgeist*[1]. Он считал, что музыка и музыкальность – самые точные выразители духа истории и будущего. Конечно, он понимал музыку шире, не просто как последовательность звуков. Что он хотел сказать, я осознал на Лубянке, ибо тоже почувствовал там ее каким-то очень необычным образом.

Боже мой! В конце концов, мне исполнился только сорок один год, а я ощущал себя не просто стариком, а каким-то древним, забывшим свой возраст человеком. Жизненных соков во мне и в самом деле не было, но полыхал невероятной силы скрытый огонь. И тут на прогулке, в сумерках, на маленьком пространстве лубянской крыши, откуда открывался вид на Кремль, – Бах, финал "Страстей по Матфею". То место, где еще звучит страдание, но есть обещание воскресения. Что касается христианства, самой неприемлемой его идеей для меня всегда была идея воскресения. Воскресения Христова, воскресения нашей плоти. По правде говоря, христианство для меня кончалось на кресте. А тут обещание новой заутрени. Да, есть страдание, но, как это бывает у Баха, есть и ликование, торжество – нечто такое, что напоминает о соках пробуждающейся жизни. В церковной музыке Баха слышалась земная радость, радость достойной семейной жизни, где люди пьют, едят, делают это с удовольствием, словом, живут так же достойно, как жил он сам. Это музыка религиозная, но в ней, даже в "Страстях", вера соседствует с сомнением. Очевидно, язык музыки способен выразить наши внутренние проблемы лучше, чем слова. Мне кажется, что именно музыка (тут

1. Дух времени (*нем.*).

Блок был прав) могла бы стать адекватным языком философии, я имею в виду не современную философию науки или логику, а то, что остается за их пределами, — метафизику.

Несмотря на страшное, невыносимо монотонное течение дней, недель, месяцев, эти двадцать минут на крыше стали для меня одним из самых глубоких жизненных переживаний. Невероятно глубоких. Как много могут вместить двадцать минут! Иногда главное из того, что прожито. <...>

XXX

Ват: <...> Как-то нас вывели из камеры. Возвращаемся — на окне щиты: затемнение. Мы уже понимаем, в чем дело, — война. На выход с вещами! Я долгое время считал, что в тот день эвакуировали всю Лубянку, а позже посадили новых. Считал, что в этот день вывезли всех, но оказалось — не всех.

Как проходила эвакуация? Никаких лифтов, спускаемся по ступенькам, двери всех камер открыты. Потоки людей. И снова невероятная случайность. На лестнице — Владек Броневский. Через пару минут — Тадеуш Пайпер. Я и не подозревал, что он на Лубянке. В тысячной толпе мы трое оказываемся почти рядом! Не помним себя от радости. Поток заключенных плывет и плывет, впрочем — не только заключенных. По естественному коридору, который, расступившись, образуют заключенные, идут (некоторые, правда, спускаются в лифтах) офицеры НКВД: лейтенанты, даже генералы, — все, независимо от званий. А ведь до этого субординация, табель о рангах на Лубянке соблюдались неукоснительно.

XXXI

Ват: Паники на лицах энкавэдэшников нет, но у всех — толстые пачки дел, каждый старается унести побольше тех самых папок, на которых — пометка: "Хранить вечно". Несут и несут. Во дворе буквально впритык длинной цепью стоят грузовики. Пачки швыряют туда как попало. А ведь на этих персональных делах держится вся мощь сталинской власти. Не знаю, как на других, а на меня нашло какое-то радостное озарение. Они же боятся! Боятся, что их власть рухнет!

Вокруг заключенные, масса заключенных. К сокамерникам привыкаешь, не замечаешь перемен в их лицах, одежде, походке, жестах. И только когда видишь других арестантов, сознаешь, что так, вероятно, выглядишь и ты сам. Страшно! Все написано на лицах, серых, землистых, затравленных, отупелых. Правда, среди советских попадалось и немало свежих, румяных. Понятно, эти взяты во время последних облав — новенькие, посажены за неделю до начала войны. Их было много. Мы с Броневским и Пайпером, проделав некий маневр на лестнице, оказались уже довольно близко друг от друга; остальные старались по-

ступать так же — каждый находил брата, друга, подельника. Никто не смел произнести ни слова — все были напуганы, только кивали друг другу. Поскольку я стоял рядом с Броневским, нас посадили в одну машину. Мы проходили по одному делу, но кто об этом помнил в ту минуту! Запихнули в машину и повезли в Бутырки. Конечно, мы тогда не знали, куда нас везут: на расстрел или в другую тюрьму. Видели, что похоже на эвакуацию, значит, скорее, повезут в другой город, а сейчас, вероятно, на вокзал. Но приехали в Бутырки. И снова получилось так, что нас с Броневским сунули в один бокс. На первом этаже были сплошные боксы. В таком боксе один человек едва может продержаться несколько часов — не хватает воздуха, а нас заперли вдвоем. Не скажу, что самым страшным была теснота: между нами оставалось расстояние примерно в локоть, но простоять так несколько часов! А главное — мы задыхались.

А. Ват. Юг Франции, конец 50-х гг.

Ночной разговор двух земляков, тяжелый для меня. Броневский не забыл старых обид: почему я тогда признался, что мы перестукивались? Я стал было рассказывать ему историю с Майтелесом, Кмичинским и прочим, объяснять, что уже не мог тогда отпираться. Но сам себя прервал, все равно не поможет. Броневский не тот человек, на которого можно воздействовать аргументацией. Если уж что вбил себе в голову, то навсегда. Пусть будет, как есть. Тем не менее держался он сердечно, мы несколько раз обнялись, но потом опять: "Зачем ты дал показания, что мы в Варшаве вели антисоветские разговоры?" Ну, уж это я не мог так оставить: "Послушай, это показали все, кто оставался на свободе, все наши коллеги, абсурдом было бы отрицать. Конечно же, говорили. Мы там жили. Нас это волновало". А он мне: "Не надо было этого делать. Не надо". — "Может, ты и прав, не надо. Сейчас мне тоже кажется. Наверное, следовало на все отвечать 'нет'. Но я прибегнул к методу, сформулированному в начале XVII века в Терни одним доминиканцем: *reservatio mentalis*[1] — "часть правды говоришь, другую скрываешь", так поступают иезуиты". — "Но почему ты назвал именно меня?" — "Почему? Да ведь главным для них там, во Львове, было, с кем ты говорил. Я на-

1. Мысленная оговорка *(лат.)* — удержание, сохранение в уме; говорится о том, что остается не до конца высказанным.

звал тех, о ком они, эти коммунисты, все эти Шенвальды, и так знали. Но они спрашивали, с кем еще? Главный вопрос, главная цель инквизиции — имена, имена. Конечно, я был неосторожен, в какой-то момент нужно было упереться. Но тебя я не мог не упомянуть, они знали, что мы коллеги и друзья, вместе сидели в Варшаве. Кто бы поверил, что мы это не обсуждали? Мы всегда дружили. Поэтому я и сказал, предполагая, что и ты меня назовешь. Я не знал, что ты будешь все отрицать. Наверно, я говорил слишком много. Но *следователь* закатывал такие сцены, приходил в бешенство. Я в самом деле вел себя, как мягкотелый интеллигент, но в одном, могу тебя заверить, был тверд. Я не позволял что-либо вписывать в протокол или менять мои слова. По этому поводу у нас бывали серьезные стычки, особенно с первым следователем, который в каждый протокол хотел что-нибудь внести, всегда старался что-нибудь переиначить. Однажды даже сделал вид, что сейчас накинется на меня — он и правда в тот раз вышел из себя. Я ему тогда сказал: 'Ну что ж, бейте'. Он разозлился: 'У нас не бьют. Ваши слова свидетельствуют о том, как вы и сейчас относитесь к Советскому Союзу. И о ваших провокационных мыслях'. А мне даже в голову не пришло набраться смелости и напомнить ему, что в нашей камере сидит украинец, которого он каждый день избивает. Но я и впрямь не позволял им менять протоколы и подписывал только то, что соответствовало сказанному мной. Все формулировки, где упоминалось имя 'Броневский', я держал в голове. Мог заранее их обдумать, ведь ясно было, что речь пойдет о тебе и о других, проходивших по этому делу. Готовился заранее. Сказал, что с Броневским действительно говорил". — "А он что?" — "Броневский со мной не соглашался. И все". — "Нет, не так, ты не так сказал. Они читали мне твои показания. Последней фразы не было. Было только, что мы говорили и ты высказывался против Советского Союза". Я пытаюсь его вразумить: "Но это же их обычный метод — что-то тебе в протоколе показывают, а что-то нет, тут уж ничего не поделаешь". Утром нас, страшно замученных, вытаскивают из бокса.

<...> Далеко от станции, где-то на железнодорожных путях, выгружают всех заключенных — машина за машиной, *воронок за воронком*, и сажают не в столыпинки, а набивают, как сельди в бочку, в телячьи вагоны. Едва открываются деревянные, широкие, как ворота, двери на железных шарнирах, мы, словно дикари, бросаемся занимать места. Знаем, что это за вагоны. Самые ценные нары у окна, а окно всего одно, наверху. Мы с Броневским держимся вместе, но Пайпер потерялся в этой огромной толпе. Добираемся до Саратова целых четыре дня. В нашем вагоне много арестованных "последнего призыва", то есть первых недель войны. Один — известный микробиолог, с которым я потом близко сошелся в Саратове. Другой — крупнейший в России специалист по *грязевым потокам*, вроде тех, что время от времени обрушиваются, например, на Алма-Ату. Лавина грязи, камней — и прекрасная Алма-Ата усеяна камнями. Он нам сказал, что в Америке таких специалистов много, но в России самый крупный — он. Академик. Еще не запоминаю фамилий: знаменитые советские летчики, асы, два или три генерала авиации. Несколько евреев. Директора крупных московских магазинов. Их арестовали в первые дни войны. Всех. Директоров и главных бухгалтеров. Человек восемь-десять. <...>

Приезжаем в Саратов, снова останавливаемся на запасных путях. Машин нет, идем пешком, колонной. В нашей колонне — Пайпер, и мы понемногу придвигаемся поближе друг к другу. Пустые улицы, с виду совсем деревенские. Нас гонят долго, проходим не знаю сколько километров. Впечатление такое, будто перед нами все время городская окраина. Типично русский губернский город, где центральные улицы ничем не отличаются от окраины. Идиллическое предместье. Покосившиеся избы иногда перемежаются кирпичными домами, изб много, с *резьбой по дереву*, разными красивыми *решетками*, мезонинами, балкончиками и крылечками. Попадаются дома из теса. На улице — одни пожилые, не помню, чтоб встретился человек средних лет и уж тем более молодой. Помню несколько детских лиц, но все остальные — люди в возрасте, *деды и бабушки*.

Забыл сказать, в какой-то момент... до меня донеслись громкие проклятия в адрес Сталина. Я бросил на кричавшего один-единственный взгляд, но сразу его запомнил. Высокий, сутулый старик, прилично одетый, но не из недавних арестантов — видно, что сидит давно. Среди заключенных прошел шумок, наконец докатилось и до нас. "Старый Стеклов. Сошел с ума. Кричал уже в вагоне. Стеклов-Нахамкес — герой революции, редактор "Известий", до самого ареста был близким другом Ленина и Сталина".

Во дворе — сортировка: нас разбивают по группам. Долго проверяют анкетные данные. Можно пока отдохнуть, посидеть на булыжной мостовой. Потом — камера. Распахивают дверь, она не заперта, камера огромная, но там трое урок. Первая страшная встреча с уголовниками. Правда, двое из них кажутся скорее симпатичными. Один — молодой мужичок... Маленькие хитрые глазки, как окошки. Крошечные щелочки-оконца. Неграмотный, видно по физиономии. Бывают такие лица, прямо на лбу написано: читать не умею, — с грамотностью они как-то не вяжутся. Другой паренек красивый, стройный, тоненький, ухоженный, таких что ни день можно было встретить во "Флоре". Хорошенький педик, молоденький и свежий. Но третий! Не знаю, сколько ему лет, может, и молодой, трудно сказать. В нем все, что есть в России дикого, прямо чудище из преисподней. Не лицо, а квинтэссенция низости, на какую способен человек. И русское *изуверство*. *Юродство* разврата и преступления. Нос сифилитика и очень страшный голос, знаешь — этот специфический голос сифилитиков. Черт знает, какая силища — двигался так, что казался многоруким и многоногим, словно индусское божество. Будто исполнял какой-то экстатический танец. И стремительный поток слов, почти сплошь бранных, сопровождающихся сифилитическим хрипом. Впрочем, даже самое безобидное слово, вылетавшее из его пасти, становилось грязным. Изобретательность в *похабстве* фантастическая. В языке урок каждое третье слово начинается на "х". Настоящий дракон, который хочет запугать рычанием и танцем: не приближайтесь, это его жизненное пространство. Интеллигенты, генералы, летчики-асы, герои — целая толпа застыла на месте. Только поляки и впрямь оказались храбрецами. Несколько силачей — двое офицеров, еще кто-то и, конечно, наш молодец Броневский решительно наступают на уголовников, и хоть и оставляют им лучшие койки, но все-таки занимают места неподалеку от окон.

Время от времени красивый мальчик-гомосексуалист (я с ним сидел потом в одной камере, он и в самом деле оказался милым и добрым) поглядывал на нас, словно испытывал чувство вины, или нет, не вины, тут другое. Как бы призывал понять, что такова жизнь... ничего не поделаешь — что-то в этом роде. Мол, он хороший парень, не доверяйте внешнему впечатлению, на самом деле он чистое золото. И действительно, пока мы там несколько дней сидели, к своим он был добр, особенно к тому молодому, его любовнику, которого он просто обожал. Вот тебе ключ к святому Жене и его роману "Богоматерь цветов". Мне только сейчас это пришло в голову. В романе Жене меня поразил мальчик. Все очень похоже. Советская Россия и Франция, тюрьма, гомосексуализм, уголовники.

Сколько было народу в камере? Человек сто. Довольно быстро у нас образовался интеллектуальный клуб. Очень интересный, увлекательное общение, ведь мы все наркоманы, когда дело доходит до разговоров. <...>

XXXII

Ват: <...> Заключенных из Москвы собралось не меньше сотни, и завелось много разных клубов. Но наш был самый большой и самый бесстрашный — говорили обо всем, может быть, потому, что костяк составляли поляки. Существовали и маленькие клубики, по два человека, постоянно друг с другом перешептывавшихся. Сразу стало понятно, кто к какому человеческому типу принадлежит: асоциальному или общественно активному. Асоциальные, объединившись, не трогались с места. Группировались по двое, по трое, сидели и спали рядом, никуда не ходили. Другие же, клуб клубом, но бродили по всей камере, перемещались от одной группы к другой. Контактировали со многими. Одним словом, общество в миниатюре. Оживление царило невероятное. Я тебе говорил, что в те дни патриотической настроенности не было ни у кого — ни у летчиков, ни у генералов. Поляки испытывали *Schadenfreude*[1], страшно радовались, что деспотия Сталина рушится. Некоторые русские — тоже, но в массе своей — нет. Кое-кто считал, что империя развалится, но большинство верило, что устоит. У русских, как и у англичан (благодаря чему их империя в течение нескольких веков и сохраняла величие), имеется некая особая уверенность — они просто нутром чувствуют, что солнце взойдет именно на их улице. В одном из своих обращений Сталин так и сказал. И многие верили. Некоторые даже в тюрьме оставались искренними коммунистами, их было немало, особенно среди тех, кто пришел с воли недавно — главным образом, чиновники и хорошо откормленная элита.

На фронте — одно поражение за другим, и в камере среди патриотов — радостное возбуждение и подъем. Появляется надежда, что злу придет конец, что война поможет вернуться к нормальной человеческой жизни. Разгоряченные лица. Все жестикулируют. Но продолжается

1. Злорадство (*нем.*).

это недолго, вскоре меня переводят, камеру расселяют. Я остаюсь один, никого из своих, только те двое молодых уголовников.

Начался голод. Такой, что не только мы, но и наши охранники голодали. Есть было нечего. Привозили один хлеб. Но какой-то комковатый, водянистый. Помню, высокий худой конвоир, сопровождавший нас на прогулке, раньше нас приметил в пыли, на грязной железной лестнице, по которой ходили сотни заключенных, крошку хлеба — у всех у нас по этой части зрение было натренировано. И как-то бочком, неловко, чтобы мы не видели, наклонился и поднял ее. <...>

XXXIII

Ват: <...> Голод. Состояние у меня почти галлюцинаторное. Ночь, но еще довольно рано, ослепительный электрический свет режет глаза, я не сплю. Издалека доносится смех, раскаты смеха, которые то приближаются, то отдаляются. Собственно говоря, ничего особенного. Я не люблю оперу, а родители ходили. Но в детстве меня водили на "Фауста", и я с ранних лет помнил, как грохочет Мефистофель: "Ха, ха-ха, ха! Ха, ха-ха, ха!" Такие же рулады. То ближе, то дальше. И тут передо мной предстает дьявол. Не стану и пытаться — все равно не сумею передать, что это была за ночь. Но именно тогда во мне произошел перелом. Раньше, видно, что-то мешало. Существовала еще какая-то шаткая преграда, какая-то тонкая стенка, которая рухнула от смеха самого обычного, самого банального из всех дьяволов. От гулких раскатов его смеха, то приближающихся, то отдаляющихся, но очень-очень долгих. Я вижу дьявола — такого, с копытами, оперного, вижу воочию. Наверное, это была голодная галлюцинация, но я не только его видел, но почти обонял запах серы. Мозг стал работать на диких оборотах: я понимаю, что историю творит дьявол. Но одновременно ощущаю власть Бога, не знаю, над чем — над историей, над всем вообще, Он далеко, но Он есть. Сейчас невозможно припомнить подробности пережитого, но оно было совершенно явственным, конкретным, осязаемым, словно вот тут, рядом со мной в камере — дьявол, потолок раскрылся, и наверху — Бог. Такой, как в самой обычной народной иконографии. Ну, не знаю. Я не мог Его лицезреть, он и Моисею не являлся, Его вид ослепляет, но сейчас хочу сказать: я уверен, у Него есть борода. Как на иконах. Но дьявола я видел целиком, это точно, он с копытами. Очень странная ночь, я глаз не сомкнул. Что это был за смех? Мониторное судно[1] — я почти сразу догадался. Ходит по Волге туда и обратно, а "смех" — сирена воздушной тревоги. Я знал об этом, поэтому он и связался в моем сознании с дьяволом самой истории. Недавно разразилась война — приближается Армагеддон. Нерушимый колосс, непобедимая Красная Армия, отступая, дошла до Саратова, до Волги, до самого сердца России; воет сирена воздушной тревоги. Это и есть голос истории.

1. Мелкосидящий бронированный военный корабль, оснащенный артиллерией, предназначенный для операций у морских берегов и на реках.

В ту ночь я ощутил единство всего со всем и себя как часть целого. Прежде я всегда испытывал внутренний разлад, и вдруг такое чувство цельности, единства, какого еще никогда не было. Как будто в эту минуту я наконец родился. Раньше всплывали в душе обрывки, фрагменты чего-то, мои, не мои; то ли унаследованные, то ли вычитанные. Но той ночью я в самом деле стал чем-то цельным, нераздельным. Долгая была ночь. Она преобразила меня и, кроме всего прочего, повлияла на мое тюремное поведение. Мне кажется, что только тогда я стал человеком, научился жить среди других людей. Я изменился, в самом деле изменился. Изменилось мое отношение к товарищам по несчастью, я стал меньше думать о себе. Правда, об Оле и Анджее я все равно думал, думал постоянно, но тоже совсем по-другому, ибо стал верить в бессмертие души. Что-то во мне перевернулось. Горести остались, но я ощутил покой. <...>

У меня началась дизентерия. Я уже христианин, но хотя у меня высокая температура — сорок один, — галлюцинации больше не повторяются.

Милош: Позволь спросить, почему ты сказал "уже христианин"? Для тебя религиозное обращение может быть только христианским?

Ват: Хорошо, я отвечу. А какое могло быть у меня другое обращение? Иудаизм как религия в самом деле *passé*[1]. Он свое дело сделал: из него вышло христианство. Правда, есть хасидизм, попытка обновления закосневшего, сухого иудаизма, из которого все возможные выводы уже сделаны и который космологически стал миру не нужен. Я имею в виду не современный мир, а мир как сущность. Но хасидизм — это попытка обновления иудаизма за счет гностицизма, мистики, то есть влияний, совершенно ему чуждых. Кроме того, у меня отсутствовала почва для иудаизма. Мой отец был хасидом, но он, вероятно, не хотел, во всяком случае, совершенно не заботился о том, чтобы дети пошли по его стопам. Он знал, что это невозможно. И никогда не предпринимал никаких усилий такого рода. Мой старший брат еще изучал иврит и даже знал Гемару[2]. Но другой брат, который старше меня на десять лет — сейчас он в Брюсселе, — не знает даже того, что я. В сущности, безбожная семья. Брюссельский брат входил в ПСП. Сестра, когда я был маленьким, посещала театральные курсы. Я смотрел на евреев, как антисемит: грязные халаты, торгашество, деньги. В общем, антисемитское детство. Только потом, в студенческие годы, я почувствовал какую-то национальную солидарность. А отец мой выписывал "Хайнту" и "Варшавский курьер", в политике придерживался консервативных взглядов. Очень странная семья. Встречаются такие у евреев. Уже тогда среди моих родственников были выкресты. То ли дядя, то ли кузен моей бабушки стал каноником в Вене. Так что никакого религиозного воспитания я не получил. Религию я просто игнорировал. Это сейчас с годами я придаю ей все большее значение. Лет в семь или восемь я уже был наивным дарвинистом и атеистом, но — я тебе уже говорил — няня Ануся водила меня тайком на вечернюю службу в костел, и это на меня повлияло. Представь себе ребенка из какой-никакой, но все же еврейской семьи, а там свечи, музыка. Позже, в молодости я читал Отцов церкви и книги по те-

1. Прошлое (*франц.*).
2. Часть Талмуда, содержащая комментарий к нему.

ологии, меня это очень интересовало. Прочитал "Сумму" Фомы Аквинского на латыни. Сейчас я ее забыл, но в школе был хорошим латинистом, даже очень хорошим. Так что ничего удивительного, у меня была подготовка.

Но вернемся... Я пою и страшно всем мешаю. Сокамерники требуют у врачихи, чтобы меня отправили в больницу. Идет пятый, шестой день. Мне становится все хуже, но меня не забирают. На седьмой день я так ослабел, что утром уже не могу сам дойти до уборной, меня ведут туда, поддерживая с двух сторон, соседи, но я упираюсь, отказываюсь идти, твержу, что мне нужно в другую сторону — в уборную. Возвращаемся обратно, я падаю. Нет, падаю еще в уборной и ударяюсь головой о каменный пол. Меня поднимают вчетвером. В глазах темно, теряю сознание. В жизни я не раз впадал в беспамятство, но как-то всегда не до конца: каждый раз какая-то крошечная частица мозга оставалась бодрствующей и отмечала все происходящее. Температура у меня была не меньше сорока одного, но я не бредил. Только пел — никаких других проявлений. Я вспомнил мать (в детстве, когда я болел, она мне напевала) и дал себе волю: запел. Впрочем, мои соседи ничего против не имели. "Прекрасная Елена" и вообще оперетты им нравились. Некоторые, правда, их не знали. В общем, подняли меня, несут по коридору, по дороге у меня с ноги сваливается ботинок — исхудали ступни. В глазах черным-черно, обморочное состояние, но я замечаю и делаю знак рукой — дескать, подымите. Через какое-то время надзиратель объявляет, что сегодня меня отправят в больницу. Так и есть. Надзиратели помогают мне сесть в воронок — они в Саратове были добрые, относились к нам по-человечески; воронок вроде не такой страшный, как обычно, мы едем. Далеко, за Волгу, через мост, в другую тюрьму. Больница была только там. В воронке перегородки приоткрыты, можно дышать, в другом отделении кто-то сидит, тоже везут в больницу. Оказалось — старый Стеклов. Мы представились, говорю, что я из Варшавы, и он очень оживляется. <...>

XXXIV

Ват: <...> Вскоре после революции Стеклов написал двух- или трехтомное исследование о Чернышевском. Пока он работал, ему старались создать условия. Доставляли не только нужные книги, но и документы из архивов. Зная, что у Сталина культ Чернышевского, Стеклов предполагал, что это делается по личному сталинскому приказу. Но как-то раз у него вырвалось: "Я этого имени больше слышать не могу, меня тошнит от одного его звука". Тем не менее работу он почти довел до конца, где-то в архивах НКВД она хранится. Ты спрашиваешь, как можно разговаривать при высоченной температуре. Но знаешь, в таком состоянии восприятие лишь обостряется, появляется какая-то интеллектуальная жадность. <...>

Два скелета (он, как и я, не опух, а высох от голода) — ведут странную беседу об истории. У меня огромное желание узнать правду. О Сталине, о героях революции он говорил с невероятным презрением: *эта каналья Троцкий, эта свинья Орджоникидзе.* А может — в обратном порядке. Кого бы ни назвал — каналья, свинья, мерзавец. Не помню, говорил ли он о Ленине? Но что касается Сталина — страшная ненависть, толь-

ко она, казалось, и поддерживала в нем жизнь. Чувствовалось, что он страшно болен и живет только благодаря этой ненависти.

Я прежде всего хотел разузнать у него о процессах, по-прежнему не до конца мне понятных. Зачем они были нужны? Почему именно так проводились? Почему герои революции признавали себя виновными? Боялись пыток? В конце концов, сидели же они в свое время в Сибири. И вот что он ответил. Пытки? Пытать нас? Зачем? У всех у нас, — это я помню дословно, потому что у меня мороз пошел по коже, — у всех у нас руки были по локоть в говне и в крови. Каждый из нас, старых революционеров, видел такое количество мерзостей, подлостей, низостей с самого начала, что все стало безразлично. Признаваться, не признаваться — не имело значения. Человек, который понимает, что его жизнь — сплошное падение, что он опускается все ниже и ниже, — сейчас я пересказываю своими словами, но помню, что говорил он очень лаконично, с огромным чувством, — испытывает отвращение к своему прошлому. Отвращением и объясняются признательные показания. Признавались, потому что испытывали отвращение к себе.

Что я запомнил о Сталине? Немного. Хоть я и старался, но из-за горячки мало что осталось в памяти. Например, он рассказал мне о падении Енукидзе. Довольно долго Сталин как бы видел в Енукидзе учителя, прислушивался к нему, считался с его мнением. Енукидзе был барином, бонвиваном, очень рафинированным вариантом грузинского социалиста, вроде Церетели[1]. Существовала целая школа социалистов и блестящих марксистов. Сталиным они гнушались с самого начала, а уж после той истории с ограблением поезда у него и вовсе испортилась репутация. К тому же невежда. За это он их и уничтожал. Но к Енукидзе относился иначе — просто создал себе нечто вроде культа, чем-то он ему импонировал, поэтому он его берег, уважал. А у Енукидзе была дочь — сталинистка и ханжа. Старик соблюдал осторожность, хотел умереть своей смертью. Вел себя тихо. Но, видимо, дочери не опасался и откровенно высказывался о Сталине. В какой-то момент она к нему и побежала. Сталин почувствовал себя крайне уязвленным, и Енукидзе посадили. В Варшаве поговаривают, что нечто очень похожее произошло и с Варским[2]. Его Сталин тоже сначала щадил. Пенсионер, старик, ни во что не вмешивался. Варский жил в Кремле на особом положении, пользовался почетом. Но временами обедал у своей старой приятельницы, вдовы Дзержинского. Она тоже как-то помчалась к Сталину и донесла, что говорил о нем Варский. Так что это было довольно типично для фанатичек, страстных поклонниц Сталина. Странно, что во всех подобных историях мужская красота никакой роли не играла, хотя сексуальная подкладка существовала несомненно, а дело было только в силе. Ведь выглядел Сталин отталкивающе: низкий, заросший лоб, следы оспы, неприятный взгляд, маленького роста.

<...> Что еще говорил Стеклов о Сталине? Рассказывал о его дворе. То был не двор и даже не придворная клика, а настоящая бандитская шайка,

1. Ираклий Георгиевич Церетели (1881—1959) — один из лидеров меньшевизма, с 1921 г. — в эмиграции.
2. Адольф Варский (наст. фам. — Варшавский; 1868—1937) — политический деятель, член ЦК КПП, с 1929 г. жил в СССР.

куда брали самых *пошлых*, недалеких, невежественных людей. *Пошляков*. С отвращением вспоминал застолья с водкой, где они принимали решения, ограниченность и невероятную жестокость этих неучей. В какой-то момент, уже под самый конец, он мне сказал буквально следующее: "Когда вернетесь в Польшу, обязательно расскажите, как умирал старик Стеклов". Сначала увели его, но, уходя, он еще раз повторил: "Расскажите в Польше, как умирал старик Стеклов". Потом – меня. Я попал в довольно большую палату, Стеклова поместили неподалеку – через две или три двери от моей. У них там было прекрасное лекарство от дизентерии, так что буквально на третий день я уже мог вставать. Сам ходил в туалет. Обстановка была относительно свободная. Хотя перед каждой дверью стояло по часовому, но в коридоре за нами не очень следили, и временами я слышал голос Стеклова. В самом начале и потом еще несколько раз до меня доносилось: "Сталин!.." Это была его навязчивая идея. Нянечка из моей палаты, старая, очень добрая, как все старые нянечки, каждый раз потихоньку крестилась. Ясно было, что дело идет к концу. Больше мне не удалось его увидеть. Вскоре стало известно, что он умер. Я быстро выздоравливал, но так прижился в больнице, что молил Бога о том, чтобы меня подержали здесь подольше. Помнишь, ты спросил у меня, почему – христианство? Я хочу еще раз вернуться к этому, потому что упустил одну очень важную вещь. Вещь следующую: я и тогда, когда был убежденным атеистом, причем не просто агностиком, а воинствующим атеистом и не верил в Христа даже как в историческую личность, так вот и тогда, и всегда – с тех самых пор, как живу сознательной жизнью, – я твердо знал и ни минуты не сомневался, что человечество не создало ничего более прекрасного и возвышенного, чем *лик* Христа. Я говорю "лик", потому что вспомнил Розанова "*Темный лик Христа*". Забавный контраст. Розанов, выросший в православии, его не любил, меня же, еврея, сына хасида, притягивал сам Его образ, Христос как явление. Более того, я и в то время был уверен, что, если человечество способно выдумать нечто подобное, это уже чудо и косвенное доказательство бытия Божия. Откуда иначе появился бы у человека подобный образ? Так что я был подготовлен к христианству самим обликом Христа, и случилось это давно, очень давно. <...>

Больничная палата, большая, светлая, сравнительно немного коек, занавески на окнах, кажется, даже цветы. Не помню. Все-таки, скорее, нет. Напротив меня лежал человек с широким, красивым, семитского типа лицом и абсолютно прозрачной кожей. Без малейшего намека на то, что под этой кожей циркулирует кровь. Он был совсем обессилен, не мог ходить, одна рука забинтована. Каждый день к нему приходил главврач. И не только приходил, но, несмотря на страшный голод в Саратове, приносил ему рыбу, помидоры, морковку, лук. Больной почти все время безмолвствовал. Главврач постоянно спрашивал его о самочувствии и внимательно его осматривал. Тихо что-то говорил, сидел рядом. К нам же обращался только как врач. Этого больного звали Дубин, он был лидером латвийских евреев, сенатором независимой Латвии. В свое время его приглашал к себе Гувер[1], что и стало главным пунктом об-

1. Джон Эдгар Гувер (1895–1972) – директор американского Федерального бюро расследований (ФБР).

винения. Во времена антисемитизма он имел постоянный доступ к президенту, до самого ареста оставался сенатором и возглавлял еврейскую общину. Чем был болен? С тех пор, как его арестовали, он не ел ничего трефного, а значит, уже несколько месяцев не брал в рот ничего, кроме хлеба. Ничего вареного. Только в больнице доверился доктору. До этого его пытались кормить, но он не мог есть вареное, не зная, чьими руками оно приготовлено. Человек с университетским образованием. Первый его конфликт возник так. Когда вызывают на допрос, из тюремной части нужно перейти в следственную. Там за столиком сидит дежурный, отмечает в каком-то документе время, а надзиратель и заключенный должны расписаться. Тогда его повели на допрос поздно вечером в пятницу, и он отказался расписываться. Поднялся страшный скандал, но он все равно не расписался. По официальным правилам их социалистической законности без подписи нельзя выпустить заключенного, и его не выпустили, даже начальник тюрьмы ничего не мог сделать. Следователь пришел в ярость, начальник тюрьмы – тоже. Его посадили в карцер. На следующий день – вызывают. Думали, он снова откажется. Но уже кончалась суббота, был поздний вечер, то есть по закону разрешалось расписываться. Разумеется, он так и сделал. Ел он только хлеб, страшный тюремный хлеб. Через несколько месяцев дошел до полного истощения. Кажется, уже на Лубянке его заставляли есть, кормили искусственно. Он дрался с ними, от природы был силен. В конце концов ему не то вывихнули, не то сломали руку, отсюда и повязка. Фанатик? Нисколько. Образованный гуманитарий. Я ему говорю: "Но в Талмуде сказано: люди с больным сердцем или те, кто может заболеть от воздержания, имеют право есть во время Йом Кипур[1]. Если угрожает опасность или болезнь, шабат можно нарушить". – "В Талмуде это разрешается, а не требуется". И добавил, что, если Господу будет угодно, с его головы и волос не упадет. У него была семья – жена, дети. Библейский, старозаветный еврей. Он сыграл в моей жизни огромную роль. Мы потом с ним много разговаривали. Я ему не сказал о моем обращении, не то что хотел скрыть, но просто – как ему объяснить? Я бы не сумел. Он думал, что я атеист, и все хотел обратить меня в иудаизм. По-отечески. Раз мой отец этого не сделал, он хотел сделать вместо него. Говорил, что таков мой человеческий долг, просто обязанность. Спросил, прочитал ли я кадиш после смерти отца. Я признался, что не прочитал. Он невероятно не то чтобы рассердился – нет, человек он был очень мягкий, – но удивился. Ему казалось страшным не прочитать поминальную молитву по отцу, он считал это преступлением перед отцовской памятью и перед Богом. Очень уговаривал меня соблюдать субботу и молиться. Считал, что само существо человека того требует. Человек только тогда человек, когда молится и соблюдает хотя бы основные правила. Он признавал, что в иудаизме осталось слишком много запретов от старых времен. Сам он приспособился, но, конечно, понимает, что не все могут. Однако есть элементарные вещи: поминальная молитва, молитва в день великого праздника Йом Кипур и соблюдение субботы. Это каждому по силам. Я слушал его с огромным вниманием. Несмотря на мое

1. Иудейский праздник – День искупления, когда соблюдается строжайший пост.

христианство, пылкое, можно сказать, как у крестоносцев, я не ощущал никакой дисгармонии между нами. <...>

Но крестоносец крестоносцем, а меня переполняла ненависть — это была темная сторона упомянутой переломной ночи, светлой же ее стороной стало то, что я всем своим существом, каждой его клеточкой, каждым нервом, буквально всей кожей ощущал, какое страшное, непоправимое несчастье постигло миллионы людей, как исковерканы их судьбы и души. Миллионы и миллионы людей. Количество здесь чрезвычайно важно, потому что оно переходит в качество. И не только переходит в качество, но за некой гранью придает обществу совсем иной облик и смысл. Давняя загадка Содома. Бог спрашивает, сколько там праведников. Если больше десяти — простит. Загадка числа. Эту тайну мы, может быть, никогда не раскроем. Почему, перевалив за то или иное число, явление меняет свой смысл на противоположный? В этом разница между еврейским этическим складом ума и логическим — греков, вопрошающих, сколько песчинок составляют горстку песка. Без всякого этоса. Собственно, один и тот же вопрос — но лишенный этического смысла. Хотя парадокс тот же самый. Сколько нужно людей, чтобы спасти город? Количество — страшная штука. Я не хочу сказать: чем больше, тем страшнее. Нет, все вообще меняется. Вроде бы то же самое, ан нет — уже несравнимо. Я прочувствовал это с огромной силой. И если раньше я свысока смотрел на Россию, заносился, то теперь стал испытывать к ней глубочайшее сочувствие. Тем более странное, что русские, когда их подвергали унижению, держались куда менее достойно, чем поляки. Я уж не говорю об интеллигенции, особенно о писателях. Но если сравнивать простых людей — русских и поляков, то в Польше они все-таки не дали довести себя до такого постыдного состояния, как в России. Тем не менее, а может быть, вследствие этого, я испытывал к ним особое сострадание. И когда потом, уже после возвращения Гомулки, я слышал в Оборах или где-нибудь еще от молокососов, от тех, кого совсем недавно называли "поколением прыщавых", презрительные отзывы — после их поездок в Москву — о русских писателях или русской молодежи, я просто криком кричал: "Вы не пережили и тени того, что выпало на их долю, а вы уже готовы барахтаться в грязи. Вы понятия не имеете о терроре, которому подверглись они". Меня это страшно возмущало. <...> Почему, с моей точки зрения, "Доктор Живаго" — великая книга? Я знаю, что Пастернак великий или, во всяком случае, выдающийся поэт, хотя я этого как-то не чувствую, читаю — и ничего, за исключением как раз стихотворений из "Доктора Живаго". Они меня глубоко волнуют, кажутся прекрасными и очень близкими. Но в целом, как поэта, я его не чувствую. Роман же написан просто скверно. Мерзкий, отвратительный нарциссизм. Главный герой никуда не годится, а ведь Пастернак отождествлял себя именно с ним. Поэтический нарциссизм и эгоцентризм просто чудовищные. Но слабость этой вещи — сущий пустяк по сравнению с другой ее стороной: сердцем поэта Пастернаку удалось почувствовать страдания России, он воссоздал ее образ, показал явление русского большевизма как чудовищного несчастья всего народа, всего общества, а не одного какого-то класса. Страшное несчастье целого народа. Это главное в книге, и поэтому, я думаю, она останется навсегда. Там есть вещи несравненно более важные, чем уровень писа-

тельского мастерства и эстетический эгоцентризм, хотя и эгоцентризм, и нарциссизм у него в самом деле противные, навязчивые. Но ровно такое же ощущение великого несчастья, случившегося с русским народом, мучило и меня после той ночи, о которой я рассказывал.

Но пора было возвращаться в камеру к тем самым русским людям, о которых я сейчас говорил. Там было мрачно, но, главное, голодно. Страшно голодно. Стоило выйти из больницы, как снова начался голод. Немножко спасал сахар, мешочек которого я накопил, пока болел. Уже почти наступила зима. Еще в больнице я слышал об амнистии для поляков, о том, что кого-то выпустили, а кого-то нет. Я все время пытался понять, кого и почему, искал рациональные объяснения. Однажды меня вызывают на *допрос*. Следователь — офицер в каком-то высоком чине, черствый, антипатичный. Хмуро на меня смотрит, голос неприятный. Записывает анкетные данные. А потом вдруг говорит, что я в камере сравнивал Сталина с Гитлером. Чистая правда. Но я отрицаю. Он продолжает задавать вопросы, я на все говорю "нет" или не отвечаю. Он начинает выходить из себя, а я ему: "Я не обязан отвечать, я польский гражданин". — "Чем вы это докажете?" Явно бесится, да еще эта идиотская фраза. Чем я могу доказать? Забрали у меня во Львове все документы, а теперь требуют доказательств. "Какие представите доказательства?" — "Мои доказательства у вас!" Неожиданно он меняет тон и сухо говорит: "Ну, хорошо. *Рассмотрим*". <...>

В какой-то момент мне приказывают собираться на выход с вещами... Я пессимист — не очень верю, что выйду на свободу. Но меня и впрямь переводят в другую камеру, где сидят два польских офицера. Один капитан контрразведки Юзеф, фамилии не помню, с которым я познакомился в той большой камере в Саратове, другой — полковник польской армии, грузин по национальности. Мы уже знаем, что нас должны выпустить, но абсолютной уверенности нет. Тюремщики лютуют: снова ведут нас к парикмахеру — у нас у всех заметно отросли волосы — и стригут под машинку. Потом опять ждем, ждем. Наконец, нас вызывают, дают на дорогу по две буханки хлеба (каждая, кажется, по килограмму), и, как только энкавэдэшники исчезают из виду, мы набрасываемся на него и начинаем есть. Потом нас вызывают к какому-то старшему офицеру, он спрашивает, куда мы собираемся ехать. А мне еще в больнице кто-то сказал, что моих, вероятно, сослали в Казахстан — польские семьи, по большей части, в Сибири или в Казахстане. После амнистии членов семей тоже освободили, и все двинулись, главным образом, на юг — чистое безумие, потому что там был еще более страшный голод. <...>

XXXV

Ват: Я на вокзале. На что это было похоже? Как я уже говорил — на Солженицына: бабы, мужики — целые крестьянские семьи, рабочие, интеллигенты; все — на грязном вокзальном полу, иногда выстраиваются в кружок: сторожат сложенные в центре узлы. Всюду полно ярко выраженных уголовников, они только и ждут удобного случая. Ночью я за-

брел в какой-то темный угол и видел, как насилуют женщину. Вокзал огромный. Кому какое дело, несколько оборванцев и женщина! Насиловали беспрепятственно. Никто не обращал внимания. Никто бы не пришел ей на помощь, даже если б она кричала. Длинная ночь, безумно длинная. Я еле держался на ногах, но все кружил и кружил. Пожалуй, выглядел самым слабым и жалким в нашей группке, но нас было трое, причем двое — польские офицеры, и они, как тогда уголовники в камере в Саратове, добыли нам приличные места. Какому-то семейству пришлось потесниться. Один из нас дежурил, двое ходили. Не столько для того, чтобы оглядеться, сколько — чтобы побольше разведать, потому что время от времени попадались поляки. От одного из них — видимо, левого или коммуниста — я узнал, что сейчас Ванда Василевская, Важик, Путрамент проводят в Саратове какие-то польские встречи. Он назвал кого-то еще, но я запомнил только этих троих. Тогда мне даже в голову не пришло обратиться к ним за помощью, хотя они, несомненно, приняли бы меня с распростертыми объятьями и не стали бы требовать доказательств моей коммунистической лояльности; более того, быстрее, чем кто-либо иной, помогли бы мне достичь той единственной цели, к которой я стремился, как безумный: выйти на след Оли и Анджея. Подумать только, даже в голову не пришло! Сейчас — пришло, а тогда нет. Выслушал — и все. Меня это не касалось.

Мои офицеры все время настойчиво меня уговаривали ехать с ними в Бузулук: "Как вы доберетесь в таком состоянии?" Но я узнал, что завтра отправляется эшелон в сторону Алма-Аты — благодаря нашему местоположению все новости сразу становились известны. И даже, что там будет один или два вагона с польскими ссыльными, которые откуда-то с Севера едут на юг, в Казахстан. Какой может быть разговор! Понятно — я еду этим поездом. В самом деле, утром пришел эшелон, мои офицеры отыскали эти вагоны с поляками, не помню уж, сколько их там было, и впихнули меня туда. Своего хлеба у меня уже не было, но они где-то его раздобыли и дали мне на дорогу. И опять в первый же день я все съел и был страшно голодный. Но это уже другой голод — "психологический". Как только я видел, что у кого-то кусок во рту, у меня начинался обморок. Двое поляков с верхней полки заметили, что у меня совсем ничего нет, и вежливо, хоть и не без отвращения — поняли, что еврей, — пару раз подкинули мне кое-что, добавив порядочный кусок хлеба. <...>

Никто никого не стыдился, я тоже. Привык, что, как только поезд останавливается — часто это происходило не на станции, а в чистом поле, — все тут же у подножек садятся на корточки: в теплушке даже дыры никакой не было. Кажется, в Польше во время немецкой оккупации все выглядело так же. Мужчины, женщины, девушки рядом с парнями; все торопятся — неизвестно, когда тронется поезд. На станциях тоже ничего не объявляли. На одной из них я узнал, что на четвертом пути стоит поезд с поляками-поселенцами. Выскакиваю из вагона, бегу что есть сил. Пробираюсь под вагонами, потом мчусь от вагона к вагону. Кричу: "Ват! Ват!" Никто о ней ничего не слышал. Всех прошу, если что узнают, сообщите, что муж здоров. Страшно боюсь, что мой поезд уйдет. Там остался узелок, в нем не бог весть что, тряпки, но без них не проживешь. Снова ползу под колесами, один состав уже трогается. С трудом выкарабкиваюсь, едва успеваю добежать — мой поезд как раз отходит. Дверь в вагон закрыта, вскакиваю на подножку. Место есть только наверху, на

площадке, почти не защищенной от ветра. На площадке стоит *часовой*, а я вишу на нижней ступеньке. Поезд уже идет полным ходом. Он кричит: *Слезай, буду стрелять*! Я ему: *Как я слезу?* Он хоть и не стреляет, но кричит: *Буду стрелять*! Снег, ветер, метель, я едва держусь на ногах, судорожно вцепился в поручни. На мое счастье, поезд остановился. Едва добегаю до следующего вагона — он снова трогается; кое-как взбираюсь, там такая же *площадка*, но без часового. Свернулся калачиком и ехал несколько часов, пока поезд не остановился на несколько минут и я смог вернуться к себе. <...>

Доезжаем до конечной станции, но до Алма-Аты еще восемь километров. Уж не помню, как добрался, — идти я уже не мог, но, кажется, кто-то меня подвез. Я знал, что на Красноармейской улице, в самой роскошной гостинице, где разместили эвакуированных из Москвы звезд "Мосфильма", находится польское представительство в Казахстане. Вхожу в вестибюль — огромный, как в европейских, парижского класса отелях; вокруг много народу, в основном офицеры, приехавшие в отпуск, раненые и прекрасно одетые молодые женщины. Звезды большие и малые. И тут же — нищие поляки. Пришли в свое представительство. Оно расположено на втором этаже, и они выстроились на лестнице, ждут, когда откроются двери. Впускают по очереди. Меня сразу узнали, представили сначала консулу, потом князю Сапеге. Консул Венцек — личность неинтересная, обычный варшавский чиновник: директор департамента или начальник отдела. Князь держится невероятно любезно, приглашает меня в кабинет и очень подробно расспрашивает. Где сидел, в каких условиях, что видел? Без нажима, ничего, что напоминало бы допрос. Благородный господин. И вежливый, невероятно вежливый. Спрашиваю, как мне быть дальше? Его светлость, который меня со всеми познакомил, говорит: "Я только несколько часов в день бываю в представительстве — выполняю обязанности переводчика, потому что говорю по-русски. Но основная моя должность — заведующий советской столовой, приходите ко мне, я вам сразу дам талоны". Спрашиваю: "А где мне устроиться на ночлег?" — "Да, ночлег, надо подумать. Хорошо бы вас положить в больницу. Это не просто, но у нас здесь есть польский врач из Лодзи, очень отзывчивый человек. Работает в местных больницах, к нему здесь хорошо относятся. Он постарается вас устроить. Я дам вам его адрес, попробуйте его поймать сегодня же". — "Но где мне сегодня переночевать?" — "У моего зятя доктора Турека, он живет на Каракольской, 40, я с ним уже переговорил. Придете после доктора, а доктор принимает в поликлинике на Ангурской улице, относительно недалеко отсюда". Иду на Ангурскую, каждый шаг дается с невероятным трудом, передохнуть негде, время от времени сажусь прямо на тротуар, иначе не могу, наконец, добираюсь до Ангурской. Уже довольно поздно, около девяти. Доктор нашел у меня дистрофию — сказал, что вылечить можно, но необходимо хорошее питание. Однако с таким диагнозом меня не примут в больницу. Все больницы переполнены, забиты постоянно прибывающими ранеными — ранеными и беженцами. Но он сделает анализ мочи и в какой-то там цифре переставит запятую — увеличит на одну десятую. Я же должен не забыть крикнуть погромче, когда он ударит меня по пояснице. Утром нужно прийти к нему за направлением на анализ. Потом я отправился на Каракольскую, нашел маленький русский домик: большие, хорошо натоп-

ленные, с покатым потолком сени. Прямо с порога на меня повеяло чем-то теплым, домашним, приятными кухонными запахами. Туреки занимали одну комнату, потом я ее, кстати, снимал у них. Угощают меня ужином; я пришел поздно, поэтому ем один, а они сидят, слушают рассказы о моих злоключениях. Хозяина нет. Говорю им, что очень устал, а они: "Нужно пойти в представительство, вам не откажут, позволят там переночевать". Уже одиннадцать, к ночи мороз усилился. Пока иду, сильно замерзаю. До представительства далеко, кроме того, страшно скользко. На улицах совсем темно, ночь, дороги не знаю. Иду и то и дело падаю, гололед страшный. В Варшаве такое и представить себе невозможно. Один раз рухнул так, что в голове звон пошел, такой красивый, хрустальный, с переливами. В голове звенит и эхом отдает — как будто музыку слушаю. Но ничего не болит. А в небе звезды, каких я никогда в жизни не видел. Огромные, мигающие, излучающие ту энергию и силу, о которой пишут гностики. Как будто говорят с тобой, только с тобой. Вокруг темно, ни души. В общем, в голове, которой я как следует приложился о мостовую, — звезды и гармония сфер. Я лежу, и мне хорошо. Вероятно, это продолжалось недолго, но мне показалось — не меньше часа. Потом появились какие-то люди, подняли меня и повели. Затем передали другим, они повели дальше. Улицы очень темные, иногда где-то вдали то фонарь засветится, то окно дома, но тротуары приличные. Правда, упал я не на тротуар — его там не было, а на мостовую, кажется, заасфальтированную. В Алма-Ате всюду, по большей части, асфальт. Меня передавали от одного человека к другому, я прошел, кажется, через пять пар рук. Довели до Красноармейской улицы, до гостиницы. Вхожу в вестибюль, меня снова окутывает волна тепла, много народу, в основном офицеры. Все кресла давно заняты, люди тут ночуют — присесть негде. А у меня нет сил стоять, и вдруг я замечаю в конце вестибюля памятник Ленину — самый обычный, огромный, из бетона или чего-то похожего, с вытянутой рукой. Подхожу и вижу, что сзади, за ним есть свободное местечко, совершенно незаметное. Укромный уголок, где можно свернуться клубочком и уснуть. Я и лег. Спал прекрасно, просто отлично. Как никогда в жизни. Прямо сном праведника. Правда, длилось это недолго: в какую-то минуту проснулся и вижу — идет проверка документов. Но Ленин мне помог. Я не имел права находиться в Алма-Ате. А он меня спрятал, защитил. <...>

На следующее утро я отъелся как следует в двух столовых — мне сразу полегчало — и пошел в НКВД. Прихожу. Приемная: большая комната с окошком. Открывают. Не прошло и семи, максимум десяти минут, как мне отвечают, что мою жену, такую-то и такую-то, и моего сына направили в сентябре на жительство в совхоз "Красный скотовод", Жарминского района, Семипалатинской области, но потом они вместе с другими поляками уехали оттуда на юг. Куда на юг?

На третий день иду в больницу. Там все было так, как предупреждал доктор. Дежурная женщина-врач стукнула меня по пояснице, я как-то не так закричал, она все поняла, нахмурилась, порядком разозлилась, несколько минут молчала, но потом все-таки определила меня в палату. Лежал там, не знаю, сколько — неделю или две, кажется, все-таки две, держали меня там незаконно, потому что, по существовавшим правилам, обязаны были выписать через несколько дней. Коек не хватало, не принимали даже тяжелобольных.

Я очень просил главного врача поставить меня на ноги, потому что хотел добраться до Жарминского района, до этого "Красного скотовода". Отыскать кого-нибудь, кто знает что-нибудь о моих. Как их иначе найти? Я уже истратил кучу денег, написал двести открыток во все представительства.

Вышел из больницы. Что делать? Снова иду в представительство. И прямо в вестибюле в первый же день встречаю Шкловского. Спрашивает: "Как дела? Что после больницы будете делать?" Говорю: "Не знаю, мне здесь и быть-то не положено. Если поймают, отправят по этапу. Собирался работать в представительстве, но что-то не получается". – "Поживите пока у меня". Ведет меня к себе в гостиничный номер. И несколько недель там держит, мало того – кормит. А в Алма-Ате уже становится голодно. Я предусмотрительно купил судки – вещь очень важную. Даже не судки, а алюминиевые миски для просеивания песка (из снаряжения для геологов) – такие, с твердым ободком, вставляются одна в другую. Одна верхняя миска или две были с решетчатым дном, а две нижние – цельные. Отличные судки. Я успел купить вовремя, потому что вскоре их расхватали, хотя их там были тысячи. Шкловский приносил мне рис, манную кашу, варенье. Подкармливал меня, но поставил условие, чтобы из комнаты я носа не показывал. Ночью можно было раз пять-шесть смотаться в туалет. Шкловский отдал мне свою шубу, он гораздо ниже меня ростом, но шуба была огромная, великолепная. Я поднимал воротник и шел на полусогнутых, чтобы думали, будто это он. Вечера проходили фантастически. Собирались Паустовский, его бывшая жена – сестра Зиги Валишевского, бывшего друга моей молодости, Зощенко с женой, молодой, очаровательной, с прекрасной фигурой. Иногда приходил Эйзенштейн – демонический, непостижимый. Глаза необыкновенные, смотрит так, как будто наставил на тебя окуляр кинокамеры или фотоаппарата. Причем снимает не только тело, но и душу. Странные глаза, ни у кого подобных не видел. Иногда заглядывал старый баснописец Маршак[1], но редко. Постоянно приходили Зощенко и замечательный человек, сценарист Шнайдер, который страдал туберкулезом в последней стадии. Он писал и прозу, я читал – какая-то совсем не русская, без политических акцентов и подтекстов. Бессюжетная проза, замечательный русский язык, но стиль как у французов XX века. Не Жироду с его *préciosité*[2], а умеренный эстетизм, тонкий и благородный. Ощущалось и другое – влияние прозы Рильке, которую все они очень высоко ставили. Регулярно бывала жена Шнайдера, ныне Паустовская, – такая крупная, цветущая женщина, настоящая русская красавица. Захаживала и Шуб – одна из основательниц авангардистского объединения "Киноглаз". Самым молодым был грузин Катаян[3], позже издатель собрания сочинений Маяковского, автор его биографии и прочего. Еще какие-то люди, которые то появлялись, то исчезали. Постоянными членами нашего клуба были, по существу, всего несколько человек: Паустовский, Шнайдер, Шкловский, его жена Сима, очень красивая женщина, вдова погибшего в лагере поэта[4]. Ее мужа-инвалида, человека нетрудоспособного, вместе

1. Так у Вата.
2. Вычурность, манерность (*франц.*).
3. Ошибка Вата. Имеется в виду Василий Абгарович Катанян (1902–1993) – литератор, редактор и издатель поэзии Маяковского.
4. Речь идет о поэте Владимире Ивановиче Нарбуте (1888–1938).

с другими такими же заключенными посадили на плот, а потом затопили в одном из северных озер. Факт неизвестный, но совершенно достоверный. <...>

XXXVI

Ват: <...> У меня все еще не было известий об Оле, я по-прежнему рассылал повсюду открытки. Начал подыскивать себе жилье и в самом деле нашел: один поляк, уезжая, уступил мне свою комнату, которую снимал у ночного сторожа. Довольно далеко, за толкучкой, между вокзалом и собственно городом. <...>

Мои друзья. Я уже говорил, что буквально все они верили в победу и в то, что после нее все изменится. Раза два-три, не больше, появлялся Эйзенштейн. Один раз, когда разговор о победе и о том, что все потом изменится, зашел в его присутствии, на лице у него появилась сардоническая улыбка, но он промолчал. Я рассказывал о разном — о литературе, кино, живописи, о моих тюремных перипетиях. Слушали меня внимательно. Упомянул я и о своем христианстве без всяких миссионерских или пропагандистских целей. Просто сказал, что я христианин, не вдаваясь в детали. Они были неверующими, но отнеслись к моим словам с большим интересом, особенно Зощенко, который часто приходил со своей красивой молчаливой женой. Он был самым неразговорчивым из всех нас, а если и говорил что-нибудь, это не вызывало не только смеха, но даже улыбки. Ни разу не произнес ничего забавного. Возможно, из-за угнетенного состояния души, потому что, кажется, как раз в то время вышла его повесть "*Восход*" или "*Перед восходом*"[1] — фрейдистская или, вернее, сочетавшая в себе теорию Павлова с фрейдизмом. Воспоминания детства. Наверное, уже тогда у него начались неприятности и его мучил страх, впрочем, почти все юмористы — меланхолики и вообще люди печальные. Во всяком случае, от Зощенко я ни разу ничего смешного не слышал. Правда, однажды он сказал нечто, поставившее меня в тупик. Спросил у меня: "А вот в настоящую минуту вы верите?" Хорошо помню: "в настоящую минуту". Мы сидим сейчас в комнате, закройте глаза — это я уже пересказываю своими словами — и подумайте. Верите ли вы в настоящую минуту в божественность Христа? В воскресение тела и бессмертие души? Меня поразила тогда его невероятная серьезность, потому я и говорю, что ощущал в нем отклик. Видел, что для него это вопрос чрезвычайной важности. И еще одна интересная вещь. Мы рассуждали о фрейдизме — он его хорошо знал, о других модных явлениях. Я рассказывал о Кафке — в свое время я должен был переводить "Замок". Хорошо помню одно любопытное замечание Зощенко, которое заставило меня задуматься (потом я встретил нечто подобное у Бердяева), о потребности страдания у русского народа. Точка зрения известная, часто повторяющаяся. Не знаю, насколько верная, но общепринятая. Но Зо-

1. Имеется в виду повесть М. Зощенко "Перед восходом солнца".

Ольга Ват

щенко обратил мое внимание на то, что в русской душе совершенно иным образом, не так, как у других народов, переплетаются рациональное и иррациональное, сознательное и подсознательное. Он считал, что русская душа особенная, поэтому фрейдизм не тот ключ, которым можно ее открыть. <...>

Поиски Оли и Анджея попрежнему были для меня главной целью, путеводной звездой. Я засыпал открытками все южное направление, куда предположительно они могли уехать, писал повсюду, где появлялся хоть намек на их след. Прошло немало времени, прежде чем вдруг я получил уведомление из представительства в Семипалатинской области: "В ответ на Ваше письмо от 27 декабря 1941 года сообщаем, что адрес Вашей жены в нашей картотеке не зарегистрирован, однако нам известно, что польские граждане, проживавшие в Ивановке, в совхозе "Красный скотовод", после получения соответствующих удостоверений отправились в южные районы. Более подробные сведения Вы можете получить у Ольги Кшеминской, ныне проживающей по адресу: Тюркоборский район, *разъезд* Сергеевка, деревня Антоновка". И подпись: представитель посольства доктор Саранецкий. Я отослал туда открытку 14 января 1942 года, а ответ получил в конце февраля, или нет, в начале марта, во всяком случае, уже весной. Написал Ольге Кшеминской в разъезд. Моя Оля была там же, поэтому немедленно обо всем узнала и прислала мне письмо и телеграмму одновременно, а я в ответ отправил ей письмо. Но об этом говорить не буду. Мир для меня перевернулся, я вновь стал видеть его краски, обонять запахи, даже замечать и чувствовать женщин. Алма-Ата стала мне казаться садом. Я был счастлив. Оля писала, что сохранила кое-что из моих вещей, но вообще багажа у нее немного, она испечет хлеб на дорогу и привезет его с собой, кроме того, у нее есть полмешочка муки. Только потом я узнал, что это все, что у нее было. Никаких перспектив; ни от кого никакой помощи — работали с Анджеем на хлопковых полях и страшно голодали. А мне в ее письме почудилось что-то буржуйское — испечь хлеб! У меня еще оставалось немного денег, полученных от консула, и какие-то призрачные надежды на работу. Но я думал — ничего, в конце концов представительство поможет. И тут же дал телеграмму, чтобы они приезжали. Ехали они долго, с великими приключениями, с ночными ожиданиями на станциях, кишевших уголовниками. Оля с ребенком и пьяные бродяги. Ей пришлось искать подводу, чтоб добраться до железной дороги и взять с собой хоть немного посуды и какое-то самое необходимое тряпье. Подво-

ду эту долго не давали, потом высадили ее на каком-то полустанке, и они с Анджеем провели несколько ночей среди бродяг, воров и бандитов. Наконец, за взятку начальник станции впихнул их в отходящий поезд и побросал их узлы. За день до их приезда — я постоянно получал от них телеграммы — умер от скарлатины маленький сын моего сторожа. Вечером я вернулся в наш домишко — утром они должны были уже приехать, — а на столе трупик. Я был знаком с одной грузинкой, сестрой историка, с которым я сидел в Саратове. Время от времени она приглашала меня на типично грузинские обеды, так как отличалась великим гостеприимством, а как врач пользовалась большой популярностью, поэтому дела у нее шли очень хорошо. Иногда она присылала ко мне своих родственников, чтобы они сами услышали мои рассказы о саратовской тюрьме. Семейные отношения у грузин очень тесные, такой близости больше нет нигде в Европе. Все мы подружились, и они готовы были сделать для меня что угодно. Не успел я ее попросить взять к себе Анджея, как она тут же ответила, что и Оля может у нее остаться.

Наконец, приехали. Анджей выглядел как ребенок из варшавского гетто. У меня была фотография — теперь куда-то запропастилась, осталась только более поздняя, — не лицо, а череп, у него уже начинался туберкулез. Оля, сколько ей тогда было? Тридцать с небольшим, а выглядела как шестидесятилетняя старуха — полное истощение. Не могу забыть ее юбку. Ей удалось захватить из дома приличное зимнее пальто и шубу. Пальто она продала, вернее, поменяла на муку и сало, а шуба из лапок каракульчи превратилась в ленточки каракуля и ватина. Юбка просвечивала, как решето, сквозь нее видна была рубашка. В руках какое-то барахло, мешки с посудой: дырявые жестянки, бог знает что, — ну и, разумеется, большая буханка хлеба. И какова же моя подлость! Ведь я уже знал — муки нет, ехали так долго, что вся мука вышла. Только и оставалось, что этот хлеб. И я, подлый человек, стоя рядом с ними, голодными, умял почти всю буханку. Один! Набросился на нее!

Олю я отвел к своим друзьям, ее приняли очень тепло — так только русские умеют. Шкловский тут же побежал к себе в номер и, ни слова не говоря, притащил все свои запасы, рис — все, что берег для сына, думал, что тот получит отсрочку от армии. Он же отвел Олю и Анджея к хорошему врачу. У Анджея нашли в легких очажки, но состояние в целом было еще неопасным. Дали ему продукты и лекарства. Подкормили его. Деньги у нас пока были: немного прислали из посольства — тысячу, потом пятьсот рублей, тогда это были какие-никакие, а деньги. Но купить продукты мы все-таки не могли. Цены на колхозном, то есть на черном рынке были фантастические, мы могли себе позволить только мелочи. Оля так и ходила в своей прозрачной, как сито, юбке на наши клубные посиделки. Все остальные были одеты очень хорошо — в польские трофеи, латвийские трофеи, в них щеголял весь "Мосфильм" — киношники и литераторы. Прекрасно одетые женщины. А моя Оля в изношенной до дыр юбочке. В какой-то момент я сказал ей, что больше так невозможо, и они с Симой пошли покупать ей кое-что из одежды. И все же это была идиллия, настоящее счастье. Но нужно было думать о будущем...

Дмитрий Дерепа

Танские стихотворения в переводах академика В. М. *Алексеева*

В 1941 году академик В. М. Алексеев, один из крупнейших китаистов XX века, приступил к работе над переводом антологии "Избранные танские стихотворения" ("Тан ши сюань"), куда в XVI веке известный поэт Ли Паньлун отобрал четыреста шестьдесят пять произведений более чем ста двадцати поэтов.

В то время ученый с семьей был эвакуирован в курортный поселок Боровое, что в Северном Казахстане. Катастрофическая нехватка бумаги, справочной литературы и вызванная этим "аморфность" страшно его тяготили, но только работой он и жил, рассказывает дочь академика М. В. Баньковская в послесловии к недавно вышедшим переводам В. М. Алексеева из танской поэтической антологии.

Небольшая по объему, выпущенная в 2003 году восьмой в серии "Драгоценные строфы китайской поэзии", под названием "Постоянство пути" (это цитата из входящего в книгу стихотворения), книга совершила необычайно трудный путь к своему читателю. Более шестидесяти лет эти переводы появлялись в различных изданиях в объеме сначала пятнадцати-семнадцати, после – пятидесяти с небольшим стихотворений.

Рамки серии "Драгоценные строфы китайской поэзии", хоть и предполагают популярное ознакомление читателя с тематикой, не в состоянии вместить в одну книгу перевод "Тан ши сюань" во всем объеме. Обширным предисловием редактор-составитель серии Илья Смирнов вводит даже неподготовленного читателя в мир переводов Алексеева. Это внимательный разбор произведений, ставших вехами на творческом пути академика Алексеева, начиная со стансов Сыкун Ту (их исследование и переложение на русский язык явились основой его магистерской книги-диссертации 1916 года), переводы которых он еще долго продолжал совершенствовать, до последних комментариев к различным поэтическим антологиям.

Жизнь автора, неотделимая от его произведений, раскрывается многими гранями как на ниве поэтического перевода, так и в прозаических жанрах. Прежде всего, Алексеев умеет обаять "старинной, по укладу своему вовсе несходной с русской, поэзией", как пишет И. Смирнов[1]; здесь же вспоминаются ставшие каноническими именно в "алексеевской версии" переводы "Странных рассказов" – новелл Ляо Чжая – Пу Сун-лина (XVII–XVIII вв.), в которых раскрываются его незыблемые принципы перевода, верность установке "на чужое слово".

И. Смирнов пишет: "Алексеев был почти универсальным китаис-

1. Смирнов И. С. В. М. Алексеев – переводчик китайской поэзии // Постоянство пути. Избранные танские стихотворения в переводах В. М. Алексеева. – СПб., 2003.

© Дмитрий Дерепа, 2006

том, он так высоко поднял планку исследований, что в отдельных областях до сих пор никто и близко не подошел к его достижениям. Он занимался китайской народной картиной, поэтологией, классической повестью, театром, нумизматикой, археологией, поэзией, лексикографией. Людей такого масштаба сейчас нет и, наверное, не может быть"[1]. Он окончил Петербургский университет, несколько лет учился в Китае у превосходных учителей старой формации, то есть, можно считать, получил классическое китайское образование. Он стажировался в Англии и во Франции, путешествовал по Поднебесной со своим наставником Шаванном.

К стихотворным переводам "Пятизначных стихов старинного типа – *гуши*" и к некоторым из следующего раздела "Семизначные стихи старинного типа – *гуши*" Алексеев сделал подробный комментарий: статьи об авторе и тематике, форме стихотворения и его названии. Переводы, остававшиеся без комментария, долгое время существовали лишь в рукописном варианте, тогда как "готовые", по его мнению, стихотворения, облаченные в броню научного комментария, периодически публиковались (это всего пятнадцать из общего числа переводов, вошедших в книгу).

О названии стихотворения нужно говорить отдельно, ибо перевод названия – часто более замысловатый процесс, чем *перевод самого* стихотворения. Уже в начале сборника стихотворение Чжан Цзю-лина по-китайски названо "Гань юй", что ближе всего передается именно алексеевским "Чувства при встрече, для меня желанной". Это развернутое название не может быть адекватно заменено словом или словосочетанием, скажем, "чувства" или же "думы", как сделал это Цю Кэ-ань (Qiu Ke'an) в своем переводе на английский – "Thoughts", вошедшем в антологию "Триста танских стихотворений в новом переводе" ("Тан ши сань бай шоу син и"), изданную с параллельным китайским текстом. Для удобства сопоставления приведем отрывки обоих переводов.

Чувства при встрече, для меня желанной

Гусь одинокий
летит из-за моря сюда.
Пруд или лужа –
на них и взглянуть не решится.
Сбоку посмотрит
на двух изумрудных птиц –
Тех, что взгнездились
на трех жемчужных деревьях.
Ввысь устремились
вершины жемчужных деревьев:
Разве не будет им
пули из золота страшно?

Thoughts

A lonely swan from the sea flies,
To alight on puddles it does not deign.
Nesting in poplar of pearls
It spies and questions green birds twain:
"Don't you fear the threat of slings,
Perched on top of branches so high?"

Помимо сразу заметных различий в расстановке логических ударений (а также знаков препинания и грамматической соподчиненности отдельных блоков), с разной долей эмоциональности подается персонаж стихотворения – одинокий гусь (чиновник в изгнании), возвращающийся домой (вновь призванный ко двору).

Начнем сопоставление со второго перевода: сразу видно, в нем присутствует автор, его "я", привнесенное переводчиком, своеобразный "лирический герой". Этот ход позволяет переводчику интерпрети-

1. Там же.

ровать монолитный китайский текст в виде прямой речи[1]. В формальном плане перевод Цю Кэ-аня именно *похож* на китайский станс, состоящий из шести пятистопных (пятисловных) стихов. Визуально английский стих так же лаконичен (не будем здесь говорить о принципиальной неспособности перевода иероглифических словообразов на западные языки) и является безусловной удачей переводчика: переводное стихотворение обладает неплохой, пусть и несложной, поэтической рифмой. Таким образом, этот вариант столь же близок к оригиналу, насколько и приближен к читателю.

Алексеевский вариант перевода абсолютно непохож на английский аналог: в нем отсутствует рифма, стих (чтобы стих читался, нужно дыхание) разбит на два полустиха по китайской цезуре — после второго слова в пятисложной и после четвертого — в семисложной строке (детальнее этот вопрос можно рассматривать на примере отдельных частей книги, разделенной именно по принципу размерности стихотворений — от пяти- и семизначных стихов старинного типа *гуши* до популярных и очень распространенных в классической поэзии размеров пяти- и семисложных четверостиший, "оборванных / усеченных строф" *цзюэцзюй*).

Алексееву ценно в переводе как можно больше сохранить от подлинника, строгая форма которого предрасполагает к медитативному, почти буддийскому размышлению на вполне конфуцианскую тематику. Отсюда и строй стихотворения, его параллелизмы ("летит *из-за моря*", "на *пруд* или *лужу*" не взглянет, "на *двух изумрудных* птиц", "на *трех жемчужных* деревьях"), пространственные отношения, искусно подобранные автором текста ("из-за моря" к автору, "сбоку" от объекта, "взгнездились" — тоже, несомненно, относится к словам — выразителям пространства, "ввысь устремляя" настрой стихотворения, и, наконец, "пуля из золота", которая предполагает непременное падение подстреленной птицы).

Главным достоинством перевода академика Алексеева является его непреложное следование собственному принципу — передаче одного иероглифа китайского текста одним значащим словом русского стиха[1]. При этом грамматика русского языка позволяет сохранить последовательность слов китайского стихотворения. Кроме этого, даже название в варианте Алексеева обладает большим количеством коннотаций с содержанием, что немаловажно, поскольку искушенный китайский автор в тонком намеке заглавия уже раскрывает тему стихотворения. Это небольшое сравнение дает представление об особенностях переводческой деятельности Алексеева: он поднял на качественно иной уровень точность и научность труда переводчика и приблизил ритмику перевода к оригиналу. Алексеев переводит одной стопой, по преимуществу — трехсложной, в которой предпочитал дактиль и амфибрахий, "минуя злостный анапест, который к тому же капризен", признается он в письме И. Ю. Крачковскому в апреле 1942 года; иногда дольником — за напевность, бóльшую свободу и хотя бы отдаленное подобие китайской ритмизации, точное следование которой достойно всяческого уважения, но зачастую версификационно несостоятельно[2].

Стихи переведенной Алексеевым антологии написаны на незву-

1. Подобный ход может быть оправдан в работе со средневековым текстом, написанным на *вэньяне* (официальный язык Китая до Синьхайской революции 1911 года, следы которого до сих пор сохранились в официально-деловой речи и художественной словесности), где отсутствуют знаки препинания, а разделение фраз осуществляется с помощью служебных грамматических иероглифов.

1. Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. — Петроград, 1916.
2. Баньковская М. В. Избранные танские стихотворения и... Болезни лошадиных копыт // Постоянство пути. Избранные танские стихотворения в переводах В. М. Алексеева. — СПб., 2003.

чащем ныне языке — *вэньяне*. Современный читатель может не расслышать в нем те рифмы и тональность, которыми пользовались поэты эпохи Тан. В те времена рифмическая система основывалась на чередовании тонов "ровного" (*пиншэн*) и "косого", который заключал в себе остальные три тона китайской фонетики: *шаншэн* — высокий, *цюйшэн* — ниспадающий и *жушэн* — входящий (о чем писал в V веке Шэн Юэ в трактате "О четырех тонах" — "Сы шэн пу")[1]. Подобные установки "работают" лишь в китайском тексте, и невозможность их передачи на европейских языках была очевидна для Алексеева. Василий Михайлович в исследовании "Темы танской поэзии"[2] подчеркивает, что поэзия "писалась и пишется до сих пор" на неразговорном языке, переводы с которого "ни по форме, ни по содержанию неадекватны", как и любые поэтические интерпретации на чужом языке. "Целостное постижение китайской поэзии не выходит за пределы оригинала, — пишет он далее. — Ученый-филолог <...> проходит через разные фазы: сначала — новость в каждом стихе; потом — меньше; наконец строится целый мир. Оригинальное как таковое исчезает, остается вечно оригинальное — красота человеческого духа, постигаемая все глубже и глубже по мере изучения"[3].

Никогда не отделяя свое переводческое творчество от научного, академик Алексеев преследовал не только художественную цель, но стремился к научно-исследовательской авторитетности перевода как памятника китайской литературы. Его переводы — единое художественное полотно, где при тесном соседстве крупнейших поэтов эпохи Тан с авторами "второго ряда" своеобразие творчества каждого представлено в высшей степени индивидуально, не в ущерб синтаксическим и орфоэпическим нормам русского языка. Пристальное чтение позволяет выявить, что Алексеев с помощью приемов художественной словесности — всевозможных инверсий в пределах словосочетания и предложения, разных типов сравнения — выстраивает особый язык, наиболее приближенно соответствующий по синтаксису и лексической наполненности китайскому фоноидеографическому письму. Можно говорить об иероглифичности русского слова в смысле концентрированной образности, частого соответствия звукоподражательных элементов в китайском и русском тексте.

М. В. Баньковская, дочь В. М. Алексеева и хранительница его архива, цитирует выдержки из заметок отца о принципах перевода антологий: "В моем переводе читатель может быть уверен, что в угоду полноте и дословности я всегда жертвовал русскими привычными обиходными выражениями, ибо китайский оригинал не состоит из обиходного — №: он именно *оригинал*..." и добавляет, что "Алексеев в то же время не щадил себя для читателя <...> и, извиваясь, по его выражению, под Дамокловым мечом точности, отыскивал и изобретал термины и образы, достойно отражающие красоты произведения"[1].

Обширные комментарии, выполненные академиком к первым пятнадцати стихотворениям антологии, позволяют судить о богатстве традиционной образности китайской поэзии. Антология знакомит с изначально заданным набором сюжетов и тематик. Обилие тем (расставание с друзьями — ряд стихотворений разных жанров у Гао Ши; тоска жены по мужу, ушедшему в

1. Кравцова М. Е. Поэзия вечного просветления, IV, 1. — СПб., 2001. С. 224–226.
2. Алексеев В. М. Темы танской поэзии. Труды по китайской литературе впервые были опубликованы РАН в 1978 г., в 2002 г. издательство "Восточная литература" РАН включило эту статью в первый том "Трудов по китайской литературе". — М., 2002. С. 251.
3. Там же.

1. Баньковская М. В. Избранные танские стихотворения и... Болезни лошадиных копыт. Постоянство пути. Избранные танские стихотворения в переводах В. М. Алексеева. — СПб., 2003.

дальний поход, – "Песня жены Цзы-е в уделе У" Ли Бо; думы о былом величии дворцов и их обитателей – "С холма Цзи смотрю на древности" Чэнь Цзы-аня, "В хоромах Тэнского князя" Ван Бо, "В стране Сун" того же Гао Ши; или живописные картины встреч и пиров в памятных местах – "В Башне Желтого Аиста провожаю Мэн Хао-жаня" Ли Бо, "Пишу на стене храма Бамбуковой рощи" Чжу Фана) не включает в себя любовную лирику – непременную в европейской традиции.

"Антология по-прежнему остается наиболее испытанным чтением... столь характерным для старого Китая"[1], – пишет академик Алексеев в статье "Темы танской поэзии". Изначально Алексеев создал своеобразные этюды-предисловия к "Антологии произведений танских поэтов", в неполном виде изданной в 1923 году в переводах-переложениях одного из талантливейших своих учеников Ю. К. Щуцкого. Юлиан Константинович работал под внимательным руководством Алексеева, отчего и вошли эти переводы в историю как "антология Щуцкого-Алексеева"[2].

В российском китаеведении это был первый случай перевода антологии, пусть не целиком, но ad usum delfinium – "на потребу детям", как напишет потом Алексеев о чтении своих переводов в узком кругу в эвакуации. Но выход в свет книги Щуцкого ("Антология произведений танских поэтов", М., 1923), над которой плотно работал также и Алексеев, стал заявкой на перевод антологии целиком, что и было осуществлено ученым в годы Великой Отечественной войны. Изначально самый принцип китайской антологии предполагает соседство поэтов разного уровня и одаренности, что также осложняло задачу переводчика – дать в переводе представление о величии великого поэта, чтобы отечественный читатель понял его принципиальные отличия от соседствующих с ним, чьи переводы выполнены той же рукой. Антология Щуцкого–Алексеева подчинялась требованию заинтересовать читателя – как сведущего в китайской культуре, так и нет. По этой причине стихотворения были разбиты по тематическим блокам: "Природа и мир", "Прочь от мира", "Тоска по древности", "На чужбине".

Комментатор антологии "Гу Тан ши хэ цзе" (1732), которую использовали наряду с японскими источниками Алексеев и Щуцкий, сдерживал порывы переводчика и снабжал его хотя зыбким, но единым критерием в отборе стихотворений: "Всего не выберешь, а выбирать надо. Придется ограничиться наиболее устойчивыми в смысле ритмов и наиболее ясными в словоупотреблении – именно теми самыми, которые всеми заучиваются. Я не смел выбирать одни и отходить от других, руководствуясь личным вкусом".

Иной вариант антологии, отвергнутый Алексеевым и его учеником при подготовке издания 1923 года – когда друг за другом следуют подборки стихотворений отдельных авторов, по порядку их "трудно произносимых имен".

И, наконец, антология "Тан ши сюань" в том виде, как она предстает перед нами. Стихотворения здесь разделены по типу: пяти- и семизначные стихи старинного типа *гуши*, пяти- и семизначные уставные стихи *люйши* и уставные рядные стихи *пайлюй* и усеченные строфы пятизначных четверостиший *цзюэцзюй*.

Вот что говорит Алексеев в посвященной поэзии лекции, которую он читал в Коллеж де Франс: "...Вполне естественно изумиться и даже не поверить, когда вам назовут сумасшедшие, хотя и вполне достоверные цифры, заботливо собранные для эпохи Тан (618–907): 2200 поэтов и 48 900 их произведений в

1. Алексеев В. М. Темы танской поэзии // Труды по китайской литературе. – М., 2002. С. 251.
2. Заметки В. М. Алексеева о принципах перевода антологий, 1943. – СПб., филиал архива РАН, ф. 820, оп. 1, ед. хр. 239, 670 л.

прекрасном императорском издании 1707 года "Юй дин цюань Тан ши", обязанные своим выходом ученому и многочисленному обществу, состоявшему из лучших эрудитов эпохи; и если прибавить, что наряду с подобными изданиями поэтов имеются еще издания, где собраны стихи, взятые из эпиграфики, записок (*цзи*), которыми пренебрегли первые издатели, обращавшиеся только к книгам; и если, наконец, вам скажут, что эти дополнительные издания увеличат количество поэтов до 3774 при Сун (960–1279), вы будете, конечно, потрясены... и китайская критика сумела отличить гениев (для эпохи Тан: Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Вэй Ин-у и т. д.) из массы других поэтов, которых этот выбор снижал до положения толпы, хотя они и заслуживали быть прочтенными хотя бы раз. Это приводит нас к вопросу о читателе, о нашей роли читателей и исследователей китайской поэзии..."[1]

На один сюжет (а таких сюжетов немало в "музыкальной палате" – *юэфу*, а также в Книге песен – *Ши цзин*, где собраны классические образцы древних стихов *гувэнь* и *ши*) писалось множество вариаций, и нередко они соседствовали в рамках одной антологии. Так произошло и с сюжетом о Цзы-е. В комментарии к первому стихотворению Алексеев касается самого феномена "музыкальной палаты" и дает достаточные сведения о слагательнице песен в уделе У. Так выглядит интерпретация сюжета у Ли Бо, "Песня Цзы-е, жены в уделе У":

В столице Чанъане
месяца ломтик один,
В бессчетных дворах
колотят вальками белье.
Осенние ветры
дуют не прерываясь.
И неизменны
к Яшме-заставе чувства.

Когда же, когда же
варваров утихомирят?
Муж мой тогда
закончит далекий поход.

Следующее стихотворение, написанное старшим современником поэта, Го Чжэнем, входит в другой раздел, самых популярных по форме усеченных строф *цзюэцзюй* под названием "Песня Цзы-е":

На ниве межа:
там ветви тополя-ивы
уже в дуновенье
попали ветра весны.
А женское сердце
сейчас-то как раз и рвется:
ведь душу супруга
как я могу узнать?

Один и тот же момент – не страстной, но строгой и верной любви жены к супругу, пребывающему в далеком походе, – передается у поэтов с разных точек зрения. Ли Бо описывает женскую тоску внешними средствами, более классическими (традиция эта восходит к упоминавшейся Книге песен и юэфу, когда о красоте девушки говорили не прямо, но через ее добродетель – в чем трудно не усмотреть конфуцианские мотивы, – через красоту ее окружающую и прочее), тогда как у Го Чжэня настрой стихотворения по критериям танской поэзии не столь высок, и из раздела "Достойного поэзии", высокого по импульсу, – верность мужу, находящемуся на чужбине, – стихотворение понижено до раздела "Любовь".

Этому разделу академик Алексеев предпослал довольно обширную статью, поясняющую традиционно ориентированному на западную лирику читателю, сколь чужда китайской поэзии тема любви, ведь "поэтическое наитие... не допускает, например, сексуального транса (особенно в старинной своей форме *ши* и в дореформенной [поэзии] во всяком случае). Как бы то ни было, не пристали поэзии, с точки зрения старомодного китайца XX в., открыто эротические мотивы современ-

1. Алексеев В. М. Китайская поэзия. Очерк идей и представлений: Лекция четвертая в Коллеж де Франс // Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. Кн. 1. – М., 2002.

ной ему лирики Бальмонта и др.: сверхчеловечество поэта былых дней не включало в себя эротическое властительство... Воспевание мук любви, ее торжества и особенно финальных ее аккордов считалось попросту неприличными, развратными мотивами (*инь цы*), которые изгонялись из настоящей литературы не только пуристами, но и общим мнением воспитанных людей всех времен и поколений..." И еще: "...учение, утверждавшее их (классических стихов *ши* из "Ши цзин") ценность в течение двух тысячелетий, ставило плотскую любовь слишком близко к животной, чтобы делать ее предметом восхищения джентльменов конфуцианской школы..."[1]

Если переводная литература не оперирует индивидуально авторским языком, то она опирается на авторскую систему образов. Особенно это заметно в поэзии, которую можно назвать квинтэссенцией литературы. Стилистика того или иного текста зависит от многих факторов, среди которых нельзя не упомянуть также национальные особенности — будь то религиозная тематика, лирические мотивы, либо космологические представления.

Не менее интересно отдельно рассмотреть тематику пространственно-временных отношений в китайской поэзии эпохи Тан, а также способы их передачи в переводе. Если самостоятельно выделять топонимическую тематику, то увидим, что в поэтическом языке она относительна и в высшей степени индивидуализирована (в отличие от мифологических источников древнего Китая, одним из которых является Книга гор и морей — *Шан хай цзин*), субъективна и представляет собой обширное поле для изучения образа мышления человека данной эпохи. Известно, что средневековый китаец жил в "подлинной топографии", где окружающий мир замыкался на авторе, на освоенной им ойкумене. "Южные горы" в данном контексте не одни для всех поэтов Тан (хотя во многих случаях подразумеваются именно горы Чжуннаньшань, что простираются неподалеку, к югу от тогдашней столицы Чанъани), но буквально любые горы — "те, что (сейчас) на юге"...[1]

С другой стороны, традиционные мотивы пронизывают поэзию "крест-накрест", чему отведено место и в переводах Алексеева. Так, где бы ни происходили события — в Цзяннани ли (область к Югу от Янцзы, так называемое Южноречье), либо на северных заставах, — повсюду Запад будет обозначать, учитывая глубокую символику произведений, наряду с варварским миром неминуемую смерть либо тоску по тем, кто не возвращается (например, "Восемь стансов об осени" Ду Фу, где поэт описывает фантастическую картину, открывающуюся его взору, используя все эти мотивы).

То же можно сказать о категории времени, когда события глубокой древности переживаются лирическим героем заново и личностное начало, "образ автора", переносится в то время, события которого изображаются в данном произведении ("Расстаемся на реке Ишуй" Ло Бинь-вана).

Важнейшим побудительным мотивом перевода "Избранных танских стихотворений" является неоднократно подчеркиваемая самим переводчиком культурная необходимость иметь тексты китайской классики на русском языке в "первозданном" виде, который, надо отметить, по степени буквальности приближается к подстрочному переводу, но отличается от него в главном — в передаче и толковании образного строя китайского текста. И "перевод этот в высшей степени художествен, потому как обилие новых авторских тропов в предельно традиционном стихотворении, каковым является произведение VII—X веков н. э. (свя-

1. Алексеев В. М. Темы танской поэзии // Труды по китайской литературе. — М., 2002. С. 251.

1. Меньшиков Л. Н. Предисловие переводчика // Чистый поток. Поэзия эпохи Тан в переводах Л. Н. Меньшикова. — СПб., 2001.

щенная древность происходящего, несомненно, накладывает свой отпечаток на лексическую и логическую составляющую текстов), ставит перед переводчиком сложнейшую задачу"[1].

Количество ни на что не похожих окказиональных метафор, созданных Алексеевым для передачи китайских понятий и образов, поражает. К концу книги для читателя вполне привычными становятся образы одинокого гуся и воющей обезьяны — как символов тоски и одиночества на чужой стороне, башни-пагоды, на которую взбирается поэт, прозревая мир горний; Цзяна — великой реки, — и яшмы во всей многоликости ее значений в китайской поэзии. "Тучи-массивы", "волны-валы", "ласточки-слетки", "крепость-застава" — последний оплот власти императора на границах, "бабочки-брови девы-красавицы", ветер "со свистом-присвистом" гонит гусиные стаи...

Путь этой книги к читателю в полной мере еще нельзя считать оконченным. Это "просто китайский текст в еле прикрытой русской форме"[1], по выражению самого академика Алексеева. Ибо никто не скажет о цели непременного творчества человеческого духа лучше, чем лучший его сотворец: "...Наша наука должна объяснить ученому читателю характер китайского фантасма, полного преобразовательных устремлений к истиннейшему добру, и характер китайской фантазии, которая отрывает от земли поэта-сверхчеловека и показывает ему истину в пленительных формах нереального и иррационального"[2].

1. Баньковская М. В. Избранные танские стихотворения и... Болезни лошадиных копыт // Постоянство пути. Избранные танские стихотворения в переводах В. М. Алексеева. — СПб., 2003.
2. Алексеев В. М. Китайская поэзия. Очерк идей и представлений // Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. Кн. 1. — М., 2002.

1. Смирнов И. С. Интервью // Русский журнал, интернет-вариант. 14.06.2001 г.

Леонид Гиршович
Запад есть Запад

Я испытываю едва ли не чувство удовлетворения, следя за ходом военных действий в "карикатурной войне" (она действительно карикатурна). Возможно, это признание не делает мне чести, но оно делает заявку на честность. Если политкорректность — палка о двух концах, то мы имеем дело с другим ее концом. Отношение к политкорректности в России, прослышавшей об оной с сильным опозданием, отмечено редкостным единодушием: "Ха-ха-ха". Но я-то уже более тридцати лет наблюдаю это явление с близкого расстояния, и мне не смешно. Ни ухмыляться, ни иронизировать я не стану.

Политкорректность — это разновидность опрощения, которым сопровождается покаянное хождение в народ, точнее в народы — их много разных, включая и "женский народ" (по выражению Платонова). Известно, чем обернулось и как осмеивалось хождение угрызаемых совестью угнетателей к недоуменно презиравшим их угнетенным — притом следует помнить, что соотношение тех и других, как в анекдоте: конь — рябчик, не только количественное, но и качественное. По сравнению с народничеством, политкорректность ближе к епитимье, поскольку есть род ограничения. Например, нельзя называть вещи своими именами. То есть "своими именами" в рассуждении кающегося, иначе раскаяние превратилось бы в фикцию: "Ты не смеешь так говорить или так думать" обращено, может быть, лишь к думающему *так* или говорящему *так*. (Симптоматично, что песня "Die Gedanken sind frei"[1] в Германии относится к разряду неполиткорректных.)

Однако запрет на высказывание по причинам этического характера практически невыполним. Заповеди политкорректности не могут быть кодифицированы уже потому, что им нет числа. Верней, они — порождение культурно-исторических ситуаций, мир же — это калейдоскоп культур, менталитетов, обычаев, каждый из которых настаивает на своей исключительности. И если на земле есть что-то единое, некий общий знаменатель для всех и вся, то это цивилизация. Она одна для всех, и она — цивилизация европейская (смею я утверждать, при всем своем восхищении Тойнби с его двадцатью восемью цивилизациями: от Андской до Содомо-Гоморрской). Но главное даже не в бесчисленности запретов и оглядок, а в том, что соблюдение одной заповеди автоматически влечет за собой нарушение других. В предельно политкорректном объявлении о конкурсе на замещение свободной вакансии должно быть написано: "Предпочтение отдается исповедующим ислам многодетным матерям-одиночкам с безграничной инвалидностью". Первое здесь в безусловной вражде со вторым, что не имеет значения, поскольку все равно главным условием приема на работу является стопроцентная нетрудоспособность работника.

© Леонид Гиршович, 2006

1. "Мысли свободны" (*нем.*).

Хорошо, это reductio ad absurdum[1]. Но я помню замешательство — на рефлекторном уровне, — когда Англия "вела неоколониальную войну" против Аргентины, в которой военная хунта тогда же "вела грязную войну" против своего народа. "Что я должна думать? Что я скажу детям?" — соседка в растерянности, и вроде бы не дура, просто такая, как все.

От того, что политкорректность непереводима, ей отчаянней всего сопротивляется язык, родная речь — или, если говорить созвучно эпохе, спикер национальной культуры. Классический пример — смысловая перверсия слов "негр" и "черный" ("афроамериканцы", "афроканадцы" вне обсуждения, их все равно язык не перемелет). "Негр", еще недавно такой лапушка, вот-вот разделит судьбу слова "жид", и, наоборот, "черного", почти что "черномазого", пытаются обелить (о, месть языка!). Сегодня сказать "негр" — как бы и перед другими неловко: слышится "ниггер", а скажешь "черный" — все еще неловко перед собою: чувствуешь фальшь. В результате: "Ну, она там с одним блэком встречалась..."

Что бывает за несоблюдение политкорректности? Именно так нужно ставить вопрос: что за это бывает? — поскольку она носит характер "добровольно-принудительный", что-то наподобие субботника или подписки на заем. Здесь, как в Библии: заповеди политкорректности неравноценны, в большинстве случаев отказ следовать им чреват нареканием, но есть среди них одна, нарушить которую тебе не позволят физически. В этом смысле она, как заповедь "плодитесь, размножайтесь" — попробуй не соблюсти.

В ходе "карикатурной войны" Европа взялась было публиковать, наряду с дружескими шаржами на пророка, картинки, "задевающие религиозные чувства" свои собственные: мол, берите с нас пример, вышучивайте нашего Христа, как мы вышучиваем вашего... Мы к вам в претензии не будем. Давайте сообща создадим этакий антипантеон. Когда еще мне доводилось слышать, что Моисей заблудился в пустыне, вообще же он вел евреев в Швейцарию. Иисус пошел ко дну, позабыв, что у него дырявые пятки. И т. д.

Но сильным мира того, то бишь исламского, известно: симметрии здесь нет. Восемнадцатый век, Просвещение, энциклопедисты, вольнодумство — словом, все, что является основой современной цивилизации, сделало европейцев совершенно индифферентными к тому, в чем церковь усматривала кощунство и за что именем Христа отправляла на костер тысячами. Походя отмечу: англосаксонский мир, не переживавший столь бурного романа с французским Просвещением, оказался в меньшей степени, чем континентальная Европа, затронут нынешним скандалом. На сей раз американские и английские флаги жгут по причине "исламской политкорректности" — чего не скажешь о датском, норвежском или французском флагах. Показательно: Франция, по части авансов арабам оставившая позади Россию, приютившая у себя некогда аятоллу Хомейни, — Франция не отдает ни пяди своей культурной территории. Ибо то, что для других цивилизация, для нее культура — Россия Пушкиным тоже бы не поступилась.

В землях благодатного полумесяца сознают, что Запад, иллюстрируя "Карманное богословие" Гольбаха (в иудео-христианской его части), великого святотатства для себя не совершает. Все в прошлом. Главная реликвия Запада сегодня — это Холокост, он — святая святых. И сионистское лобби тут ни при чем. Было даже время, когда в Израиле о Холокосте предпочитали не вспоминать: позор нации. Один из аргументов против идиш в тогдашнем идеологическом арсенале сионизма: на этом языке говорили те, кого, как стадо баранов, гнали на бойню. Только на процессе Эйхмана стало очевидно: в

1. Доведение до абсурда (*лат.*).

идейном плане Холокост неисчерпаем. Тогда-то эти шесть миллионов из презренных галутных евреев, поплатившихся жизнью за нежелание внять героической трубе сионизма, превратились в мучеников, чья память священна.

Холокост — первая заповедь, начертанная на скрижалях политкорректности. Если несоблюдающий прочие заповеди гражданин Евросоюза может отделаться, так сказать, общественным порицанием, образно говоря, "от него отвернутся товарищи", то нарушение заповеди о Холокосте уже вполне наказуемо: могут уволить с работы, а могут и срок дать — зависит об обстоятельств дела. Несколько лет назад один немецкий оркестрант на гастролях в Израиле брякнул официантке, которая подала ему счет: "Гитлер заплатит". С его стороны это была неуклюжая шутка, но она стоила ему места: немец, произносящий такое в Израиле... Да и в Германии само имя Адольф под запретом (хотя можно было бы и не запрещать: кому придет в голову назвать свое чадо Чертом).

Или другой случай, памятный всей Германии, поскольку сие транслировалось по телевидению. В годовщину Хрустальной ночи (была круглая дата) на специальном заседании Бундестага его председатель в покаянной речи допустил незначительное отклонение от канона, в том духе, что дескать, к несчастью, мы, немцы, были ослеплены своими успехами. Эти "успехи" оказались для него роковыми. Не прошло и двух часов, как оратор, заканчивавший свое выступление уже при пустом зале, подал в отставку. За нечаянно бьют отчаянно.

Предумышленное оскорбление памяти жертв Холокоста, для чего достаточно публично усомниться в массовом уничтожении евреев, уголовно наказуемо — подпадает под действие закона "об освенцимской лжи". Этот закон, по-немецки именуемый "Auschwitzlüge", не из тех, что существуют лишь на бумаге, он применяется на практике, в чем осужденные, вероятно, видят давление еврейских кругов. А напрасно. Изначально евреи отнюдь не принуждали христиан к покаянию, как крепостные не принуждали к покаянию помещиков, больные — здоровых и т. д. Недаром революции совершаются теми, против кого они направлены. Но как не потребовать свою законную виру, когда есть такая возможность, — вот еврейство ею и воспользовалось. Да и поныне пользуется — боюсь, на свою голову. Я помню трех-четырехлетнего мальчика — ангельское создание: льняные волосы, голубые глаза, — который сделал для себя удивительное открытие: оказывается, стоит сказать в магазине "я еврей", как обязательно получишь что-нибудь вкусненькое. Это продолжалось, пока он не возымел неосторожность сказать "волшебное слово" в греческой лавке.

Делать ставку на чью-то политкорректность соблазнительно, но, во-первых, рискуешь столкнуться с политкорректностью, обслуживающей противную сторону, а во-вторых (конечно, правильней было бы первое и второе здесь поменять местами), это еще и верный путь к деградации: много ли дала Африке экономическая политкорректность развитых стран? Вечный статус жертвы приводит раньше или позже к летальному исходу.

Когда слышишь, что в лице ислама XXI век столкнулся с каким-нибудь там... дцатым веком, хочется возразить: "Уже нет". После Освенцима понятие "святотатства" актуализировалось так же и в европейском сознании. Европа склонна отказаться от того важнейшего, что принесло с собой Просвещение, а именно — от разделения права и морали. "Я с вами не согласен, но готов умереть за ваше право это говорить". Благодаря законам "об освенцимской лжи", "о пропаганде расовой ненависти" и т. п., Запад, по сути дела, оказался в том же... дцатом веке. О войне анахронизмов — какой-то умник называл это войной цивилизаций — можно забыть. В царстве мулл теперь с полным осно-

ванием могут сказать: "А зато у вас негров линчуют" – у нас свой Мохаммед, у вас свой. (Хотя подозреваю, что для всех этих толп, сокрушающих датские посольства, речь идет об оскорблении племенного божества. Несмотря на космополитический характер ислама, в этом нет ничего шокирующего – существует же такая форма духовной самоидентификации, как "русский, православный", что естественно вытекает из образа "русского Христа".)

Безумие – развращать других и самому быть развращаемым иллюзорными выгодами, которые сулит политкорректность, в действительности лишь способная столкнуть всех лбами. Наоборот! Двигаться надо в противоположном направлении: "Die Gedanken sind frei". Право высказывать их – вот символ веры цивилизованного человека. Универсальная религия. К этому до́лжно приучать "меньших братьев", коих и среди аборигенов Запада большинство, – а не идти на поводу у тех, кто убежден: давать по морде в ответ на сказанное – "прррaльна".

Либерализм как залог процветания, быть может, даже спасения человечества, экономически невозможен без либерализма нравственного. На все возражения, которые очень легко могу себе представить, замечу лишь, что не карикатуры в "Штюрмере" породили нацизм, а наоборот. Они были орудием его, никогда не позволившего бы на карикатуру ответить карикатурой.

"Тебе больше никогда не придется работать!"

В прошлом году в гостях у "Иностранной литературы" побывали британский писатель Алан Силлитоу и его жена поэтесса Рут Фэйнлайт, давние друзья нашего журнала, не раз печатавшиеся на наших страницах[1]. В беседе принимала участие поэт и переводчик Марина Бородицкая.

"**Иностранная литература**". За пятьдесят послевоенных лет существования нашего журнала по крайней мере три номера вышли с вашим участием. В 1962 году вы дали интервью нашему журналу[2].

Алан Силлитоу. То был мой первый визит в СССР.

"**ИЛ**". Тогда вас очень ценили в Советском Союзе как борца с капитализмом.

А. С. Не знаю, я просто книжки писал. Хотя... почему бы и нет?

"**ИЛ**". Нам очень хотелось бы узнать, как выглядит литературный процесс в современной Великобритании.

Рут Фэйнлайт. Сегодня большой вклад в английскую литературу вносят уроженцы бывших колоний: юго-восточной Азии, Индии, Африки – достаточно вспомнить, например, Найпола. Эта тенденция наблюдается и в прозе, и в поэзии.

"**ИЛ**". У нашего читателя наибольшей популярностью пользуются такие британские авторы, как Йэн Макьюен, Грэм Свифт, Питер Акройд, Тибор Фишер, Дэвид Лодж, недавно скончавшийся Малькольм Брэдбери. Интересно узнать, кого бы вы прибавили к этому списку.

Р. Ф. Прежде всего, женщин: Маргарет Дрэббл, два года назад у нее вышла чудесная книга, "Пестрая моль", ее сестру Антонию С. Байетт, критика и писательницу Лорну Сейдж.

"**ИЛ**". А что касается поэзии?

Р. Ф. Есть очень хорошие ирландские поэты, пишущие по-английски, причем их немало: Дэррик Махон, Киаран Карсон, Майкл Лонгли. Есть и другие: Джордж Сиртес, венгр по национальности, который в 1956 году приехал в Англию с родителями, поэтесса Рут Падел – она же автор книги об античной драме. Отличные стихи у канадской поэтессы Энн Карсон (известны также ее переводы из Сафо и сборник стихотворений "Автобиография 'Красного'"). Она уже считается классиком. Да, еще Кэтлин Джеми из Шотландии. Но, конечно, все это очень субъективно.

А. С. Хороший романист Джон Кинг. Очень правдиво пишет о футбольных болельщиках. Один из его первых романов – "Англия на вы-

1. См. "Коротко об авторах". *(Прим. ред.)*
2. "ИЛ", 1962, № 9. *(Прим. ред.)*

нос", по его "Футбольной фабрике" недавно сняли кино. Последняя его книга – "Тюремный дом" – автобиографическая, о том, как он в Греции попал в тюрьму из-за наркотиков. Он писатель очень человечный, сохраняет гуманность, даже когда описывает жестокость. Наверное, в России это бы понравилось. Потом есть Мартин Эмис.

"ИЛ". Вы забыли еще одного значительного писателя – Алана Силлитоу.

А. С. Да ладно, не такого уж значительного! Последний мой роман вышел примерно год назад в "Харпер–Коллинз" – "Человек своего времени", о ноттингемском кузнеце, который родился в середине XIX века – в 1866-м; а умер в 1946-м. Это о моем деде, как бы семейная сага. Он вырастил восемь человек детей, а они его ненавидели: он был суровый, такой негнущийся, очень грубый – сама жизнь была грубовата. Но не бывает совсем плохих людей. Я, например, в детстве любил его больше, чем его собственные дети, хотя сам он их любил... Мне хотелось очеловечить его, это была моя главная задача. Ведь всегда, когда пишешь о том, кого знаешь, ощущаешь любовь, иначе он не получится живым.

Три года назад вышел роман "День рождения", есть у меня и сборник эссе "Полет стрел". А только что я закончил роман про одного мафиозного барона "Моггенхенгер", но пока у меня нет издателя: я было отослал рукопись в "Харпер–Коллинз", но они попросили кое-что изменить, и я забрал ее обратно, теперь мой агент ищет другого издателя.

"ИЛ". А как вы обычно пишете романы?

А. С. Откуда-то из воздуха берутся люди, обретают плоть и кровь и начинают существовать по-настоящему, вот ты и принимаешься о них писать. Как вообще возникают истории? Из реальности и воображения, смешанных в нужных пропорциях.

Мы, например, живем в Ноттинг-хилле, и я раз в неделю езжу на рынок на Портобелло-роуд за овощами и фруктами. И вот покупаю я однажды у лоточника апельсины и бананы, моросит дождь, вдоль тротуара идет женщина лет сорока, и лицо у нее совершенно несчастное и расстроенное. Чем-то она меня заинтриговала, я пришел домой, набросал несколько страниц и забыл о них. Через год наткнулся на свои листки и сочинил целую историю о том, как эта женщина оказалась на Портобелло-роуд, – страниц сто. Перечитав написанное через три года, я уже точно знал, что делать дальше, и позже выпустил роман под названием "Ее победа".

"ИЛ". А сейчас вы над чем работаете?

А. С. Над книгой стихов. На самом деле моей первой любовью была поэзия, а не проза. Каждые несколько лет я выпускаю по поэтическому сборнику. Когда я лежал в больнице, я прочел всю Библию подряд и понял, что английский перевод Ветхого Завета – самая прекрасная поэзия, какая только существует, я и сейчас все время к ней возвращаюсь.

"ИЛ". А вы, Рут, что сейчас делаете?

Р. Ф. Готовлю сборник стихов: одну треть составят новые стихи, вторую – переводы, и последнюю – стихи, которые в 1995 году не вошли в "Избранные стихотворения", этот пласт старых стихов я включаю в новую книжку – иначе он просто затеряется. Кстати, что касается публикации поэзии в Англии: у меня в течение двадцати лет был свой издатель – Хатчинсон, который выпустил шесть больших сборников и даже том избранного, и конечно я думала, что буду печататься у него до конца своих дней. Но вдруг в 1990 году я приношу в издательство книгу,

а мне говорят: "Извините, наш финдиректор просил больше не принимать поэзию – мы не можем себе этого позволить". И все тамошние поэты помчались кто куда искать себе издателей. Как раз тогда один редактор, работавший в некой издательской компании, решил открыть свое дело и перехватил у Хатчинсона нескольких поэтов. Продержался года три-четыре, выпускал довольно хорошие книжки, но в 1995 году разорился, потому мой сборник и пропал. Беда в том, что издатели то и дело исчезают, приходится искать новых. На две последние книги я нашла хороших – но кто знает?

"ИЛ". А в Англии тоже считается непрестижным издавать стихи за свой счет?

Р. Ф. Авторы стараются этого избегать.

"ИЛ". Потому что дорого или?..

Р. Ф. Скорее "или". Впрочем, сейчас все публикуются в Интернете.

"ИЛ". Рут, расскажите о вашей переводческой деятельности. Каких поэтов вы переводите?

Р. Ф. Я перевела две книжки знаменитой португальской поэтессы Софии де Мело Брана. С русского переводила Марину Бородицкую, Инну Лиснянскую, Светлану Кекову. Все это вошло в антологию "Russian Women Poets"[1], сейчас ее собираются переиздавать и в Америке – в университете Айовы, – и в Англии[2].

"ИЛ". Сохранился ли у английских читателей интерес к поэтической классике XX века: к Одену, Элиоту, Спендеру?

Р. Ф. Людей, которые читают стихи, вообще не бывает много.

"ИЛ". Вас считают ученицей Роберта Грейвса.

Р. Ф. Не то чтобы я была его ученицей... Просто мы с Аланом жили на Майорке, нам было по двадцать с небольшим, мы ходили в гости к Роберту за много километров, по горам, он показывал мне свои стихи, даже черновики, объяснял, чего хотел достичь с точки зрения поэтики и что в конце концов получилось. Поскольку я самоучка, не кончала университетов и никогда не слушала курсов истории, литературы и тому подобного, это, пожалуй, было моей главной учебой в жизни. Иногда я тоже показывала ему что-нибудь свое, но очень редко, потому что считала, что пишу пока недостаточно хорошо.

"ИЛ". Действительно ли имя Роберта Грейвса когда-то гремело среди английских поэтов, и если да, то почему?

Р. Ф. Трудно сказать. Может быть, потому, что дело происходило в конце 40-х, после войны прошло совсем немного времени, а то, что он писал в "Белой богине"[3], книге об источниках поэзии, шло вразрез с умонастроениями общества. Кельтские источники, к которым он припал и из которых черпал: воспитание друида, древесный алфавит – все это было совершенно иным по духу, чем то, что витало тогда в воздухе.

"ИЛ". В "Таймс литерари сапплмент" опубликована ваша статья о Сильвии Плат...

1. Russian Women Poets (in: Modern Poetry in Translation). – King's College, University of London, 2002. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. An Anthology of Contemporary Russian Women Poets, ed. by Valentina Polukhina and Daniel Weissbort. – University of Jowa Press, 2005; An Anthology of Contemporary Russian Women Poets // ed. by Valentine Polukhina and Daniel Weissbort. – Carcanet Press, 2005.
3. "Белая богиня: историческая грамматика поэтической мифологии" Роберта Грейвса впервые вышла в свет в 1948 г. (рус. перев. Л. Володарской. М., Прогресс-Традиция, 1999).

Р. Ф. С Сильвией мы дружили долгие годы. Были по-особому близки: нам нравились стихи друг друга, обе мы американки, а жили в Англии, у каждой было по ребенку и по знаменитому мужу, а сами мы были вроде бы никто. Словом, нас многое объединяло. Но в последний год ее жизни мы не общались — я была в отъезде, а когда вернулась в Англию, Сильвии уже не было на свете. Ужасное потрясение.

"**ИЛ**". Каковы ваши впечатления от России в этот приезд?

Р. Ф. Я никогда раньше не спускалась в московское метро, это мой первый опыт. Мы ехали в поезде, напротив нас сидело трое парней, явно выпивших; сидели прислонившись друг к другу — прямо скульптурная композиция Микеланджело, эдакая вакхическая группа, — они слушали один плеер втроем и громко смеялись. И вдруг один из них встал, подошел к нам, протянул диск и сказал Марине: "Отдайте им, это наши военные песни, пусть послушают..."

Марина Бородицкая. Алан сразу стал им руки жать! А на диске действительно были все военные песни: "Синенький скромный платочек", "В лесу прифронтовом", "Землянка"... и "День Победы".

"ИЛ". С тех пор, как вы последний раз были в России, на ваш взгляд, тут что-нибудь изменилось?

Р. Ф. Я здесь не была с 1971 года. Да, кое-что изменилось. Лица.

А. С. Появилось разнообразие выражений. Кстати, стало больше серьезных и уверенных.

"**ИЛ**". А Англия изменилась?

Р. Ф. Когда там живешь постоянно, мало замечаешь перемены. Уже лет сорок мы не меняем района. Когда мы туда приехали, там были трущобы, и нас все спрашивали: "Вы не боитесь?" А теперь Ноттинг-хилл — одно из самых дорогих мест в Лондоне, напротив нас, кстати, дом русского миллионера.

"**ИЛ**". Алан, расскажите о ваших отношениях с английской королевой.

А. С. В армии я заболел туберкулезом, и, с одной стороны, это была большая неудача, но с другой — удача. Меня демобилизовали по болезни — в двадцать один год я оказался пенсионером. Мы с Рут смогли уехать во Францию, потом в Испанию, писали там свои книжки, и все это время я получал от королевы пенсию. Каждые три месяца приходил чек от королевы Елизаветы II, и на оборотной его стороне была приписка: "Это, Алан, ваше пособие за три месяца. Через три месяца получите еще. Надеюсь, вы усердно трудитесь, чтобы стать писателем". В общем, более десяти лет я был на содержании у женщины и ничуть этого не стыжусь!

Как только я стал достаточно зарабатывать писательством, я получил последнее письмо от королевы Елизаветы, в котором было сказано: "Дорогой Алан, высылаю вам семьдесят фунтов, но — в последний раз. Желаю больших успехов!"

Кстати, когда у меня вышла первая книга, я пришел к отцу и показал ему — а отец был простой работяга, совершенно неграмотный. Он повертел ее в руках и сказал: "Вот это да! Это же книга! Ты теперь писатель! Вот счастливчик, тебе больше никогда не придется работать!"

Беседу записала и перевела с английского Е. Тиновицкая

Ксения Старосельская
Мифогенная зона

Сразу же уточняю: речь пойдет о международной встрече переводчиков польской литературы – семинаре, посвященном литературному мифотворчеству в процессе национальной и культурной самоидентификации. Состоялся он в некой малоизвестной точке земного шара, как нельзя лучше подходящей для обсуждения проблем подобного рода, а именно в деревушке под названием Кшижова (Нижняя Силезия – по-польски Дольны Шлёнск). Силезия, заселенная в древности славянскими племенами, ведущую роль среди которых играли слензане, или силезяне (откуда и пошло название края), постоянно переходила из рук в руки. В XVI веке ее захватили Габсбурги, а в XVIII она была насильственно присоединена к Пруссии; тогда началась интенсивная германизация ее населения. После поражения Германии в Первой мировой войне Силезия была разделена на две провинции: Верхняя Силезия в 1922 году вошла в состав Польши, а Нижняя полностью осталась немецкой и только по окончании Второй мировой войны стала частью ПНР. То были трагические страницы в жизни этой области: немецкое население принудительно, в кратчайшие сроки выселялось, а в опустевшие города и деревни переселяли потерявших свою "малую родину" (в результате послевоенного раздела Европы отошедшую к Советскому Союзу) жителей восточных окраин прежней Польши. "Вживание" переселенцев в новую действительность на новой земле, естественно, сопровождалось процессом "национальной самоидентификации" – ее отражение в литературе и стало темой обсуждения на семинаре.

Участников семинара принял у себя один из его организаторов – фонд "Кшижова", деятельность которого направлена на "достижение европейского взаимопонимания и согласия". Первое письменное упоминание о Кшижове появилось в XIII веке. По-польски krzyż – крест, однако в данном случае происхождение названия неясно. Первоначальное – Crisova – возможно, идет от слова "crisanus", то есть христианин, хотя более вероятной предполагается его связь с чешским križ, что значит "льдина"; до начала XX века деревня называлась Creisau. За долгую историю существования ей немало досталось, дважды она была практически стерта с лица земли: один раз во время татаро-монгольского нашествия в 1345 году и второй – во время Тридцатилетней войны; возродилась Кшижова только в XVIII веке. Сейчас она насчитывает едва ли десяток домов, обступивших старинную усадьбу. Усадьбу эту в 1867 году вместе с Кшижовой и двумя соседними деревнями приобрел (на деньги, полученные за одну из своих побед) фельдмаршал Гельмут фон Мольтке (1800–1891), выдающийся германский и прусский военный деятель, и до конца Второй мировой войны она принадлежала его наследникам. Последним владельцем был Гельмут Джеймс фон Мольтке (1907–1945), по отцовской линии – потомок брата фельдмаршала; матерью

© Ксения Старосельская, 2006

его была англичанка, дочь судьи из Южной Африки. В 1942–1943 годах в усадьбе тайно встречались антифашистски настроенные друзья хозяина, объединившиеся в так называемый "Круг Кшижовы"; предвидя крах нацистской Германии, они обсуждали проект конституции обновленного, демократического немецкого государства в духовно, политически и социально возродившейся послевоенной Европе. Члены "Круга" были арестованы и казнены; вдова Гельмута Джеймса оставалась в усадьбе до конца 1945 года, откуда с помощью английских военных перебралась в Берлин; сейчас девяностопятилетняя Фрея фон Мольтке живет в США и время от времени посещает Кшижову. После войны в деревне был организован ПГР (государственное земледельческое хозяйство, госхоз), во дворце поселились его работники, и усадьба постепенно приходила в запустение. Только в 80-х годах в диссидентских кругах возникла идея превращения Кшижовы в центр международного сотрудничества. После падения коммунизма в Польше, 12 ноября 1989 года на просторном дворе перед дворцом состоялась символическая "Месса примирения" с участием первого демократически избранного премьера Польши Тадеуша Мазовецкого и канцлера Германии Гельмута Коля. В том же году с их помощью и при поддержке Фонда польско-немецкого сотрудничества, других организаций и частных лиц идея начала осуществляться. Был создан фонд "Кшижова", которому передали усадьбу; она была отреставрирована, наведен порядок на прилегающем к деревне Кладбищенском холме, где находится старое евангелическое кладбище, мавзолей – место упокоения фельдмаршала фон Мольтке, могилы других Мольтке (могила Гельмута Джеймса – символическая, поскольку после казни останки его были сожжены, а прах развеян). Фонд "Кшижова" считает своей задачей "наведение моста между поколениями, между историей и современностью", пропагандирует толерантность и мирное сосуществование людей разной национальности, разных мировоззрений и вероисповеданий; в круг его интересов входит диалог между Восточной и Западной Европой, интеграция Польши в Европейское сообщество, прошлое и настоящее Дольного Шлёнска, развитие молодежного художественного творчества. Тут проходят встречи и конференции, работают языковые школы, устраиваются экскурсии, художественные выставки, самодеятельные выступления; в свободное время молодежь занимается спортом.

Инициатором нашей встречи был "Трансляториум", международный семинар переводчиков, создатели и бессменные руководители которого – Адам Поморский, человек поистине энциклопедических знаний, знаток и переводчик русской литературы (в том числе акмеистов, Хлебникова и Достоевского) и немецкой поэзии (Рильке и "Фауст" Гёте), и Александра Хнатюк, литературовед и переводчик, автор множества книг и статей по истории польско-украинских отношений. "Трансляториум" существует уже семь лет, объединяет молодых поляков, украинцев и белорусов и собирается (в основном в Польше, но была встреча и во Львове) не реже чем раз в год. В нынешнем году на очередную встречу были также приглашены россияне и немцы (от России кроме меня – две участницы московского семинара молодых переводчиков, которым я руковожу, Марина Курганская и Марина Габачова). С учетом места встречи, ее организаторы решили особое внимание уделить "зонам общей памяти", тому, как формируется в таких зонах чувство национального самосознания и как оно отражается в литературе, как возникают культурные и национальные мифы, как на новой "малой родине" осваивается культурное наследие, оставленное бывшими ее обитателями. А также чем руководствуются представители разных народов, выбирая стратегию перевода с чужого на родной язык.

Все, о чем говорилось в Кшижове – и в строгом соответствии с заяв-

ленной темой и вне ее, – было крайне интересно и полезно. И антураж, невольное погружение в прошлое, сохраняющее былой дух в новом комфортабельном обличье, среди прелестных пейзажей предгорья Судет, под сереньким небом, норовящим окропить нас дождем, благоприятствовал интенсивной работе. Но сначала – чуть подробнее об этом самом антураже. Архитектура усадьбы типична для здешних мест: все строения, включая скромный барочный дворец, сооруженный в первой четверти XVIII века, располагаются четырехугольником по краям просторного газона, по которому не возбраняется ходить; в середине декабря на нем уже стояла украшенная гирляндами огоньков елка. Хозяйственные постройки после реставрации получили иное назначение. В бывшей сторожке теперь размещаются офисы сотрудников фонда; в конюшне – аудитории для семинарских занятий; в амбаре – комнаты для гостей и уютный клуб; в коровнике – столовая, небольшой бар и несколько жилых комнат; в овине – зал на 350 человек с кабинами для синхронного перевода, компьютерными проекторами, экраном и сценой; там же – физкультурные залы, тренажеры и сауна.

"Заседали" мы во дворце, в двух залах, один из которых – бывший бальный – с великолепным камином. В соседних помещениях – небольшой музей, где об истории усадьбы рассказывают документы, фотографии, картины, памятные знаки. Один из них – "Крест Ковентри". Как известно, английский город Ковентри в ноябре 1940 года был полностью разрушен немецкой авиацией; тогда же сгорел и старинный собор Святого Михаила. По инициативе его настоятеля, Ричарда Ховарда, из найденных в развалинах огромных средневековых гвоздей был сделан крест, который установили на алтаре. По этому случаю была прочитана литания, призывающая простить народы, которых обуяла расовая ненависть и алчность, зависть и равнодушие к несчастьям других. Награда в виде уменьшенной копии креста уже 60 лет вручается собором Ковентри различным организациям, внесшим свой вклад в дело международного согласия; фонд "Кшижова" первым в Польше удостоен этой чести. Еще одна награда – "Дольношлёнский ключ успеха" – в 1999 году была вручена фонду местными властями за выдающиеся достижения в области культуры.

День наш был заполнен до предела. Утром и после обеда – лекции и практические занятия, вечером – встречи с писателями, и совсем уже

поздним вечером — посиделки в баре за кружкой пива, где продолжались горячие дискуссии. А поговорить было о чем.

Темы занятий не ограничивались литературным мифотворчеством, хотя этот сюжет актуален для многих участников семинара. Прошло уже 60 лет с тех пор, как изменились границы Польши — на востоке ее земель убыло, на западе прибыло, — но передел, задуманный "вождем всех народов" и благословленный союзниками СССР на Ялтинской конференции в 1945-м, не был чисто географическим — резали по живому. Польша потеряла свои восточные провинции с такими центрами польской культуры, как Вильно и Львов, из западных областей были выселены миллионы живших там веками немцев. Мало уже осталось тех поляков, кто по произволу политиков обрел новую родину и обживал ее, сохраняя частицы принесенной с собой культуры и с трудом усваивая традиции чужой, местной. И немцев, попавших тогда в новую Германию, тоже сейчас немного, но есть ведь и недавние переселенцы — из той же Польши и, в основном, из бывшего СССР, которым прижиться оказалось не менее сложно. С обретением собственной государственности обострилось чувство национального самосознания и у оставшихся у себя дома украинцев и белорусов; начинавшая жизнь в русской культуре молодежь активно ищет свои корни, учит родной язык.

А теперь конкретнее о том, о чем шла речь в Кшижове. Перед участниками встречи выступили ученый из Вроцлава (главного города Дольного Шлёнска), профессор Анджей Завада с докладом "Вопросы из приграничной области"; варшавянка Алина Молисак — ее темой была "Еврейская культура и центральноевропейские культуры" (ее выступление продолжила своим сообщением Марина Курганская — переводчик книги Владислава Шпильмана "Пианист", дневника выдающегося польского музыканта еврейского происхождения, шесть лет скрывавшегося в оккупированной фашистами Варшаве; по этой книге снят награжденный премией "Оскар" фильм Романа Поланского). Книгу-альбом "Львов. Три эссе" представила украинка Наталка Сняданко; тут завязался спор, суть которого сводилась к так и оставшемуся невыясненным вопросу: чей все же город Львов, носителем какой культуры является? Спор этот стал как бы прелюдией к докладу "Местная, европейская, универсальная самоиден-

тификация. Украинские дилеммы" Александры Хнатюк. Адам Поморский проблему "малых родин" и литературного мифотворчества рассматривал в свете теории о сукцессии этносов, что на современном идеологическом и политическом языке означает круговорот энергии, эволюцию экосистем; понятие это, введенное в обиход Львом Гумилевым, применимо и к цивилизации, и к культуре, и к мышлению; отсюда и мифотворчество как следствие перемен в окружающем нас социальном и культурном пространстве. Неожиданным подарком для всех стал доклад молодого варшавского ученого Тамары Бшостовской о морфологизме в русском литературоведении 20–30-х годов XX века; свои соображения она иллюстрировала собственными рисунками и диаграммами и подкрепляла многочисленными ссылками на работы российских биологистов (О. Фрейденберг, Б. Ярхо, Н. Бурлюка, В. Проппа и др.), которые отождествляли духовные явления с телесными, перенося в область литературы биологические законы. Бурлюк, например, утверждал, что словесная жизнь тождественна растительной, словесные организмы подобным образом борются за существование, живут, размножаются и умирают; по мнению Проппа, чтобы изучить произведение искусства, надо его умертвить и расчленить (как это делают зоологи), но можно и избежать вивисекции — для этого надо, не отрицая анатомии, обратиться к физиологии (анатомия плюс физиология есть морфология). Едва ли не для всех это оказалось первым увлекательным знакомством с целым пластом литературоведения. Нашему вниманию был также представлен (воочию) "польский" номер украинского интернет-журнала ПОТЯХ-76. Потях (как и польский pociąg) означает и поезд, и влечение; журнал построен по модели железнодорожного состава, где рубрики — вагоны, но есть и локомотив, и межвагонные сцепки; раз в год выходит бумажное издание журнала с лучшими публикациями. Следующим запланирован польско-немецкий номер, в котором будут использованы материалы семинара в Кшижове.

Другая часть работы семинара носила практический характер. Белорусы, украинцы, немцы рассказали о новейших переводах польской литературы, я — о положении дел в России. Чрезвычайно живой разговор завязывался, когда обсуждались переводы одной и той же книги на разные языки. В частности, горячий спор вызвали выступления двух переводчиц "Польско-русской войны под бело-красным флагом" Дороты Масловской[1] — Ирины Лаппо (на русский) и Ларисы Андриевской (на украинский); с не меньшей страстью присутствующие набросились на переводчиков "Песен пьющих" Ежи Пильха[2] — их было аж четверо: двое украинцев, одна белоруска и я; тут в первую очередь обсуждался перевод названия (только я изменила его, поскольку сохранение оригинального названия по-русски не передало бы метафоричности смысла, что возможно на украинском и белорусском языках), а также еще некоторые "непереводимости".

По вечерам к нам приезжали гости: украинский поэт Сергей Жадан, польские писательницы Ольга Токарчук и Ивона Смолька, немецкий прозаик Гернот Вольфрам. Рассказывали о своих работах и планах, читали отрывки из книг, отвечали на вопросы.

Разъезжались, как говорится, "усталые, но довольные (очень довольные)" — не только мероприятием, но и друг другом, несмотря на различия во взглядах на место национальных литератур в мировом контексте и разные подходы к проблеме национального самосознания, — с намерением регулярно встречаться и впредь.

1. "ИЛ", 2005, № 2.
2. "ИЛ", 2003, № 10.

"Строфы с комплексным познавательным эффектом"[1].

Диапазон – Diapazon. Антология современной немецкой и русской поэзии – Anthologie deutscher und russischer Gegenwartslyrik. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2005

Поэтические антологии сейчас в моде: их много издают и обсуждают, включение или невключение того или иного имени вызывает бурные страсти. На этом фоне издание немецко-русской и русско-немецкой антологии современной поэзии – двойной вызов и событие, заслуживающее разговора. Русскоязычную часть я, по понятным причинам, здесь рецензировать не буду, а о немецкой поговорим подробнее.

Активное восприятие немецкоязычной поэзии для нас заканчивается примерно на Рильке: достаточно вспомнить проникновенное эссе, которое посвятил ему Бродский, чтобы убедиться в этом[2]. Нет нужды, что эссе написано по-английски в Америке; перефразируя как раз одного знаменитого немца, Бродский мог бы сказать: "Русская поэзия – там, где стоит мой письменный стол". Очень показательно, что Бродский подхватывает традицию там, где остановились Цветаева и Пастернак, – с той естественной разницей, что для старших поэтов диалог с Рильке был диалогом с современником; но потом до так называемого "широкого читателя", когда миновали "года глухие", Рильке, Цветаева, Пастернак и Бродский доходили на протяжении одних и тех же 60–90-х гг., оказываясь современниками в читательском восприятии.

Дальше простирается пустыня, в которой кое-где вдруг расцветают оазисами отдельные имена: Готфрид Бенн, Пауль Целан, Ингеборг Бахман... Не хочу сказать, что мы усвоили себе этих поэтов (кто-то, может быть, назовет два-три иных имени) или хотя бы адекватно их прочитали, – но, по крайней мере, мы слышали, что они есть, с этими именами связываются какие-то определенные ассоциации; пожалуй, Целана особенно интенсивно "осваивает" именно сейчас и русская поэзия, и русский читатель: прежде всего благодаря переводам Ольги Седаковой[1] и Марка Белорусца[2], но также и благодаря имевшей значительный резонанс книге о жизни и творчестве Целана, подготовленной Ларисой Найдич[3]; и если

1. Из стихотворения Ульфа Штольтерфота "все более мощные умы читателей..." Перевод с немецкого Бернхарда Замеса.
2. Интересно, что с прозой дело обстоит иначе: от Германа Гессе до Гюнтера Грасса, от Макса Фриша хоть до Эльфриды Елинек перед русскоязычным читателем картина довольно связная (я имею в виду писавших на немецком языке независимо от проживания в Германии, Швейцарии или Австрии).

1. Сперва в альманахе "Контекст-9", 1999, № 4, с. 218–229; в том же выпуске интервью с А. Нестеровым "Урок Целана" (с.230–245), затем – в Литтиде "ИЛ", посвященном Целану ("ИЛ", 2005, № 4, с.206–216; см. в этом же номере статью О. Седаковой "Пауль Целан. Заметки переводчика", с. 245–259).
2. "ИЛ", 2005, № 4, с. 216–220.
3. Пауль Целан. *Диалоги и перекличка.* – М. Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2004. В 2005 г. был подготовлен и второй том этого издания, содержащий мемуары и статьи исследователей; надеемся, что он вскоре увидит свет.

заглянуть на какой-нибудь переводческий сайт, то с немецкого переводят Гёте, Рильке и Целана...

Но эти отдельные "оазисы" не складываются в какой-либо ландшафт. Никто, кроме специалистов по немецкой литературе XX века, не представляет себе сколько-нибудь связно, что происходило и происходит в немецкой поэзии, скажем, со времени объединения Германии. Дело не в том, что мало переводили: и переводили, и печатали многих, в том числе и кое-кого из тех поэтов, что вошли в рецензируемую антологию. Но есть какие-то таинственные законы, по которым то или иное "переводное" имя вдруг входит *равноправно* в другую культуру. Иногда достаточно одной публикации, иногда количество должно перейти в качество, но, главным образом, наверное, должен найтись конгениальный переводчик.

И вот антология "Диапазон" является продемонстрировать нам нынешний день, сегодняшнее состояние немецкой (как и некий взгляд на современное состояние русской) поэзии. Коллектив кураторов, отбиравших тексты для антологии, справедливо считает "современными" авторов, принадлежащих к разным поколениям, — от маститого Ханса Магнуса Энценсбергера до "тридцатилетних" Хендрика Джексона и Ани Утлер (на "русской половине" тоже Геннадий Айги и Андрей Вознесенский представляют "мэтров", Мария Степанова и Санджар Янышев — "молодежь"). Здесь приходится сделать одно существенное, на мой взгляд, замечание: в антологии почти полностью отсутствуют датировки стихотворений (датированы только стихи Г. Айги). Досадное упущение, а если это сознательный выбор редакции (вряд ли — сознательный выбор 29 поэтов), не могу признать его удачным, особенно в немецкой части. Ведь более-менее опытный читатель русской поэзии знает, к примеру, что какие-то (вошедшие в антологию) стихи Андрея Вознесенского написаны тридцать лет назад, а какие-то стихи Вадима Месяца — совсем "новенькие". И то и другое "современно", но по-разному. Но где нам взять сведения о немецких стихах? Написаны ли они специально для данной антологии или взяты из каких-то книг? Из каких, когда именно изданных? В 80-е годы или 2000-е?

Вот, к примеру, Энценсбергер был еще в БВЛ-ском томе "Западноевропейская поэзия XX века" (в 1977 году!) — и был там одним из очень немногих действительно *современных* поэтов (сейчас особенно хорошо видно, насколько этот том ориентирован на поэзию довоенную, если вообще не на поэзию рубежа веков). Его стихи в переводах Л. Гинзбурга запоминались: "Защита волков от овец", "Я, /вычеркивающий свое имя / из ваших книжек"... В антологии "Диапазон" Энценсбергера переводил известный поэт-верлибрист В. Куприянов. И ощущение звука совсем иное: более глуховатый, даже тусклый, приземленный, ироничный... Сменилась ли манера поэта (что за тридцать лет было бы неудивительно)? Или дело в переводчике, или и в том и в другом? Без датировок ответить на эти вопросы трудно.

Впрочем, возможно, я неправа, и это отсутствие датировок отражает очень важную черту поэзии, представленной в антологии "Диапазон": эта поэзия находится в весьма непростых отношениях со временем. Можно сказать, что она пытается его игнорировать. Вот показательный пример:

кто я или спроси, как он ушел,
осталось

однако, безнадежна пора
ранняя, сгребла
с нас покой, искра воздуха,
ответил он
от чего то зависит, еще
весной, привязано
никак не хуже, боится ли нас, с
тех пор

Герхард Фалькнер *Скошенные стихи.*
Перевод Бернхарда Замеса

Когда могли быть написаны эти стихи (а они, повторюсь, очень показательны для антологии)? О времени в них можно судить только по языку. А судя по языку, для немецкой поэзии попрежнему актуальна формула Стефана Хермлина "Дайте мне новый язык!", прозвучавшая еще в 1945 году[1], и своего рода ответ на нее — название стихотворения того же Герхарда Фалькнера "сломанный немецкий"[2]. Конечно, составители антологии выбирали таких поэтов, которые соответствовали бы экспериментам Айги, Сергея Бирюкова или Анны Альчук, и многое неизбежно оставалось за пределами книги (так, в редакционном предисловии объясняется — хотя, на мой взгляд, довольно путано и невнятно — невключение в антологию одного из самых заметных современных немецких поэтов — Дурса Грюнбайна[3]. Но как раз о составе антологии — что в русской, что в немецкой ее части — спорить бессмысленно, ведь антологии — совсем не обязательно подведение итогов или, тем паче, выставление каких-то оценок. Антологии, как повелось от одного из создателей этого жанра, эллинистического поэта Мелеагра, — прежде всего демонстрация предпочтений *данного составителя* (составителей). Вот редакция "Диапазона" (в составе Е. Пахомовой, С. Бирюкова, Х. Джексона, Б. Замеса, К. Кедрова) предлагает нам свою версию современной поэзии на двух языках. И спасибо им за это! И заранее спасибо тем, кто соберется составить и издать какую-то другую версию, с совсем иными именами.

Что хочется процитировать из "Диапазона"? Во-первых, как раз то стихотворение, которое, вопреки общей тенденции книги к внеисторичности, называется "модные цвета 1914 г.":

модными цветами в 1914 г. были
согласно Блуменфельду
(Берлин/Нью-Йорк),
согласно этому фотографу языка
были
примерно по порядку:

нил.
зеленый натуральный,
овосточенный за-
пад, крупная буржуазия за
тяжелыми
портьерами. в искусственном
свете Берлин
донашивает то, что носит Париж.

танго.
оранжевый. Грусть
фрукты что перекашивают взгляд.

<...>
ciel.
это перевернутое небо.
blue pills и стальной паркет,
разумеется, в сезон весны

о марне пока еще не шло
и речи, тогда по осени входило,
разумеется, короткое черное,
в моду.
<...>

Томас Клинг
Перевод Елены Сазиной и
Бернхарда Замеса

1. См. содержательную (хотя и касающуюся в основном литературы ГДР) статью Германа Корте "Немецкая лирика с 1945 года до наших дней" ("Арион", 1997, № 4. Перевод В. Витковского).
2. Перевод Бернхарда Замеса.
3. "Отсутствие его в этой антологии связано скорее всего с тем, что слишком широкое приятие его творчества вызывает неоднозначную реакцию".

Стихотворение это длинное, и кое-что переводчики комментируют, а кое-что — нет. В процитированном фрагменте ciel, например, поясняется ("ciel — *франц.*: небо, небесный цвет"), а blue pills — нет; Марна поясняется, а чуть ниже названный Скагеррак ("о скагерраке и гриппе / не было еще и слуху...") — нет; но уж лучше бы Марна не пояснялась. Потому что "прим. перев." гласит: "Марна — город на севере Германии". М-да. А Сомма — река во Франции, а Ипр — городок в Бельгии. Нет, не случайно все-таки ни одной даты под стихотворениями-то...

Еще — Вальтер Тюмлер, как-то уж чересчур скромно представленный в предисловии как "переводчик Геннадия Айги". Во-первых, Тюмлер отнюдь не только Айги переводил, он один из наиболее известных и, если так можно сказать, успешных (в смысле "успеха предприятия") переводчиков русской поэзии на немецкий язык. Во-вторых, он и сам прекрасный поэт и религиозный мыслитель, знакомый русскому читателю хотя бы по публикациям в журнале "Искусство кино" (стихи его переводила Ольга Седакова, предпославшая своему переводу небольшую, но очень глубокую статью о Тюмлере — и о современной поэзии[1]; эссе "Художественное творение и теологическое измерение" перевел А. Ярин[2]). Вот это "теологическое измерение" просвечивает у Вальтера Тюмлера сквозь ткань стиха — не вредя ей, но даже, напротив, *создавая* — как помещенный за экраном источник света создает изображение в театре теней... Маленькое стихотворение "здесь I" я сперва прочитала, как-то "проскочив" эпиграф (так иногда бывает):

ребенок
Вывеска Женщина в хижине
Которая
рожает Или неспособность
что-либо
изменить в жизни Так начинается
РАЗГОВОР Сними
обувь твою

Перевод Галины Айги-Куборской

Прочитала — и сказала себе: "Ого! О чем пишет этот человек! Он понимает". И потом вдруг увидела коротенький эпиграф: Исх. 3:5[1].

Еще — "Деревенское, из запасной папки" самого, наверное, молодого участника антологии, Штефена Поппа:

Литература закончилась.
Опустошенный,
ты стоишь во дворе, обнимая
грабли.

Тебе улыбается горизонт орды.
Двенадцать гвоздей,
вколоченных в стену хлева.
За беседками
буйство беззубой листвы.

Ветер улицы Теер,
иссохнувшие плоды. Демоны,
рухнувшие к ногам. И твои
сапоги, как бессонные псы,
послушно идут по следам.

Это и некоторые другие ("зима, Иерусалим", "Гибралтар") стихотворения так поразили меня полновесностью звука на фоне в общем-то довольно сухого и жесткого звучания книги (говорю только о переводе!), что я невольно потянулась посмотреть имя переводчика: Вадим Месяц.

1. О. Седакова. Узкая полоска плодородной земли / Искусство кино, 1998, № 9. http://old.kinoart.ru/1998/9/8.html
2. В. Тюмлер. Художественное творение и теологическое измерение / Искусство кино, 1998, № 9. http://old.kinoart.ru/1998/9/9.html

1. Тюмлер не приводит сам стих: "И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая".

Все-таки хорошо, когда переводит поэт...

Еще — Аня Утлер, изучавшая лирику Цветаевой, что отразилось в ее собственных стихах и что Ольга Бараш в своем прекрасном переводе еще чуть-чуть сгустила:

с плачем: отец, помоги!
прими, окуни, замкни
быстриной, отпусти — чистой,
как пенная стынь,
да, будто бриз, бриз
лоб в благодарность тебе
разрисую рябью морщин —

вот уже близко: брызг — плеск,
уз — сброс,
свободна, спасена?

дафне: сетования

Вообще в этой антологии, убегающей от исторического времени, точно Дафна от Аполлона, много отсылок к античности, особенно к мифам. И это тоже, видимо, не случайно: в уже упоминавшемся предисловии от редакции говорится о предпочтении "формально продвинутой поэзии" "нарративной лирике". Миф, правда, довольно старое изобретение, судить о его "продвинутости" мне трудно, но вот уже несколько тысячелетий он помогает, когда надо, обойтись без нарративности. На мой же вкус, различные нарративные стратегии отнюдь не препятствуют формальным поискам, главное, чтобы поэту было что сказать. Приведенные выше четыре текста — тому пример.

Ирина Ковалева

Философия прогулки с черепашками

Ольга Вайнштейн. *Денди: Мода: Литература: Стиль жизни.* — Серия "Культура повседневности". — М.: Новое литературное обозрение, 2005

Среди книг-исследований случаются особые книги, приобретающие дополнительную ценность благодаря тому, на каком языке и в какой стране они написаны. Кажется, что культурный, социальный, визуальный ландшафт, окружающий автора такого исследования, оказывает ему постоянное сопротивление, и работу приходится проводить, сознательным усилием отстраняя от себя этот постоянный фон — или используя его в качестве противоядия, средства для более острого, более контрастного понимания темы. "Денди" Ольги Вайнштейн, будучи книгой, написанной в России и по-русски, помимо прочих своих достоинств — захватывающей увлекательности, фундаментальности, парадоксальности исследовательского взгляда, — впечатляет читателя еще и этой способностью автора оказывать сопротивление окружающему ландшафту — сегодняшней российской небрежности во всем, что касается "мужского стиля", мужской ухоженности, вообще образа мужчины, создаваемого им самим. Вайнштейн уделяет много внимания истории русского дендизма, всегда находившегося под прицелом некоторого презрения — всегда, даже в лучшие свои годы, немного "недо-дендизма", как если бы русским денди не хватало роста, чтобы смотреть чуть свысока не только на весь мир, но и на свой собственный дендизм, на себя самих (непре-

менное правило для любого подлинного денди). О сегодняшних российских денди речь у Вайнштейн не идет — последними упомянутыми ею представителями этого сложного племени в наших краях оказываются советские стиляги, частью истребленные, частью сдавшиеся добровольно.

Впрочем, не исключено, что проблема здесь не только в неоднозначности сегодняшних реалий, но и в неоднозначности самого понятия "денди". Труд Вайнштейн является в некотором смысле книгой-преследованием, почти детективной попыткой автора отыскать более или менее конструктивное определение "дендизма". Ради этого Вайнштейн проделывает обстоятельный экскурс в додендистские времена, к Алкивиаду и "мюскаденам", а затем нападает на след первого из денди — великого Джорджа Брайана Браммелла, "самого знаменитого денди всех времен и народов", которому на сломе XVIII–XIX веков "подражал всеми силами каждый второй молодой аристократ". Вайнштейн объясняет, что Браммелл определил мужскую моду на два века вперед, и начинает последовательно разрабатывать каждую линию следствия: от вполне материальных костюма и аксессуаров до эфемерных "зрения денди" и "стратегии дендистского скандала". В погоне за сутью дендизма Вайнштейн исследует дендистскую литературу, историю парфюмерии, вопросы гендерной теории в применении к дендизму и старательно демонстрирует, что понятие "денди" никаким образом не поддается стандартизации. В главе о дендистском кодексе общения Вайнштейн рассказывает о "хамелеонстве" денди, о преображении и переменчивости как стратегии успеха. Таким же "хамелеонством" отличается, как показывает Вайнштейн, и само понятие "денди" — вневременное, внестилевое, не мужское и не женское, не ограниченное странами и эпохами, но живущее, по всей видимости, в душе самого денди, полностью познаваемое лишь благодаря его пресловутому "тонкому чувствованию" или тонкому вниманию исследователя.

Книга Вайнштейн так полна фактурой описываемой эпохи, что при желании не слишком взыскательный читатель может употребить ее как изумительную коллекцию исторических анекдотов о моде и стиле: основательный ужин Браммелла перед бегством за границу от английских кредиторов, наряды а-ля жертва у аристократов времен французской революции, цветок, поливание которого так утомило Оскара Уайльда, коллекция галстуков графа Робера де Монтескью и знаменитые черепашки, которых денди выводили на прогулку, чтобы "продемонстрировать воистину стоическую невозмутимость и величественную самодостаточность". Исторический колорит — заслуга внимательного, влюбленного в предмет историка, для которого каждая деталь является инкапсулированным принципом, иллюстрацией широкомасштабного явления, оказавшего значительное влияние на культуру. Но книга "Денди" написана не просто историком моды, а историком-философом, стремящимся проследить связь мелких фактов и показать цельную картину мира денди, где утомленность в результате поливания цветка на поверку оказывается судорожной попыткой человека со вкусом противостоять вульгарности ширящегося среднего класса, а эпатажная прогулка с черепашками — проявлением страха перед увеличивающимся темпом жизни, о попытке сохранить себя и свой мир любыми, пусть даже самыми искусственными, методами. Так же как и статьи Ольги

Вайнштейн, "Денди" — книга не о моде, но о моде в контексте истории, в контексте постоянных потрясений экономического и социального порядка, о моде как об инструменте отстраивания цельного стабильного "я" в дробящемся, шатком мире.

"Я" денди оказывается главным персонажем этой книги. Вайнштейн представляет историю дендизма как историю денди и антиденди, личную историю конкретных людей, определявших суть этого феномена или, напротив, боровшихся с ним. Кто-то оказался денди по привилегии рождения, а кто-то мучительно, а зачастую и безуспешно старался примкнуть к этой звездной плеяде; кто-то прославлял образ денди, а кто-то приложил огромные усилия, чтобы нивелировать его, придав ему отталкивающую легкомысленность и комичность. Каждую из этих персональных историй Вайнштейн, по возможности, прослеживает от начала и до конца, демонстрируя читателю ранние задатки, позволяющие предопределить судьбу ребенка или юноши как будущего денди, и поздние ошибки, ведущие к закату денди-звезды, — ошибки, которые сами по себе являются частью дендистского шика и шарма, делают финал неотвратимым и предсказуемым, как в греческой трагедии, но оттого не менее впечатляющим. Общие черты, повторяющиеся в биографиях, характерах, психологических особенностях и житейских обстоятельствах каждого из знаменитых денди и "неденди", позволяют автору сложить из индивидуальных историй историю феномена, продемонстрировать закономерности его развития — и поставить вопрос о неминуемости его упадка.

Вайнштейн постоянно подчеркивает и напоминает в заключительном аккорде, что речь идет о понятии неверифицируемом, фактически неопределяемом и едва ли поддающемся классификации, тем более в наши дни. Но при этом прочтение книги "Денди" обеспечивает читателю полновесное интуитивное понимание феномена "денди", способность отличить "денди" от "неденди" — пусть и без возможности формально объяснить критерии выбора. "Дендизм", каким он предстает в книге Вайнштейн, оказывается не феноменом в себе, не изолированной субкультурой с анекдотическим прошлым, спорным настоящим и туманным будущим, но квинтэссенцией повседневности, верхом лестницы, по которой едва ли не каждый обыватель в лучшие годы своей жизни поднимается на две-три ступеньки. Чтение "Денди" захватывает, среди прочих причин, в силу того, что дендизм, как его понимает и описывает Вайнштейн, предстает не казусом для избранных, но потенциально достижимым идеалом, стремление к которому читатель отметает не без вздоха: так одно дело — чураться "Макдоналдса", а совсем другое — вести подлинно здоровый образ жизни; одно дело — периодически задумываться, не пора ли выбросить все старые рубашки и купить новые, другое — сделать выбор рубашек одним из значительных жизненных приоритетов.

Отечественный нон-фикшн зачастую демонстрирует нам академическую систематичность подхода, блестящую способность к анализу, информационную основательность, но при этом у читателя не часто появляется возможность получить удовольствие от собственно процесса чтения. "Денди" же являет собой пример чтения увлекательного, легкого — в самом лучшем смысле этого слова — не в силу поверхностности изложения, а в силу живости авторского языка в сочетании с его отнюдь

не дендистской простотой. Основательный труд Ольги Вайнштейн — все его шестьсот с лишним страниц — заглатываются не хуже остросюжетного романа. Собственно говоря, "Денди", как уже говорилось, в некотором смысле и построена по законам остросюжетного романа: рождение героя, опасности, грозящие ему еще во младенчестве, становление характера, первые ростки самостоятельности, первые нежные привязанности, насмешки и сопротивление общества, горькие уроки, растущее влияние на умы, вечное противостояние с антагонистом, блистательный расцвет и непременные трагедии посреди расцвета, медленная канонизация, превращение в легенду и наконец — открытый финал: покинул ли он нас — или он все еще здесь, прячется в толпе, ухмыляется, глядя на наши жалкие попытки подражать ему по мере наших скромных сил? А если покинул, вернется ли он и, кстати, не присутствует ли и сейчас незримо, не его ли призрак стоит за работами Джона Галлиано[1], за рафинированной ухоженностью метросексуалов[2], за fine tuning[3] членов интернет-сообщества "refinement"[4]?

Линор Горалик

1. Джон Галлиано — знаменитый дизайнер моды, чьи работы отличаются одновременно дерзостью и изысканностью.
2. "Метросексуал" — слово, введенное в обиход британским журналистом Марком Симпсоном в 1994 г. и означающее мужчину, уделяющего, среди прочего, огромное внимание своей внешности и индивидуальному стилю.
3. Fine tuning (*англ.*) — упрощенно-подчеркнутое внимание к мельчайшим элементам стиля.
4. Refinement (*англ.*) — сообщество "современных денди" на популярном коммуникационном сервере Live journal.com.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Русские о Сербии и сербах: Т. 1. Письма, статьи, мемуары / Сост. А. Шемякина. — СПб.: Алетейя, 2006. — 684 с. — (Bibliotheca Serbica). 1000 экз. (п)

Отличный сборник заметок русских путешественников о Сербии. С начала 1860-х и по 1916 год, от Ивана Аксакова до Льва Троцкого. Что же это за страна, если по населению и по площади она меньше нашей Орловской области? И что же это за государство, если в столице кафедральный собор, как церковь в русском уездном городе? Таков был общий тон русских отзывов о Сербии во второй половине XIX века. Путешественников интересовало все: состояние дорог и финансов, уровень подготовки чиновников и степень трудолюбия крестьян. Есть в сборнике и заметки русских добровольцев и журналистов о сербо-турецкой войне 1876—1878 годов, Балканских войнах и Первой мировой.

Сербия о себе / Сост. М. Йованович. — М.: Европа, 2005. — 520 с. — (Евросток). 1000 экз. (о)

Еще одна книга про Сербию, но на этот раз о себе рассказывают сами сербы. Здесь собраны статьи, написанные сербскими историками, политологами и экономистами за последние 15 лет. Можно узнать, как в Белграде видели свое будущее в начале 1990-х и какие прогнозы сбылись, а какие — нет. Сербы привыкли считать себя народом-жертвой. 500 лет османского ига, притеснения австрийцев, колоссальные потери во время обеих мировых войн, неподчинение Сталину. И всегда мир им аплодировал. Но вот после начала гражданской войны в Югославии европейские интеллектуалы объявили сербов врагами человечества.

Круми Э. *Музыка на иностранном.* — М.: АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига, 2006. — 320 с. — (The bestseller). Тираж не указан. (п)

На первый взгляд перед нами альтернативная история. По версии Круми, в годы Второй мировой войны Англия была захвачена немцами, а после освобождения к власти пришли коммунисты и последовал период жестокой диктатуры. Главный герой-физик эмигрирует в Италию, где долгие годы пытается писать роман. О двух друзьях, которые когда-то сочинили антиправительственный памфлет, через много лет эта история всплыла и теперь ими занялась британская ЧК... Круми намешал в этой истории много всего, однако читать эту книгу очень легко. Иногда, впрочем, не сразу понимаешь, о какой из параллельных реальностей идет речь.

Башир А., Суннано Л. С. *Ближний круг Саддама Хусейна* / Пер. с норвеж. — СПб.: Амфора, 2006. — 462 с. — (Кольцо власти). 3000 экз. (п)

Саддам Хусейн глазами личного врача. Доктор Ала Башир лечил Хусейна и всю иракскую верхушку несколько десятков лет и теперь раскрывает нам тайны багдадского режима. В конце 1970-х Ирак был процветающей страной благодаря торговле нефтью. После войны с Ираном на улицах Багдада появились первые нищие, а после "Бури в пустыне" люди в Ираке стали умирать от голода. Но чем хуже было

простым иракцам, тем больше богатела элита. Больше всех воровал старший сын Саддама Удей. В итоге, когда американцы вторглись в Ирак, режим Хусейна рухнул как карточный домик. Кажется, все это хорошо известно, но взгляд изнутри, да еще такого осведомленного человека, как личный врач диктатора, дорогого стоит. Добавим, что к пациенту своему он никакой симпатии не питает и оправдать его не стремится.

Ришар П. *Как рыба без воды. Мемуары наизнанку* / Пер. с фр. А. Беляк. — М.: FreeFly, 2005. — 176 с. — (Роман с жизнью). 3000 экз. (п)

У трагического актера и воспоминания получаются трагическими, с надрывом, а клоун и в мемуарах остается клоуном. Книга Пьера Ришара больше похожа на сборник анекдотов о самом себе. Или, вернее, скетчей. Собственно, это и есть скетчи — недаром уже несколько лет Ришар по своим мемуарам играет моноспектакль. Высокий Блондин рассказывает про то, как он нашел свой желтый ботинок, а также про то, как один из фильмов снимался в тюрьме и было сделано столько дублей, что даже зэки посочувствовали несчастному Ришару.

Сильвен Д. *Тайна улицы Дезир* / Пер. с фр. А. Кожиной. — М.: Иностранка, 2005. — 363 с. — (Лекарство от скуки). 7000 экз. (п)

Как написать хороший детектив? Оказывается это не так-то и сложно. Достаточно воспользоваться старыми проверенными приемами, а главным героем сделать человека необычного и колоритного. Знаете, есть такой тип детективных романов, где следствие ведет старый бывалый да еще и крутой полицейский в отставке? Ну, так вот, в этой книге именно такой главный герой. Вернее — героиня. Отставной комиссар Лола Жост, Майк Хаммер в обличии толстой старухи. Мисс Марпл в супертяжелом весе и с манерами крутого Уокера. Впрочем, и во всем остальном это отличная книга.

Шартье Р. *Письменная культура и общество* / Пер. с фр. И. Стаф. — М.: Новое издательство, 2006. — 272 с. — (А). Тираж не указан. (о)

Сборник статей знаменитого французского историка Роже Шартье, посвященных истории письма, а также книги и их влиянию на историю человечества. В первые века нашей эры на смену книге-свитку пришла традиционная книга-кодекс, состоящая из сшитых тетрадок. Свиток держали двумя руками, книгу-кодекс можно класть на стол — значит ее проще переписать. Благодаря этому ноу-хау ускорилось распространение христианства. Через полторы тысячи лет изобретение книгопечатания немало помогло успеху протестантизма, а в XVIII веке с легкой руки Руссо появилась массовая литература и очень быстро читающие французы свергли у себя монархию. Сегодня мы стоим на пороге новой революции: библиотеки переводят все больше книг в цифровой формат и скоро литературное наследие человечества будет доступно любому пользователю Интернета. Вот только какими социальными потрясениями обернется эта революция?

Коль И.-Г. *Москва 1837–1841. Записки путешественника* / Сост., вступ. ст. Курта Шарра; Пер. с нем. Ксении Шарр. — М.: Русская жизнь, 2005. — 312 с.

Описание России, которое уроженец Бремена Иоганн Георг Коль (1808–1878) выпустил по-немецки в 1841 г. На русский язык переведено впервые. Коль впоследствии стал профессиональным географом, и этот взгляд профессионала, внимательного к топографии и статистике, заметен уже в раннем его сочинении. В то же самое время Коль — наблюдатель, чрезвычайно внимательный к мелочам, которые от сухого ученого обычно ускользают. Его

описания толкучего рынка и торговых рядов, русской манеры торговать (немцы и англичане считают выручку, а русские усаживаются пить чай с пряниками) и русской манеры питаться (русские едят больше огурцов и пьют больше огуречного рассола, чем любой европейский народ) создают у читателя настоящий эффект присутствия. А превосходные литографии того времени, которыми книга проиллюстрирована, этот эффект довершают.

Пеги Ш. Избранное: Проза. Мистерии. Поэзия / Пер. с фр. С. С. Аверинцева, Ю. А. Гинзбург, Л. А. Зандера, Н. А. Струве. — М.: Русский путь, 2006. — 400 с.

Сборник сочинений французского христианского мыслителя и поэта начала XX века Шарля Пеги (1873–1914), чей жизненный путь оборвался на фронте во время Первой мировой войны. Первая книга русских переводов Пеги вышла в Санкт-Петербурге в 2001 году, но современное издание — более полное, в нем представлены разные жанры: и проза (статьи на религиозные и философские темы), и поэзия, и написанные своего рода поэтической прозой мистерии ("О милосердной любви Жанны д'Арк", "О второй добродетели", "О младенцах Вифлеемских"). Издатели объясняют свое обращение к творчеству Пеги тем, что в эмиграции многие русские богословы и мыслители услышали в его сочинениях "пророческий голос, близкий по своему звучанию к православию". Впрочем, искренность чувства и резкость мысли, смелость поэтических образов и оригинальность интонации Пеги способны тронуть даже агностиков.

Мур К. *Самый глупый ангел. Трогательная сказка о рождественском кошмаре*: Роман / Пер. с англ. М. Немцова. — М.: Фантом Пресс, 2006. — 320 с. — (Зебра). 4000 экз. (п)

Для тех, кто читал предыдущие вещи Кристофера Мура, просто скажу: здесь действуют герои, оставшиеся в живых после "Ящера страсти в бухте грусти" и "Практического демоноводства". А также ангел из романа "Агнец". Тех, кто не знаком со словосочетанием "Кристофер Мур", введу в курс дела. Горе тебе, Вавилон, город крепкий. Идет на тебя самый глупый в мире ангел Разиил. В роли Вавилона в данном случае выступает калифорнийский поселок городского типа Хвойная Бухта. Там и так у всех давно крыша поехала, но нынешнего рождественского чуда Разиила им уже точно не пережить.

"ИЛ" рекомендует

На книжных прилавках апреля 2006-го

Выбор главного редактора

Дёрри Дорис. *Синее платье* / Перев. с нем. Анны Кукес. – М.: FreeFly, 2005. – 176 с. – (Пространство отражений). 5000 экз.

Дорис Дёрри – известный немецкий режиссер, сценарист, писатель, кинокритик и продюсер. Ее произведения отличает поразительная психологическая точность, ее истории пленяют нежностью, остроумием и глубиной.

"Синее платье" – роман о любви и смерти. О том, что потеря любимого лишает жизнь радости, смысла, красок. О том, как жить дальше... Синее платье, как кусочек неба, незримо связывает между собой столь непохожих друг на друга героев романа: гея-модельера, недавно похоронившего друга, молодую вдову и анестезиолога, давно поставившего крест на личном счастье.

В "ИЛ" публиковались рассказы Дорис Дёрри (1997, № 11; 2004, № 11).

Елинек Эльфрида. *Дети мертвых (Die Kinder Der Toten)* / Перев. с нем. Татьяны Набатниковой. – Амфора, 2006. – 624 с. – (Амфора 2006). 25000 экз.

Эльфрида Елинек считает роман "Дети мертвых" своим главным произведением, ибо убеждена, что идеология фашизма, его авторитарное и духовное наследие живы в Австрии до сих пор, и она мастерски показывает это в книге. Основная литературная ценность романа заключается не в сюжете, не в идее, а в стиле. Елинек рвет привычные связи смыслов, обрывки соединяет поновому, и в процессе расщепления и синтеза выделяется некая ядерная энергия.

В "ИЛ" Эльфрида Елинек публиковалась в 1993, № 11 (*Излишество – не роскошь*) и в 2005, № 7 (эссе *Досужими путями мышления*, Нобелевская лекция *В стороне* и беседа с ней Александра Белобратова *Я ловлю язык на слове...*).

Камиллери Андреа. *Телефон (La concessione del telefono)* / Перев. с итал. Е. Солоновича. – М.: Иностранка, 2006. – 317 с. – (Лекарство от скуки). 5000 экз.

Конец XIX века. В Вигате всем заправляет мафиозная шайка Калоджеро Лонгитано "Мано Фратерна" – "Братская рука". Без благословения дона Лилло невозможно не только начинать серьезные дела, но и дышать. Это очень скоро понимает Филиппо Дженуарди, вздумавший обзавестись потрясающей технической новинкой: домашним телефоном. Его затея кажется подозрительной всем: и бандитам, и полицейским. В конце концов

неуемная тяга к прогрессу загоняет Дженуарди в такую передрягу, из которой, похоже, ему не выйти живым.

Левицкая Марина. *Краткая история тракторов по-украински (A Short History of Tractors in Ukrainian)* / Перев. с англ. Валерия Нугатова. — М.: Эксмо, 2006. — 352 с. — (Книга, о которой говорят). 12100 экз.

Горькая и смешная история, которую рассказывает Марина Левицкая, — не просто семейная сага украинских иммигрантов в Англии. Это история Украины и всей Европы, переживших кошмары XX века, история человека и человечества. И, конечно же, — краткая история тракторов. По-украински. Книга, о которой не только говорят, но и спорят.

Миллер Дж. Эрик. *Права животных и порнография (Animal Rights And Pornography)* / Перев. с англ. Владимира Бошняка. — СПб.: Лимбус Пресс, 2006. — 144 с. — 2000 экз.

"Права животных и порнография" — сборник невероятных историй, в которых люди и животные в качестве действующих лиц выступают на равных в самых неожиданных комбинациях.

Эта книга — артистический жест, художественная провокация, балансирующая на грани фола и устоявшихся представлений о приличии. То, что на первый взгляд может показаться всего лишь черным юмором или грубой эротикой, на самом деле — приговор. Немилосердный приговор человеку, посягающему на главенство в стае божьих тварей и самонадеянно примеряющему на себя венец царя зверей.

Рассказы Дж. Эрика Миллера вводят читателя в "прекрасный новый мир" непристойного... А тот факт, что пишет он в утонченной манере рубщика мяса со скотобойни, делает его рассказы только выразительнее.

Монтеро Роса. *Дочь Каннибала (La Hija del Canibal)* / Перев. с исп. Натальи Малыхиной. — М.: Иностранка, 2006. — 448 с. — (ИЛлюминатор). 5000 экз.

Роман "Дочь Каннибала", отмеченный в 1997 году литературной премией "Примавера", был признан в Испании самой популярной книгой года. Режиссер Антонио Серрано экранизировал ее, сняв в главной роли знаменитую Сесилию Рот, звезду фильмов Педро Альмодовара.

Роман построен на почти детективном сюжете: в аэропорту похищен муж героини; растерянная и испуганная сорокалетняя женщина, не доверяя полиции, начинает собственное расследование. Вместе с нею читатель втягивается в сложную и запутанную историю, участниками которой становятся бывший боевик-анархист, полицейские, судьи и наемные убийцы.

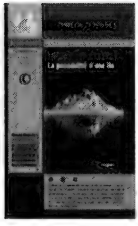
Расследование становится все более драматичным и в конце концов погружает героев в мир международной организованной преступности... В круговерти событий героиня переосмысливает свою прежнюю

жизнь, по-новому видит окружающий мир, своих близких и — наконец-то — понимает своего отца, по прозвищу Каннибал.

Трайхель Ханс-Ульрих. *Блудный сын (Der Verlorene)* / Перев. с нем. Владимира Седельника. — М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2005. — 160 с. — (Западно-восточный диван). 3000 экз.

Ироничный, полный юмора и житейской горечи рассказ от лица ребенка о его детстве в пятидесятых годах и о тщетных поисках матерью потерянного ею в конце войны первенца — старшего из двух братьев, не по своей воле ставшего "блудным сыном". На примере истории немецкой семьи Трайхель создал повествование большой эпической силы и не ослабевающего от начала до конца драматизма. Повесть переведена на другие языки и опубликована более чем в двадцати странах.

В "ИЛ" (2004, № 11) опубликован рассказ Ханса-Ульриха Трайхеля *О половой жизни туземцев*.



Уэльбек Мишель. *Возможность острова (La possibilité d'une île)* / Перев. с франц. Ирины Стаф. — М.: Иностранка, 2006. — (За иллюминатором). 5000 экз.

"Возможность острова" — новый роман автора мировых бестселлеров "Элементарные частицы" и "Платформа". Эта книга прежде всего о любви. Сам Уэльбек, получивший за нее премию "Интералье" (2005), считает ее лучшим из всего им написанного. Заявив в одном из интервью, что он "не рассказчик историй", Уэльбек тем не менее рассказывает здесь, в свойственной ему ироничной манере, множество нетривиальных историй, сплетающихся в захватывающий сюжет: о тоталитарных сектах, шоу-бизнесе и судьбе далеких потомков человечества, на которую проецируются наши сегодняшние эмоции и поступки.

Фрагменты романа публиковались в "ИЛ", 2006, № 2.

Хегге Пер Эгиль. *Фритьоф Нансен. Одна только воля (Fridtjof Nansen. Bare en vilje)* / Перев. с норвежск. Светланы Карпушиной и Александра Шипунова. — М.: Текст, 2006. — (Праведники). 2000 экз.

В книгу вошли уникальные материалы и фотографии, рассказывающие о жизни легендарного полярного исследователя, ученого и дипломата Фритьофа Нансена, не менее известного своей общественной деятельностью. Придуманные им "нансеновские паспорта" вернули многим, в том числе армянским беженцам, спасавшимся от геноцида, и русским эмигрантам, бежавшим от революции, право на нормальную человеческую жизнь. В годы страшного голода в Поволжье Нансен закупал и привозил в Россию поезда с зерном. За многолетние усилия по оказанию помощи беженцам и пострадавшим от войн Ф. Нансен в 1922 г. был удостоен Нобелевской премии мира.

Фрагменты книги публиковались в "ИЛ", 2005, № 11.

Великобритания

Код успеха

Что делает роман бестселлером? Группа британских социологов под руководством Элвая Уинклера потратила не один месяц на решение этой загадки. В итоге исследователи вывели нечто вроде формулы популярности.

Изучив списки бестселлеров, которые публикует "Нью-Йорк таймс", и перечни Би-би-си "100 самых любимых книг", социологи обнаружили, что бестселлерам, появившимся в последние полвека, свойственно нечто общее, а именно их названия чаще всего имеют метафорический смысл и начинаются, как правило, с местоимения, глагола либо прилагательного.

Таким образом, почти идеальные названия носят, например, последний детектив Агаты Кристи "Спящее убийство" и приключенческий роман Филипа Пулмана "Темные начала". Существенно им проигрывают "Код да Винчи", большая часть серии книг про Гарри Поттера, а из всех сочинений Диккенса, если верить выводу исследователей, на читательский успех может рассчитывать разве что не самая известная рождественская повесть "Битва жизни".

Тем не менее Уинклер уверен в правильности метода, который был разработан по заказу английского веб-сайта lulu.com, публикующего произведения начинающих авторов. Исследователи опробовали модель на 700 книгах, выпущенных более чем за полвека, и она оказалась работающей в 70 процентах случаев.

Венгрия

"Венгерские страницы жизни и творчества Владимира Высоцкого"

Так называется книга, выпущенная венгерским издательством "Гонда" (г. Эгер), презентация которой — при участии автора Петера Вицаи — состоялась в Москве в Венгерском культурном, научном и информационном центре в начале этого года.

Петер Вицаи — русист, кандидат педагогических наук, исследователь творчества Владимира Высоцкого, составитель сборников его стихов, в том числе двуязычных, переводчик его песен. "Венгерские страницы..." — первая книга, написанная автором на русском языке.

Владимир Высоцкий приезжал в Венгрию трижды. В 1974 году — на съемки фильма М. Швейцера "Бегство мистера Мак-Кинли". В 1977-м он вместе с Мариной Влади снимался в картине Марты Месарош "Их двое". Но, безусловно, самым памятным для венгров был его двухнедельный визит в сентябре 1976 года. Тогда — сразу после триумфа на международном белградском фестивале БИТЕФ, где спектакль "Гамлет" завоевал Гран-при, — труппа Театра на Таганке приехала на гастроли в Будапешт.

Помимо "Гамлета", московский театр представил на суд венгерской публики еще две постановки — "А зори здесь тихие" и "Десять дней, которые потрясли мир". Успех превзошел все ожидания. Венгерская журналистка Ильдико Ловаш вспоминает: "...у входа в театр развернулись настоящие рукопашные бои. Было уже не важно, есть у вас билет или нет, толпа просто валила в зал. Кому не досталось места, стояли у стен, пристроились на ступеньках у сцены".

Венгерская театральная критика высоко оценила и "новую волну" в советской режиссуре, и, конечно, "Гамлета с гитарой". Практически все газеты и журналы поместили статьи и рецензии о "несущем катарсис театральном событии" — знаменитой пьесе Шекспира в постановке любимовского театра.

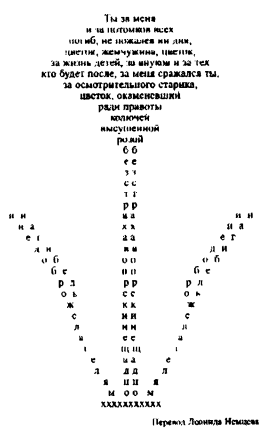
"Володя играл главную роль с максимальной самоотдачей, необычайно самобытно, с бьющей через край энергией, полностью выкладываясь и самовыражаясь, растрачивая свою неповторимую творческую индивидуальность", — свидетельствует Марта Месарош, известный кинорежиссер, сценарист, близко знавшая Высоцкого. Венгерской публикой Высоцкий в "Гамлете" воспринимался и как принц датский, и как принц советский, как борец за торжество истины и даже как "бунтарь, восставший ради нас". "В Венгрии меня совсем за-

мучили всякие журналисты, интервьюировали, в отличие от здесь", — рассказывал сам Высоцкий. Венгерским телевидением были сняты два фильма: "Поэт с Таганки" и "Таганка в Будапеште".

Как в 1974-м, так и в 1976-м Высоцкий выступал с концертами, охотно ездил и в расположенные под Будапештом советские войсковые части. Марта Месарош вспоминает: "Я поехала в Матьяшфельд встречать его после выступления в одном из центральных военных гарнизонов. Когда я приехала, он все еще пел, а молодые солдаты слушали его с горящими глазами... Концерт уже трижды объявлялся оконченным... Он вышел наружу, продолжая петь... Солдаты за ним... Он сел в мою машину, потому что уже очень устал... У меня были белые "Жигули", я сидела за рулем, а он на переднем сиденье рядом со мной все говорил с ними, пел, потом солдаты облепили машину, ворота открылись, и на руках нас бережно вынесли на дорогу..."

Больше Высоцкий не приезжал в Венгрию, но венгерская пресса продолжала внимательно следить за творчеством "гения брежневской эпохи". "В Венгрии, правда, не отлили его фигуру, нет и мемориальных досок, — пишет Вицаи, — однако его хриплые песни и его незабываемые актерские воплощения продолжают жить в памяти людей". О нем пишут книги, ему посвящают выставки, концерты, вечера памяти, выпускают кассеты и CD-диски с его стихами и песнями.

Песни Высоцкого переводили известные поэты Иштван Бака, Геза Беремени, Миклош Вереш и популярный певец и рок-музыкант Ласло



Фельдеш (псевдоним — Хобо). Он по сей день исполняет их в концертной программе "Триптих" — вместе с песнями Джима Моррисона и композицией на стихи классика венгерской литературы Аттилы Йожефа. Хобо создал и своеобразный моноспектакль "Охота на волков", который был поставлен на сцене будапештского театра "Комедиум". Этот спектакль и сегодня в его репертуаре.

Петер Вицаи — не только исследователь творчества Высоцкого, но еще и педагог. Он разработал спецкурс и написал несколько учебных пособий, помогающих студентам — через изучение песенных монологов Высоцкого, его "снайперского лексикона", — овладевать профессией филолога-русиста.

Завершает книгу перечень работ о творчестве Высоцкого, опубликованных в Венгрии с 1974-го по 2006 год. Перечень включает 417 названий, это своего рода венгерский вклад в высоцковедение.

Ю. Ф. Карякин однажды заметил: "Для нас Высоцкий и не уходил. Мы и умрем вместе с ним". Книга Петера Вицаи и вечер в Венгерском культурном центре, где читали стихи Высоцкого на русском и венгерском языках, читали стихи венгерских поэтов, посвященные Высоцкому, а молодые исполнители пели его песни, — еще одно подтверждение тому, что Высоцкий нужен людям не только его поколения и не только в нашей стране.

Норвегия

Год Генрика Ибсена

В связи со столетней годовщиной смерти Генрика Ибсена (1828—1906) в этом году в Норвегии и за ее пределами пройдут сотни мероприятий, связанных с именем классика норвежской и мировой драматургии. Кульминационный пункт программы — постановка "Пер Гюнта", которая будет показана на сцене, возведенной в египетской пустыне прямо у подножия сфинкса.

В годовщину смерти Ибсена, 26 мая, вновь распахнет двери его мемориальный музей в Осло, расположенный в квартире, где Ибсен прожил одиннадцать последних лет своей жизни. Хранители музея обещают воссоздать подлинную обстановку, в которой творил драматург.

Открылся Год Ибсена торжественной церемонией в здании городской ратуши Осло, на которой присутствовали члены королевской семьи и премьер-министр Норвегии. После официальной части были исполнены отрывки из наиболее оригинальных современных постановок Ибсена, в том числе арии из китайской оперы "Гедда Габлер".

Завершилась церемония вручением премий актерам за лучшее

сценическое воплощение персонажей Ибсена. Награды получили француженка Изабель Юппер, норвежка Лив Ульман, англичанка Гленда Джексон, немка Анжела Фиклер и индианка Саоли Митра.

США

Перевод русских классиков

"Читать русских писателей все равно что наслаждаться несметным богатством", — сказал однажды Хемингуэй. Как и многие, он познакомился с русской классикой благодаря переводам ровесницы Чехова, англичанки Констанс Гарнетт (1862—1946). Невероятно работоспособная, Гарнетт перевела все романы Достоевского, сотни рассказов Чехова и два тома его пьес, основные произведения Тургенева и Толстого, а также избранные тексты Герцена, Гончарова и Островского.

Гарнетт получила образование в Кембридже, затем вышла замуж за издателя Эдварда Гарнетта. В их доме бывало много эмигрантов из России, и Гарнетт, очарованная рассказами о далекой стране, начала учить русский язык. В 1894 году, оставив мужа и малолетнего сына в Англии, начинающая переводчица отправилась в трехмесячное путешествие по России, где побывала и у Толстого в Ясной Поляне. Вернувшись в Англию, Гарнетт посвятила себя дому, семье и... переводам. Несмотря на слабое здоровье и плохое зрение, она очень много работала (переводя "Войну и мир", почти ослепла и была вынуждена диктовать текст секретарю).

Примерно до середины XX века переводческий авторитет Гарнетт был неколебим. Но затем послышались и критические голоса, в основном двуязычных писателей-эмигрантов. Особенно суров был Владимир Набоков. В "Лекциях по русской литературе" он писал: "Джозеф Конрад, английский романист польского происхождения, в письме от 10 июня 1902 года к Эдуарду Гарнетту, писателю средней руки, обмолвился: 'Напомни обо мне своей жене, чей перевод "Анны Карениной" мне кажется великолепным. О самой же книге я невысокого мнения, так что перевод придал ей некоторого блеска'. Я никогда не прощу Конраду этого вздора. На самом деле перевод Гарнетт очень слабый". Мнение Набокова разделял и Иосиф Бродский, как-то заметивший: "Англоязычные читатели с трудом могут отличить Толстого от Достоевского, потому что они их не читали. Они читали Констанс Гарнетт".

Констанс Гарнетт

Многочисленные вольности Гарнетт вполне объяснимы. Переводчица работала в таком темпе, что когда ей попадалось непонятное слово или фраза, она их попросту пропускала и шла дальше. Жизнь короткa — "Идиот" длинен. Любопытно на этот счет свидетельство Д. Г. Лоуренса, друга семьи Гарнеттов. Он вспоминает, как Констанс сидела в саду и сосредоточенно писала, а возле нее, на земле, высилась гора исписанных листов.

В середине 1980-х попытку заново перевести "Братьев Карамазовых" предприняла супружеская пара: американский поэт Ричард Пивеар и его жена Лариса Волохонская (бывшая ленинградка). Все началось с того, что как-то Пивеар перечитывал "Братьев Карамазовых" в переводе одного из "продолжателей дела" Констанс Гарнетт — Дэвида Магаршака. Лариса, заглянув в книгу через плечо мужа, пришла в ярость — попавшиеся ей на глаза фразы не имели ничего общего с Достоевским.

Изучив все английские варианты "Братьев Карамазовых" и сделав вывод, что они никуда не годятся, Пивеар и Волхонская рискнули испробовать собственные силы. Работали они следующим образом: сначала Лариса делала максимально точный подстрочник с примечаниями, а затем Ричард "причесывал" текст так, чтобы он соответствовал нормам английского языка и при этом сохранял стилистику Достоевского.

По завершении труда, длившегося более пяти лет, супруги отправили рукопись в "Рэндом хаус" и получили ее назад с краткой запиской: "Гарнетт будет жить в веках. Зачем нужен новый перевод?" Отвергло рукопись и издательство "Оксфорд-пресс" — рецензенту, в частности, не понравилось, что Алешу Карамазова называют "ангелом", на полях он

дал свой вариант — "хороший парень". В конце концов "Братьев Карамазовых" согласилось опубликовать мелкое калифорнийское издательство, при этом предложенный гонорар составлял тысячу долларов — примерно доллар за страницу.

И тем не менее Пивеар и Волохонская продолжали работать над русскими классиками. За двадцать лет они перевели на английский "Преступление и наказание", "Бесов", "Записки из подполья", повести Гоголя, "Мастера и Маргариту" и "Анну Каренину".

Перевод "Анны Карениной" был выпущен в Англии в 2000 году, но читательского успеха не имел: издательству удалось продать всего несколько сот экземпляров. Однако в 2004 году им улыбнулась удача — новый перевод "Анны Карениной" широко разрекламировала популярная американская телеведущая Опра Уинфри (переводчики, кстати, даже не знали, кто она такая, полагая, что это певица в стиле кантри). За один только месяц в Америке было напечатано и раскуплено 800 тысяч экземпляров романа. В автобусе, метро и кафе можно было увидеть американцев, читающих Толстого.

Этот успех пришелся как нельзя более кстати, поскольку переводчики собираются приняться за "Войну и мир".

Франция

Сумерки над Парижем

После потрясений минувшей осени французской публицистикой неожиданно овладели упадочные настроения. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в традиционном обращении к прессе даже сострил по поводу появления специалистов нового профиля — "упадковедов".

Впрочем, первые симптомы "социального упадничества" проявились еще пару лет назад, когда бестселлером стала весьма резкая публицистическая книга Никола Бавареза "Падение Франции". Новая работа Бавареза "Новый мир, старая Франция", недавно вышедшая в свет, написана в том же критическом духе. Автор считает, что пришло время расстаться с "мифом о величии Франции", поскольку "грубейшие политические ошибки, допущенные властями за последние полвека", нанесли французскому обществу невосполнимый ущерб.

Баварез не одинок в своих печальных оценках действительности. Сейчас прилавки французских книжных магазинов заполнены книгами и брошюрами, предвещающими близкий крах, агонию или по меньшей мере закат. Публицисты бьют в набат, пугают обывателей жутковатыми прогнозами и изобличают "нацию, странным образом впавшую в летаргию, когда весь остальной мир кипит и бурлит". Естественно, львиная доля критики досталась властям — об этом можно судить хотя бы по названиям некоторых новинок: "Сумерки божков", "Агония элиты. Франция в штопоре", "Крах элиты".

От зоркого ока "упадковедов" не ускользает ни одно событие, которое моментально перетолковывается ими на пессимистический лад. Как отмечает в книге "Общество против самого себя" социолог Роже Сю, во Франции даже хорошие новости неизменно превращаются в плохие, хотя, по словам Роже Калена, автора книги "Когда Франция проснется", нет никаких оснований считать, что страна движется к катастрофе.

По материалам информационного агентства Франс Пресс [Франция], газеты "Гардиан" [Великобритания], журнала "Нью-Йоркер" [США].

Кристофер Тейлор Бакли
Christopher Taylor Buckley
[р. 1952]. Американский писатель и журналист. В 70-е работал в журнале *Эсквайр*, в 80-е писал речи для многих крупных вашингтонских политиков. С 1990 г. – главный редактор журнала *Форбс Эф-Уай-Ай*.

Автор романов *Неразберихa в Белом доме* [*White House Mess*, 1994; рус. перев. 2004], *Зеленые человечки* [*Little Green Men*, 1999; рус. перев. 2003], *С первой леди так не поступают* [*No Way to Treat a First Lady*, 2002; рус. перев. 2004], сборника рассказов *Дебаты под мартини* [*Wry Martinis*, 1997; рус. перев. 2004] и др. В *ИЛ* печатался его роман *Здесь курят* [*Thank You for Smoking*, 1999, № 11–12].
Публикуемый роман печатается по изданию *Florence of Arabia* [New York: Random House, 2004].

Гарольд Пинтер
Harold Pinter
[р. 1930]. Американский драматург, сценарист, поэт, прозаик. Лауреат Нобелевской премии [2005].

Автор пьес *День рождения* [*The Birthday Party*, 1957], *Коллекционная вещь* [*The Collection*, 1961], *Любовник* [*Lover*, 1962], *Возвращение домой* [*The Homecoming*, 1964], *Измена* [*Betrayal*, 1978], *Горский язык* [*Mountain Language*, 1988], *Прах к праху* [*Ashes to Ashes*, 1996], сборника стихов *Война* [*War*, 2003] и др. На русском языке пьесы Пинтера печатались в сборнике *Сторож и другие драмы* [1988] и периодике.
Публикуемая пьеса печатается по изданию *Old Times* [London, Boston: Faber and Faber, 1971].

Лайла Стиен
Laila Stien
Норвежский прозаик, поэт, переводчик с саамского.

Автор сборников новелл *Новый путь* [*Nyveien*, 1979], *На ходу* [*I farta*, 1986], *Как бывает* [*Sent som skjer*, 1988], *Солнечная веранда* [*Veranda med sol*, 2003], книг для детей – *Уле П. и замечательное солнце* [*Ole P og den merkverdige sola*, 1990], *Сорвать лютик* [*E plukke en smørblomst*, 1993] и т. д. На русском языке ее рассказы были опубликованы в сборниках *Великанова купель* [1989] и *Мы здесь живем* [1999].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Солнечная веранда* [*Veranda med sol*. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 2003].

Альфред Теннисон
Alfred Tennyson
[1809–1892]. Английский поэт.

Автор поэтического сборника в двух томах *Стихотворения* [*Poems*, 1842], поэтических сборников *Тирезий* [*Tiresias, and Other Poems*, 1885], *Деметра* [*Demeter, and Other Poems*, 1889], *Смерть Эноны* [*The Death of Oenone, and Other Poems*, 1892], поэтических драм *Королева Мария* [*Queen Mary*, 1875], *Майское обещание* [*The Promise of May*, 1882] и др. На русский язык стихи Теннисона переводили А. Плещеев, М. Михайлов, К. Бальмонт, И. Бунин, С. Маршак. "Королевские идиллии" были изданы в 1904 г. (в переводе О. Чюминой) и в 2001 г. (в переводе В. Лунина).
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат многочисленных премий, в том числе *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти стихотворных сборников [последний – *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Джона Донна *Избранное* [1994], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], сборники *Книга NONсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002], *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов* [2003] и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4; 2003, № 5], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998,

№ 10], У. Дж. Смита [2002, 10], Джона Клэра [2005, № 4], эссе *Йейтс в 1923 году. Возвращение в Тур Баллили* [2005, № 10] и др.

Александр Ват
Alexander Wat
[1900–1967]. Польский поэт, прозаик, эссеист, переводчик.

Автор книг поэтической прозы *Я с одной стороны и Я с другой стороны моей мопсожелезной печурки* [*Já z jednej strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka*, 1920], *Безработный Люцифер* [*Bezrobotny Lucyfer*, 1927], поэтических сборников *Стихи* [*Wiersze*, 1957], *Средиземноморские стихи* [*Wiersze śródziemnomorskie*, 1962], *Темный свет* [*Ciemne świecidło*, 1968]. Посмертно вышли воспоминания *Дневник без гласных* [*Dziennik bez samogłosek*, 1986, 1990]. Переводил английских, французских, немецких писателей, а также русских – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, В. Г. Короленко, А. М. Горького. В *ИЛ* публиковались стихи Вата [1996, № 11].
Фрагмент взят из воспоминаний в двух томах *Mój wiek* [Warszawa: Czytelnik, 1990].

Дмитрий Анатольевич Дерепа
[р. 1982]. Филолог, переводчик с китайского, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

В его переводах опубликована поэзия Бей Дао и Бой Хуа. В *ИЛ* печается впервые.

Леонид Гиршович
[р. 1948]. Русский писатель, музыкант. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист Букеровской премии [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обменянные головы* [1995], *Бременские музыканты* [1997], *Прайс* [1998], *Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды* [2001], *Суббота навсегда* [2001] и др. В *ИЛ* публиковалась его статья *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2005, № 2].

Алан Силлитоу
Alan Sillitoe
[р. 1928]. Английский прозаик, поэт.

Автор романов *В субботу вечером и в воскресное утро* [*Saturday Night and Sunday Morning*, 1958], *Смерть Уильяма Постерса* [*The Death of William Posters*, 1965], *Дерево в огне* [*A Tree on Fire*, 1967], *Пламя жизни* [*The Flame of Life*, 1974], *Сломанная повозка* [*The Broken Chariot*, 1998], сборников рассказов *Дочь старьевщика* [*The Ragman's Daughter*, 1963], *Мужчины, женщины и дети* [*Men, Women and Children*, 1973], поэтического сборника *Варвары* [*Barbarians and Other Poems*, 1973] и др. В *ИЛ* публиковались его рассказ *Волшебный ящик* [*Magic Box*, 1964, № 4], романы *Ключ от двери* [*Key to the Door*, 1963, № 5–7], *Начало пути* [*A Start in Life*, 1973, № 8–9], стихи [1972, № 12].

Рут Фэйнлайт
Ruth Fainlight
Английский поэт, прозаик, переводчик с испанского и португальского языков.

Автор сборников стихотворений *Ясно видеть вещи* [*To See the Matter Clearly*, 1968], *Полнолуние* [*Another Full Moon*, 1976], *Сивилла и другие* [*Sybyls and Others*, 1980], *Узы* [*Knot*, 1990], *Время года* [*This Time of Year*, 1994] и др., двух сборников рассказов *Дневная и ночная жизнь* [*Daylife and Nightlife*, 1971] и *Последний случай доктора Клока* [*Dr. Clock's Last Case*, 1994], а также либретто опер. В *ИЛ* публиковалась ее поэма *Цвет сахарной бумаги* [*Sugar-Paper Blue*, 2003, № 4].

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премии *ИЛ* [1986] и премии польского ПЕН-клуба [2004].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др.
В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3–4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7–9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повести Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях, ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Андрей Валерьевич Геласимов
[р. 1965]. Русский писатель, переводчик с английского. Кандидат филологических наук. Лауреат премии журнала *Октябрь* [2002], премии Аполлона Григорьева [2002], премии *Студенческий Букер* [2004], читательского Гран-при Парижского книжного салона [2005].

Автор романов *Год обмана* [2003], *Рахиль* [2004], повестей *Жажда* [2002], *Фокс Малдер похож на свинью* [2002]. Переводил роман Р. Кука *Сфинкс* и прозу А. Байера *Евротрэш*.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Дж. Китса, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ольга Юрьевна Вронская
Переводчик со скандинавских языков.

В ее переводах опубликованы произведения А. Бьерке, Т. Т. Хаугер, В. Хенриксен, С. Ривертона, Т. Гамсуна, Э. Лу и др.
В *ИЛ* в ее переводе печатался рассказ Бьёрг Вик *Сквозь лед* [2005, № 11].

Нелли Федоровна Каменева
Литературовед, полонист, кандидат филологических наук.

Автор статей о польской литературе XX века. В *ИЛ* публикуется впервые.

Евгения Константиновна Тиновицкая
Переводчик с английского, журналист, аспирантка факультета журналистики МГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент раннемонгольской миниатюры *Бабур-наме* [I половина XVI века].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 664.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Поздравляем нашего автора, переводчика и литературоведа,
специалиста по польской литературе

ИРИНУ АДЕЛЬГЕЙМ,

лауреата Гран-при Всероссийской литературной премии "Эврика!",
присуждаемой раз в два года молодым прозаикам и драматургам.

---

[6] 2006

КНИГА СТИХОВ ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ "ДВОЕТОЧИЕ" / ПОВЕСТЬ АЛАНА ТИТЛИ "ТУДА" / ЭССЕ-МИНИАТЮРЫ АНЫ БЛАНДИАНЫ / СТИХИ И РАССКАЗ РОЛЬФА ДИТЕРА БРИНКМАНА / АЛЬФРЕД ЭДВАРД ХАУСМАН В РУБРИКЕ "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ" / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ А. КАРЕЛЬСКОГО "НЕМЕЦКИЙ ОРФЕЙ: БЕСЕДЫ ПО ИСТОРИИ ЗАПАДНЫХ ЛИТЕРАТУР"

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ В РОССИИ / ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» /
ГАЗЕТА «КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» / СОЮЗ «МАСТЕРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА»

объявляют конкурс

"Единорог и Лев"

на лучший перевод на русский язык литературы Британских островов

BRITISH COUNCIL Russia

книжное обозрение

Мастера литературного перевода

Премия за лучший перевод будет присуждена в двух номинациях:
перевод прозы / перевод поэзии
На конкурс принимаются переводы произведений авторов с Британских островов. Произведения для конкурса должны быть впервые опубликованы на языке оригинала с 1980 по 2005 год; переводы на русский язык – с 2000 по 2005 год.

Выдвижение на соискание премии могут осуществлять:
издательства / редакции газет и журналов, регулярно освещающих литературный процесс / библиотеки федерального подчинения / областные научные универсальные библиотеки / национальные библиотеки республик / краевые библиотеки.
Каждая организация может выдвинуть
не более двух произведений в каждой номинации.

Выдвижение на соискание премии будет производиться с 15 марта до 15 мая 2006 года. Заявку и 2 копии издания, содержащего номинируемый перевод, необходимо прислать до 15 мая по адресу: 129272, Москва, Сущевский вал, 64. Редакция газеты «Книжное обозрение». На конверте должно быть указано: Премия «Единорог и Лев».
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, поступившие после 15 мая.

Заявка должна содержать в себе следующую информацию:
название произведения (на русском и английском языках) / фамилию и имя автора (на русском и английском языках) / фамилию и имя переводчика и краткую информацию о нем / контактные координаты номинирующей организации / фамилию и имя представителя номинирующей организации.

Объявление итогов конкурса состоится на Московском международном открытом книжном фестивале, который пройдет с 30 июня по 2 июля 2006 года.
Премия победителям –
участие в Эдинбургском книжном фестивале в августе 2006 года.
В дальнейшем конкурс предполагается сделать ежегодным.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Британский Совет к Татьяне Ильиной / tatiana.ilyina@britishcouncil.ru

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №5, 1-288